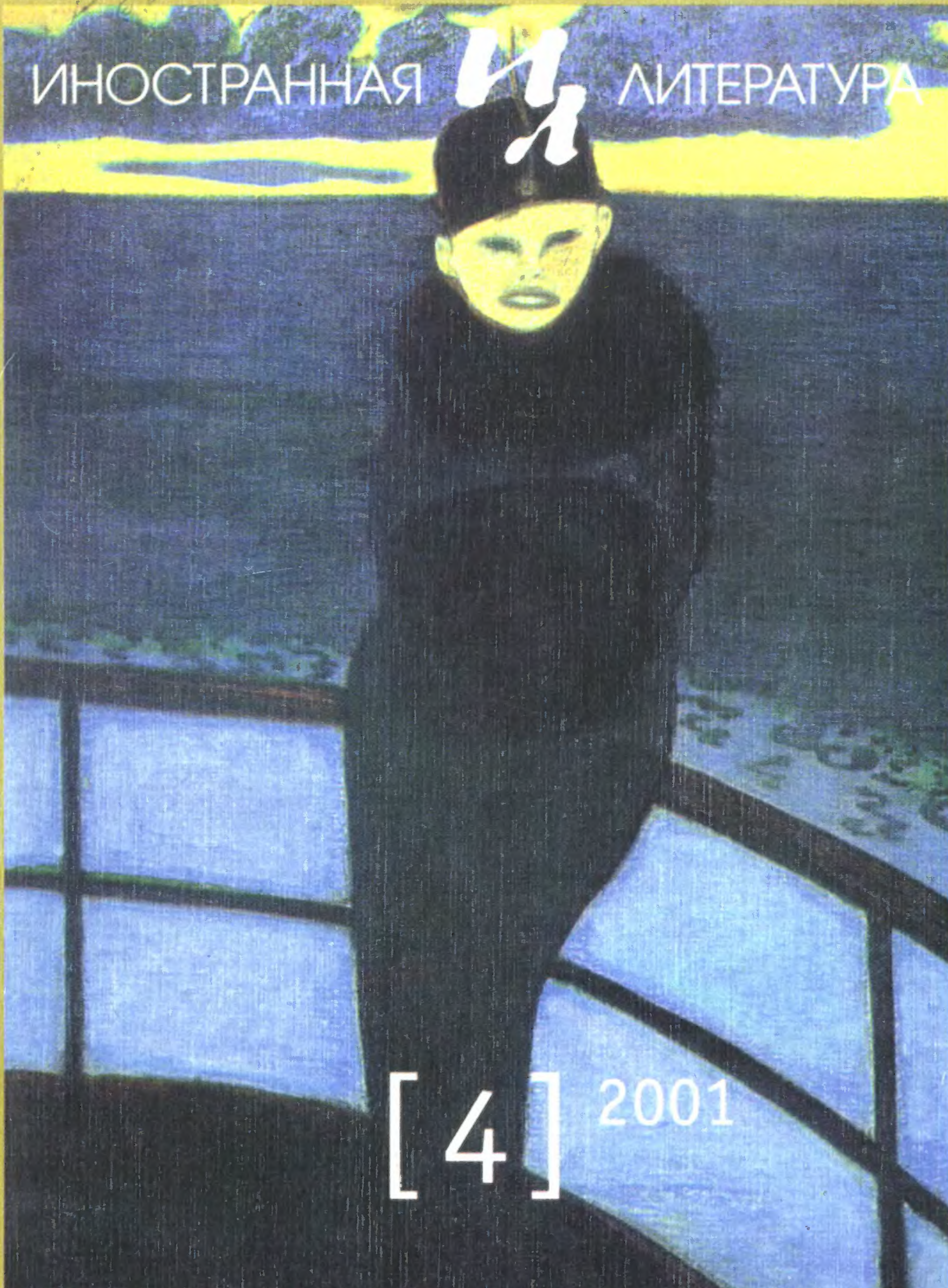
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



[4] 2001

РОМАН ПЕРА УЛОВА ЭНКВИСТА "НИЗВЕРЖЕННЫЙ АНГЕЛ" / РАССКАЗЫ МИШЕЛЯ ТУРНЬЕ И БОГУМИЛА ГРАБАЛА / ИРИНА АДЕЛЬГЕЙМ О КНИГЕ МАРИУША ВИЛЬКА "ВОЛЧИЙ БЛОКНОТ" / СТИХИ ЭДУАРДО КАРРАНСЫ / "АНАТОМИЯ СНОБИЗМА" АРТУРА КЕСТЛЕРА / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ФИЛИППА МЮРЭ "ПОСЛЕ ИСТОРИИ"

Основан в 1891 году

До конца года в "ИЛ" будут напечатаны:

"Тимбукту" – новый роман американца ПОЛА ОСТЕРА, причудливая и трагическая история собаки, потерявшей своего талантливого и безумного хозяина.

"Повесть о Платоне" – новая книга англичанина ПИТЕРА АКРОЙДА; на этот раз акройдовская машина времени уносит нас в будущее – в конец четвертого тысячелетия.

"Вилленброк" – новый роман немецкого писателя КРИСТОФА ХАЙНА, дающий живую, многогранную, неожиданно близкую нам картину быта и нравов нынешней Германии.

"Повинная голова" – "плутовской" роман РОМЕНА ГАРИ о таинственном бродяге, обложившем остров Таити "налогом на Гогена".

"Волны" – шедевр ВИРДЖИНИИ ВУЛФ, обеспечивший писательнице место в одном ряду с Марселем Прустом и Джеймсом Джойсом.

"Я – красный" – новый роман турецкого писателя ОРХАНА ПАМУКА, переносящий читателя в Стамбул XVI века и затрагивающий вечные темы любви и смерти.

"Незнакомки" – три повести-монолога, три женских судьбы, рассказанные мастером французской прозы ПАТРИКОМ МОДИАНО.

"Harmonia caelestis" – своеобразную семейную хронику нескольких поколений знаменитого венгерского рода, рассказанную одним из его представителей, писателем ПЕТЕРОМ ЭСТЕРХАЗИ.

"Клуб Дюма" – роман испанского писателя АРТУРО ПЕРЕСА РЕВЕРТЕ, один из самых известных интеллектуальных детективов последнего десятилетия.

"Рассказы под экстази" – полупародийные новеллы молодого французского писателя ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА, в которых мир увиден сквозь призму наркотической эйфории.

"Дневник возвращения" – польский драматург и писатель СЛАВОМИР МРОЖЕК рассказывает о последнем периоде своей жизни в мексиканской эмиграции.

Новая биография **Фридриха Ницше**, написанная немецкой исследовательницей БИРГИТ ЛАХАНН.

"Генри Миллер в полный рост" – воспоминания французского фотографа и писателя БРАССАИ о годах жизни Миллера в Париже.

Беседы с бельгийской писательницей МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР.

"Литературные гиды", посвященные жизни и творчеству ХУЛИО КОРТАСАРА и ЛУИ ФЕРДИНАНДА СЕЛИНА.

Литературные портреты ГЕОРГОСА СЕФЕРИСА, ЭДГАРА РАЙСА БЕРРОУЗА, АРТУРА КЁСТЛЕРА, ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА.

Эссеистика ДЭВИДА ЛОДЖА, ПАСКАЛЯ КИНЬЯРА, ОКТАВИО ПАСА, ИТАЛО КАЛЬВИНО.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), УФПС (для Московской области) и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

[4]

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Богумил Грабал. *Рассказы. Эссе.* Перевод с чешского С. Скорвида. Вступление А. Кравчука

40 Эдуардо Карранса. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Надежды Муравьевой

49 Кэтрин Кресмен Тейлор. *Адресат выбыл.* Рассказ. Перевод с английского Р. Облонской

66 Норман Мейлер. *Крутые парни не танцуют.* Роман (окончание). Перевод с английского В. Бабкова

143 Пер Улов Энквист. *Низверженный ангел.* Любовный роман. Перевод с шведского А. Афиногеновой

183 Мишель Турнье. *Рассказы.* Перевод с французского Н. Бунтман. *Несколько вопросов к Мишелю Турнье.* Беседует Е. Моттирони.

Путешествие по книге

204 Ирина Адельгейм. *"На границе моря и письменного стола..."*

Статьи, эссе

224 Филипп Мюрэ. *После Истории.* Фрагменты книги. Перевод с французского Нины Кулиш

242 Артур Кёстлер. *Анатомия снобизма.* Перевод с английского М. Наумова

Наши интервью

257 *"Я в некотором смысле создатель религиозной секты..."* С Филиппом Лежёном, профессором университета Пари-Нор, беседует Елена Гальцова.

Среди книг

265 Михаил Яснов. *"Нежный строй голосов отзвучавших..."* Т. Баскакова. *Бог – это жизнь и род человеческий?* Раиса Кирсанова. *В поисках утраченного денди.* Н. Павлова. *О хрупкой лире*

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Из общего тиража
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
1 700 экземпляров;
Министерство культуры
РФ выкупает для
библиотек 1000
экземпляров; финансовую
поддержку журналу
оказывает также
Министерство печати РФ.

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Международный
совет:

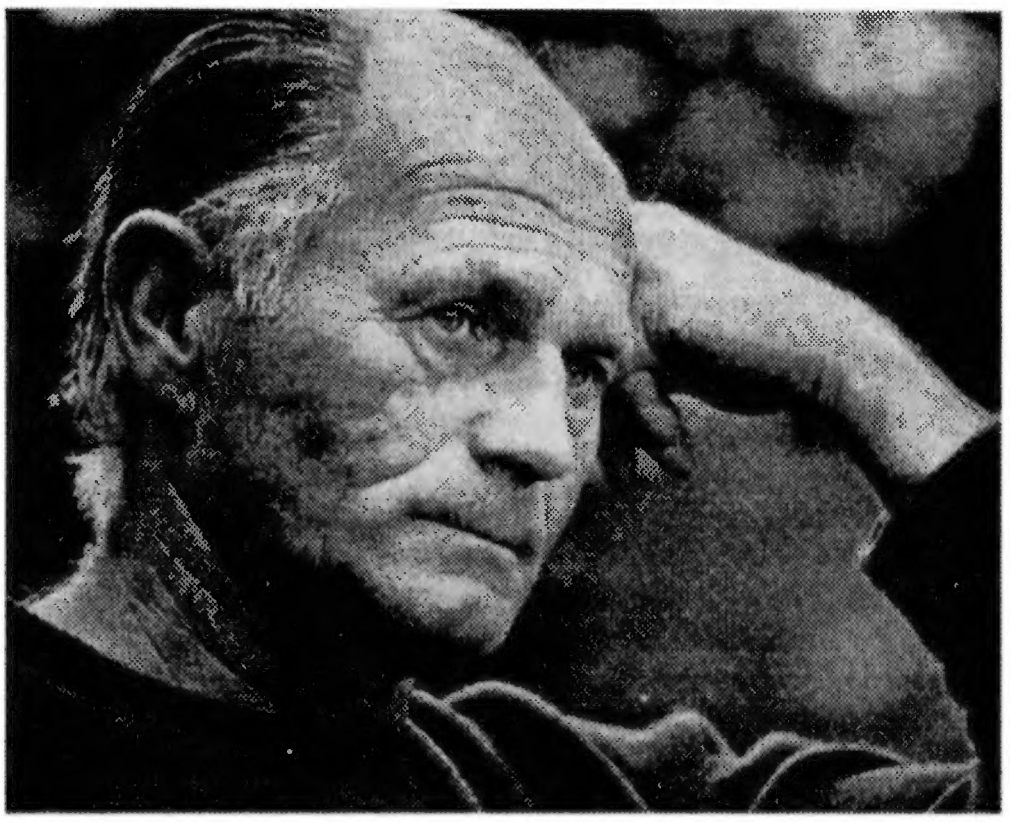
Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Богумил Грабал



Рассказы. Эссе

Перевод с чешского С. Скорвида

Вступление А. Кравчука

"Я всегда очень любил и до сих пор люблю книги Грабала, — говорил Милан Кундера. — Его проза подобна высокой поэзии и безудержному полету фантазии. Так умели писать только, может быть, некоторые прославленные латиноамериканцы. Но они не знали о нем, и он, думаю, не знал о них. Когда-нибудь будет забыта русская оккупация, а о тех годах станут говорить, что это было великое время чешской культуры, когда жил Грабал, написавший книги "Я обслуживал английского короля" и "Слишком шумное одиночество"[1].

На родине многие книги Богумила Грабала (1914—1997) удостаивались премий издательств уже с середины шестидесятых, а в 1996-м из рук президента Чешской Республики Вацлава Гавела писатель получил медаль "За заслуги". Переводы прозы Грабала стали выходить еще в 1965 году, и к настоящему времени лучшие его произведения можно прочитать почти на всех европейских языках. Киноверсия знаменитой новеллы "Поезда особого назначения" в 1967 году была удостоена в США "Оскара" за лучший неанглоязычный фильм. В девяностые годы Грабалу был присужден целый ряд международных литературных премий и званий, среди них, например, почетный титул Французской Республики "Рыцарь литературы и искусства". Тогда же писатель объехал с лекциями и авторскими чтениями несколько университетских городов Западной Европы и США, а в 1994 году он был выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе.

Однако всеобщее признание пришло к Грабалу не сразу. Первый его поэтический сборник не вышел в связи с национализацией в 1948 году многих частных

© Bohumil Hrabal 1979, 1986, 1990
© А. Кравчук. Вступление, 2001

1. С первым из названных романов российский читатель смог познакомиться благодаря публикации его русского перевода в "ИЛ" (1992, № 1), второй в настоящее время готовится к печати в петербургском издательстве "Амфора". (*Прим. автора.*)

предприятий, в том числе и типографии города Нимбурка, где он готовился к печати. Книга рассказов 1959 года в последний момент была рассыпана в наборе, а художественный фильм "Жаворонки на нити", снятый в 1969 году режиссером Иржи Менцелом по мотивам прозы писателя, еще до премьеры попал в спецхран на целых двадцать лет.

Если не считать ранних поэтических опытов, то первые крупные произведения были созданы писателем на четвертом десятке жизни, а опубликованы только в шестидесятые годы. В одном из интервью Грабал так объяснял причины своего довольно позднего вступления в литературу: "Карел Чапек считал, что прозаик становится писателем к сорока годам. Это правда. До тех пор тот, кого интересует не столько жизнь, сколько ее отображение, вынужден помещать сам себя в ситуации, идущие вразрез с его пониманием мира, в ситуации, которые ему, так сказать, против шерсти и сверх его сил... Я, вечно сомневающийся в себе человек, обязан был предоставлять людям гарантии уверенности в завтрашнем дне (в течение года Грабал служил страховым агентом. — *А. К.*); я любил бесконечные прогулки у воды и закаты солнца, а работал четыре года на металлургическом заводе в Кладно; я не выносил театр и актеров, а был четыре года рабочим сцены, и так далее. И все-таки я смог выжить в этом чуждом мне окружении и в итоге полюбил людей, с которыми работал, и увидел главное: что они там такие же робкие, как и я, и эта робость является своеобразным "поясом целомудрия", скрывающим их милую и добрую сущность, но только они стыдятся этого, ибо доброта и взаимная вежливость в мире уже вроде как выветрились".

Благодаря ходатайству своего друга и учителя, известного чешского художника и поэта Иржи Коларжа, писатель с 1962 года начинает получать денежное пособие как работник искусств. Эти средства вкупе с пенсией по инвалидности, которую Грабал получил в результате производственной травмы в Кладно, позволили ему полностью посвятить себя литературе. Период его наибольшей творческой активности совпал по времени с гонениями, которые — по указке Москвы — обрушили на инакомыслящих чехословацкие власти. Расцвет национальной культуры во время оттепели шестидесятых годов сменился глубоким кризисом после введения в страну войск Варшавского договора. Произведения литераторов, которые принимали участие в событиях Пражской весны, изымались из библиотек, а сами авторы подвергались преследованиям. Не избежал этой участи и Богумил Грабал. Тираж двух его только что написанных книг в 1970 году был пущен под нож. Отныне публиковать свои новые произведения официально писатель практически не может. Многие из них попадают к читателю благодаря чешскому самиздату либо эмигрантским изданиям. Те же, что легально печатаются на родине, выходят со значительными цензурными сокращениями. Широкая популярность помогла Грабалу избежать серьезных преследований, однако каждая новая неофициальная публикация провоцировала очередной конфликт писателя с властями.

После "бархатной революции" 1989 года Богумил Грабал вновь обрел массовую аудиторию. Этому в немалой степени способствовал Вацлав Гавел. В 1994 году прессу облетело сообщение о встрече двух президентов: американского — Билла Клинтона и чешского — Вацлава Гавела в... пражской пивной "У золотого тигра"! Столь неподобающее, казалось бы, место для визитов официальных лиц выбрано было исключительно ради Богумила Грабала.

Йозеф Шкворецкий, известный чешский писатель, руководивший эмигрантским издательством в Торонто, называл Грабала "великим новатором чешской прозы". Самый большой парадокс в современной чешской литературе состоит, по его мнению, в том, что юрист по образованию, литератор и эстет Богумил Грабал

пишет о посетителях пивных. "Внешне Грабал, — говорил Шкворецкий, — грубоватый простак из пивной, но по сути это нежный лирик и комок нервов".

В творчестве Богумила Грабала самым естественным образом сочетаются искрометный гашековский юмор и утонченное лирическое чувство, глубокие философские размышления и натуралистические сцены, сюрреалистическая техника и неподдельный интерес к банальностям обыденной жизни. И эти, казалось бы, несовместимые черты объединяет чувство радостного, в чем-то даже детского восхищения миром, которое и придает прозе Грабала особое очарование.

На снимке: Б. Грабал, В. Гавел и Б. Клинтон. 1994 г.

Из книги "Прекрасные мгновения печали"

Русалка

Из школы я побежал на отмель, где стояли баржи с песком, суда, с которых песковозы – по мосткам, на тачке – выгружали из чрева корабля песок. Песковозы всегда были загорелыми по пояс, не так, как загорают те, кто голышом лежит на пляже, а как-то по-другому, от работы. Они были загорелыми, как на рекламе крема для загара. Один из этих песковозов уже давно просто околдовал меня. На груди и руках у него были вытатуированы русалки, якоря и корабли с парусами. Один парусник так мне понравился, что я захотел, чтобы у меня на груди тоже был такой же. Я уже предвкушал, как он подымает паруса на моей груди. И вот сегодня я набрался смелости и говорю:

– Такой вот кораблик, как у вас, он не смывается, он на всю жизнь?

Песковоз уселся на мостки, достал сигарету, закурил; он вдыхал и выдыхал дым, а парусник вздымался и опадал, словно плыл по волнам.

– Тебе нравится? – спросил он.

– Еще как, – отвечаю.

– Хочешь такой же?

– Ну да, – говорю, – а сколько такой кораблик стоит?

– За бутылку рома мне его нарисовали в Гамбурге, – сказал песковоз и ткнул в золотую надпись на моей матросской шапочке.

– Значит, мне надо ехать в Гамбург? – пробормотал я разочарованно.

– Еще чего, – засмеялся песковоз, – вот этот якорь и это пронзенное сердце мне сделал Лойза, который сутки напролет сидит вон там, в пивной "Под мостом". За стакан рома.

– А он может и мне нарисовать такой кораблик? – поднял я глаза.

– За два стакана, – поправился песковоз и бросил окурок; сигаретный дым, кажется, придал ему сил.

– Вам нравится курить, да? – спросил я.

– Лучше одна сигарета, чем хороший обед, – сказал он и крепко взялся обеими руками за мостки, которые вели из глубин корабля к песчаной куче на берегу. Подняв вверх ноги, он замер в стойке головой вниз, как отражающаяся в реке соборная башня, и все его вытатуированные кораблики перевернулись вверх килем. Я видел покрасневшие налившиеся кровью глаза песковоза – а потом он внезапно переломился в поясе и коснулся босыми ногами мостков, так что кораблики опять оказались мачтой вверх и опять были готовы плыть в Гамбург.

– Спасибо, – сказал я.

И побежал по отмели, в ранце за спиной у меня гремели пенал и учебники, а я бежал к мосту, где вверх по склону пыталась подняться фура с песком, которую тянули две лошади, они очень старались, из-под копыт у них сыпались искры, но воз, полный мокрого песка, был таким тя-

© С. Скорвид. Перевод, 2001

желым, что напрасно кучер, стоя перед лошадьми, грозил им кнутом и дергал вожжи, лошади растерялись, они уже тянули воз не вместе, а вразнобой — но все ни с места. Тогда возчик принялся стегать лошадей по ногам, а потом рукоятью кнута бить их по ноздрям; прохожие облокачивались о перила и смотрели на все это с полным равнодушием. А я при виде такого позорного зрелища стал красным, потому что лошадь для меня — святое животное, глаза мои налились кровью, и я стал набирать полные пригоршни песка и швырять его в возчика, я совсем запорошил ему глаза, и он грозил мне кнутом, а я все кидал и кидал, точно свихнувшись, полные горсти песка, и возчик погнался за мной и кричал, что вытянет меня кнутом, но я уже стоял возле перил на мосту и вопил:

— Вы жестокий, жестокий! За это вы умрете от какой-нибудь гадкой болезни!

И я помчался по мосту на другую сторону, но на полпути, на середине моста, остановился, оперся о перила и подождал, пока отдышусь, пока кровь вернется туда, где она была раньше, пока я отдохну. А потом зашагал обратно, туда, где мост переходит в Мостецкую улицу, там я свернул вниз, к турецкой башне и к мельнице, миновал Фортную улицу, суд, пересек залитую лучами послеполуденного солнца храмовую площадь и вошел в церковь.

В храме никого не оказалось, там было хорошо, прохладно, я начал оглядываться по сторонам, но не увидел ничего, кроме двух кружек для пожертвований возле молитвенных скамеечек. У меня опять заколотилось сердце. Чтобы успокоиться, я опустился на колени под статуей святого Антония и сделал вид, что молюсь. Склонив голову, я прошептал:

— Я хочу, чтобы у меня на груди был кораблик... за два стакана рома... мне нужны деньги, я одолжу их в церковной копилке, даю честное слово, что обязательно верну эти деньги.

Я поднял глаза и взглянул на святого Антония, который улыбался мне, сжимая белую лилию, он не возражал, а только улыбался. И я залился краской, оглянулся, а потом перевернул церковную кружку и тряс ее до тех пор, пока у меня на ладони не выросла кучка монет. Я сунул их в карман, опять встал на колени и закрыл лицо руками, чтобы отдышаться. Я слышал, как в паутине на окне шелестит от сквозняка сухой лист; снаружи доносились шаги и стук колес. Я прикидывал, не лучше ли было занять денег у господина настоятеля, но я понимал, что он бы отговорил меня, ведь я помогал звонарю, я был в церкви на подхвате, чем-то вроде служки. Кроме того, я все равно верну деньги в кружку, так какая разница? Я встал, поднял кверху палец и поклялся:

— Даю честное слово вернуть эти деньги. И даже с процентами!

И попятился вон. Святой Антоний по-прежнему ласково улыбался, и я выскочил из храма на солнце, которое так раскалило стены и крыши домов, что я почти ослеп. Когда же я утер слезы, то перепугался. Ко мне приближался толстый полицейский, сам начальник полиции пан Фидрмуц, он шагал прямо на меня, а потом остановился, и я оказался в его тени, сердце у меня забилось так, что, опустив голову, я заметил, как в ритме сердца подрагивает черная лента на моей матроске; я вытянул вперед руки и скрестил их. Начальник полиции стоял рядом со мной, разыскивая что-то в карманах, и я догадался, что он ищет наручники. Не найдя их в карманах темно-синего мундира, он сунул руку в карман брюк. Там он наконец нашел искомое: с довольным видом вытащив портсигар, он долго выбирал вирджинскую сигару, потом размял ее, до-

стал спички, с наслаждением закурил и прошел мимо меня, неся свой огромный живот. А я широко открыл глаза и посмотрел на скрещенные руки — и мне настолько полегчало, что я опять помчался на мост. Сумка с пеналом и учебниками подпрыгивала у меня на спине, и я просунул под ее ремешки оба больших пальца, а когда я перебежал через мост, то простучал башмаками по ступеням, что вели вниз, к реке. Здесь, под пролетом моста, всегда было тихо, сюда редко кто заглядывал, разве что справить малую или большую нужду. Здесь, под шатким камнем, у меня был тайник, где я хранил чернила и ручку. Если я приходил в школу с несделанным уроком, а учитель спрашивал почему, то я отвечал, что забыл тетрадь дома. И учитель отправлял меня домой, а я, чтобы не терять времени, покупал в писчебумажном магазине тетрадку и тут, в тишине и покое, делал на коленях домашнее задание. Вот и сейчас я тоже сел и пересчитал, сколько у меня денег. Их хватило бы не на два, а на шесть стаканов рома...

В пивной "Под мостом" царило веселье.

— Что это за морячок к нам пожаловал? — воскликнул пан Лойза.

А я стоял перед ними в матроске и круглой матросской шапочке с черным кантом, который сзади раздваивался, как ласточкин хвост, надо лбом у меня красовался золотой якорь, а под ним виднелась золотая надпись "Гамбург". Пан Лойза снял с меня шапочку, надел ее себе на голову и принялся кривляться; песковозы смеялись, а я улыбался и чувствовал себя счастливым; пан Лойза вышагивал по залу, отдавал честь и так гримасничал, что я хохотал не меньше прочих. И я сказал себе: вот вырасту большой и тоже буду этак сидеть в пивной, считая за честь знаться с симпатичными тружениками реки. У пана Лойзы не хватало передних зубов, и он умел так ловко захватывать нижней губой верхнюю, что та доставала до кончика носа и облизывала его. И вот он ходил в моей круглой матросской шапочке, а стол песковозов возле окна аплодировал ему, и трактирщик подносил все новые кружки с пивом. Я заказал две порции рома.

— Пан Лойза, — сказал я, — это вам от меня.

— Ого! А где же ты взял деньги?

— Я их одолжил. У самого Бога, — ответил я.

— Ого! Так ты с ним говорил?

— Нет, его не было дома. Мне дал денег один из его свиты. Святой Антоний. Он одолжил их затем, чтобы вы нарисовали у меня на груди красивый кораблик. Такой же, какой на груди у песковоза, вон у того, у пана Корецкого.

Пан Лойза засмеялся и сказал:

— Хм, что ж, раз в этом замешаны небеса, ты получишь свой кораблик. А когда?

— Прямо сейчас, за этим я сюда и пришел, — проговорил я.

— Но, сынок, у меня нет с собой иголки.

— Так сбегайте за ней, — попросил я.

— Черт побери, — воскликнул пан Лойза, — этот парень сразу берет быка за рога!

И он разом проглотил содержимое стакана и начал выбираться со своего места возле окна между колен посетителей, а в дверях он сделал мне знак рукой — мол, я иду не только за иголкой, но и за краской для татуировки. А песковозы усадили меня к себе, и трактирщик принес мне малиновое ситро.

— А у этого вашего настоятеля, сколько у него кухарок? Две или три? — спросил у меня песковоз пан Корецкий.

— Две, и обе очень молоденькие, — ответил я.

— Молоденькие?! — закричали все песковозы.

— Молоденькие, — говорю. — Когда у господина настоятеля хорошее настроение, он сажает одну кухарку на стул, наклоняется, подкладывает ладонь под сиденье, как трактирщик, который несет полный поднос пива, и вдруг — гоп-ля! — поднимает красивую кухарку к самому потолку, и юбка кухарки взлохмачивает ему волосы, и он носит ее на стуле по кухне.

— Ого! — вскричали песковозы. — Юбка взлохмачивает ему волосы!

— У него точно нимб появляется, — отвечаю, — наш настоятель, господа, силен, как швейцарский бык. Он один из шести детей, и его отец был таким сильным, что, когда сыновья клали на стол орех, он — раз пальцем! — раскалывал его лучше, чем щипцы для орехов. Но господин настоятель в младенчестве, да и в детстве был самым слабым из всех шестерых и не годился для работы в лесу, так что родители все спрашивали друг друга — что же нам с ним делать? И отдали его учиться на священника. На ужин у них бывала огромная миска картошки, вся семья садилась вокруг стола с ложками наготове, а потом матушка хлопала ложкой, и все восемь ложек быстро и наперебой ныряли в миску — до тех пор, пока из нее не исчезала последняя картофелина.

Я рассказывал все это с серьезным видом и сам себе кивал в знак согласия, песковозы хотели смеяться, но смех замирал у них на губах. Тут вернулся пан Лойза, он потрясал в дверях склянкой и иглой в раскрытом саквояже — точно таком, с каким ходил холостильщик пан Салвет. И я, сгорая от нетерпения, стянул через голову матроску, а пан Лойза поставил открытый саквояж на стол.

— Так какой же кораблик ты хочешь? Лодочку, яхту, бриг, пароход? — спросил пан Лойза и повел рукой, веля песковозам переставить кружки с пивом на подоконник.

— А вы умеете рисовать любые корабли? — всплеснул я руками.

— Выбирай, — сказал пан Лойза и кивнул одному песковозу, и тот спустил верхнюю часть надетого на голое тело комбинезона и повернулся ко мне спиной: она была сплошь покрыта самыми разными татуировками — русалками, бухтами канатов, сердцами, инициалами, парусниками. У меня глаза разбежались при виде этих замечательных картинок, и мне захотелось одолжить в церковной кружке все-все деньги, все монетки, потому что я возмечтал обзавестись всеми татуировками, какие только увидел на спине и груди песковоза. За любые деньги.

— Выбирай, — предложил пан Лойза.

Я указал на маленький парусник, и пан Лойза, расстелив на столе газету, уложил меня на спину.

— А больно не будет? — приподнялся я.

Пан Лойза легонько придавил меня к столу, я глядел на потолок, а Лойза сказал, что только немножко пощиплет.

— Значит, кораблик, парень? — спросил он.

— Кораблик, такой же, на каком плавал Иисус со своими учениками по Генисаретскому озеру, — ответил я и устремил взгляд вверх, я слышал, как двигают стулья, как песковозы наклоняются надо мной, я чувствовал их дыхание, они испускали надо мной свои запахи, а пан Лойза иглой, смоченной в зеленой краске, колол на мне точки, и я погружал-

ся в блаженный сон. Песковозы обдавали меня горячим дыханием, мне казалось, что я лежу в яслях, а надо мной склоняются пастухи, и бычок, и ослик, я как будто превратился в младенца Иисуса. И до меня доносились голоса.

— Ого, у этого кораблика будет роскошная корма!

— Лойза, сделай паруса получше!

— Чего там паруса, главное — бока!

— У кораблика должен быть справный штурвал...

И так я лежал навзничь на столе в пивной "Под мостом", когда я просыпался и хотел подняться, пан Лойза локтем нежно опускал меня обратно. Когда же я опять уснул, пан Лойза разбудил меня и принялся собирать свои татуировочные принадлежности.

— Ну вот, малый, кораблик готов, теперь его у тебя никто не отберет, никто не сотрет. А если надо будет, так есть в Праге один доктор, тот самый, что подтягивает артисткам кожу и убирает у них морщины и веснушки, правда, квадратный сантиметр обойдется тебе в шестьдесят крон...

Пока пан Лойза говорил это, песковозы смеялись, они так хохотали, что просто захлебывались в слезах, а я сидел на столе, когда же я захотел взглянуть на кораблик, пан Лойза бросил мне мою матроску, и сам натянул ее на меня, и сам застегнул полосатый воротник. Потом он помог мне надеть на спину ранец, нахлобучил на меня шапочку и поправил якорь и золотую надпись "Гамбург".

— Пан трактирщик, — заказал я, — еще два рома за мой счет.

И я улыбался всем песковозам, а они в ответ смеялись, но не так, как прежде, а немного виновато и больше не смотрели мне в глаза. Я расплатился, причем протянул трактирщику остаток монет, потому что тот, у кого на груди кораблик, обязан быть щедрым.

— Вот, пан трактирщик, это вам на чай, — сказал я, в дверях повернулся, отдал всем честь и, провожаемый громовым смехом песковозов, выбежал в темноту вечера...

На мосту я очутился в гуще метели посреди лета. От реки летели вверх сотни тысяч мотыльков-однодневок, они устремлялись на свет газовых фонарей и падали на брусчатку, возле столбов высились сугробы мотыльков. Они били меня по лицу, а когда я наклонился и сунул руку в мотыльковую кучу, насекомые зашевелились, точно вода закипела. Люди скользили на мотыльках, как на льду. А я шагал вперед, никто пока еще не видел и не знал, что на груди у меня вытатуирован кораблик, который поплывет со мной всюду, куда бы я ни пошел, и когда я буду купаться, когда буду плыть, его нос станет разрезать речную гладь, когда же я загрущу, то разорву рубашку, как Иисус на картинах, Иисус, разрывающий одежды, чтобы показать людям свое пылающее сердце в терновом венце. И на мосту мне пришло в голову, что первым мой кораблик должен увидеть господин настоятель. И я зашагал от одного газового фонаря к другому, прошел через большие ворота и, окруженный крутящимися столбами мотыльков, очутился во дворе дома настоятеля, где сиял фонарь; я миновал огородик и приблизился к освещенным окошкам. По стене, по натянутым бечевкам, вился виноград, я подтянулся и, держась одной рукой за бечевку, другой отодвинул в сторону виноградные усики и листья. Для начала я увидел стол, покрытый зеленым плюшем, на котором стояли бутылка вермута и недопитая рюмка. А потом я увидел такое, чего мне видеть явно не следовало. Господин настоятель

связывал двух смеющихся кухарок то ли скатертью, то ли простыней. Связав девушек, он опустился на колени и втянул носом аромат их животов. Я закрыл глаза, а когда отыскал в себе силы открыть их, то увидел зрелище, которое наверняка восхитило бы и песковозов из пивной "Под мостом". Господин настоятель, сжав эту скатерть в зубах, раскинул руки, как артист, и теперь держал связанных кухарок только зубами, а служанки молотили по воздуху черными туфельками и задевали волосами потолок, а настоятель носил их туда-сюда по комнате, и я радовался, что он совсем как Иисус, что у него хватает сил поднять двух связанных простыней кухарок. Обойдя несколько раз комнату, он опять наклонился и поставил кухарок на пол. А сам упал в кресло и засмеялся, девушки поправляли юбки, а настоятель допил вино и заново наполнил рюмку. Я осторожно спустился по виноградным лозам на землю, завернул за угол дома и постучал в дверь. Я услышал шаги, дверь открылась, и кухарка пригласила меня войти.

— Что тебе? — спросил господин настоятель, держа рюмку в руке.

— Господин настоятель, — сказал я, — благословите меня.

— С чего вдруг — и почему так поздно?

— Да вы взгляните!

И я отстегнул воротник, разрисованный синими полосками, похожими на морские волны, и распахнул матроску. Так я и стоял — на макушке синий матросский ободок, как святой Алоизий с нимбом вокруг головы, светясь от счастья. Но кухарки перепугались и зажали обеими руками рты. Мотыльки бились в оконные стекла и падали в цветущие флоксы. Настоятель поднялся, погладил меня по плечу и заглянул в глаза.

— Кто это тебе сделал?

— Пан Лойза в пивной "Под мостом".

— А что он тебе нарисовал?

— Кораблик, такой же парусник, на каком плавал Иисус.

Настоятель кивнул кухаркам, и они принесли из передней большое зеркало, придерживая его каждая со своей стороны. Настоятель сделал знак, и они встали на колени, чтобы я мог заглянуть в зеркало. Надо мной склонялось лицо настоятеля, и я увидел, что у меня на груди вытатуирована зеленая русалка, русалка с чешуйчатым хвостом, русалка с обнаженным телом, русалка, которая улыбалась точно так же, как господин настоятель, когда он сжимал в зубах завязанную узлом большую скатерть с кухарками. От изумления и ужаса у меня потемнело в глазах.

— Теперь ты не можешь оставаться у меня служкой... Ты что-то сказал?

— Шестьдесят крон за квадратный сантиметр, — пробормотал я и обеими руками прикрыл зеленую русалку.

Кухарки прыснули со смеху, но настоятель сделал осуждающий жест рукой.

— Это хорошо, — говорил он, медленно, неспешно ходя по комнате, — это хорошо, что ты прибежал прямо ко мне. В жизни тебе придется непросто.

И погладил меня по спине.

Розовый клевер

ГОСПОДИН настоятель Спурный, излагая библейскую историю, умел говорить таким тихим и нежным голосом, что мы всякий раз думали, будто душой он не в классе и вообще не в нашем городке, а где-то в другом месте, где-то в земле Ханаанской, плавает по Генисаретскому озеру или пребывает в Тарсе. Из всего, что происходило в те времена, самое чудесное приключилось со святым Павлом. Мое воображение поражала мысль о том, что вот я, к примеру, еду на велосипеде, а тут с небес ударяет молния, я падаю на землю и вдруг становлюсь совершенно другим человеком.

Возможно, господин настоятель любил рассказывать о святом Павле потому, что сам он в один прекрасный день вез в своей машине баронессу из Кипарисовой усадьбы и, проезжая по главной улице и переключая скорость, вместо рычага переключения скоростей схватился за коленку баронессы и врезался в витрину пана Милана Гендриха, который торговал "волшебными сорочками", но, если не считать разбитого лобового стекла, ни с настоятелем, ни с баронессой среди этих сорочек в витрине ничего не стряслось. И я уверовал, что он спасся чудом, потому что сорочки, которые продавал Милан Гендрих, приносили счастье. Целыми неделями в его витрине и в "Ольшанской газете" всеми красками сверкала реклама... Во время драки в Драгелицах торговца-цыгана пырнули ножом в сердце, но так как на Лайоше Ружичке была сорочка от Милана Гендриха, улица Палацкого, с ним ничего не случилось. Каждую неделю я раскрывал "Ольшанскую газету" и читал там про очередное чудо. Под рухнувшими строительными лесами нашли разнорабочего Йозефа Бандру, но так как на нем была сорочка от Милана Гендриха, улица Палацкого, с ним ничего не случилось. И этак вот каждую неделю новое чудо: с человеком, которого переехал поезд или которого подстрелили при охоте на куропаток, благодаря сорочке от Милана Гендриха, улица Палацкого, ничего не случилось. Вот и господин настоятель во время той аварии, когда он схватился за коленку баронессы, наверное, был в сорочке от Милана Гендриха, улица Палацкого, к которому он и въехал на машине в витрину, и с ним ничего не случилось.

И вот дважды в неделю, когда у нас бывали уроки катехизиса, я надевал сорочку от Милана Гендриха, да и остальные мальчики тоже, потому что весь наш городок не покупал сорочек ни в каком другом месте, а только на улице Палацкого. Господин настоятель прохаживался между партами и, ступая тихо, со взором, обращенным в прошлое, негромко рассказывал: "И Иисус, сев в лодку, отправился в Капернаум...", а Завазал вырезал ножиком на скамейке большое сердце, остальные же ученики внимали тихому голосу, который будто тоже переправлялся с Иисусом в Капернаум, и вдруг Завазал стукнулся головой о парту, из носа у него потекла кровь, и он закричал; все испугались, но настоятель ступал себе неслышно дальше, и Завазал утирал кровь, в то время как Иисус говорил своим ученикам: "Чего боитесь, маловеры?" И тихий голос настоятеля разносился по классу, я играл дробинками из металлического шара, при помощи которого поднималась и опускалась большая

керосиновая лампа, настоятель глядел в окно — и вдруг хвать меня за руку и, набрав полную горсть дробинок, продолжал свой путь, никто ничего не заметил, а господин настоятель все плыл и плыл по Генисаретскому озеру в Капернаум. Когда же настала глубокая тишина и голос настоятеля воспарил над водами, у меня вдруг страшно заболела наголо остриженная голова, словно град обрушился на нее сверху, я закричал, схватившись за голову, точно исклеванную пригоршней дробинок, которые кто-то низверг мне на макушку... все испуганно оборачивались на мой крик, а господин настоятель шагал себе дальше, рука у него была пустая, по полу же раскатились дробинки, а голос настоятеля переправлялся с учениками Христа по Генисаретскому озеру в Капернаум. Вот так во время уроков катехизиса, на каждом самое меньшее четыре раза, раздавался вопль кого-то из нас, кому господин настоятель влеплял увесистую затрещину, которая повергала баловника на скамью, но настоятель продолжал прохаживаться, и ни с кем из учеников не случалось ничего плохого, потому что все мы носили сорочки от Милана Гендриха, улица Палацкого, 156.

Господин настоятель вообще часто пребывал в мечтательном настроении. Например, летом он переселялся из домика при церкви в комнату на самом верхнем этаже угловой башни. Туда ему приходилось взбираться по лестнице, и за дверями, ведшими в его обиталище, было большое помещение с почерневшими балками и тремя маленькими окошками, которые пропускали днем столько света, что в полумраке даже становилось больно глазам. Здесь у господина настоятеля была летняя квартира с кроватью, столом и стульями и скамьями под окном. И раз в год он приглашал сюда своих учеников, чтобы они отдраили ему лестницу и вымыли пол. И всякий раз он оставлял нас одних, зная, что все мы помним по школе: если мы будем делать нечто неподобающее, то сверху на нас обрушится страшная затрещина, такой удар, который швырнет любого из нас на пол или сбросит со ступеней, однако же ничего плохого ни с кем не случалось, потому что каждый ученик был облачен в сорочку из магазина Милана Гендриха, улица Палацкого, 156. И вот мы таскали ведра с водой, терли, ползая на коленках, пол — и смотрели в окна, потому что оттуда открывался изумительный вид на реку, на шпиль крытой толем крыши приходской церкви и на отливающий краснотой храм Святого Илии. Высокие старые деревья возносили свои кроны к самым окнам настоятеля. Мы видели их верхушки, колеблющиеся на веявшем с реки ветру. Но самый замечательный вид открывался из среднего окна — поверх деревьев на текущую внизу реку. Внизу же, вдоль пристани, тянулись тропинки, а прямо под башней простирался огромный сад настоятеля, обнесенный забором, и там в кустах стояли скамейки. И я, как и остальные ребята, знал, что господин настоятель сидит в гостинице “На Княжеской”, потягивая вермут, но его невидимая карающая десница неизменно возносится над нами, так что мы драили лестницу и пол и переговаривались между собой шепотом. Когда же мы были совершенно уверены, что господин настоятель сидит “На Княжеской”, потягивая вермут, и смотрели через окно вниз, на сад со скамейками в кустах вдоль забора, он внезапно являлся перед нами, толстый и могучий; стоя среди нас, он велел перенести его кресло к окну, затем садился и смотрел через окно на реку, верхушки деревьев покачивались в лучах солнца, а господин настоятель говорил: “Ладно, ребята, хватит, ведра оставите возле дома”. Сказав это, он тут же о нас

забывал и принимался смотреть на струящую свои воды реку с деревьями на другом берегу — и выглядел красивым. Мы сбегали по ступеням с четвертого этажа и во дворе все еще поеживались, потому что нам казалось, будто вот-вот кто-нибудь из нас закричит, или схватится за голову, или у кого-нибудь потечет из носа кровь от сильного удара десницы, которая обрушится сверху и повалит нас наземь.

Когда весна приближалась к концу, когда было уже почти лето, однажды в субботние сумерки я перешел освещенный мост, а потом свернул к мельнице и зашагал мимо старого "Рыбного подворья" вдоль ограды церковного сада. В полумраке летнего вечера люди прогуливались по плотине или отдыхали на лавочках в кустах. И я остановился и посмотрел наверх, на три окна в башне, сквозь стены я видел, как господин настоятель сидит там и потягивает вермут, глядя на отражающуюся в реке луну, и он тих и нежен, хотя у него столько силы, что он может поднять зубами двух кухарок, связанных скатертью. Я видел, как он сидит там в одиночестве, беседуя только со святым Павлом, и глядит с обеда до сумерек, как склоняется к горизонту солнце и выходит луна. А я стоял внизу, у забора его сада, потому что понял, что уже пришел пан Чопрыш, машинист, я узнал его по блеснувшей лысине. И, как и каждую субботу, когда был такой вот прекрасный вечер, он перетащил скамейку в самые заросли, а потом уселся на нее, разведя колени, извлек крохотную губную гармошку, инструментик ничуть не больше детского складного ножика, и начал играть на ней так трогательно и проникновенно, что все останавливались и заслушивались, как если бы в кустарнике пел соловей. В воде затона отражалась луна, река серебрилась волнами, точно жалюзи на магазине пана Милана Гендриха, а пан Чопрыш играл на губной гармошке, и я видел, как господин настоятель сидит наверху у раскрытого окна и — через вершины деревьев — внемлет музыке, видел, как в окне забелел фартучек его кухарки, высунувшейся из башни, чтобы лучше слышать укрывшуюся в кустах гармошку... а из гармоники лилась грустная песня, вдыхаемая и выдыхаемая крохотным инструментиком размером не больше детского складного ножика.

Когда пан Чопрыш доиграл, было слышно, как на скамейке в кустах возле ограды церковного сада он переводит дух, чтобы, собравшись с силами, сыграть "Юмореску". Это был его коронный номер — "Юмореска", исполняемая на губной гармошке, причем с таким чувством, что люди переставали прохаживаться, чтобы шуршанием песка на дорожке, шедшей вдоль пристани, не испортить песню. Когда же пан Чопрыш, машинист, закончил "Юмореску", воцарилась тишина. Такая глубокая, что сквозь нее отчетливо доносились плеск волн в реке и шелест камышей. А из кустов вылез пан Чопрыш, весь в поту, лицо его в лунном свете казалось подернутым ртутью, у него были кривые ноги, брюшко и носик как у грудных младенцев в коляске, и он, задыхаясь, набирал в легкие воздух, потому что на маленькой губной гармошке он играл всем своим могучим телом. Я же поглядел вверх, там, в окне башни, по-прежнему белел фартук кухарки, а господин настоятель сидел в кресле и смотрел на текущую в лунном свете реку.

Как-то раз, когда я еще был церковным служкой, мы с господином настоятелем шли в деревню соборовать умирающую крестьянку, я среди белого дня нес зажженный фонарь, а когда мы выбрались из леса в поле, там жнецы жали рожь, и настоятель говорит: "Дайте и мне попробовать..." Один жнец вытер косу и подал ее господину настоятелю, про-

чие же жнецы усмехались, но когда настоятель взял косу и расставил ноги, то с каждым его мощным взмахом их улыбки все заметнее и заметнее тускнели. И вот господин настоятель косил, и рожь после очередного удара косы ложилась точно как надо, будто настоятель сам был из жнецов. Пройдя полосу, он обернулся, взглянул на плоды своего труда и, утерев лоб, вернул косу, а затем я понес дальше через поля зажженный фонарь, а настоятель нес на блюде облатку, чтобы дать ее в деревне умирающей крестьянке...

Еще я видел, как во время уборки ржаных снопов в полях за пивоварней господин настоятель, сняв свое люстриновое пальто, брал в руки вилы и кидал на воз сразу по две копны, да так быстро, что у него их не успевали принимать. Больше всего он любил грузить снопы на поле барышень Шафаржиковых, там за хозяина была старшая сестра, которая выглядела как переодетый мужчина, она носила сапоги и курила, а с лошадьми обходилась не хуже заправского кучера. Ей помогала младшая — красавица под стать настоятелевой кухарке, но и у нее спорилась любая работа в поле и на конюшне. Так вот, господин настоятель убирал у них всю рожь, все хлеба, а потом, насквозь мокрый от пота, зажав свернутое пальто под мышкой, возвращался берегом реки назад в городок. Только один раз, когда он принимал снопы и укладывал их на самом верху высоко нагруженного воза, потому что никто не умел класть снопы вдоль и поперек так ровно, как господин настоятель, он свалился с воза, но с ним — не иначе как чудом — ничего не случилось, ведь на нем была сорочка от Милана Гендриха, улица Палацкого, 156.

А сегодня я шел домой из школы... Обычно я любил забраться на парапет каменного моста и по нему, словно канатоходец пан Тршиска, перебегал на ту сторону реки, в Залабье, а там спрыгивал и шагал дальше. Однако сегодня я возвращался кружным путем, через железнодорожный мост, и в начале его заметил металлические ограждения, поднимавшиеся наверх, к самой конструкции моста. Я залез на ограждения, передо мной тянулся на другую сторону металлический настил, усеянный многочисленными заклепками; если бы проехал поезд, я смог бы коснуться рукой паровозной трубы, подо мной перекрещивались железные балки, и весь мост, державшийся на трех опорах, сверкал рельсами, что где-то вдалеке сворачивали к пивоварне, сиявшей бежевыми стенами в глубине фруктового сада. Я двинулся вперед, слегка раскинув руки, а посреди моста остановился и принялся смотреть вниз. За мостовой опорой река, покрытая рябью, образовывала водовороты. Я сел и начал болтать ногами, воображая, будто бы по щиколотку окунул их в воду; я смотрел вниз по течению реки, туда, где за лугами вздымались над вербами высоченные тополя, и еще дальше, на Комаренский остров, я перевел взгляд с полотна железной дороги на поля: там стоял воз, кони, нагнув шеи к куче розового клевера, лакомились им, и я видел, что мужчина в белой рубашке косит клевер, что другой косой орудует женщина и что вторая женщина, в платке, собирает скошенную траву в копенки. Я закрыл глаза, солнце приятно пригревало, вокруг не было ни души, только на реке спиной ко мне сидел в лодке рыбак...

Потом вдруг мост загрохотал, он весь сотрясался, так что я крепко ухватился за железные балки; приближался поезд, и мост под ним прогибался, грозя переломиться, паровоз выпустил пар, окутав меня всего влажными клубами и дымовой гарью, но вот паровоз с тендером достиг другого конца слегка изогнувшегося моста, вот уже стал быстро уда-

ляться от меня и последний вагон, увозя с собой стук колес, и в хвосте поезда качался фонарь и подпрыгивал бело-красный круглый щит — знак того, что состав кончился. Но когда мост содрогался так, что чуть не сбросил меня вниз, и когда паровоз окутал меня паром и дымом, в клубах которого померкло солнце, я не испугался, потому что, даже свались я в воду, со мной бы ничего не случилось, ведь на мне была сорочка от Милана Гендриха, улица Палацкого, 156.

Потом я встал и побежал по верхнему настилу железнодорожного моста; на той стороне реки укладывали на воз розовый клевер, и я, миновав мост и посмотрев вниз, увидел, что мужчина в белой рубашке — не кто иной, как господин настоятель. Теперь он стоял на возу по колено в клевере и принимал все новые и новые охапки, рядом, утопая в клевере по самый пояс, стояла красивая барышня Шафаржикова, а ее сестра в сапогах сильными взмахами вил подавала клевер наверх; потом она взяла вожжи, подвела воз к следующей копне и опять начала собирать вилами розовые цветы и закидывать их на воз, где господин настоятель подхватывал клевер и разравнивал его, и у него еще находилось время сыпать пригоршни цветков на голову красивой барышне, она смеялась, ее волосы были полны клевера, и вдруг, подобравшись к настоятелю, она сама бросила ему на голову большую горсть розовых цветов. Господин настоятель погрузился уже в клевер по пояс, воз был так нагружен, что женщина внизу не видела обоих, ей приходилось вставать на цыпочки, чтобы закинуть вилами клевер наверх, где всякий раз показывались только руки настоятеля, который его принимал. И вот старшая сестра, взяв вожжи, подвела скрипучий воз к последней копне, и я с моста увидел, что господин настоятель вдруг в этом клевере упал на барышню, так он и лежал на ней, засыпанный розовыми цветами, и внезапно, наклонив голову, всю в клевере, поцеловал девушку долгим поцелуем, она же сомкнула руки у него на затылке; воз скрипел, лошади тянули его, так что кожа на их мощных ляжках собиралась складками, а господин настоятель все лежал на барышне и целовал ее, ноги у нее были раскинуты, широко раскрытые глаза глядели в небо. Старшая сестра остановила лошадей, набрала полные вилы свежего клевера, но наверху его никто не подхватил, потому что господин настоятель лежал в клевере на девушке, волосы и лица у обоих были засыпаны розовыми цветами, и они целовались так долго, что, казалось, лишились чувств. И при этом я знал, что с господином настоятелем ничего не случится, ибо свою белую рубашку он купил в магазине Милана Гендриха, улица Палацкого, 156.

“Ш*естиклассница*”

САМЫМИ большими детьми в нашем городке были взрослые, а среди взрослых были такие, которые разыгрывали представления. Чуть ли не все они ходили к нам в пивоварню: когда забивали свиней, когда был сезон охоты на куропаток и зайцев, а главное, когда наступала пора генеральных репетиций. Каждые два месяца они радовали нас новой пьесой, которую вначале несколько вечеров кряду читали у нас дома, при этом они пили пиво, ели толстые ломти хлеба, намазанные смальцем, и произносили вслух то, что собирались испол-

нять на сцене. Потом они ездили в Прагу — посмотреть, как эту пьесу ставят там. А потом приходила прекрасная пора репетиций на сцене. Матушка поила коз и задавала корм поросятам, при этом она уже задолго до репетиции облачалась в свой синий костюм и, наконец, зажав роль под мышкой, иногда пешком, а иногда на велосипеде отправлялась в город. Но это уже была не матушка, а дама, которая будет играть в очередном спектакле. Когда ставили "Периферию"[1], матушка изъяснялась с пражским выговором и так вульгарно, что папаша даже заглядывал в роль — есть ли там такое. Когда же она играла женщину с моря[2], то настолько входила в образ, что и с папашей разговаривала раздраженным тоном, а когда Нору[3] — то вначале была с ним обходительна и готова услужить ему во всем, но затем, по мере того как характер ее героини менялся, принималась грозить ему разводом и твердить, что бросит его, и папаша успокаивался, только прочтя в книге, что такова ее роль в последнем действии, и поняв, что на самом деле матушка ни о чем таком и не помышляет. И все же отец пугался, потому что матушка изображала все еще натуральнее, чем бывает в жизни, она так искренне уверяла, что уйдет от него и начнет все заново...

Отцу нравилось, когда матушка играла Дездемону. К последнему действию он совершенно перевоплощался в Отелло и очень жалел, что не может сам сыграть заглавную роль. Поэтому уж последнее-то действие он непременно репетировал с матушкой, и я видел: отец настолько вживался в роль и с такой самоотдачей и удовольствием играл все сцены ревности, что однажды повалил матушку на пол и стал орать на нее, держа одной рукой книжку, а другой сжимая бедняжку так, что у нее заболела рука, и она крикнула отцу, мол, отпусти меня, и обозвала его грубияном. А папаша защищался, говоря, что так написано в книжке, и хотел еще порепетировать с матушкой самый финал, но она вовремя посмотрела на часы и сказала, что ей пора на репетицию в театр, а то отец мог бы задушить ее — так же, как в конце "Отелло".

И вот каждый вечер перед репетицией матушка в синем костюме пересекала площадь со свернутой в трубку ролью под мышкой, прохожие здоровались с ней, останавливались, окружали ее, а она с улыбкой рассказывала им, какой будет спектакль и кто в нем будет играть. Я же стоял под сводами колоннады возле открытой лавки пана Регера, который скупал шкурки зайцев, козлят, хомяков и вообще всякой живности, и здесь так воняло, что люди сюда заходили, только если им это было очень надо. Но отвратительный запах шел не из лавки пана Регера, а сзади, от реки. Туда, за дом, стоявший на площади, свозили кости с бойни, там высилась огромная гора костей, на них еще сохранялись остатки мяса и жил, однако же солнце и, главное, крысы обгладывали это мясо подчистую, так что по ночам тонны костей светились, точно груда фосфоресцирующих стрелок с башенных часов... Итак, я стоял, опершись о колонну, а по другой стороне площади текли два потока прогуливающейся туда-сюда молодежи, девушки, взявшись по четыре под руки, смеялись, и парни, тоже по четверо в ряд, смеялись им в ответ, они кричали что-то друг другу, и один поток стремился вверх по площади, а второй вниз, и стоило этим четверкам разминуться, как всякий из них

1. "Периферия" — пьеса чешского драматурга и прозаика Ф. Лангера (1888—1965). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Женщина с моря" — пьеса Г. Ибсена.
3. Нора — героиня пьесы Г. Ибсена "Кукольный дом".

уже не мог дождаться, когда же он опять увидит свою девочку или барышню, или когда она увидит своего мальчика или юношу, и так они развлекались до темноты. А у колонны в честь Девы Марии прохаживались взрослые — заложив за спину руки или с тросточками; они то и дело посматривали на часы, как будто боялись опоздать на поезд, и моя матушка какое-то время прогуливалась вместе с ними, а потом выходила на главную улицу, точно кого-то разыскивая. Я издали хорошо видел, что она никого не ищет, а только делает вид, будто ищет, чтобы люди заметили ее со свернутой в трубку ролью под мышкой, она даже смотрела как-то по-особенному, словно она посвященная и совсем не похожа на остальных, ибо она играет в театре и будет участвовать в новой пьесе, так что пока у всех есть время оценить, как она выглядит на самом деле, чтобы потом сравнить ее с той женщиной, которая выйдет на сцену.

И так вела себя не только матушка, но и другие актеры; я всех их знал, потому что намазывал им смалец на хлеб и подавал бутылки с пивом, они тоже приходили принаряженные, и у каждого из них под мышкой торчала свернутая в трубку роль, так что в сумерках по площади расхаживало туда-сюда десять белых трубочек, и все, кто был занят в очередном спектакле, учтиво приветствовали один другого и с улыбкой извлекали свои роли и потрясали ими, а некоторые делали из них этакий бумажный бинокль и подносили его к глазам. Вот так играли друг с другом эти большие дети, а я стоял под колоннадой, у меня за спиной была неизменно сиявшая огнями лавка пана Регера, от которой ужасно воняло, здесь никто не ходил, поэтому я мог без помех смотреть на тех, кто часто бывает у нас в пивоварне, едва ли не стыдясь того, как они изображают из себя актеров, как готовятся к вечеру, когда начнутся настоящие репетиции. Когда же до премьеры оставалась только неделя, когда актеры уже знали свои роли наизусть, они не ходили больше на площадь, а отправлялись прямиком в театр. За три часа до генеральной репетиции они надевали те костюмы и платья, в которых должны были играть, чтобы научиться в них двигаться, и вот через площадь в гостиницу "На Княжеской" шел в длиннополой хламиде Отелло — господин аптекарь, он придерживал эту серебристую хламиду рукой, чтобы не упасть, лицо у него уже было черное, и на талии сверкал золотой пояс, он бродил туда-сюда по площади, а потом заходил в гостиницу и пропускал рюмочку для укрепления нервов. Матушка же весь день, даже к козам, ходила в длинном атласном платье, как Дездемона, и отвечала знакомым: "Родриго, из Венеции?" Она улыбалась, и ее переполняли то любовь, то горе, в зависимости от того, о каком месте пьесы она думала. И в этом длинном наряде она приезжала в город, она нарочно не ехала прямо в театр, а оставляла велосипед у газетного киоска и, придерживая подол, чтобы не споткнуться и не упасть, шествовала по вечерней главной улице, удивляясь, что не может найти аптекаря Отелло, который стоял в гостинице "На Княжеской" с рюмкой в руке и возвещал окружающим, что Отелло — это благородный варвар и что его-то он и играет. А господин старший учитель вышагивал с рапирой, точно венецианский дворянин, и раскланивался направо и налево в ответ на приветствия; клинок неуклюже оттопыривался, хотя старший учитель уже целую неделю пробовал ходить с рапирой и в башмаках на высоких каблуках и по-венециански учтиво здороваться, снимая шляпу, украшенную страусиными перьями.

Кроме этого ревнивца Отелло, папаша любил еще пьесу под названием "Тень". В последнюю неделю матушка, игравшая главную роль, брала напрокат кресло-каталку, потому что с самого начала и почти до конца спектакля она должна была изображать больную, навеки прикованную к инвалидному креслу. И вот матушка ездила в этом кресле по комнате, и я даже пугался при виде того, как она порывалась встать, но у нее ничего не получалось; папаша охотно возил ее из одной комнаты в другую, а матушка вела сама с собой длинные беседы, из которых выяснялось, что ее муж — знаменитый художник, пишущий прекрасные полотна в своей мастерской, однако матушка не может ходить, а она так мечтает выздороветь и побывать в этой мастерской, расположенной на другом конце Парижа. И папаша оживал, толкая перед собой кресло матушки, и проверял, как она выучила роль. Мне же казалось, что еще немного — и отец захочет, чтобы матушка и впрямь не могла ходить и всю жизнь ездила в кресле, как в этой пьесе "Тень". И мне вновь и вновь приходилось признавать, что матушка настоящая актриса, потому что в третьем действии, когда ей усилием воли удавалось подняться с кресла-каталки, я видел, что даже отец желал ей встать и шаг за шагом добраться до такси, дабы потом, преодолевая ступеньку за ступенькой, вскарабкаться наверх и застать там мужа с другой женщиной... И у матушки, когда она воображала эту сцену у нас дома, подкашивались ноги, она валилась на пол и медленно выползала из кухни в коридор, а потом — ступенька за ступенькой — выбиралась во двор пивоварни, где стояла, опираясь о стену, так что пивовары думали, что у нее прострел, а матушка, совершенно сломленная, возвращалась в комнату, к своему креслу-каталке, которое ей пододвигал папаша, и когда матушка усаживалась в него, закутав ноги клетчатым пледом, отец снова радовался и возил ее по квартире, матушка же говорила, что такой она и останется до конца жизни. И папаша по меньшей мере неделю ходил счастливый оттого, что видел матушку такой, какой хотел бы ее видеть всегда.

Все эти пьесы, сыгранные за многие годы, я хорошо знал, но ни разу не побывал на спектакле в театре. Я чувствовал, что если бы я стоял там, прислонясь к одному из столбиков, поддерживавших балконы, я был бы весь красный — не от стыда, но от волнения, что внезапно что-то случится, что матушка забудет нужную роль и начнет играть другую. Уже сама мысль о том, что поднимется занавес и появится моя матушка, приводила меня в ужас: вдруг я увижу ее иной, чем хотел бы. Мне нравились толстые мамаши, которые вечно сидели дома, все в заботах о семействе, — примерно так же, как и отец желал бы видеть матушку скорее в кресле-каталке, чем всегда пританцовывающей. Кроме того, горожане при встрече имели обыкновение похлопывать меня по спине, вот, мол, сынок той дамы, которая так замечательно играет в театре, и вели себя со мной так, как будто я тоже играл в театре. Поэтому, гуляя по главной улице, или направляясь в школу, или возвращаясь домой, я всегда смущался оттого, что нигде в нашем городке мне не удавалось остаться в одиночестве: люди первыми здоровались со мной, дружески махали рукой, хотя я вовсе их не знал, разве что встречал на улицах. Потому-то я едва ли не украдкой пробирался в город и стоял в галерее под колоннами, и лавка со шкурами и старыми костями у меня за спиной была моим ангельским почетным караулом, а пан Регер — ангелом-хранителем, куча костей на задах его лавки и вонь звериных

шкур служили мне порукой того, что люди обойдут это место стороной...

Вообще-то члены театрального кружка играли спектакли о самих себе, хотя пьесы были, разумеется, вовсе не о них и действие их разворачивалось в другое время и в другом месте. Той зимой начали репетировать "Шестиклассницу"[1]. В пивоварню на читки приходили жены тех, кто бывал у нас на мясных пирах и ел куропаток и ломти хлеба со смальцем, и я сидел в кухне, не в силах сдвинуться с места от того, что видел и слышал. Матушка играла главную роль, которая ей вполне подходила, но когда я понял, что ее подруг собираются играть эти толстые тетки, то решил сначала, что они будут играть понарошку, так сказать, хохмить ради хохмы; однако уже после второй репетиции до меня дошло, что тетечки играют взаправду, что им кажется, будто никто, кроме них, этих самых толстух, не сумеет изобразить шестиклассниц. И они все очень старались и скакали по комнате, и после читок матушка ходила в театр в образе Тани, по уши влюбленной в учителя Сыхраву, а папаша, проверяя дома, как она выучила текст, закрывал один глаз лентой и был до того влюблен в матушку, что, подавая ей ответные реплики, томно вздыхал, у него даже дрожал голос, и, ссылаясь на то, что так матушка еще лучше запомнит роль, он сыграл с ней финал второго действия, когда Таня, выбегая из класса, роняет носовой платок. И вот отец встал на колени, поднял этот платок, поцеловал его, протянул руки к двери той комнаты, где скрылась матушка, и прошептал: "Таня!" А потом репетиции продолжались в театре, и матушка установила в пивоварне швейную машинку — для портнихи, которая шила гимназические костюмчики, дабы гимназистка Совова, гимназистка Мрачкова, гимназистка Валашкова по прозвищу Глупышка и моя матушка могли облачиться в синие, выше колен, юбки в складку и синие матроски и нацепить на головы каждая по большому белому банту. И в тот вечер, когда костюмы были готовы, к нам явились супруга пана аптекаря, и супруга пана судебного советника, и супруга пана учителя и, сияя, надели их; они переодевались в спальне, веселясь и хихикая, потому что уже вошли в свои роли. Глупышка кричала: "Девочки, у нас новый учитель! Говорят, он красавец, и у него только один глаз..." А Мрачкова отвечала: "Ему и одного хватит, а то посмотрел бы на нас обоими глазами и сбежал после первого же урока!" А Валашкова им: "Станем звать его Жижкой! А он и вправду ученый? Жалко, что он не ведет уроки любви, я бы, пожалуй, ходила на дополнительные занятия". А я сидел на кухне, опершись о стену, и мне было так стыдно, что на лбу выступал холодный пот, и я краснел от того, что слышал; когда же распахнулась дверь спальни и в гостиную, прямо под горящую люстру, выбежали четыре гимназистки в плиссированных юбочках и матросках, а главное, с торчавшими на головах огромными бантами... и они держали друг дружку под руки, и прыскали в ладошки, и ковыляли в туфлях на высоких каблуках... тут-то я и понял, что "Шестиклассница" — это конец всего их театра. А матушка вбежала самая последняя, тоже в образе гимназистки, она неестественно смеялась, да и все эти дамы смеялись, причем видно было, что они знали, что фальшивят, но они держались за руки, помогая друг дружке поверить в то, чего не было: в то, что им под силу по-настояще-

1. "Шестиклассница" — пьеса по одноименному социальному роману чешского писателя начала XX века В. Нойбауэра.

му перевоплотиться в шестиклассниц. И они свистели и кричали, и у них то и дело подворачивались каблуки, но в конце концов все дамы надели шубки и пешком отправились в город, чтобы продефилировать по главной улице, и зайти в гостиницу "На Княжеской" выпить горячего чаю, и показаться горожанам в качестве живой рекламы того, что вскоре представят в местном театре. И тем вечером я понял, что дядюшка Пепин с его морской фуражкой — в сущности нормальный человек.

Я сидел на стуле, прислонясь к стене, и думал о красивой девочке из четвертой городской школы. В классе открылась дверь, и она вошла к нам, мальчикам, и обратилась к господину старшему учителю — что, мол, господин настоятель просит меня ненадолго в школу для девочек и что скоро меня вернут обратно. И я пошел; на ней была такая же, как моя, матроска, и она повела меня на чердак школы для мальчиков, где была обитая жестью дверь, которую она отперла, и мы забрались на чердак, и она опять заперла дверь. А потом она повела меня под балками куда-то дальше, но на полпути остановилась, так что я на нее едва не налетел, мы стояли вплотную друг к другу, ее блузка вздымалась, так девочка запыхалась, она была совсем близко и пахла, как роза и как черемуха, ее глаза оказались совсем рядом с моими, и я тоже тяжело дышал и опустил глаза, а она ткнула меня в грудь и прошептала: "Это правда?" Я знал, о чем речь, но все же спросил: "Что?" И она сказала, что у меня на груди есть голая русалка. Я кивнул, и девочка зашептала: "Можно на нее посмотреть... пожалуйста!" И я кивнул и так ослабел, что не мог расстегнуть синий полосатый воротник... она глядела на меня в упор, и дышала, и расстегивала мои крючки, и ее пальцы дрожали, когда она распахнула мою матроску... и вот она стояла и смотрела, а я поднял глаза и взглянул на нее, и тут она с изумлением в глазах выдохнула: "Какая красивая!" И так вот она смотрела, а потом пальцем обвела татуировку... но тут где-то хлопнула дверь, и она быстро прикрыла мне грудь и застегнула синий полосатый воротник, а затем подала мне руку, и я взял ее и почувствовал, какая она нежная, словно подгрудок у вола, и девочка вела меня, и мне хотелось, чтобы это не кончалось, чтобы я всегда мог идти, ведомый этой рукой, куда угодно, до скончания века я хотел держать в своей мальчишеской руке ее девичью руку. Но все кончилось, она отперла обитые жестью двери, и мы очутились в коридоре по другую сторону школы для мальчиков, и она опять повернула ключ в замке и пошла по школе для девочек, мы спустились на этаж ниже и открыли дверь, и я при ярком свете увидел перед собой господина настоятеля, который поставил меня на возвышение и сказал: "Ну вот, сынок, девочки из четвертой школы не знают, как Савл превратился в святого Павла, расскажи им об этом!" И я посмотрел на класс, за партами сидели ученицы четвертой городской школы, и я видел, что половина их одета в матроски, и что у них большие глаза, и что они серьезно взирают на меня, та, что привела меня сюда, улыбалась мне и подняла ключ — как наш тайный знак... и я мысленно перелистал страницы библейской истории и увидел картинку, которую я раскрасил цветными карандашами, и начал читать то, что столько раз читал перед сном в постели: как Савл ехал на лошади и как его поразила молния... и когда я уже почти дочитал эту историю, я опять взглянул на девочек, они как-то погрустнели, и господин настоятель весело воскликнул: "Стыдитесь, девочки, мальчик из пятого класса знает больше вашего! Спасибо тебе!" И девочка с ключом встала, и мы снова поднялись по лестнице к двери, и она снова открыла ее и заперла за со-

бой, и это как-то очень ясно показало мне, что на чердаке, общем для двух школ, только мы с ней — и больше никого. Но она шагала вперед не задерживаясь, она не хотела уже ничего знать, не хотела постоять со мной, она даже не вела меня за руку, она просто проводила меня, открыла дверь, снова заперла ее за собой, и мы спустились этажом ниже, где она открыла дверь нашего класса и передала благодарность господина настоятеля. И я сел на место, я сидел совершенно растерянный и тупо смотрел перед собой, точно так же, как сейчас, в кухне, когда матушка и остальные шестиклассницы ушли в городок, чтобы репетировать в театре "Шестиклассницу"...

Успех "Шестиклассницы" оказался столь грандиозным, что на премьере, сразу после первого действия, зрители вызывали не только матушку, но и всех остальных актеров, и с восторженным шумом было встречено появление одноклассниц Тани. Когда же закончилось второе действие и господин старший учитель, игравший Сыхраву, поднял оброненный матушкой платочек, поднес его к губам, поцеловал и воскликнул, простирая руки к Тане, которая в смущении выбежала из класса: "Таня!..", и занавес медленно пошел вниз, и цветной прожектор осветил тремя цветами национального флага преподавателя Сыхраву и черную ленту, прикрывавшую ему один глаз, так вот, когда занавес уже опустился и люди, вскакивая, кричали: "Браво! Браво!", занавес опять поднялся, и появился режиссер, владелец типографии пан Минарж, который сообщил печальным голосом, что спектакль отменяется, что войска гитлеровского рейха, которые на рассвете перешли нашу границу, заняли Прагу и только что добрались и до нашего городка, так что он призывает горожан сохранять спокойствие... Зрители же, которые знали об этом еще утром, не уходили, но когда они услышали, что идет снег и что возле колонны в честь Девы Марии стоит мотоциклетная колонна и мотоциклисты все в касках и с оружием, только после этого недовольные прежде времени оборвавшимся вечером люди потянулись на площадь, в ночь, где при свете газовых фонарей разъезжали в резиновых плащах солдаты чужой армии, резиновые фигуры, статуи за пеленой мокрого снега. И шестиклассницы выскочили в шубках в ночь, их белые банты сияли в темноте, они побежали в гостиницу "На Княжеской", чтобы выпить там горячего чаю, такого же, но все-таки не совсем такого, какой пили шестиклассницы в третьем действии на катке со студентами.

Из книги "Жизнь без смокинга"

Руководство для ученика хмельного философа

Я — поклонник солнца в ресторанчиках под открытым небом, любитель глотка луны, отраженной в мокрой мостовой, я шагаю прямо и ровно, в то время как моя жена дома, хотя и трезвая, со-

вершает неверные движения и пошатывается, шутливое толкование Гераклитова "Panta rhei"[1] переливается у меня в горле, и любая пивная на свете видится мне скопищем оленей, сцепленных между собой рогами беседы, выведенное крупными буквами memento mori![2], сквозящее во всех вещах и людских судьбах, вновь и вновь дает повод выпить sub specie aeternitatis[3], так что я — догматик в жидком состоянии, теория тростника и дуба — моя движущая сила, я — испуганный человеческий вскрик, который снежинкой падает на землю, я вечно спешу, для того чтобы два-три часа в день бездеятельно и деятельно мечтать, ибо я хорошо сознаю, что человеческая жизнь течет так же, как тасуется колода карт, что лучше меня кто-нибудь выстирал бы или обронил вместе с носовым платком, иногда кажется, будто я предвкушаю, что на меня вот-вот свалится миллион, хотя я отлично понимаю, что в конце концов мне выпадет смеющийся ноль, что весь этот хоровод начался с капельки семени и закончится потрескиванием огня, после такого прекрасного начала — столь прекрасный конец, и в миловидном обличье жизни ты ласкаешь кумушку Смерть; я поливаю цветы, когда идет дождь, в душном июле волоку за собой декабрьские санки, в жаркие летние дни, желая обрести прохладу, я пропиваю деньги, которые отложил на покупку угля, чтобы согреваться зимой, я то и дело замираю в страхе от того, что людей не страшит, как коротка жизнь и как мало времени отпущено им на запои и безумства, пока же хватает времени, я воспринимаю утреннее похмелье как полезный опыт, как высшую ценность поэтической травмы с признаками пищевой несовместимости, которую нужно смаковать как святой приступ желчекаменной болезни, я — раскидистое дерево с переплетенными ветвями счастливых и несчастных случаев, полное внимательных и улыбчивых глаз, которые всегда пребывают в состоянии влюбленности, какое это наслаждение — молодые побеги на старом стволе и смех свежераспустившейся листвы, мой климат — переменчивая апрельская погода; залитая скатерть — вот мое знамя, в его колышущейся тени я переживаю не только радостную эйфорию, но и оползень возвращения к жизни, тупую боль в затылке и страшную дрожь в руках, я собственными зубами извлекаю из ладоней осколки и остатки вчерашней бурной ночи и каждое утро удивляюсь, как это я еще не умер, я все время ожидаю, что загнусь раньше, чем успею всласть побезумствовать, я не мню себя четками, я лишь звено в разорванной цепочке смеха, хрупкая поросль ясеня дает силу моему буйному воображению, во мне что-то выхолощено — нечто такое, что одновременно существует и при этом откатывается в прошлое, дабы оно, описав дугу, катапультировалось в будущее, которое опять-таки вечно отодвигается от моих жадных губ и глаз, отчего они косят, будто перед глыбой слоистого исландского известняка, сегодня есть вчера, но прежде всего послезавтра, поэтому я — творец поспешных всеобъемлющих выводов, дегустатор расплесканного пространства; склероз, маразм, как и детский щебет, я считаю источником вполне вероятных открытий, игривостью и игрой я обращаю юдоль слез в смех, я зачаровываю действительность, и она всякий раз дает мне знак, я — робкая косуля на поляне дерзких мечтаний, я — колокол, треснувший под ударами молний ожиданий, объективной реальности и обществен-

1. Все течет (*греч.*).
2. Помни о смерти! (*лат.*)
3. Под углом зрения вечности (*лат.*).

ных наук, я — гений разрушения, браконьер в угодьях речи, лесничий несерьезного вдохновения, сторож на поле анонимных анекдотов, убийца благих намерений, инспектор рыбнадзора у темных омутов спонтанности, герой здравомыслящего безрассудства, опередивший свое время опрометчивый крестоносец параллелей и меридианов, желающий откусить от ломтя хлеба, намазанного маслом бесконечности, и отхлебнуть из поллитровой кружки сливок вечности, причем немедленно; в неверном толковании Христовых слов я нахожу особую прелесть апостольских посланий, меня украшает ледяная крошка по берегам замерзшей реки, о которую легко пораниться, я — депрессия, хандра и тоска, моя готовность пробивать лбом стену — это попытка, откладываемая со дня на день; можно ли жить иначе, чем я жил до сих пор, я — неврастеник с отменным здоровьем, который страдает лишь бессонницей и спит крепко только в трамвае, позволяя ему увезти себя на конечную остановку, я — великое настоящее скромных ожиданий и ожидаемых великих крахов и поражений, на краю причудливого небосклона передо мной мерцают новые горизонты маленьких провокаций и минискандалов, поэтому я — клоун, мультипликатор, рассказчик и домашний учитель точно так же, как непревзойденный сочинитель доносов на самого себя и писем с угрозами в свой же адрес, ничтожные известия я считаю достойными стать преамбулой к моему уставу, который я то и дело меняю и никогда не могу окончить, в наброске едва обозначенной тени я нахожу проект гигантского сооружения, хотя это всего лишь уже давно исчезнувшая детская могилка, я — стареющий человек, несущий под сердцем свою молодость, мои жесты и язык — это переменчивая грамматика моего собственного жаргона, свежая отбивная и кружка холодного пива спустя полчаса доказывают мне, что материя транссубстанциализируется в хорошее настроение, дешевая метаморфоза для меня — первейшее из чудес в мире, а рука на плече друга — это ручка от дверей к блаженству, где каждый предмет любви есть средоточие райских кущей, каннибализм — это путь по бесплодной пустыне без священников и школьных аттестатов, грустные глаза коров, любопытно выпученные поверх бортов грузовых машин, — это и мои глаза, молодая телочка, которую ждут мясники со сверкающими ножами, — это я сам, синичка с вывернутыми крыльями, утонувшая морозным вечером в ведре с ледяной водой, — это тоже я, и огонь, в который возвращаются верные осы, чтобы сгореть вместе с прочими в пылающем гнезде, дает мне весьма точное представление о горящих сотах с медом, приготовленным лишь для меня; итак, я — член-корреспондент Академии хмельных философов, студент кафедры эйфории, мой бог — Дионис, прекрасный и вечно пьяный юноша, веселость в человеческом образе, мой духовный отец — ироничный Сократ, который терпеливо ведет разговор со всяким, чтобы посредством языка и за язык подвести его к самому порогу неведения, мой возлюбленный сын — Ярослав Гашек, первооткрыватель рассказов из пивной, гениальный самородок и сочинитель, который, очеловечив прозаический небосвод, предоставил писать другим. Немигающими глазами я вглядываюсь в синие зрачки этой Святой Троицы, так и не достигая вершин пустоты, упоения без алкоголя, просвещенности без знания, я — обескровленный смехом бык, чей мозг кто-то поедает ложечкой, словно мороженое.

Официант, у вас найдется для меня еще один гуляш?

P. S.

Анализируя этот текст, который я написал за пять часов во время случайных перерывов между рубкой дров и кошением травы, текст, в котором ощущается замедленный пульс вертикально опускающегося топора и горизонтально режущей австрийской пилы, я должен отделить фразы, явившиеся суммой моего внутреннего опыта, от почерпнутых мною из книг. Я обязан назвать авторов изречений, которые с тех пор, когда я впервые прочел их, так очаровывают меня, что я жалею, что не придумал их сам. "Я не мню себя четками, я лишь звено в разорванной цепочке..." — это перевернутая вариация изречения Ницше "Я не звено цепи, но сама цепь". "Каждый предмет любви есть средоточие райских кущей" — точная цитата из Новалиса, тогда как "Дионис, веселость в человеческом образе" — из Гердера. Это все.

Рассказы из пивной

Я сижу в "Золотом тигре", поигрываю картонной подставкой под пивную кружку и не могу наглядеться на эмблему, два черных тигра так и мелькают в моих пальцах, и я, как всегда, подсознательно загибаю углы счета, сначала один, затем второй, после третьего пива третий, а потом четвертый; порой, когда первое пиво приносит Богоуш, он извлекает из кармана белой куртки листок белой бумаги, на котором уже наперед загибает один уголок, а сижу я в компании, где ни сяду — там моя компания, это мой ритуал, и не только мой, но и всех тех, кто заходит сюда выпить пива: стол — это компания, которая ведет беседы. Это такие беседы за столом в пивной, во время которых человек, беседуя, восстанавливается после повседневных стрессовых ситуаций, или все просто так треплются, но и это тоже восстановление; быть может, когда тебе совсем скверно, лучшее лекарство — это банальный разговор о банальных делах и событиях. Иногда я сажусь и угрюмо молчу, и вообще до первого пива я даю ясно понять, что не желаю отвечать на какие бы то ни было вопросы, так я предвкушаю это мое первое пиво. Потому я не сразу адаптируюсь к этой деспотически шумной пивной, не сразу настраиваюсь на такое количество посетителей и разных речей: каждый хочет, чтобы то, что он произносит, было услышано; каждый в этой пивной думает: то, что он сейчас произносит, заслуживает исключительного внимания, оттого-то он громко выпаливает свою банальную реплику; я гляжу на этих крикунов — и после второго пива тоже считаю то, что я говорю, страшно важным и тоже выкрикиваю нечто в тщеславной уверенности, что это должен услышать не только мой стол, но и весь мир. Так я сижу, нервно поигрывая картонными подставками под пивные кружки, я набираю их штук по десять и тасую, как колоду карт, потом высыпаю их на стол, отхлебываю пиво — и тут же опять принимаюсь играть с подставками и счетом. Я на своем месте; я не один, но в разговоры окружающих не вмешиваюсь, а только слушаю. Сколько десятков тысяч бесед я таким образом провел, сколько десятков тысяч людей прошло передо мной в этих моих пивных, скольких я, должно быть, задел своим не то чтобы разговором, но диалогом, который иногда кончался самой настоящей лекцией, причем обычно не моей, а чьей-то еще, когда все мы затихали и слушали истории, излагаемые так, что они были не просто пьяной болтовней, а, как это со

знанием дела назвал Эман Фринта, рассказами из пивной. Пан Руис, виолончелист из "Квартета Дворжака", как раз закончил повествовать об их последнем концерте в Билине, хмуром и обшарпанном городке, ветшающем от непогоды и небрежения властей, по центральной площади которого слонялось без дела несколько пьяниц-цыган, но вечером в ратуше собралась прилично одетая публика, и Билина преобразилась: благодарные слушатели были тронуты. Мои соседи по столу толковали о грибах, о рыжиках; я все ждал, когда же они наконец скажут самое главное, но самого-то главного о рыжиках никто не говорил, поэтому я извинился и произнес... Рыжик, господа, – гриб мистический, он такого прекрасного рыжеватого оттенка, а зеленоватые концентрические окружности на его шляпке как раз и выражают мистический смысл этого гриба, потому что эти зеленоватые уменьшающиеся круги венчает точеный зеленый пупырышек – средоточие всех этих уменьшающихся зеленых концентрических окружностей, и эта точка посреди шляпки рыжика есть центр познания, это то же самое, на что смотрят буддийские жрецы, созерцая собственный пуп; при этом они как будто возвращаются по пуповине назад, во чрево нашей праматери, первой женщины с гладким животом, откуда взял начало род человеческий. Все это, господа, говорю я, можно прочесть по концентрическим зеленым окружностям рыжего рыжика, которые заключают в себе главный символический смысл человеческого прошлого и настоящего... Но вы, господа, любите поесть, так я расскажу вам один рецепт, как испанские лесорубы готовят рыжики. Слой колбасы, сверху слой рыжиков, потом нарезанный перец, потом слой сала, потом помидоры, потом опять слой колбасы и рыжиков, и так слой за слоем, а сверху опять колбаса; все это запекается на костре, а когда блюдо готово, его можно еще посыпать тертым сыром... И я выкрикивал это свое послание, чтобы, с одной стороны, меня было хоть как-то слышно, а с другой – мне казалось, что меня должно быть слышно не только в Праге, но и во всей стране, во всей Европе; потому я, бывает, и кричу как оглашенный, что думаю, будто таящееся во мне принадлежит всем... а пан Руис рассказывал, как "Квартет Дворжака" исполнял в Швеции сплошь чешскую музыку, а именно сам квартет Дворжака, который он написал, когда у него умерли дети, а под конец – "Из моей жизни"... и тут вдруг раздались рыдания и плач, все стали оборачиваться, а после концерта выяснилось, что в зале была жена одного нашего доктора, который эмигрировал, и она говорила пану Руису в гардеробе, что хочет домой, к маме, что если она не вернется, то умрет, и хотя у нее тут есть все, даже "мерседес", она хочет домой, повидать Прагу, и маму, и друзей... Пан Руис тихо сказал это, и все смолкли, так что над столом звучал лишь надтреснутый красивый голос пана Руиса, а потом разговор перешел на Стравинского, у которого на стене всегда висели портреты троих святых для него музыкантов, его патронов: Веберна, Шёнберга и Берга...[1] А я дожидался своей минуты, когда я смогу вставить ногу в приоткрытую дверь беседы и высказать то, что, как мне неизменно кажется, должны были бы знать не только мои соседи по столу, но и вся пивная, да что там пивная – весь город, вся страна, весь мир... и когда я наконец вставил ногу в приот-

1. Антон Веберн (1883–1945) – австрийский композитор, представитель "новой венской школы". Арнольд Шёнберг (1874–1951) – австрийский композитор, глава "новой венской школы", основоположник атональной музыки. Альбан Берг (1885–1935) – австрийский композитор, представитель "новой венской школы" и экспрессионизма в музыке.

крытую дверь, через которую пролетел тихий ангел, я громко произнес... Слушаю я, господа, утром венское радио, а там сообщает неизвестные подробности из жизни Веберна его зять. Когда для Австрии кончалась война и американская армия заняла Линц, в городе объявили комендантский час... и вот вечером зять Веберна, который и понятия не имел, кто такой Веберн, да и сам Веберн не знал, что он — знаменитый Веберн, так вот, этот самый зять говорит Веберну, который пришел их навестить: папа, я сберег для вас восемь сигарет, вы же заядлый курильщик, вот, возьмите, и Веберн растрогался до слез и отвечает: я так счастлив, что отдал дочь за тебя, что у меня такой хороший зять, а у моей дочери — муж, я одну сейчас же выкурю, я не выдержу, а дочь с зятем и говорят ему: папа, покурите в коридоре, а то тут дети, и Веберн вышел в коридор, но потом подумал, дым потянет в комнату, где спят мои внуки; раз уж у меня такой хороший зять, я, пожалуй, покурю на балконе. И он вышел в ночь, с жадностью сунул в рот сигарету, дрожащей рукой чиркнул спичкой, но как только он в первый раз вдохнул долгожданный никотиновый дым, раздался выстрел и Веберн рухнул как подкошенный, и когда пришли его родные, они нашли мертвого Веберна; его первая затяжка стала его последним вздохом, дорого же он за нее заплатил! Какой-то солдат из патруля выстрелил, потому что было запрещено зажигать огни, и убил Веберна... Но на этом, господа, мистическая цепь событий не кончается. Этот солдат потом просто места себе не находил от того, что по ошибке застрелил Веберна, так что, вернувшись в Америку, даже угодил в лечебницу, этот Веберн ранил его настолько, что он три года провел в психушке, а на пятый год после того, как убил Веберна, он покончил с собой... А пана Марыско эта история так проняла, что он потом говорил, когда мы уже собирались домой, он говорил... Не надо было рассказывать мне это про Веберна... говорил пан Марыско, который раньше все ругался, мол, кто только этого Веберна станет играть, а пан Руис на это ответил, что лично он Веберна любит и с удовольствием его исполняет, и его поддержал пан Гампл, художник, заявив, что он ценит Веберна именно за то, что совершенно его не понимает... И вот я сидел в "Золотом тигре", разглядывал посетителей — о да, это вам не просто треп, не какая-нибудь там пьяная болтовня; эта шумная пивная — словно маленький университет, где под воздействием пива люди рассказывают друг другу истории и повествуют о событиях, которые ранят душу, а над их головами клубится табачный дым, принимающий очертания огромного вопросительного знака: ну, не абсурдна ли и не удивительна ли человеческая жизнь?.. Я молчал. Рыжик с зелеными концентрическими кругами, зеленая точка в центре рыжей шляпки рыжика, этот омфалос, пуп земли, сквозь который можно проникнуть в самое чрево праматери Евы... и вот, погруженный в задумчивость посреди беседы, которой я не слышал, я вернулся назад, в свое детство, когда я впервые попал в пивную, которая меня так очаровала, что стала моей судьбой. Папаша, управляющий пивоваренным заводом, бывало, брал меня с собой, когда на мотоцикле фирмы "Лаурин и Клемент" объезжал кабачки, куда его завод поставлял пиво; мы ездили по городкам и весям, и я помню, что каждый такой кабачок казался мне утром и днем каким-то заброшенным, грустным, там почти не было посетителей, обычно в полумраке лишь тускло поблескивал кран, из которого наливают пиво, папаша на кухне высчитывал налоги, а я сидел в зале, где почти всегда было холодно, но пил, конечно, лимонад, один

стакан за другим, тот восхитительный желтый или красный лимонад, который пенился и шипел, в полутьме с трудом можно было различить нескольких завсегдатаев, их присутствие выдавало только то, что иногда они поднимали пивные кружки или опрокидывали рюмочку чего-нибудь покрепче, некоторые курили, поэтому в темноте иногда вспыхивала спичка — и я в этих заведениях бывал счастлив. Иногда меня звали на кухню, там обычно сидела хозяйка, и все они казались мне страшно усталыми, эти хозяйки с трудом ходили, хватаясь за мебель, а со стула вставали так, как будто страдали ревматизмом; на кухне мне наливали супа, давали гуляша, и я опять-таки пил лимонад, желтый и красный, стакан за стаканом, сколько влезет, в то время как перед папашей на столе ослепительно белели бумаги, а от его пальцев к потолку поднимался синий дым папирос — египетских, за другими он меня никогда не посылал, папаша говорил тихим, вкрадчивым, но настойчивым голосом, хозяин молча слушал его советы, а я не понимал, о чем речь, как будто говорили не по-нашему, я знал лишь, что у хозяина всегда было что-то не в порядке, примерно как у меня в школе: папаша был строгий учитель, а я ученик, который не выполнил домашнего задания, вот так и хозяин пивной смотрел в пол, боясь встретиться взглядом с папашей, но его голос придавал хозяину смелости, внушал надежду, так что в конце концов оба, рассмеявшись, долго жали друг другу руки и глядели в глаза, папаша оставлял бумаги на столе, а хозяин всякий раз совал ему бутылочку-другую сорокаградусной; потом нас провожали, помогали завести мотоцикл, и я знал, что после нашего отъезда весь кабачок вздыхал с облегчением, ведь папаша, должно быть, потому и был управляющим, что всегда сваливался на голову хозяев с какими-нибудь неприятностями, с чем-то таким, чего они боялись... В следующей пивной я опять пил желтый и красный лимонад, стакан за стаканом, через год я уже не решался заходить на кухню, а сидел в зале, и сквозь застекленные двери до меня доносился голос папаши, говорящего что-то неприятное хозяину, который возражает, приводит какие-то доводы в свою защиту; иногда хозяин, вылетев из кухни и подбежав к стойке, наливал себе рюмочку и с бледным лицом возвращался назад, а папаша, положив руку ему на плечо, добродушно увещевал его — так, как он ласково убеждал меня лучше учиться и перестать лоботрясничать, кем, мол, я вырасту, если буду лениться? Я любил эти поездки с отцом, любил кататься с ним после уроков, а особенно в каникулы, изо дня в день мы объезжали эти папашины кабачки в Нимбуркском округе, я уже знал их наперечет, самым же большим потрясением стала для меня пивная "У города Колина" в Лысой, где была такая бесстыжая хозяйка, что папаша краснел, а она только смеялась и плевать хотела на все эти страсти с пивом и налогами. Я сидел в зале, всегда залитом солнцем, где стояли большой аспарагус и хозяйкина швейная машинка, пил красный лимонад, стакан за стаканом, а между ними — желтый, и с замиранием сердца слушал, как непристойно бранилась эта женщина, которая иногда наведывалась в зал, чтобы дать мне очередной лимонад, и всякий раз проводила рукой по моим волосам, глядя на меня своими прекрасными глазами, в которых я отражался весь. В других заведениях я обходил всю пивную, а затем зал для танцев и зал для театральных представлений и выходил в сад, где стояли столы и бильярд; особенно меня поразил кабачок, где хозяином был пан Гуго Шмолка, еврей, у сыновей которого были такие густые шевелюры и такие пышные пейсы, что

они закрывали почти все лицо, а черные волосы самого пана Шмолки, на затылке коротко подстриженные, спереди падали на лоб едва ли не до бровей, супруга же его вечно лоснилась от пота, словно ее намазали маслом или салом, даже платье на ней было как будто пропитано жиром. Вот так я полюбил кабачки и пивные, и мне было как-то не по себе, когда папаша брал меня в ресторан, где были скатерти, а то и официант в черном фраке, здесь я чувствовал себя не в своей тарелке и предпочитал подождать папашу на улице, чтобы опять отправиться вместе с ним в деревенскую пивную... ах, эти деревенские пивные, где меня принимали чуть ли не как родного, там я бывал счастлив, в такой пивной я заглядывал во все углы, иногда даже во двор и в хлев, при некоторых кабачках — самых моих любимых — была еще и мясная лавка, где мне непременно давали колбасы. Вот это было по мне — пить лимонад, один стакан за другим, заедая его колбасой! Когда я пошел в реальное училище, я уже пил пиво. Везде, куда бы мы с папашей ни приехали, я был живой рекламой пива. Я опрокидывал кружку за кружкой и вслух нахваливал их содержимое, мол, какой это отличный и вкусный напиток; и я говорил это так убедительно и пил с таким удовольствием, что мне не переставали удивляться как хозяева, так и завсегдатаи пивных. И я объезжал все те же кабачки, пил там одну кружку пива за другой — а отец своим тихим голосом решал с хозяином все те же проблемы с завозом пива и налогами, и всякий раз что-то было не так, я же сидел в зале и после третьей кружки пускался в разговоры с посетителями. Больше всего я любил ездить с отцом в Колин, в кабачок Водварки; здесь уже с утра шло веселье, а пан Водварка был человек открытый и никогда не терял хорошего расположения духа, и папаша не мог его ни в чем упрекнуть, потому что пан Водварка был просто молодец и таким навсегда остался в моей памяти. Когда он появлялся в Нимбурке, отец приходил в ужас, что опять надо будет ехать с ним в Прагу, для меня же это было настоящее событие; каждые три месяца мы наведывались в Прагу, а точнее сказать, в тамошний кабачок "У Шмельгаузов", причем в первый раз пан Водварка, едва войдя в зал, прилепил скрипачу на лоб сотенную бумажку, и с тех пор, стоило нам показаться на пороге, музыканты принимались играть для нас песню "Колин, Колин...". А потом мы кутили, папаша то и дело напоминал, что пора отправляться домой, но пан Водварка лихо отплясывал и пел, расточал улыбки и сыпал остротами, и я тоже кутил и чем больше пил, тем охотнее обнимался со всяким, кто подходил пожать руку пану Водварке; так мы веселились до самого закрытия, и на отца жалко было смотреть, ведь он не мог так много пить, потому что вез нас назад на мотоцикле, а позже он купил "шкоду". Папаша цепенел, недоумевая, куда это он попал, ибо пан Водварка, приезжая сюда раз в три месяца, всегда обещал, что они вначале покончат со всеми делами, а потом только на минутку заглянут к Шмельгаузам... а в итоге нас с музыкой провожали к выходу и даже на улицу, на обратном же пути, уже на рассвете, пан Водварка поднимал с постели трактирщика в Негвиздах, и мы опять пили там пиво и кофе, и пан Водварка требовал разбудить музыкантов, которые потом для нас играли, а еще пан Водварка будил местного лавочника и, скупив у него весь запас шоколада, угощал женщин, которых он созывал, так как до этого он стучался в окна каждого дома и приглашал добрых людей повеселиться, и все пели и плясали, а отец сидел и смотрел на часы, переживая, что ему через каких-нибудь два часа нужно быть в бухгалтерии пив-

ного завода... Ах, эта вереница кабачков моих детских и юношеских лет, а позже мои пивные в Нимбурке, куда я ходил по субботам и воскресеньям утром и вечером играть на бильярде, и мой трактир "Под мостом у Поспишилов", где я играл на пианино и резался в карты с ребятами из Залабья, с которыми мы были друзья не разлей вода, с простыми парнями из зареченских домишек, а потом мои пивные и кабачки тех времен, когда я колесил по Чехии, служа страховым агентом, а затем ресторанчики, в которых я завтракал, обедал и ужинал, когда ездил коммивояжером, продавая галантерейные товары фирмы "Гарри Карел Клофанда", а ночевал при этом в обычных гостиницах, и, наконец, моя Прага, где я каждый день ходил в кабачки в Либени, на Жижкове и на Высочанах, на Малой Стране и в Старом Месте. Почитай четверть века я обедал в этих моих кабачках и крайне редко, скорее по недоразумению, попадал в приличный ресторан или гостиницу; их я посещать не любил и даже робел там, приходя в себя, только когда оказывался на улице и мог завернуть в первую попавшуюся пивную: тут мне было хорошо, тут были все свои — свои официанты, свой хозяин, здесь я был среди друзей, дома, в кругу семьи...

И вот я сижу в "Золотом тигре", пройдя обратный путь по моим кабачкам и выяснив для себя, что все это началось с отца, когда я ездил с ним и пил стакан за стаканом лимонад, пока отец проверял счета и вычислял налоги несчастных владельцев пивных, у которых всегда было что-то не в порядке. Я сижу в "Золотом тигре" и улыбаюсь; все это время я никого не слышал, как будто сидел где-нибудь в тихом лесу, потому что я мысленно прогулялся по кабачкам моей жизни вплоть до самого первого в деревне под Нимбурком. Между тем пан Руис, которого я теперь уже слышу, рассказывал... Прилетели мы, значит, в Копенгаген, а там нас встретили на двух машинах, тогда мы, "Квартет Дворжака", в первый раз приняли приглашение, не зная, от кого оно исходит и кто нам так по-королевски щедро заплатил. Пока мы ехали на тех машинах, стемнело, двое встречающих, по одному на машину, одетые в черные рединготы, сохраняли невозмутимое спокойствие, и вот мы, оставив позади Копенгаген, подъехали к большому зданию, перед нами распахнулись ворота, поднялась решетка, и мы оказались во дворе, где по зарешеченным окнам поняли, что находимся в тюрьме. Потом нас принял начальник этого заведения, и для нас был накрыт шведский стол — даже с вином, а когда пришло время, нас отвели в тюремную часовню, где уже собрались заключенные, и мы, настроив инструменты, заиграли... вначале опять-таки квартет Дворжака, а после — "Из моей жизни"; мы играли в полной тишине, сознавая, что такой публики у нас еще никогда не было. Когда мы закончили, аплодисментов не последовало, все остались сидеть на своих местах, потрясенные до глубины души; мы поднялись и принялись кланяться, собираясь уходить, но заключенные по-прежнему сидели, подпирая руками подбородок или пряча лицо в ладонях... это была лучшая публика в нашей жизни, почти как год назад в Оксфорде, где все мужчины в зале были во фраках, тогда мы тоже раскланялись и направились за кулисы, но прежде чем уйти, еще обернулись — а слушатели продолжали стоять, потрясенные почти так же, как эти заключенные в Копенгагене, для которых мы исполняли то же самое: квартет Дворжака, написанный им после смерти его детей, "Из моей жизни" Сметаны и квартет Яначека. Вот такой был у нас репертуар, и эта музыка так захватывала и захватывает, что и в Оксфорде, и в ко-

пенгагенской тюрьме публика не посмела нарушить свое мистическое слияние с музыкой ни единым хлопком. Господа, что же это такое — музыка, чем она берет за душу? Да, в сущности, ничем... а стало быть, всем... Так сказал пан Руис, и все мы были настолько взволнованы, что поспешили спрятать наши лица за кружками пенистого пива.

Из книги "Волшебная флейта"

Ноябрьский ураган[1]
(Фрагменты)

ДОРОГАЯ Апреленка,
сейчас вечер семнадцатого ноября, мои кошечки уже свернулись клубочком, прижавшись друг к другу, и сопят себе в лапки, я же вышел к выкрашенному в белый цвет забору в темную звездную ночь, а за мной увязался Кассиус, черный котенок, я взял его на руки, и на северной стороне небосклона расплылось огромное розовое пятно, это было северное сияние, которое я там уже не раз видел, полярное сияние, украшенное сверкающими звездами... и я понял, что это пурпурное знамение неба тоже не предвещает ничего хорошего... Я знал, что в Праге разрешили провести мирную демонстрацию со свечами, шествие, которое начнется у часовни на Альбертове и проследует тем же путем, по которому пронесли гроб с телом студента Яна Оплетала, двадцать восьмого октября 1939 года расстрелянного в Праге немецкими оккупантами... и вот в небе над Керском распростерся розовый занавес, усеянный сверкающими звездами, и котенок Кассиус испугался, а я, держа его на руках, ходил туда-сюда вдоль белого забора и понимал, что это нежное северное сияние не сулит ничего хорошего, что это зловещий знак...

Как я жил в Праге пятьдесят лет тому назад? Я, Апреленка, обитал на Франтишеке и пятнадцатого ноября тоже пошел на демонстрацию, на похороны Яна Оплетала, но на Парижской встретил приятеля с юридического факультета, и он ввел меня в соблазн, так что на Целетной улице мы заглянули в "Боуду" выпить будейовицкого пива и за этим занятием переждали все то, что случилось в тот день в Праге... А потом я отправился спать; там, в том доме, где я квартировал, внизу был кабачок, который назывался "У Седмиков", новости с улиц доходили самые ужасные, настроение у всех было подавленное, один из посетителей насыпал себе на тыльную сторону руки нюхательный табак и так сильно дунул, что пан Седмик чихнул — и парик, который он носил, слетел с его лысины, но его помощница Марженка не засмеялась, как обычно, да и остальные посетители не улыбнулись, все словно воды в рот набрали, а пан Седмик опять натянул свой парик, сказав только, что сейчас не время для дурацких шуток... И я пошел спать. Моей квартирной хо-

1. Заключительное эссе из цикла "Письма Апреленке", обращенного к американской знакомой Грабала, студентке-богемистке Эйприл Джиффорд, которой друг писателя поэт Карел Марыско дал прозвище Апреленка — по созвучию ее имени с названием месяца апреля.

зяйкой была тогда пани Ольга Риссова, она тоже выглядела печальной и жалела нас; нас, жильцов, у нее было трое, мы двое изучали право, а третий работал поваром, он возвращался среди ночи и всякий раз без сил валился на постель, а храпел он так, что я затыкал себе уши хлебным мякишем... А на другое утро в начале одиннадцатого я отправился на факультет и, взглянув на лестницу перед главным входом, увидел такое... Немецкие солдаты гнали по ступеням студентов, били их прикладами в спины, из актового зала и из коридоров выбегали все новые и новые перепуганные молодые люди, и всех их солдаты заталкивали в военные грузовики, а затем немцы подняли борта и сами запрыгнули в кузов... я стоял в ужасе, ведь, приди я на полчаса пораньше, я разделил бы судьбу своих товарищей; машины тронулись с места, и я слышал, как мои однокашники поют гимн "Где родина моя?"... и я понял, что происходит, и когда я вернулся домой, мой коллега Суханек и повар уже собирали вещи, я тоже уложил свой чемодан, и мы, испуганные, простились с нашей плачущей квартирной хозяйкой... и от всех людей, попадавшихся нам по пути на вокзал, откуда мы хотели разъехаться по домам, исходил страх и ожидание того, что потом и случилось: закрыли высшие учебные заведения и семнадцатого ноября казнили двенадцать студентов, а тысячу двести арестованных по общежитиям отправили в Заксенхаузен.

Вот о чем, Апреленка, я вспоминал семнадцатого ноября этого года, пока ходил с черным котенком Кассиусом под розовеющим небосклоном, усеянным сияющими звездами, и я предчувствовал и, можно сказать, знал, что в этот вечер шествие по Праге со свечами добром не кончится, что-то должно случиться, и я боялся, потому что люди, приехавшие во второй половине дня в Керско, говорили, что в верхней части Карловой площади, со стоянки у больницы, еще утром убрали все припаркованные там легковые машины, чтобы освободить место для тяжелой техники МВД...

Собираясь, Апреленка, живописать Вам дальнейшие мои странствия по Сочиненным Штатам, как Вы их однажды назвали, я упрекал себя, что не остался в Праге, дабы увидеть то, что еще не случилось, но уже носилось в воздухе, Прага всю эту неделю пребывала в состоянии истеричного возбуждения, точно так же, как пятьдесят лет тому назад, когда я тоже боялся и когда тысячи студентов отправили в концлагерь, а двенадцать из них расстреляли... я сам по чистой случайности избежал тогда подобной участи, а после этого устроился на работу в канцелярию нотариуса в Нимбурке...

А еще я вспоминаю, как мы с моим приятелем Иркой Ержабеком пили пиво в "Гранде" и вечером, шагая по опустевшей уже площади, болтали на невообразимой смеси чешского с немецким, мы громко и с насмешкой говорили на искаженном немецком языке, и тут из гостиницы "На Княжеской" вышли двое в плащах с девушкой, и один из них схватил меня за горло и заорал "Хальт!", с безумным взглядом он душил меня и чуть ли не по земле волок к военному автомобилю... когда же он, продолжая сжимать мое горло, открыл дверцу, к нам подбежала та девушка с криком: "Ганс, немедленно отпусти парня, ты слышал? Немедленно, не то я тебя брошу... Ганс! Ганс! Иначе ты меня уже никогда не увидишь!" И, повернувшись, она скрылась в Почтовом переулке, Ганс отпустил меня и устремился за ней, а я побежал на Мостецкую улицу, а потом через мост к пивоварне, так благодаря этой девушке я во второй

раз спасся от концлагеря, ведь это был гестаповец, который за издевательство над немецким языком и оскорбление германского рейха наверняка отправил бы меня в Колин, где исчезали патриоты нашего нимбуркского края. В Колине же гестаповцы умели говорить и по-чешски, потому что это были судетские немцы... Ich bin wetterkrank[1].

Вы, Апреленка, конечно, удивлены, почему я wetterkrank. В молодые годы я живал среди немцев в Судетах, это было еще до Гитлера, когда наши немцы в пограничье держали себя вполне пристойно, так что было принято посылать туда детей, чтобы они выучили немецкий. Я ездил в Цвикау, где жил у фрау Плишке, портнихи, и ходил с местными немцами купаться, а в нашей пивоварне, в свою очередь, были две девушки из Цвикау, Герда Фити и Лори... фамилию я не помню... и вот в этом самом городке Цвикау я слышал, как немцы в плохую погоду говорили: "Ich bin wetterkrank!" — и отправлялись пить пиво, иной раз позволяя себе и рюмку шнапса... и это, Апреленка, во мне живо до сих пор: когда я мучусь мировой скорбью, я wetterkrank и иду выпить пива, а то и рюмочку чего покрепче... А в тридцать шестом году, Апреленка, мы опять приехали погостить в Цвикау, но тогда уже были Гитлер и Конрад Генлейн[2]... и наши немцы изменились, они уже не были такими благожелательными, а стали, наоборот, гордыми, и они давали нам понять, что Гитлер для них бог, а столица уже не Прага, а Берлин... Тогда мы съездили туда в последний раз, и все это, как вы знаете, закончилось катастрофой: наступил Мюнхен, Судеты достались рейху, а в марте рейх подчинил себе и остальную Чехословакию, а потом настала та осень, двадцать восьмое октября, закрытие высших учебных заведений, смерть Яна Оплетала и расстрел двенадцати студентов семнадцатого ноября... а я работал в канцелярии господина нотариуса и был свидетелем того, как после покушения на наместника Гейдриха казнили моих сограждан, патриотов и коммунистов... После этого я, Апреленка, стал дежурным на железнодорожной станции Костомлаты близ Нимбурка, и там я опять по чистой случайности избежал смерти, когда партизаны разобрали недалеко от моей станции рельсы, а в это время ехал поезд с эсэсовцами, и меня посадили заложником на паровоз, я до сих пор чувствую на спине стволы эсэсовских пистолетов, и только начальник поезда, поглядев мне в глаза, все понял... остановил поезд, повел подбородком — и я слез по лесенке паровоза и пешком вернулся на станцию, и хотя уже стояла весна, от того, что со мной приключилось, я был wetterkrank... А за три месяца до того, как мне помнится, партизаны взорвали рядом с моей станцией поезд с боеприпасами, состав из открытых платформ, я же стоял на перроне и наблюдал за этим, а потом ощутил ударную волну, все пятнадцать вагонов взлетели на воздух, образовав едва ли не атомное облако... А потом были эсэсовцы в моей конторе и расследование с револьверами на столе возле телеграфного аппарата, но немцы меня не расстреляли, они еще на следующий день приехали за мной, но затем отпустили, мне по обыкновению повезло, только от всего этого я опять был wetterkrank...

И вот сегодня вновь семнадцатое ноября, и по Праге движется шествие студентов со свечами, начавшееся от Института патологии на Альбертове, откуда пятьдесят лет назад отправилась похоронная про-

1. Я больной от погоды (*нем.*).
2. Основатель и глава нацистской Судето-немецкой партии (1933–1938) в Чехословацкой Республике.

цессия с телом Яна Оплетала... Сегодня семнадцатое ноября, уже семь часов вечера, я брожу с негритенком Кассиусом Клеем, моим котенком, на руках, белый забор, белый штакетник, который красила еще моя жена, белые планки освещают мне дорогу, я вышагиваю туда-сюда, а над Керском все еще стоит северное сияние, нежно-розовое и при этом зловещее марево на небосклоне, посреди которого в морозном воздухе сверкают звезды... я думаю об этой студенческой процессии со свечами, о разрешенном шествии, направляющемся с Альбертова к могиле Карела Гинека Махи на вышеградском Славине... Однако северное сияние нагоняет на меня страх, и я, Апреленка, боюсь, что все произойдет не совсем так, потому что вдоль Карловой площади стоит тяжелая техника МВД, а в близлежащих улицах уже наготове машины — этакие клетки для перевозки арестантов или людей, каких отлавливали во время последних пражских демонстраций... в северном сиянии, в этом нежно-розовом зловещем мареве блещут звезды... и я опять wetterkrank, и даже черный котенок Кассиус дрожит у меня на руках...

Дорогая Апреленка, я как раз вспомнил, что маленького Франца Кафку с Целетной улицы, а позже из дома "Минута" водила через Староместскую площадь и далее по Тынскому переулку на Масную, где была немецкая школа, горбатая служанка, она даже вела его за руку... теперь я понимаю, почему маленький Кафка боялся... тогда, в тысяча восемьсот девяносто втором году, в Праге и особенно в Старом Месте ссорились и дрались чехи с немцами, так что австрийское правительство даже объявило чрезвычайное положение... а в девяносто седьмом эти стычки между чехами и немцами коснулись и евреев... Антисемитизм разгорелся с новой силой, и для евреев это вылилось в "декабрьский ураган"... Представители средних слоев еврейства, Апреленка, как пишет Теодор Герцль[1], передвигались по Старому Месту так, чтобы избежать проявлений национализма... как члены некоей подпольной организации... как встречающиеся в море корабли... поэтому не только они, но и Франц Кафка был от всего этого wetterkrank... все это предопределило и суть скорбного вдохновения писателя Франца Кафки, приведя его к "Процессу" и к разного рода заметкам в тетрадках в одну восьмую листа, в каких школьники, в том числе еще и я, делали словарики... В такой вот тетрадке в осьмушку листа Кафка записал: "Как-то раз нас посетил незнакомый человек, они с отцом закрылись в комнате, я с матерью сидел на кухне... затем вошел отец, бледный и взволнованный, он хотел пить, а когда напился, вернулся в комнату к тому чужому господину... придя же потом опять в кухню, он, весь дрожа, сказал, что должен уйти с этим человеком неизвестно куда... я говорю, папа, я пойду с вами... а отец торопливо оделся и сказал, что пойдет один, чужой господин его проводит, но идти он должен один... и вот они вышли, спустились по лестнице, и я видел, как сгорбившийся отец удаляется от меня по улице и сворачивает на площадь..." Я пересказал Вам эту запись из "Тетрадей в одну восьмую листа" своими словами, потому что саму тетрадку я тем временем потерял... точнее сказать, все, вместе взятое, называется "Восемь тетрадей в одну восьмую листа"... И это было как раз то самое, и напрасно пан доктор Кафка абонировал кабину в публичной купальне и упражнялся в плавании, напрасно арендовал лодку, чтобы

1. Теодор Герцль (1860—1904) — основатель и вождь сионистского движения. Главное сочинение — "Еврейское государство".

укрепить нервную систему, напрасно ходил в Помологический институт в Трое окапывать деревья и напрасно ездил, сколько мог, по европейским курортам, будучи глубоко несчастлив от всего того, что его окружало; напрасно также он был четырежды помолвлен, дважды с Фелицией Бауэр, один раз с Миленой Есенской и, наконец, с Дорой Диамант, которая способствовала его смерти, когда в Шенборнском дворце у него началось кровохарканье, и хотя туберкулез в открытой форме помогал ему писать, он медленно, но верно переместился из своего Замка в санаторий Кирлинг, где и умер...

<...>

Итак, в тот день семнадцатого ноября я стоял и смотрел в Керске на синее ночное небо, вышла луна, меня венчали звезды, над лесом, над соседским садом светилось мое любимое созвездие, созвездие Ориона, а над головой сиял Возничий... и я набрался смелости, пошел в дом и включил телевизор, наше телевидение, последние новости, и наконец дождался... Там показывали шествие студентов, предводительствуемых самим Василом Могоритой[1], они неторопливо шагали со свечами по разрешенному маршруту от Института патологии, откуда пятьдесят лет назад несли гроб с телом Яна Оплетала, но нынешнее шествие направлялось на Славин, и там, возле памятной доски поэта Карела Гинека Махи, сам Васил Могорита с еще несколькими студентами поставил свечу... и наше телевидение все это снимало, а потом было показано возвращение разрешенного студенческого шествия, и навстречу этим хорошим студентам шла еще большая демонстрация тоже студентов, но только "подстрекателей", как сказал комментатор, и вот два этих шествия объединились, и плохие переубедили хороших, и потом они все вместе направились по Плавецкой улице в центр города... Все это я, Апреленка, слышал и видел, и мне было приятно, ведь в конце-то концов, говорил я себе, я в первый раз видел репортаж не только о хороших, но и о плохих, и комментатор говорил без надрыва, не повышал голос, не поучал... И я отправился спать с чувством, что наконец-то в Праге происходит нечто значительное, причем с согласия городского национального комитета...

Однако утром ко мне приехал из Праги приятель, у него были выпучены глаза, он провел там целых четыре часа и насчитал пятьдесят тысяч человек в том шествии, что двигалось по Плавецкой улице к Национальному театру, он сам подсчитал, что их было пятьдесят тысяч, прикинув, что на один квадратный метр улицы приходилось по четыре человека... и, когда стемнело, он, стоявший возле "Смиховского погребка", видел, что Национальный проспект был заполнен молодыми людьми, широко распахнув глаза, они выкрикивали лозунги, а позже, примерно в восемь, со стороны Спаленой улицы на них двинулись отряды МВД в белых шлемах, но студенты уселись на землю прямо напротив стражей порядка, и вот сидящие демонстранты принялись протягивать вперед цветы и горящие свечи и петь... а потом наступило долгое молчание... и наконец произошло столкновение, поднялась суматоха, раздались крики, вопли и стоны... У моего друга, который приехал рассказать мне об этом, были багровое до синевы лицо и немигающие глаза, и он говорил, что такого он еще не видел, что позже вооруженные люди

1. Васил Могорита – в то время первый секретарь Союза социалистической молодежи Чехословакии.

отрезали его от остальных и оттеснили вниз, к ресторану "У медвежат", при этом они сбили с ног нескольких журналистов... а потом, когда он через час вернулся туда, где началось столкновение сидящих и протягивающих цветы и свечки демонстрантов с вооруженной силой, он увидел, сказал мой друг, утирая ладонью мокрое лицо, что у "Редуты" на асфальте мостовой и на тротуарах валяются шарфы и шапки, он даже заметил там бюстгальтер... а из галереи вышел плачущий пожилой человек, держа в одной руке черный, а в другой — желтый ботинок, со стороны же Национального театра доносились пение, крики и негодующие возгласы...

И мой друг никогда не забудет всего этого, хотя подобных событий он пережил немало... а потом он увидел, как в галерее, у адвокатской конторы, а затем на Микуландской и Воршилской улицах начали собираться группки молодых храбрецов и ставить на тротуарах свечки — там, где недавно пролилась кровь избитых людей...

<...>

И вот я опять возвращаюсь в Прагу, наступил понедельник, и там все в полном разгаре, я уже шмыгаю носом, я так и вижу прекрасную Прагу и прекрасных девушек и юношей, студентов, которые шествуют, исполненные гордости и важности от того, что жизнь не течет мимо них, но движется с ними и ими, что только они могут провести борозду по гладкому алмазу нашего общества; так, сами подобные алмазам, они пересекают по диагонали Староместскую площадь и устремляются дальше по Королевскому тракту, я же шагаю навстречу им потупясь, чтобы они не заметили, что я чуть не плачу, что едва сдерживаю слезы, потому что, куда бы я ни глянул, я всюду вижу их немигающие глаза, которым придает зоркости ясное представление о том, куда и зачем они идут; при этом ведет их вовсе не знание, их путь — это прорыв, самим своим пребыванием сейчас в Праге они одним махом преодолевают все премудрости мира, все университеты, все политехнические институты — они одолевают даже Пражский Град, который стоит мрачный, как при Рудольфе Габсбурге. Я задерживаюсь перед зданием деканата на Целетной улице и читаю объявление о забастовке педагогического факультета Карлова университета, а рядом вывешены газетные вырезки и пламенные воззвания ко всем тем, кто идет с молодежью, а не стоит на обочине... и я рад, Апреленка, что дожил до этого дня, точно так же мы с паном Мухой плакали на выставке молодого нонконформистского искусства на старой скотобойне в Голешовицах, что дождались того, чего уже не чаяли, что внутри алмаза еще есть изъян, который излучает такое сияние, что его видно невооруженным глазом... Навстречу мне, Апреленка, движутся хорошо одетые молодые люди, девушки с макияжем... кажется, будто они идут на праздник, на свадьбу своей подруги, да эти юные женщины и есть олицетворение свадьбы, они вышли замуж за привлекательную человечную бесконечность, благодаря им была зачата и возникла сама суть вещей, благодаря им только сейчас утвердился диктат бытия, и я вижу, что те, которые прежде просто шатались по Праге, ныне преисполнились достоинства, как в те времена, когда Саша Дубчек прыгал в купальне с мостков в воду, а пожилые дамы снимали с себя драгоценности и серьги и клали их на алтарь этого молодого тогда человека, который сегодня днем тоже шел вместе со всей Прагой на манифестацию... и те юноши, что хулиганят на футбольных матчах "Спарты", "Славии" и "Богемки", нынче тоже ступают

важно, будто на собственной свадьбе, женясь на любимой девушке... и все они колоннами — по диагонали, по горизонтали и зигзагами — идут по Староместской к Вацлавской площади, где под копытами святого Вацлава с полудня сидит молодежь, и полиция на этот раз ведет себя так, словно эти юноши и девушки получили официальное разрешение от национального комитета района Прага-1, словно сам товарищ Штепан[1] приказал органам безопасности охранять покой светлого пасхального понедельника, обойдясь без стегания прутьями...[2]

А я направляюсь туда, куда привык ходить, потому что, как вы, Апреленка, знаете, у меня никого нет, я одинокий человек, и живу я на улице или в Керске и только ночевать хожу в Сокольники... конечно, у меня есть дети — столько котят, сколько я подобрал; мои дети и все те, кто шагает по мостовым и тротуарам и знает, что я про них непрестанно думаю, однако мне нужно быть внимательнее к себе, ведь я уже стар и все это волнует меня чуть ли не до разрыва сердца, хотя мое сердце не так велико, как у Энди Уорхола[3], у которого оно было размером с отель "Риц"... а все же оно разорвалось! Банальная операция желчного пузыря — и конец! Так что я предпочитаю сидеть "У тигра", пить пиво и подписывать свои "Три новеллы", что вышли за эти восемь дней, которые потрясли Прагу... Рядом со мной сидит мой друг Бабочка, что умеет улыбаться и красиво одеваться и строит метро, а еще он умеет молчать, но сейчас он сообщил мне: "Кстати, пан Грабал, тут была девушка, блузка нараспашку, и она сказала, что сюда в "Тигр" ее направил забастовочный комитет университета и что вам надо пойти с ними в театр, там будет диспут и все такое..." Вот что сказал мне мой друг Бабочка, преобразившись в Стива Маккуина[4], с улыбкой посвященного, после чего мы молчали, лишь поглядывая друг на друга, а потом пришел Ярда, мой читатель, который тоже строит метро, и сказал: "Вацлавская площадь забита аж до копыт"... и мы пили пиво, и я дрожал, потому что писать письма Апреленке — это одно, а вот что сказать молодым людям, если я на четыре поколения старше их, да вдобавок эта моя славянская слезливость, я знаю, Апреленка, герои романов господина Достоевского тоже любят плакать, так как страдают от болей в желчном пузыре, но это все от пьянства... вот и у меня тоже сейчас приступ, как, бывало, и у самого Достоевского... И наконец по центральному проходу прошла между столами и стульями та, о которой говорил мой друг Бабочка... то есть Бабочкой его называют друзья, из-за фильма и главного героя, которого так звали... Бабочка... Короче говоря, Бабочка взялся рукой за мочку уха, где у него вытатуирована крохотная бабочка, и тут подошла эта самая Марсельеза в расстегнутой блузке и джинсах, в одной руке она держала полулитровую кружку пива, а в другой сигарету, она села к нам и заявила: "Именем забастовочного комитета, пан Грабал, прошу Вас последовать за мной, мы устроим диспут, вы не можете отказаться, пойдемте..." А я отвечаю: "Хорошо, девушка, но у меня только что был инфаркт... ведь я помру прямо у вас на глазах..." Тут подошли еще двое студентов, парни ростом с Бабочку... и я говорю: "Послушайте, вот два моих последних

1. Мирослав Штепан — тогда первый секретарь пражского горкома Коммунистической партии Чехословакии.
2. Народный пасхальный обычай у чехов.
3. Энди Уорхол (1928—1987) — американский художник словацко-русинского происхождения.
4. Стив Маккуин (1930—1980) — американский киноактер, сыгравший во многих известных вестернах.

письма Апреленке... видишь, Марсельеза? В них я описал все случившееся, и там не только пражские события, но и история любви...” Девушка с распущенными волосами выглядела так, словно только что сбежала с подмостков (что тогда было — да и сейчас еще остается — в порядке вещей)... она взглянула на текст, улыбнулась и поставила допитую кружку на мое письмо Вам, Апреленка, со словами: “А можно это переписать?” Я говорю: “Можно...” И забастовочный комитет театрально удалился... а я все так же печально сидел и наконец заказал коробку испанских маслин и откупорил ее, а пан Дип принес мне кровяную колбасу в пакете, шепча: “Это вы съешьте дома!” После чего он подсунул мне пластмассовую тарелку с холодцом... а пан Вацлав принес кулек рогаликов... и так мы потихоньку ели, и вдруг Бабочка взглянул на часы и сказал: “Господи, меня же ждет молочный поросенок!”... Вот так мы сидели, и люди разговаривали со мной, но я был глух, так подкосил меня этот забастовочный комитет университета... а потом пришел пан Андерле с женой Миладой... оба мне улыбались, Милада гладила меня по руке, а потом сосчитала сделанные официантом черточки на моем счете и сказала: “Богоуш, вам нельзя столько пить!”... а пан Андерле объяснял мне то, что я и без него знал... он нервно посматривал на часы, приговаривая, что ему пора домой, чтобы не пропустить последние новости... итак, я вышел вместе с моими друзьями, супругами Андерле... и на улице мы услышали шум, который все приближался, так как со стороны Града валила назад гигантская процессия, которую не пропустили вооруженные люди в белых шлемах... и так против течения, как бывает, когда реки выходят из берегов, это шествие текло обратно... а я извинился, что, мол, еще должен забрать друзей из пивной “У библиотеки”, где меня ждет человек, которому я всякий раз даю сотню за слова ободрения, хотя в ободрении нуждался бы больше всего он сам... но его там не было, и я прошел мимо любителей пива, которые оставляли иногда хлопья пены на моем синем рюкзачке, что, Апреленка, купила мне Штепанка, тоже богемистка, в Вашем родном городе Линкольне в штате Небраска... и вот я опять оказался на улице — с этим мокрым синим рюкзачком и в русской ушанке из соболя, которую я купил в Москве и которая так мне идет... такую же в заснеженных горах носил сам Энди Уорхол... в ту зиму я в Москве пошел в ГУМ, и надо же, там стоял один русский с точно такой собольей шапкой на голове, о какой я мечтал, и я говорю: “Сколько?” — а он в этой давке нахлобучил на меня ту шапку, она мне подошла, и я снова спрашиваю: “Сколько?” Он же показывает мне жестами, что, мол, триста пятьдесят... и я достал триста рублей, но он, пожав плечами, снял с моей головы шапку... тогда я извлек пятьдесят марок, и он, со знанием дела рассмотрев мою банкноту, взял ее и опять надел шапку мне на голову, а женщина, которая была с ним, тотчас вынула из сумки точно такую же ушанку, и этот театрального вида молодой русский, который выглядел как Энди Уорхол надел ее и оперся спиной об угол ГУМа, мимо шли люди, а он, со скрещенными на груди руками и смятым в гармошку сапогом, все стоял, зная, что вскоре кто-нибудь, вроде меня, подойдет к нему... И вот я стоял перед пивной в этой самой русской ушанке, мимо шагали те, которые были на Вацлавской площади, они кричали и несли транспаранты, и я смотрел на них и удивлялся, что, надо же, просто Первомай в пасхальный понедельник, пока, правда, без стегания прутьями... стольких красивых людей я никогда прежде не встречал, столько серьезности у молодых мне видеть не доводилось... и я отправился с ними и в конце концов

очутился возле моего юридического факультета, на другой стороне, за мостом Чеха, светились и сияли белые шлемы, и это означало, что проход закрыт... и я остановился в том месте, откуда пятьдесят лет назад наблюдал, как немецкие солдаты и эсэсовцы выгоняли с факультета моих коллег, это было утром, моих университетских друзей ударами ружейных прикладов заставляли забираться в военные грузовики, затянутые зеленым брезентом, а я стоял на углу и видел то, что видел... и как поднялись борта, и как грузовики тронулись с места и поехали в сторону Заксенхаузена, и я слышал, как мои однокашники пели "Где родина моя?"... и я заметил, что на газоне, присев на корточки, юноши в джинсах зажигают свечки возле маленького памятника, на который я прежде никогда не обращал внимания... там было трое молодых людей – в джинсах, куртках, шарфах и жилетах, они словно отогревали ладони, сомкнув головы над пламенем свечек... И тут я услышал, что едет мой семнадцатый трамвай, и побежал, и этим самым семнадцатым трамваем я, Апреленка, отправился домой... Апреленка, но мне это не давало покоя, и наутро я этим же трамваем поехал обратно и ступил на газон, там оказалась мраморная доска, я читал ее на ощупь, пальцами, на ней было написано: "Памяти неизвестного солдата, павшего за свободу в мае 1945 года".

P. S.

Дорогая Апреленка, я прочитал столько всяких лозунгов и призывов... Вам, в Ваш университет, где Вы после обеда изучаете русский, а по утрам работаете в универмаге, чтобы было на что жить, в этот Ваш Стэнфордский университет, в Калифорнию, я посылаю единственный лозунг, который мне удалось запомнить в тот понедельник:

СЕГОДНЯ ВСЯ ПРАГА –
ЗАВТРА ВЕСЬ МИР

21.11.1989

Эдуардо Карранса

Стихи

Перевод с испанского и вступление Надежды Муравьевой

Эдуардо Карранса (1913—1985) родился в Колумбии, нареченной в XX веке "царством поэзии". Своим поэтическим предшественником, "небесным дедушкой", он объявил великого испанца — Густаво Адольфо Беккера. А в 1939 году, основав литературное общество, Карранса назвал его "Камень и небо" — в честь книги еще одного испанца, Хуана Рамона Хименеса, чья утонченно-музыкальная поэтическая манера стала определяющей для участников этого объединения.

Учитель по профессии, Карранса сделал, однако, удачную дипломатическую карьеру, получив пост культурного атташе сначала в Чили, затем в Испании. В Чили он сблизился с Пабло Нерудой, считавшим Каррансу одним из лучших поэтов эпохи. Именно Неруда назвал его "поэтом воздуха", хотя сам Карранса именовал себя "поэтом земли".

В 1951 году Карранса едет в Испанию, где проводит восемь лет. Это самая счастливая пора его жизни. Менендес Пидаль и Асорин, Херардо Диего и Сальвадор Дали превозносят его как нового Рубена Дарио, знаменитого "никарагуанского лебедя", первооткрывателя новых возможностей испаноязычной литературы. Парадоксальным образом любовь к Испании проявилась в одном из самых печальных сборников Каррансы "Забытый и Альгамбра" (1957), пронизанном дыханием испанских ветров и горячим, скорбным испанским вдохновением.

Несколько стихотворений из этого сборника вместе с другими, более поздними, изданными уже в Колумбии, мы предлагаем вниманию нашего читателя.

© Н. Муравьева. Перевод, вступление, 2001
Иллюстрации Дмитрия Субботина.

Из книги "Забытый и Альгамбра"

Жаждущий сонет

Мое преддверье, предвечерье, ожиданье,
Кинжал и рана, все мое "с тобою",
Ответ на зов, мое "люблю", мое желанье,
Вся жажда, яблоко небесное, земное.

Мое "навечно", "навсегда", река, до дрожи
Рыдающая всей водой больною,
Безумье розы, бесконечность кожи,
Усталый сад, заговоренный мною.

Бессонница созвездий. Сна круженье.
Земное яблоко. И жажда. И сожженье
Сознания в никчемности его.

Мне без тебя в оставленности этой —
Полночной, сумеречной, утренней, рассветной —
Как без души, без сердца моего.

Апрельский сонет

Луису Кордобе Мариньо

Преследуя, весна, твои знамена,
Я потерял за морем необъятным
Живое лето, и его корону,
И птичий флаг его в лазурных пятнах.

Там, за волнами, — все мои утраты:
Там пальмы, словно стройные колонны,
Возносят небо над равниной сонной,
Там черный конь и мой гамак крылатый.

А здесь, в разливах макового моря,
У каждой башни, и волны́, и взгорья,
Напевами вина завороженный,

Оплакиваю горько и устало
Все то, что безоглядно я оставил,
Преследуя, весна, твои знамена.

Альгамбра

Луису Росалесу

Было, когда встрепенулась душа в колоннах,
Когда невесомый воздух соткался в окнах
И сиянье одело кровлю, которой служат
Опорою стены любви.

Было, когда склонилась газель созвездий
В жажде своей к немолчному водомету
И обрела Поэзия после скитаний
Чертоги свои.

Когда начертала рука иероглифы сновидений
И упоительно женственные узоры,
Когда луна замерцала весенним полднем,
Себя не помня.

Когда пространство вступило в свои владенья,
И над прямизной порталов взлетали арки
И, плавные, поднимались как будто ангел,
Крылатый и кроткий.

Когда пригрезилось саду его умиранье,
А птица в его ветвях все пела и пела
И в дальние дали земли улетал ее голос.
Когда новолунье...

Когда воздушность и легкость, когда прозрачность,
Когда в расцветший жасмин облеклись террасы,
Когда любовь взошла на башни витые,
Когда лимоны...

Когда бесплотная музыка сделалась зримой,
Когда случилось увидеть благоуханье
И безумье проснулось преображенным
В стройную ясность.

Было, когда царевны, баллады, вздохи,
Когда во внутренний дворик вступило небо
И там поселилось с вином багряным
И голубями.

Было, когда в саду легенда уснула
И музыка влажные веки свои смежила,
Было, когда горячая полночь и юность —
О, было, когда фонтаны...

Песня

Кружится ветер осенний,
Рушится вечер мглистый:
Золотые падают башни,
Голубые падают листья.

И летит безумное время,
И рушатся сновидения,
И падают башни желаний,
И падают листья в смятении.

И сердце кружит над бездной,
И падает неудержно.
Мертвому нет спасенья.
Господи, нет надежды.

И несется река забвенья
Надо мною. И выше, выше
Речные цветы проплывают,
И никто мой голос не слышит.

С болью

Без имени. Беззвучьем назовешься.
И воздух, опустевший без тебя,
Отныне станет болью.

Но сквозь забвение, вином багряным
Твое фиалковое имя начертаю,
Что было именем моей души.

Я все гляжу теперь не отрываясь
На эту руку, что лицо твое ласкала,
Тебе служила изголовьем,

На эту руку, дальнюю, чужую,
Узнавшую две рдеющие розы,
Янтарную, теплеющую гладь.

Но сквозь забвение, сквозь сосны разгляжу
Тебя, себя, мою былую жажду
По имени любовь.

Без имени. Беззвучьем назовешься.
И это все написано рукой,
Что там, вдали, вела тебя сквозь сосны.

Из книги “Смертное послание и другие одиночества”

Гитара

Мама ты моя, мама,
я один, я в музыке заточенный,
словно бы в глубине
изнуренной луной гитары,
и решетки темницы моей —
гитарные струны.
Руку, мама, мне протяни,
вызволи из тюрьмы
времени,
из неволи
музыки.

© Instituto Colombiano de Cultura, 1974, 1975

Из книги "Слова и грезы"

Обездоленный

Нет у нас ничего, кроме этой земли,
Прекрасной и скорбной.
Нет у нас ничего, кроме этой единственной жизни,
Прекрасной и скорбной.
Нет у нас ничего, кроме этого сердца,
Где кружит призрак –
То он прозрачней неба, то чернее черного горя, –
Кроме ранящей музыки этой
И дурманящего вина.
Нет у нас ничего, кроме этого хлеба земного
С горечью мрака или сладостью горней,
Хлеба любви, ожиданья и смерти.
Не было ничего у меня,
Только колокол этот,
Что теперь призывает, зовет, и никто не слышит.
Только ключ, отпиравший когда-то чудесную дверь,
И нет теперь этой двери.
Нет у нас ничего, кроме этого.
А это – ничто.
Было бы лучше сказать: нет у меня ничего.
И поставить точку.

Если коснешься написанных слов,
Рука твоя будет в крови.

Кэтрин Кресмен Тейлор

Адресат выбыл

Рассказ

Перевод с английского Р. Облонской

Галереи Шульце-Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
Schloß Rantzenburg[1]
Мюнхен, Германия

12 ноября 1932 г.

ДОРОГОЙ Мартин,
ты снова в Германии! Как я тебе завидую! Хотя я не видел ее со школьных дней, но до сих пор помню все очарование Унтер ден Линден — широту и вольность мысли, споры и разговоры, музыку, беззаботное товарищество. А прежнего юнкерского духа, прусского высокомерия и милитаризма теперь уже нет. Ты вступаешь в жизнь демократической Германии, страны подлинной культуры, которая делает первые шаги на пути к политической свободе. У тебя будет хорошая жизнь. Твой новый адрес звучит впечатляюще, и я с удовольствием узнал, что морское путешествие доставило такое удовольствие Эльзе и вашим юным отпрыскам.

Что же до меня, невесело мне. Воскресным утром я ощутил себя одиноким холостяком, которому некуда податься. Мой воскресный дом переместился теперь за моря и океаны. Вспоминаю большой старый дом на холме и твое гостеприимство, означавшее, что не полон день, пока мы снова не оказались вместе! И нашу замечательную Эльзу, которая сияя выходит навстречу, и сжимает мне руку, и радостно восклицает "Макс! Макс!", и спешит в комнаты, чтобы открыть мой любимый шнапс. И славных мальчишек, особенно юного красавца Генриха; когда я снова его увижу, он уже будет взрослым мужчиной.

А обед — доведется ли мне еще поесть когда-нибудь, как едал у тебя? Теперь я хожу в ресторан, и над моим одиноким ростбифом витают ви-

© Р. Облонская. Перевод, 2001

1. Господину Мартину Шульце. Замок Ранценбург (*нем.*). *(Здесь и далее – прим. перев.)*

дения исходящего паром gebackner Schinken[1] в бургундском соусе, и Spätzle[2], ах, эти Spätzle и эта Spargel[3]! Нет, мне теперь нипочем заново не привыкнуть к моему американскому столу. А вина, которые так быстро и бережно доставляли на берег с германских кораблей, и обеты, что мы давали, когда стаканы наполнялись до краев в четвертый, пятый, в шестой раз!

Ты, разумеется, прав, что уехал. Американцем ты так и не стал, хоть и преуспел здесь, и теперь, когда дело так хорошо налажено, самое время вернуть твоих крепышей на родину, чтобы дать им образование. К тому же Эльза истосковалась по своим родным за эти долгие годы, и они, конечно, будут вам рады. Некогда нищий молодой художник стал теперь благодетелем семьи, так что тебя встретят с распростертыми объятиями.

Дела наши по-прежнему идут хорошо. Миссис Ливайн купила маленького Пикассо по нашей цене, с чем я себя поздравляю, а старую миссис Флешмен я заинтересовал той ужасной Мадонной, и старуха теперь призадумалась, не купить ли ее. Никто не дает себе труда сказать ей, что та или иная из ее картин нехороша — они ведь все хуже некуда. Однако у меня нет твоего подхода к этим старым еврейским матронам. Я могу убедить их, что это превосходное помещение капитала, но твое изысканно-возвышенное отношение к произведению искусства их обезоруживает. Кроме того, они, вероятно, никогда полностью не доверяют другому еврею.

Вчера получил письмо от Гризель и с удовольствием его прочел. Она пишет, что очень скоро я смогу гордиться своей сестренкой. Ей дали главную роль в новой пьесе в Вене, и отзывы в прессе замечательные — безрадостные годы, проведенные в маленьких труппах, начинают приносить плоды. Бедняжка, ей было нелегко, но она никогда не жаловалась. У нее возвышенная душа, она хороша собой и, надеюсь, талантлива. Она спрашивает о тебе очень по-дружески, Мартин, и без малейшей горечи — когда молод, как она, горечь проходит быстро. Всего несколько лет миновало, а только и осталось, что память о былой травме, и, разумеется, ни ты, ни она ни в чем не виноваты. Это точно неожиданно налетевшая буря — хлынул дождь, разразилась гроза, и вы совершенно беспомощны перед ними. А потом засияет солнце, и хотя ни тот, ни другая не вовсе забыты, остается лишь нежность и никакого горя. И у меня было бы точно так же. Я не писал Гризель, что ты в Европе, но, пожалуй, напишу, если, по-твоему, это разумно, она ведь нелегко завязывает дружбу, и наверняка ей будет радостно чувствовать, что друзья не за тридевять земель.

Четырнадцать лет со дня окончания войны! Ты отметил эту дату? Какой долгий путь отделяет нас, народы, от той горечи! Позволь, дорогой Мартин, снова мысленно обнять тебя. С самыми нежными воспоминаниями об Эльзе и мальчиках

неизменно преданный тебе
Макс

1. Запеченный окорок (*нем.*).
2. Клёцки по-швабски (*нем.*).
3. Спаржа (*нем.*).

Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

М-ру Максу Эйзенштейну
Галереи Шульце-Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

10 декабря 1932 г.

Дорогой старина Макс,
чек и отчет пришли своевременно, спасибо. Ты напрасно ставишь меня в известность о таких подробностях сделок. Ты ведь знаешь, я вполне согласен с тем, как ты ведешь дела, а здесь в Мюнхене у меня предостаточно иных занятий, только успевай поворачиваться. Мы уже на новом месте, но пока еще все вверх дном! Как ты знаешь, этот дом давно был у меня на примете. И он достался мне неправдоподобно дешево. Веришь ли, тут тридцать комнат и парк около десяти акров; но ты и представить не можешь, как она бедна сейчас, моя печальная земля. Помещения для слуг, конюшни и надворные постройки обширнейшие, и подумай только: мы платим десятерым слугам столько же, сколько платили двоим в нашем доме в Сан-Франциско.

Благодаря гобеленам и разным произведениям искусства, которые мы привезли сюда, а также прекрасной мебели, которую мне удалось сохранить, дом выглядит великолепно и вызывает всеобщее восхищение, я бы даже сказал — чуть ли не зависть. Я купил четыре больших сервиза тончайшего фарфора и много хрусталя, а также полный набор серебра, от чего Эльза в совершенном восторге.

А для Эльзы — ты, конечно, посмеешься вместе со мной, — для Эльзы я приобрел огромнейшую кровать. Размер небывалый, вдвое больше двуспальной, и с резными столбиками, а вернее сказать, с настоящими столбами. Простыни пришлось заказывать, готовых подходящего размера не было. Простыни льняные, тончайшего льна. Эльза без конца смеется, а ее старая Großmutter качает головой и ворчит: “Nein, Мартин, nein. Устроил такое, теперь смотри в оба, как бы она не растолстела, чтоб кровать была по ней”.

“Ja, — говорит Эльза, — еще пятеро мальчишек, и мне в ней будет уютно, в самый раз”. Так оно и будет, Макс.

Для мальчиков здесь три пони (малышам Карлу и Вольфгангу еще рано ездить верхом) и домашний учитель. Немецкий у них никуда не годится, смесь немецкого с английским.

Родные Эльзы сейчас переживают не лучшие времена. Братья работают по своей специальности и пользуются большим уважением, но вынуждены жить под одной крышей. Родным кажется, что мы американские миллионеры, и хотя нам до этого далеко, благодаря нашему американскому доходу мы принадлежим к людям состоятельным. Хорошие продукты здесь дороги и политическая обстановка неспокойная, даже теперь, при президенте Гинденбурге; он истинный либерал, и я немало им восхищаюсь.

Старые знакомые уже настаивают, чтобы я принял участие в делах городской администрации. Подумаю об этом. Возможно, если стану каким-нибудь должностным лицом, нам это пойдет на благо.

Что до тебя, милый мой Макс, оставили мы тебя одного, но только смотри не заделайся мизантропом. Заведи себе славную полненькую же-

нушку, она возьмет на себя все твои заботы и станет кормить тебя так, что ты всегда будешь в хорошем настроении. Это мой тебе совет, добрый совет, пусть я сейчас и улыбаюсь.

Ты пишешь о Гризель. Итак, она добилась признания, наша красавица! Радуюсь вместе с тобой, хотя даже теперь негодую, что девушке одной приходится пробивать себе дорогу. Любому ясно — она создана для роскоши и обожания, для красивой и сладостной жизни, которая позволяет давать волю чувствам. В ее темных глазах — тонкая, прекрасная душа, но есть в ней и железная твердость и отвага. Она из тех женщин, которые ничего не делают бездумно. Увы, дорогой Макс, я, как всегда, предаю себя. Но хотя во время нашего бурного романа ты молчал, ты знаешь, решение мне далось нелегко. Когда твоя сестренка страдала, ты ни разу не упрекнул меня, твоего друга, но ты знал, что я тоже страдаю, и еще как; я всегда это чувствовал. Что я мог поделать? У меня была Эльза и маленькие сыновья. И значит, никакой возможности поступить иначе. Но я думаю и еще долго буду думать о Гризель с нежностью — даже когда она выберет себе в мужья или в любовники человека много моложе меня. Старая рана зажила, дружище, однако время от времени шрам дает о себе знать.

Пожалуйста, сообщи ей наш адрес. От Вены до нас рукой подать, пусть чувствует, что совсем рядом у нее есть дом. К тому же Эльзе ничего не известно о нашем давнем чувстве, и сам понимаешь, какой теплый прием она окажет твоей сестре — как тебе самому. Да, непременно напиши Гризель, что мы здесь, и пусть поскорее свяжется с нами. Передай ей наши самые теплые поздравления с ее замечательным успехом. Эльза шлет тебе поклон, и Генрих тоже сказал бы "Хелло, дядя Макс". Мы помним тебя, Максель.

Сердечный привет!

Мартин

Галереи Шульце-Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

21 января 1933 г.

Мой дорогой Мартин,
с радостью отправил твой адрес Гризель. Она скоро должна его получить, если еще не получила. Как она обрадуется, увидев вас всех! Мысленно я буду с вами, раз уж не могу присоединиться к вам во плоти.

Ты говоришь о том, какая у вас там бедность. Этой зимой и у нас положение было скверное, но, разумеется, мы не испытывали ничего похожего на те лишения, что выпали на долю Германии.

Нам с тобой повезло, что наши постоянные покупатели люди такие платежеспособные. Они, разумеется, сокращают свои покупки, но даже если они станут покупать вдвое меньше прежнего, мы будем обеспечены вполне прилично. Картины, которые ты прислал, превосходны, и цены поразительные. Я мигом их сбуду с большой выгодой. И безобразная Мадонна продана! Да, старой миссис Флешмен. Я не знал, какую назначить цену, но она сама с поразительной проницательностью определила,

сколько стоит это полотно. Она заподозрила, что у меня есть другой покупатель, и я назвал некую малопочтенную личность. Миссис Флешмен хитро улыбнулась и подписала чек. Только ты способен понять, как я ликовал, когда она унесла с собой это страшилище.

Увы, Мартин, когда я радуюсь таким незначительным победам, мне часто бывает за себя стыдно. Ты в Германии покупаешь загородный особняк и выставляешь свое богатство напоказ перед родней Эльзы, а я в Америке радуюсь, что сумел обвести вокруг пальца легкомысленную старуху и всучил ей это чудище. Вот каких вершин мы достигли, двое сорокалетних мужчин! Неужто на это мы тратим жизнь — ловчим ради денег, а потом задираем нос перед всеми и каждым? Я вечно кляну себя, но продолжаю действовать в том же духе. Всех нас, увы, перемалывает один жернов. Мы тщеславны и бесчестны, потому что должны взять верх над такими же тщеславными и бесчестными людьми. Если я не продам миссис Флешмен наше страшилище, другой продаст ей что-нибудь похуже. И никуда от этого не денешься.

Но есть иной мир, где всегда можно найти подлинные ценности, — у камелька друга мы отбрасываем наше жалкое самомнение и обретаем тепло и понимание, там нет места мелкому себялюбию, там вино, и книги, и беседа придают существованию иной смысл. Там мы создали что-то, чего не может коснуться никакая фальшь. Мы дома.

Кто этот Адольф Гитлер, который, похоже, набирает силу в Германии? То, что я читаю о нем, мне не нравится.

Обними за меня всех ребятишек и нашу изобильную Эльзу.

Твой неизменно любящий
Макс

Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

М-ру Максу Эйзенштейну
Галереи Шульце-Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

25 марта 1933 г.

Дорогой старина Макс,
ты, конечно, слышал о нынешних событиях в Германии и хочешь знать, какое впечатление они производят на нас здесь. Сказать по правде, Макс, мне кажется, во многих отношениях Гитлер хорош для Германии, но уверенности у меня нет. Сейчас он настоящий глава правительства. Очень сомневаюсь, что даже Гинденбург мог бы сейчас отстранить его от власти, так как был практически вынужден посадить его на это место. Гитлер — словно удар электрическим током, в нем есть убежденность, свойственная только великолепным ораторам и фанатикам. Но так ли уж он разумен, спрашиваю я себя. Его отряды коричневорубашечников — настоящий сброд. Они мародерствуют и начали преследовать евреев. Правда, это, может быть, мелочи, пена, поднятая на поверхность могучей волной. Ибо говорю тебе, дорогой Макс, здесь сдвиг, резкий сдвиг. Народ повсюду оживился. Это ощущается на улицах, в магазинах. Прежнее отчаяние отброшено в сторону, как старый пиджак. Люди уже не охвачены стыдом, они снова надеются. Быть может, удастся положить конец бедности. Что-то, сам не знаю что, непременно произойдет.

Страна обрела вождя! Однако я предусмотрительно задаюсь вопросом: а куда он поведет, этот вождь? Преодоленное отчаяние нередко направляет нас по безумному пути.

На людях я, естественно, сомнений не выражаю. Я теперь должностное лицо, сотрудник нового режима и, конечно, громко им восторгаюсь. Все мы, чиновники, кто дорожит своей шкурой, поспешили присоединиться к национал-социалистам — так называется партия господина Гитлера. Но это не только выгодно, есть в этом нечто большее, ощущение, что мы, живущие в Германии, обрели свою судьбу и на нас катит неодолимая волна будущего. Нам тоже надо двигаться. Надо идти с ним в ногу. Даже и сейчас творится зло. Штурмовики торжествуют победу и в доказательство победы могут предъявить окровавленные головы и опечаленные сердца. Но это проходит; если цель, что маячит впереди, правильна, это проходит и забывается. История открывает чистую, новую страницу.

Лишь об одном спрашиваю я себя и могу сказать тебе то, чего никому не могу сказать здесь: а цель правильная? К лучшей ли цели мы стремимся? Знаешь, Макс, когда я вернулся, я увидел этих людей одной со мной крови и узнал, что им пришлось пережить: они голодали, превращались в скелеты, теряли надежду, погружались в трясину отчаяния, которая уже готова была их поглотить. И вдруг, за миг до смерти, явился человек и вытащил их. И теперь они знают одно — они не умрут. Спасение привело их в экстаз, они чуть ли не боготворят его. И каков бы он ни был, их спаситель, они вели бы себя так же. Хорошо, если тот, за кем они так радостно следуют, истинный вождь, а не злой гений. Тебе одному говорю, Макс, я не знаю, так ли это. Не знаю. Однако надеюсь.

Ну, хватит о политике. Что до нас самих, мы наслаждаемся нашим новым домом и устраиваем приемы. Сегодня у нас в гостях бургомистр, и мы даем обед на двадцать восемь персон. Должно быть, мы излишне "выставляемся", но это простительно. У Эльзы новое платье синего бархата, и она в страхе, вдруг оно окажется мало. Она опять в положении. Знаешь, Макс, есть способ поддерживать у жены хорошее настроение — постараться так обременить ее детьми, чтобы у нее уже не хватало времени сердиться.

Наш Генрих удостоился светского признания. Едет он на своем пони, тот его сбрасывает, и кто его поднимает? Не кто иной, как барон фон Фрайше. У них была долгая беседа об Америке, и однажды барон к нам пожаловал и мы посидели за чашечкой кофе. На следующей неделе Генрих отправится к барону на ланч. Каков мальчуган! К сожалению, по-немецки он говорит еще плохо, но зато всех очаровывает.

Так мы живем-поживаем, друг мой, и то ли станем частью великих событий, то ли будем следовать нашим нехитрым семейным путем, но всегда останемся верны дружбе, о которой ты пишешь так трогательно. Через моря и океаны сердца наши открыты тебе навстречу, и когда наши бокалы полны, мы поднимаем их "За дядю Макса".

С нежным приветом
всегда твой
Мартин

Herrn Martin Schulse
Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

18 мая 1933 г.

Дорогой Мартин,
я в отчаянии от газетных сообщений, которые сыплются на нас из Отечества. И естественно, что я обращаюсь к тебе за разъяснениями, ибо у нас нет ничего, кроме противоречивых рассказов о происходящем. Я уверен, не может быть, чтобы дела обстояли так скверно, как у нас изображают. Американские газеты единодушно твердят о чудовищном погроме.

При твоей широте взглядов и отзывчивом сердце ты, конечно, не станешь мириться с жестокостью, и, надеюсь, от тебя я узнаю правду. Сын Аарона Зильбермана только что вернулся из Берлина и, говорят, едва унес ноги. Его рассказы о том, чему он был свидетелем, невыносимы — людей истязают, силком, через стиснутые зубы вливают в них бутыли касторки, и потом они медленно умирают мучительной смертью от разрыва кишок. Возможно, так оно и есть, и, возможно, как ты уже писал, это лишь всплывающая на поверхность жуткая пена крутой ломки человеческих душ. Увы, для нас, евреев, это знакомая горькая история, повторяющаяся из века в век, и трудно поверить, что эти извечные страдания приходится испытывать сегодня, по воле цивилизованного народа. Напиши мне, дорогой Мартин, и успокой мою душу.

Спектакль, где играет Гризель, пользуется огромным успехом и будет идти примерно до конца июня. Она пишет, что получила приглашение еще на одну роль в Вене и на осень — на очень интересную роль в Берлине. Пишет она все больше об этой последней, но я посоветовал ей повременить, пока там не улягутся антиеврейские настроения. Выступает она, разумеется, под другим именем, не еврейским (для сцены фамилия Эйзенштейн все равно не подходит), но ее происхождение ясно отнюдь не только из-за фамилии. Как бы она себя ни называла, ее черты, жесты, взволнованный голос выдают в ней еврейку, и если эти настроения там действительно существуют, лучше ей не рисковать и сейчас в Германию не ездить.

Прости, друг мой, за такое сумбурное и краткое письмо, но мне не найти себе места, пока ты меня не успокоишь. Я знаю, ты напишешь мне с полной откровенностью. Умоляю тебя, ответь сразу.

С самыми горячими заверениями в неизменной преданности и дружеских чувствах к тебе и твоей семье

Твой
Макс

Кэтрин Кресмен Тейлор. Адресат выбыл

Deutsch-Völkische Bank und Handelsgesellschaft, München[1]

М-ру Максу Эйзенштейну
Галереи Шульце-Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

9 июля 1933 г.

Дорогой Макс,
как видишь, я пишу на почтовой бумаге моего банка. Делаю это по необходимости — у меня к тебе просьба, и я хочу избежать цензуры, которая теперь чрезвычайно строга. Нам придется пока перестать писать друг другу. Для меня сейчас невозможно переписываться с евреем, даже независимо от моей должности. Если тебе будет необходимо связаться со мной, вложи письмо в конверт с банковским чеком, а на домашний адрес больше не пиши.

Что же до суровых мер, которые так тебя огорчают, мне самому они поначалу тоже не нравились, но потом я понял, что, как это ни горько, они необходимы. Евреи — тяжкий крест для любого народа, который дал им прибежище. Я никогда не ненавидел ни одного еврея, а тобой всегда дорожил как другом, но поверь мне — говорю тебе с полной откровенностью, — не потому я тебя любил, что ты еврей, а вопреки этому.

Евреи всегда и везде козлы отпущения. Такое не бывает без причины, и им не доверяют вовсе не из-за того, что они будто бы распяли Христа. Но эта беда с евреями — всего лишь мелкий эпизод. Здесь вершится нечто куда более значительное.

Имей я возможность показать тебе, имей ты возможность увидеть собственными глазами рождение этой новой Германии под руководством нашего Благородного Вождя! Мир не вечно будет подминать под себя великий народ. Потерпев поражение, мы четырнадцать лет жили с опущенной головой. Мы ели горький хлеб позора и пили жиденькую кашицу бедности. Но теперь мы свободные люди. Наша мощь растет, и мы глядим на все народы с высоко поднятой головой. Мы очищаем нашу кровь от низкопробных элементов. Мы с песней шагаем по долинам, и наши могучие мускулы гудят в предвкушении работы, а с гор доносятся голоса Водана и Тора — древних могучих богов германской расы.

Я пишу, и это новое видение вызывает у меня огромный душевный подъем, но я уверен, что тебе не понять, как все это необходимо для Германии. Ты поймешь только, что твой собственный народ в беде. Тебе не понять, что ради спасения миллионов меньшинство должно пострадать. Ты будешь прежде всего евреем и станешь оплакивать свой народ. Что ж тут удивительного. Такова натура семитов. Вы сокрушаетесь, но вам недостает мужества ответить ударом на удар. Вот чем вызваны погромы.

Увы, Макс, я знаю, тебе будет больно, однако ты должен знать правду. Есть движения куда более значительные, чем те, кто их создал. Что до меня, я вхожу в это движение. Генрих — офицер юношеских частей, которые возглавляет барон фон Фрайше, — наш дом теперь купается в лучах его славы, ибо он часто у нас бывает, приходит повидаться с Генрихом и Эльзой, от которых он в полном восторге. Я же по уши в работе. Эльза мало интересуется политикой, только обожает нашего Благород-

1. Немецкий народный банк и торговое товарищество, Мюнхен (*нем.*).

ного Вождя. Последнее время она быстро устает. Наверно, она слишком часто рожает. Когда дитя появится на свет, ей станет легче.

Мне жаль, Макс, что наша переписка должна прекратиться таким вот образом. Быть может, в один прекрасный день мы станем лучше понимать друг друга и снова найдем общий язык.

Как всегда твой
Мартин Шульце

Галереи Шульце-Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
(с любезной помощью Дж. Ледерера)
Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

1 августа 1933 г.

Мартин, дорогой мой друг,
посылаю это письмо через Джимми Ледерера, который отправляется в отпуск в Европу и скоро будет проездом в Мюнхене. После твоего последнего письма я потерял покой. Оно так на тебя не похоже, я думаю, его можно объяснить только твоим страхом перед цензурой. Человек, которого я любил как брата, чье сердце всегда было исполнено сострадания и дружелюбия, вряд ли может, пусть даже пассивно, поддерживать бессмысленные и жестокие убийства невинных людей. Я надеюсь, ты не станешь ничего объяснять мне в письмах; прошу тебя, не делай этого, не подвергай себя опасности — мне будет довольно простого "да". Тогда я пойму, что тобой движет практическая необходимость, но в душе ты не изменился и я не обманывался, считая, что ты человек высокой пробы, либеральных взглядов, для которого зло есть зло, от чьего бы имени оно ни совершалось.

Цензура, преследование всех свободомыслящих людей, костры из книг и нравственное падение преподавателей и студентов были бы неприемлемы для тебя, даже если бы ни единого сына моего народа в Германии никто пальцем не тронул. Ты либерал, Мартин. Ты всегда отличался дальновидностью. Массовое движение, в котором так много дурного, каким бы мощным оно ни было, конечно же, не может сбить тебя с толку.

Мне ясно, почему немцы бурно приветствуют Гитлера. Это их реакция на те безусловные несправедливости, которые им пришлось претерпеть после военной катастрофы. Но ведь в те годы ты стал, можно сказать, американцем. Нет, не мой друг Мартин написал это письмо, у меня еще будет возможность убедиться, что это лишь голос осмотрительности и практической необходимости.

С нетерпением жду того единственного слова, которое успокоит мою душу. Поскорей напиши "да".

Привет всем вам!

Макс

Deutsch-Völkische Bank und Handelsgesellschaft, München

М-ру Максу Эйзенштейну
Галереи Шульце-Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

18 августа 1933 г.

Дорогой Макс,
получил твое письмо. Мое слово — "нет". Сентиментальный ты человек. Не понимаешь, что люди скроены вовсе не по твоему образу и подобию. Наклеиваешь на них милые ярлычки и ждешь, что они станут поступать так-то и так-то. Но ты ошибаешься. Итак, по-твоему, я американский либерал? Нет! Я немецкий патриот.

Либерал — это человек, который не считает нужным действовать. Он разглагольствует о человеческих правах, но только разглагольствует. Он любит поднимать шум по поводу свободы слова, а что такое свобода слова? Просто возможность сидеть сложа руки и все, что бы ни совершали люди действия, объявлять злом. Либерал — самый пустой человек на свете. Я хорошо его знаю, прежде я сам был либералом. Он осуждает бездеятельное правительство за то, что оно ничего не меняет. Но стоит появиться сильной личности, стоит человеку действия приняться осуществлять перемены, и как ведет себя либерал? Он против этого. Любые перемены либерал считает злом.

Он называет это дальновидностью, на самом же деле он просто в панике, что ему самому придется что-то делать. Его хлебом не корми — дай поговорить и торжественно кого-нибудь наставить, но он совершенно бесполезен для тех, кто делает мир таким, какой он есть. Только они и важны — созидатели. И здесь, в Германии, появился созидатель. Человек, исполненный жизненной силы, меняет весь порядок вещей. И сразу меняется само течение жизни — оттого, что пришел человек действия. И я присоединяюсь к нему. Я не просто подхвачен течением. Бесполезной, бездеятельной жизни, которая состояла из одной только болтовни, я кладу конец. Я всеми силами поддерживаю это великое новое движение. Я действую — значит, я человек. Иначе я просто голос. Я не спрашиваю, какова цель наших действий. В этом нет необходимости. Она, конечно же, справедлива, ведь она так насущна. На дурные дела люди не устремляются с такой радостной готовностью.

Ты пишешь, что мы преследуем свободомыслящих людей, разрушаем библиотеки. Очнись, отбрось свои косные сантименты. Разве хирург жалеет раковую опухоль, когда приходится ее вырезать? Мы жестоки. Конечно, жестоки. Все роды грубы, грубы и роды нашего нового движения. Но мы радуемся. Среди народов мира Германия шествует с высоко поднятой головой. Она следует за своим Благородным Вождем к торжеству победы. Как можешь ты судить об этом, ты, который сидит сложа руки и предается мечтам? Ты понятия не имеешь, что такое Гитлер. Это обнаженный меч. Это белое сиянье, но горячее, как солнце занимающегося дня.

Убедительно прошу тебя, не пиши мне больше. Нам обоим надо осознать, что мы перестали понимать друг друга.

Мартин Шульце

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
c/o Deutsch-Voelkische Bank
und Handelsgesellschaft
Мюнхен, Германия

5 сентября 1933 г.

Дорогой Мартин,
посылаю тебе чек и отчет за месяц. По необходимости посылаю также короткую записку. Гризель уехала в Берлин. Она чересчур смела. Но ей пришлось так долго дожидаться успеха, не станет она им жертвовать, и она смеется над моими страхами. Она будет играть в Королевском городском театре. Ты должностное лицо. Умоляю тебя, во имя старой дружбы, пригляди за ней. Съезди в Берлин, если можешь, и посмотри, не угрожает ли ей опасность.

Ты огорчишься, увидев, что мне пришлось вычеркнуть твое имя из названия нашей фирмы. Тебе известно, кто наши главные клиенты, и они теперь не притронутся ни к чему, что им предложит фирма, в названии которой есть немецкое имя.

Твою новую позицию я обсуждать не могу. Но пойми меня. Я ждал, что ты встанешь на защиту моего народа не потому, что это мой народ, но потому, что ты всегда был за справедливость.

Препоручаю тебе мою безрассудную Гризель. Девочка не понимает, как она рискует. Больше писать не буду.

Прощай, мой друг.

Макс

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
c/o Deutsch-Voelkische Bank
und Handelsgesellschaft
Мюнхен, Германия

5 ноября 1933 г.

Мартин,
пишу снова, по необходимости. У меня дурное предчувствие. Едва я узнал, что Гризель в Берлине, я ей написал, и она коротко мне ответила. Репетиции проходят блистательно, вскоре состоится премьера. В своем втором письме я не столько остерегал ее, сколько подбадривал, но письмо вернулось невскрытым, и на конверте всего два слова — "адресат выбыл". Страшная загадка таится в этих словах! Это, конечно же, знак, что она в беде. Они знают, что с ней случилось, об этом говорят слова на штампе, но мне это знать не положено. Она канула в какую-то пропасть, и искать ее бесполезно. Все это они сообщают мне двумя словами — Adressat unbekannt.

Мартин, надо ли мне просить тебя отыскать ее, прийти ей на помощь? Ты знал ее, такую красивую и нежную. Тебе, единственному из

мужчин, она отдала свою любовь. Не вздумай писать мне. Я знаю, мне даже не надо просить тебя о помощи. Довольно сказать, что дело приняло дурной оборот, что она, должно быть, в опасности.

Доверяю ее тебе, ибо сам я бессилен.

Макс

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
c/o Deutsch-Voelkische Bank
und Handelsgesellschaft
Мюнхен, Германия

23 ноября 1933 г.

Мартин,

обращаюсь к тебе в полном отчаянии. Я не в силах ждать следующего месяца, так что посылаю тебе кое-какие сведения относительно твоих капиталовложений. Возможно, ты захочешь что-нибудь изменить, а я таким образом могу вложить в банковское письмо свою мольбу.

Она касается Гризель. Два месяца от нее не было известий, а теперь до меня стали доходить кое-какие слухи. Из уст в уста, от одного еврея к другому из Германии постепенно передаются рассказы, наводящие такой ужас, что я рад бы заткнуть уши, да не могу себе этого позволить. Я должен знать, что с ней случилось. Должен знать наверняка.

Она играла в берлинском спектакле неделю. Потом публика ее освистала из-за того, что она еврейка. Она так своевольна, так бесстрашна, чудесная наша девочка! Она бросила им в лицо это слово. С гордостью сказала, что да, она еврейка.

Кое-кто из публики кинулся за ней. Она скрылась за кулисами. Кто-то, должно быть, ей помог, ей удалось убежать, хотя за ней гналась целая свора, и на несколько дней спрятаться в погребе вместе с каким-то еврейским семейством. Потом она постаралась как можно больше изменить внешность и направилась на юг в надежде пешком вернуться в Вену. Сесть в поезд она не решилась. Тем, у кого она пряталась в погребе, она сказала, что, если сумеет добраться до друзей в Мюнхене, она будет в безопасности. Только на это я и надеюсь, потому что в Вену она не вернулась. Дай мне знать, Мартин, и если она не появилась у тебя, осторожно наведи справки. Душа моя не знает покоя. Я мучаюсь днем и ночью, представляю, как это храброе создание устало одолевает милю за милей по враждебной стране в надвигающихся зимних холодах. Дай бог, чтоб ты мог мне послать утешительную весть.

Макс

Deutsch-Völkische Bank und Handelsgesellschaft, München

8 декабря 1933 г.

Хайль Гитлер! Очень сожалею, что у меня дурные новости. Твоей сестры нет в живых. К сожалению, как ты и сказал, она была на редкость безрассудна. С неделю назад она появилась здесь у нас, а за ней гнались

штурмовики. В доме было неспокойно — после того как в прошлом месяце Эльза родила маленького Адольфа, она плохо себя чувствовала, и при ней был доктор, две сиделки, а слуги и дети метались взад-вперед.

По счастью, дверь открыл я. Сперва мне показалось, что передо мной старуха, но потом я увидел ее лицо, а потом, в воротах парка — штурмовиков. Удастся ли ее спрятать? Один шанс на тысячу. В любую минуту нас может заметить кто-нибудь из слуг. А это значит, что дом, где Эльза лежит больная, начнут обыскивать, что меня арестуют за укрывательство еврейки и я потеряю все, что у меня есть. Мог ли я рисковать? Как немцу мне, разумеется, следовало исполнить свой долг. Она выставила себя, еврейку, напоказ на сцене перед чистыми германскими юношами. Я должен был задержать ее и передать штурмовикам. Но я был не в силах это сделать.

"Ты всех нас погубишь, Гризель, — сказал я ей. — Беги подальше в парк". Она посмотрела на меня с улыбкой (она всегда была не робкого десятка) и сделала собственный выбор.

"Я не причиню вам вреда, Мартин", — сказала она, сбежала со ступеней и кинулась к деревьям. Но она, видно, устала. Бежала недостаточно быстро, и штурмовики ее заметили. Я ничего не мог поделать. Я вошел в дом, и через несколько минут она перестала кричать, а утром я велел отправить ее тело в деревню, чтоб его похоронили. Это было безрассудство — приехать в Германию. Бедняжка Гризель. Я скорблю вместе с тобой, но, как видишь, я был бессилен ей помочь.

Теперь я настоятельно прошу тебя больше мне не писать. Каждое слово, приходящее на мой домашний адрес, просматривается, и я не знаю, когда именно они начнут вскрывать почту, поступающую в мой банк. Отныне я не стану заключать никакие сделки с евреями, ограничусь распиской в получении денег. Для меня и так не очень-то хорошо, что в моем доме пыталась укрыться еврейка, поэтому наши дальнейшие отношения невозможны.

Здесь формируется новая Германия. Скоро мы покажем миру, какие великие дела вершатся под руководством нашего Доблестного Вождя.

Мартин

КАБЛОГРАММА
МЮНХЕН 2 ЯНВАРЯ 1934

МАРТИНУ ШУЛЬЦЕ
ТВОИ УСЛОВИЯ ПРИНЯТЫ ДВЕНАДЦАТОГО НОЯБРЯ
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПОКАЗЫВАЕТ ТРИНАДЦАТЬ
ПРОЦЕНТОВ РОСТА ВТОРОГО ФЕВРАЛЯ ЧЕТЫРЕХКРАТНО
ЗАСТРАХОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПЕРВОГО МАЯ БУДЬ ГОТОВ
ОТПРАВИТЬСЯ МОСКВУ ЕСЛИ НЕОЖИДАННО ОТКРОЕТСЯ
РЫНОК ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ОТПРАВЛЕНЫ ПОЧТОЙ
НОВОМУ АДРЕСУ

ЭЙЗЕНШТЕЙН

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

3 января 1934 г.

Дорогой наш Мартин,
не забудь про день рождения бабушки. 8-го ей будет 64. Американские жертвователи поставят 1000 кистей для твоего Германского союза юных художников. Мандельберг тоже будет поддерживать твой союз. Пришли 11 репродукций Пикассо. 20 на 90, для филиалов галереи к 25-му, не раньше. Должны преобладать красные и голубые. В настоящее время мы можем предоставить тебе $ 8000. Начни новую бухгалтерскую книгу Мы ежедневно молимся за тебя, дорогой брат.

Эйзенштейн

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

17 января 1934 г.

Мартин, дорогой брат!
Хорошие новости! Пять дней назад наши акции достигли 116. Флейшмены ссудили еще $ 10000. Это составит месячную долю твоего Союза молодых художников, но дай нам знать, увеличатся ли ваши возможности. Швейцарские миниатюры становятся популярны. Следи за рынком, и если появятся неожиданные возможности, отправляйся в Цюрих после 1 мая. Дядя Соломон будет рад тебя повидать, и ты, безусловно, сможешь положиться на его мнение.

Погода стоит хорошая, и ураганов в ближайшие два месяца не обещают. Подготовь для своих студентов следующие репродукции: Ван Гог 15 на 103, красные; Пуссен 20 на 90, голубые и желтые; Вермеер 11 на 33, красные и голубые.

Мы будем с надеждой следить за твоими достижениями.

Эйзенштейн

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

29 января 1934 г.

Дорогой Мартин,
твое последнее письмо по ошибке доставили на Джири-стрит 457, комн. 4. Тетушка Реба говорит, скажи Мартину, пусть пишет короче и

яснее, чтоб его друзья понимали все, что он хочет сказать. Все готовы приехать к тебе 15-го на семейную встречу. После этого торжества ты будешь утомлен и, наверно, захочешь взять с собой в Цюрих свое семейство.

Но, имея в виду предстоящую в мае или раньше совместную выставку, перед отъездом все-таки приобрети для филиалов Союза юных германских художников следующие репродукции: Пикассо 17 на 81, красный; Ван Гог 5 на 42, белый; Рубенс 15 на 204, голубой и желтый.

Мы за тебя молимся.

Эйзенштейн

SCHLOß RANTZENBURG
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

М-ру Максу Эйзенштейну
Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

12 февраля 1934 г.

Макс, старый мой друг!
Господи, Макс, ведаешь ли ты, что творишь? Я попытаюсь переслать это письмо тайком, через одного американца, с которым здесь познакомился. Взываю к тебе в таком отчаянии, что ты и представить не можешь. Эта бредовая каблограмма! Эти твои письма. Мне пришлось держать за них ответ. Письма мне не доставили, но вызвали меня и потребовали, чтобы я раскрыл шифр. Шифр? Как мог ты, мой старый друг, поставить меня в такое положение?

Понимаешь ли ты, имеешь ли хоть малейшее представление, что губишь меня? Последствия твоего безумия ужасны. Мне было сказано без обиняков, что я должен отказаться от должности. Генрих больше не состоит в юношеских частях. Ему сказали, что дальнейшее пребывание в частях вредно для его здоровья. Господи боже мой, Макс, понимаешь ли ты, что это значит? А Эльза, которой я не решаюсь ничего рассказать, приходит в замешательство от того, что чиновники не принимают ее приглашений и барон фон Фрайше при встрече на улице не разговаривает с ней.

Да, конечно, я знаю, что тобой движет, но неужели ты не понимаешь — я же ничего не мог поделать. Я и попытаться не смел. Прошу тебя, не ради меня, но ради Эльзы и мальчиков — подумай, что с ними станется, если меня заберут и они не будут знать, жив ли я. Представляешь ли ты, что значит оказаться в концентрационном лагере? Готов ли ты поставить меня к стенке и нацелиться из ружья? Умоляю тебя, остановись. Остановись, пока еще не все погибло. Я опасаюсь за свою жизнь, Макс, за свою жизнь.

Неужели все это натворил ты? Нет, не может быть, чтобы ты. Я любил тебя как брата, Макси, старый мой друг. Господи, неужели у тебя нет ни капли жалости? Умоляю тебя, Макс, хватит, хватит! Остановись, пока еще не поздно. Из глубины сердца, полного многолетней любовью, прошу тебя.

Мартин

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

Herrn Martin Schulse
Schloß Rantzenburg
Мюнхен, Германия

15 февраля 1934 г.

Дорогой наш Мартин,
за 18 дней здесь выпало 7 дюймов атмосферных осадков. Ну и пора! К концу этой недели в Берлинский филиал для твоих художников должна прибыть партия из 1500 кистей. Тем самым будет время попрактиковаться перед большой выставкой. Американские меценаты помогут со всем необходимым для художников, что смогут предвидеть, но о последних приготовлениях должен будешь позаботиться ты. Мы слишком давно утратили связь с европейским рынком, а твое положение позволяет тебе оценить, какую поддержку эта выставка может получить в Германии. Подготовь к 24 марта для транспортировки: Рубенс 12 на 77, голубой; Джотто 1 на 317, зеленый и белый; Пуссен 20 на 90, красный и белый.

Молодой Блам выехал в пятницу, взяв с собой спецификацию по Пикассо. Картины он оставит в Гамбурге и в Лейпциге, а затем прибудет в твое распоряжение.

Успеха тебе!

Эйзенштейн

Галереи Эйзенштейна
Сан-Франциско, Калифорния, США

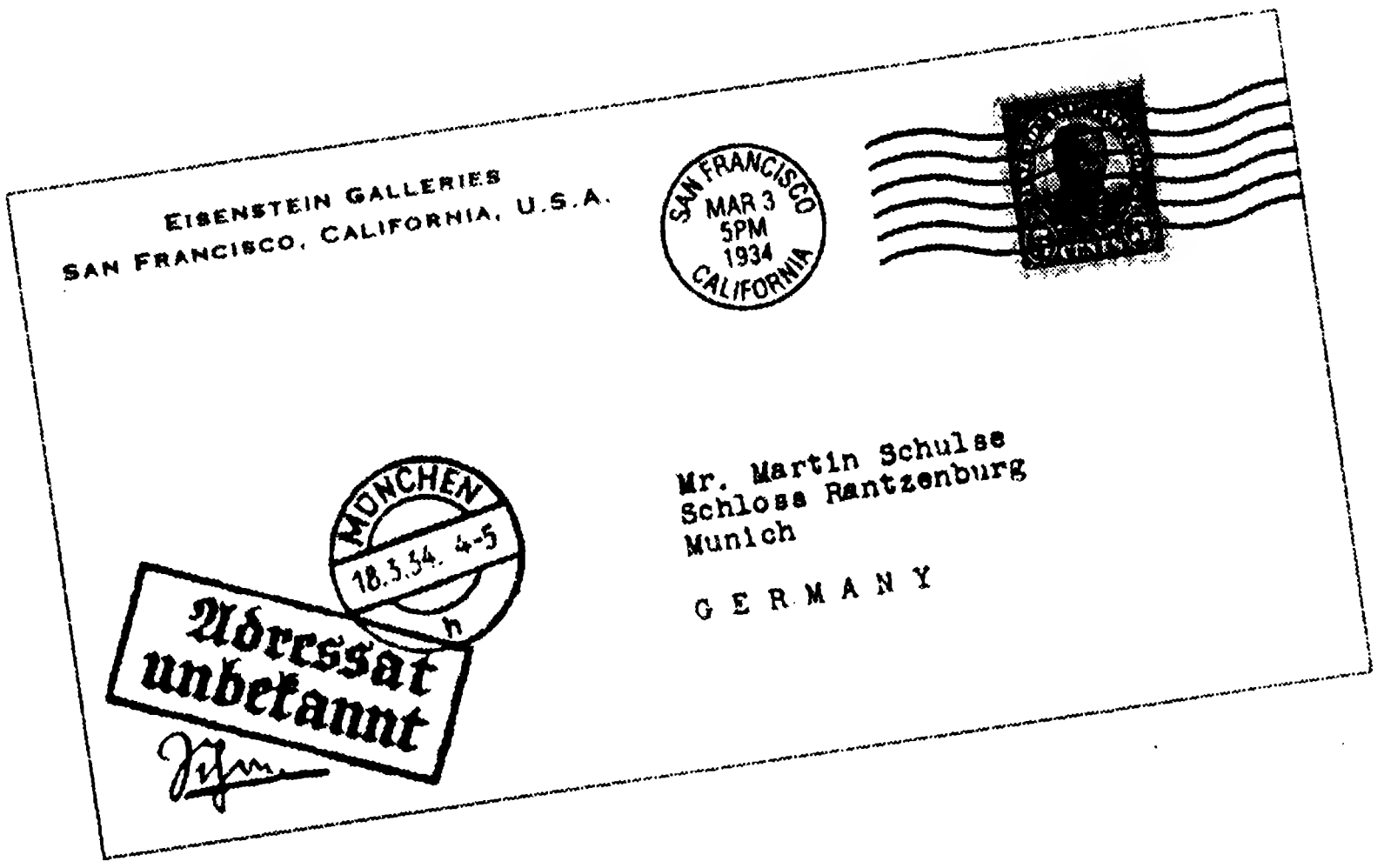
3 марта 1934 г.

Брат наш Мартин,
у кузена Джулиуса двое мальчиков по девять фунтов. Семья счастлива. Мы уверены в успехе твоей предстоящей выставки. Последняя партия холстов задержалась из-за сложностей международного обмена, но вскоре поступит к твоим берлинским партнерам, так что времени у них будет предостаточно. На мой взгляд, собрание репродукций уже не нуждается в пополнении. Самую большую поддержку ты получишь от горячих поклонников Пикассо, но не пренебрегай никакими другими направлениями.

Что касается последней стадии, то мы полагаемся на твое благоразумие, однако настоятельно просим сделать все, чтобы выставка состоялась как можно раньше – тогда успех ей обеспечен.

Да поможет тебе Господь Моисея.

Эйзенштейн



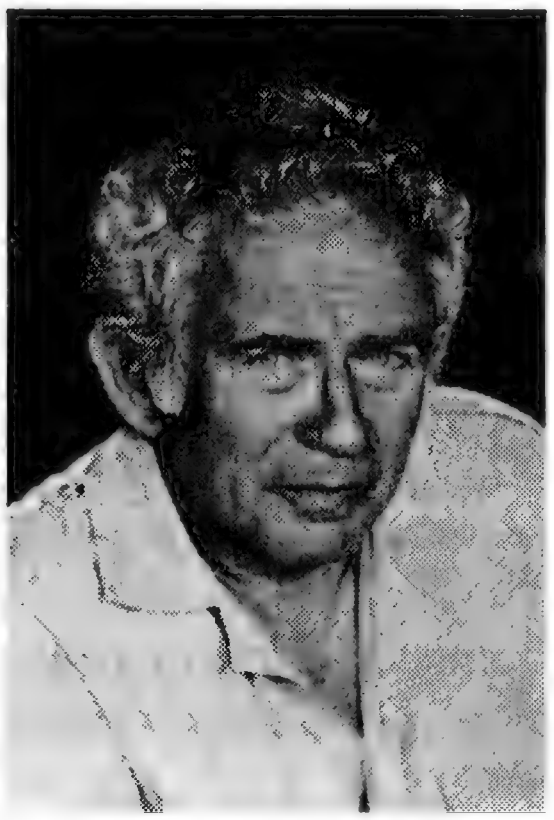
От переводчика

По словам автора рассказа Кэтрин Кресмен Тейлор, "Адресат выбыл" — невыдуманная история, основанная на нескольких подлинных письмах. Письма случайно попали ей в руки и так ее потрясли, что она впервые в жизни написала рассказ. Здесь нет никаких авторских рассуждений и комментариев, только письма. Переписка двух друзей, двух бывших партнеров.

Рассказ появился в журнале "Стори" осенью 1938 года. В далекой от европейских потрясений Америке этот номер был раскуплен мгновенно. Рассказ читали, перечитывали, переписывали, посылали друзьям. А уже в 1939 году он вышел отдельной книжкой огромным по тому времени тиражом 50 тысяч экземпляров. Затем появился в "Ридерс дайджест".

Шли годы, но жгучая тема не устаревала, а в последнее десятилетие XX века зазвучала в мире с новой силой. Не устарел, не утратил своей остроты и рассказ "Адресат выбыл". И в 1992 году журнал "Стори" напечатал его вновь, а в 1995 году он еще раз вышел в Америке отдельной книжкой. Переведенный на французский язык, он в 2000 году оказался в списке бестселлеров Франции, где в последнее время вспышек ксенофобии, антисемитизма особенно много. В 2000 году рассказ вышел отдельным изданием и в Германии. "Наше время снова нуждается в таких книгах" — эта мысль звучит во многих откликах, рецензиях немецкой прессы на "лаконичный, превосходный рассказ в письмах" Кэтрин Кресмен Тейлор. Рассказ вновь востребован. Он словно набатный колокол. И так хочется верить, что он разбудит многие души.

Норман Мейлер



Крутые парни не танцуют

Роман

Перевод с английского В. Бабкова

Глава шестая

ПОСЛЕ всех этих маневров на дорогах я был зол, меня снедало любопытство, я хотел пить — и мне пришло в голову, что я не был в баре с того вечера во "Вдовьей дорожке". А потому, едва добравшись домой, я оставил машину и пошел пешком на городскую набережную. В центре города у нас хорошие бары: "Штат у Залива"[1], который мы называем "Бригом", "Полубак" и "Живец и рыба" (прозванный в народе "Жбаном крови" в знак уважения к количеству случающихся там потасовок), — хорошие бары, но отличными их не назовешь, потому что им не хватает легкой рисовки, привносимой в атмосферу заведения лучшими представителями рабочего класса вроде моего отца. Однако в них достаточно темно и грязно, чтобы чувствовать себя вольготно. Вы можете сидеть там и наслаждаться выпивкой в таком же уюте, как нерожденный младенец в хорошей, добротной утробе. Над вашей головой будут мерцать несколько флюоресцентных ламп, а старая музыкальная шарманка бормочет негромко и не раздражает ухо. Конечно, летом в бары наподобие "Брига" набивается больше народу, чем в нью-йоркскую подземку в час пик, и рассказывают — я этому верю, — что однажды в сезон агенты по связям с общественностью из "Будвайзера", или "Шефера", или другой компании, где варят стандартную тепловатую мочу, решили устроить конкурс среди массачусетских баров и таким путем выяснить, кто продает больше пива. По объему продажи за июль победило провинстаунское заведение "Штат у Залива". Поэтому как-то авгус-

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 2, 2001 г.

1. Так принято называть штат Массачусетс.

товским утром, в будний день, туда прилетели важные шишки в легких летних костюмах, а с ними съемочная группа: они хотели заснять вручение премии, несомненно думая попасть в один из тех здоровенных баров величиной с заводской цех, где подают омаров и рыбу с чипсами, — таких много, например, в Хайянисе, — а вместо этого угодили в наш темный, продымленный "Бриг", где мало у кого хватало денег на выпивку дороже эля, однако две сотни посетителей заливали его в себя стоймя. От входной двери до вонючих баков с мусором у задней стенки наш "Бриг" не длиннее товарного вагона, а что касается еды, то вы можете получить сандвич с ветчиной и сыром или чесночную колбасу. Заработали телекамеры, кто-то из алкашей поднялся и сказал: "Ну да, это самое пиво. Паршивое. А зачем у вас этот красный огонек на камере? Я слишком много говорю, да? Стоп! Да?"

Зимой здесь тоже было порядком народу, но вы могли сесть и начать впитывать в себя атмосферу того, что происходит сегодня в городе. После полудня на берег возвращались промысловые рыболовецкие суда, и в бар подтягивались матросы. Кроме того, тут бывали плотники, торговцы наркотиками и их клиентура, работники, обслуживающие летние коттеджи, а по пятницам — незамужние молодые мамы со своими бесплатными талонами и прочие, ищущие хлеб насущный или человека, который поставит им стаканчик, — все они сидели за столами, посасывая наше славное пивко. Я знал большинство этих людей в разной мере и рассказал бы о них, если бы они имели отношение к тому, во что я оказался замешан, ибо все они были в высшей степени своеобразными личностями, хоть и выглядели примерно на одно лицо — но зимой, как я уже говорил, мы все на одно лицо. У всех землистая кожа, и все одеты в запасные армейские шмотки.

Ограничусь одной историей. Городок у нас, в конце концов, португальский, но в моем повествовании участвует лишь один португалец — Студи, а его можно считать позором нации. Как-то зимой, когда в "Бриге", против обыкновения, было почти пусто, у стойки сидел португальский рыбак лет восьмидесяти. Жизнь, полная труда, сделала его скрюченным и узловатым, как кипарис, растущий на утесе или каменистом берегу. Затем в бар вошел другой рыбак столь же артритического вида. Они выросли вместе, вместе играли в футбол, вместе окончили школу, вместе ходили в море, вместе напивались, возможно, соблазнили жен друг у друга и теперь, в восемьдесят лет, испытывали не больше взаимной симпатии, чем в ту пору, когда дрались на кулачках во время большой перемены. Тем не менее первый из них встал со стула и гаркнул через весь зал голосом хриплым, точно мартовский ветер: "А я думал, ты *помер*!" Второй остановился, глянул на приятеля и отозвался голосом пронзительным и гортанным, словно крик чайки: "Это я-то? Да я еще *тебя* успею похоронить!" Они выпили вместе пива. Это было всего лишь одним из способов отогнать духов. Португальцы знают, как лаять, когда те говорят.

Мы подражаем им. В других местах измеряют кислотность дождей, или степень загрязнения воздуха, или количество диоксина в почве. Здесь у нас нет ни промышленности, ни сельского хозяйства — здесь только ловят рыбу да сдают на лето жилье, и потому воздух и песок чисты, но редкий день в баре не ощущается гнета духов, и когда я вошел туда, отягощенный бессонными ночами в обществе призраков Адова Городка, мое присутствие почувствовали все, и я это понял. Я мог бы с

таким же успехом опрокинуть в бассейн баночку чернил. Мне обрадовались здесь не больше, чем угрюмому полену, брошенному на тлеющие уголья.

Все бары, как и все очаги, — я сам наблюдал это в пору своей работы барменом — восприимчивы примерно к одним и тем же возмущениям, хотя полено, наполняющее чадом один камин, может вспыхнуть в другом. Моя депрессия плюс заряд адреналина, которым я был обязан своим преследователям, а также тревожные, навязчивые образы, запутавшиеся в моих волосах, вскоре взвинтили весь мирно дремлющий "Бриг" до взрывоопасного состояния. Люди, угасавшие за отдельными столиками, стали перебираться к соседям. Пижоны, которые едва обменивались словом со своими старухами, ощутили жизнерадостный зуд. И я, закупоренный в бутыль своего страха крепче всех остальных — а зимы в Провинстауне можно называть именами тех, кому в очередной раз выпала эта честь, — приписал заслугу общего воспламенения себе, хотя всего лишь кивнул по дороге паре приятелей да выбрал уединенное место у стойки.

Первым ко мне подошел Поляк Пит, и у нас состоялась краткая беседа, в самом начале которой я почувствовал себя так, словно мне свернули шею.

— Эй, — сказал он, — а я говорил с твоей женой.

— Сегодня?

Он сделал паузу. Моя пересохшая глотка не сразу справилась с вопросом, и когда он прозвучал, Пит уже лил в себя пиво. Кроме того, он успел отвлечься и мысленно. Такое часто случалось в "Бриге". Люди заводили разговор, а потом их мысли, особенно от сочетания пива с амфетамином, распрыгивались в стороны, как водяные клопы.

— Сегодня нет, — ответил Пит. — Пару дней назад.

— Когда?

Он помахал рукой.

— Ну, пару дней.

С таким же успехом он мог сказать: "Пару недель назад". Я давно заметил, что зимой наши жители измеряют время фиксированными интервалами. Допустим, что-то случилось две недели назад или два дня назад, но если ты привык говорить "пять дней назад", то этот срок и запишется у тебя в памяти. Поэтому я не стал нажимать на него, а решил просто развить тему.

— И чего Пэтти от тебя хотела?

— А! Ну, знаешь, хотела, чтобы я присматривал за тем большим доминой на холме в Уэст-Энде.

— Который она думает купить?

— Так она сказала.

— Хочет, чтобы за ним присматривал *ты*?

— Ага. Я и мой брат.

Это было разумно. Брат Пита был хорошим плотником. На самом деле имелось в виду, что на должность смотрителя зовут брата. Наверное, Пэтти спрашивала Пита, как с ним связаться.

Я знал, что делаю глупость, однако не мог не спросить:

— Не помнишь, когда ты говорил с ней: до той игры с "Пэтриотс" или после?

— А, эта игра. — Он веско кивнул. Похоже, амфетамин уводил его куда-то вглубь. Он размышлял неизвестно над чем — над игрой, над датой, над деньгами в своем заднем кармане, — затем покачал головой.

— Вроде дня два назад.

— Ну да, — сказал я, — понятно.

К нам скользнула Бет Ниссен. Она была пьяна, что с ней случалось редко, и в приподнятом состоянии духа, что случалось еще реже.

— Что ты сделал с Пауком? — спросила она меня.

— Эй, детка, — сказал Пит, — старые обиды есть старые обиды. Мне надо двигать. — Он наклонился, поцеловал ее свитер там, где должен был находиться сосок, и, забрав пиво, пустился в путь к своему столу.

— Паук правда обиделся? — спросил я.

— Кто его знает, — ее глаза засверкали. — Он псих.

— Все мы психи, — сказал я.

— Ты согласен, что мы с тобой психи особенные?

— То есть?

— Мы еще ни разу друг с другом не перепихнулись.

Для зимы это было нормально. Я посмеялся и обвил рукой ее талию, а ее тусклые глаза за стеклами очков блеснули давно угасшим электричеством.

— Паук потерял нож, — сказала Бет, — и считает, что это ты его спер. — Она хихикнула, точно Паук без ножа был все равно что другой мужик без штанов. — И мотоцикл тоже, — добавила она. — Ты говорил ему, что "Пэтриотс" выиграют?

— В перерыве.

— Ну так они и выиграли, — сказала Бет. — Но в перерыве он решил перекинуть ставку наоборот. Сказал, что пойдет против тебя. А теперь говорит, что лишился мотоцикла по твоей вине.

— Скажи Пауку, пусть засунет свои претензии себе в жопу.

Она хихикнула.

— В детстве говорили "попка", — сказала она. — Надо бы написать родителям письмецо и сообщить, что их дочка больше не может отличить письку от попки. — Она икнула. — Не собираюсь ничего говорить Пауку, — сказала она. — У него жуткое настроение. А почему бы и нет, в конце концов? — спросила она. — "Порок исполнен страстной силы"[1], верно? — Она подарила мне откровенно похотливый взгляд.

— Как там Студи? — спросил я.

— А, — отозвалась она, — держись от Студи подальше.

— Почему? — спросил я.

— Да так, — сказала она. — Я всем советую держаться от Студи подальше.

Возможно, это объяснялось тем, что мой мысленный взор то и дело возвращался к светловолосой голове в темном полиэтиленовом пакете, но каждое услышанное слово казалось мне связанным с моей ситуацией. Действительно ли в воздухе пахло лихорадкой? Никто, кроме меня и — я должен оговориться — как минимум еще одного человека, не знал, что было спрятано близ моей делянки с коноплей, но эта мысль словно звенела в каждом возгласе каждого посетителя, требующего подать ему очередной стакан. Наверное, призраки теребили пропитанную пивом губку здешнего коллективного сознания.

Бет заметила, что мой взгляд блуждает по залу.

— Пэтти Ларейн еще в бегах? — спросила она.

Я пожал плечами:

1. Строка из стихотворения У. Йейтса "Второе пришествие".

— Говорят, ее тут видели.

— Похоже, она и впрямь вернулась в город. Тесак-то здесь.

— Ты его видела?

Тесаком звали мистера Черняшку, хотя настоящее его имя было Грин. Джозеф Грин, по прозвищу Тесак. Его нарекли так в первый же день, когда он появился здесь в баре. "Бывают плохие негры, — объявил он нашему столику, за которым сидело человек десять, — но я *очень, очень* плохой", — и все помолчали с минуту, как бы отдавая дань уважения мертвецам за его спиной, — у нас ведь Дикий Запад на Востоке! — но тут Пэтти Ларейн засмеялась и сказала: "Нечего махать тесаком. Никто на вашу *чернуху* не посягает". В глазах ее промелькнуло чистейшее счастье, и я понял, что оказался свидетелем помазания нового мистера Черняшки.

— Да, — сказала Бет, возвращая к себе мое внимание — мои мысли тоже скакали, как водяные клопы, — Тесак точно в городе. Десять минут назад он заходил в "Бриг", потом ушел.

— Ты с ним говорила?

— Он сделал мне гнусное предложение.

Я поклялся бы, что она врет, не выгляди она такой счастливой.

Вдруг я увидел, что мне машет бармен. Он показывал на телефон, висящий за раковиной.

На сей раз мои экстрасенсорные способности меня подвели. Я думал услышать голос Пэтти, но это был Гарпо.

— Мак, — сказал он, — я тебя искал. Пришлось заставить себя позвонить тебе.

— А в чем дело?

— Я тебя сдал.

— То есть как это?

— Я сломался. Хотел тебя предупредить.

В голосе Гарпо звенела металлическая тревога, словно ему вставили жестяную диафрагму. Я попытался угадать, чем он накачан, но у него в мозгу хватало и своих химикатов.

— Эта Лорел... — продолжал он.

— Наколка?

— Женщина. *Лорел.* Я позвонил начальнику полиции Ридженси и рассказал ему о ней *и* о наколке.

Это вряд ли имело для Ридженси значение, решил я. Разве что в том случае, если Пэтти Ларейн говорила при нем о Мадлен как о Лорел.

— Прекрасно, — сказал я. — Теперь Элвин знает, что у меня есть наколка. Ну и что тут страшного?

— Я сказал ему, что Лорел ждала тебя внизу, в машине.

— Но с чего ты взял, что ее звали Лорел?

— Ты говорил с ней. Через окно.

— Правда?

— Ты же кричал: "Я выиграю пари, Лорел". Это твои слова.

— Может, я сказал "Лонни". Я мог говорить с мужчиной.

— Нет, это была Лорел. Я слышал имя. Я думаю, что Лорел мертва.

— Кто тебе сказал?

— Я был на крыше. Я слышал это. Потому и позвонил в полицию. Я знал, что не надо делать тебе наколку. После наколок люди творят ужасные вещи.

— Что еще ты сказал Ридженси?

— Сказал, что думаю, что ты убил Лорел. — Он заплакал.

— С чего ты это взял? — спросил я.

— Я видел Лорел мертвой. Когда прошлой ночью стоял на крыше, видел ее на горизонте. Она сказала, что это ты. — Я слышал, как он сморкается на другом конце линии. — Я боролся со своей совестью. Потом позвонил Ридженси. Зря я это сделал. Сначала надо было поговорить с тобой.

— И что ответил Ридженси?

— Он козел! Бюрократ. Ответил, что собирался рассмотреть такую возможность. Мак, я ему не доверяю.

— Ну да, — сказал я. — Ты доверяешь мне.

— Слушай, я понял, что ты ничего такого не делал. Угадал это по тону Ридженси. Я ошибся.

— Очень приятно.

Его дыхание стало тяжелым. Даже по телефону было слышно, как дребезжат его чувства.

— Наверное, у меня нет права говорить, кто ее убил, — добавил он, — но теперь я знаю.

— Ниссен, — сказал я.

— Ненавижу нож Паука, — сказал Гарпо. — Страшная вещь. — И повесил трубку.

Кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся и встретил взгляд золотисто-карих глаз Тесака, вперившихся в меня со сверкающей львиной прямотой. Он был очень черный, фиолетово-черный, как африканец, и цвет его золотистых глаз обескураживал. Еще во время первой нашей встречи я понял, что его появление не сулит нашему браку ничего хорошего. И не ошибся. У него было трое предшественников, но подлинным мистером Черняшкой оказался именно мистер Грин. В конце концов, раньше Пэтти Ларейн меня не бросала.

Хуже всего было то, что сейчас я не чувствовал ни ненависти к нему, ни гнева или досады, связанных со своим жалким положением рогоносца. Пожалуйста: он подошел ко мне, пока я говорил по телефону, даже дотронулся до меня рукой, а я в ответ только кивнул.

Конечно, это было все равно что перенестись на вертолете с одного пика на другой. Мне не пришлось тратить время на путь по каменистой осыпи ко дну каньона и вверх на соседний кряж; нет, я перескочил прямиком от нескольких сообщений Гарпо (каждое из которых было способно свести с ума) к огонькам в глазах Тесака, и теперь меня будто накачали новокаином, так мало я был затронут этими эмоциональными перегрузками — да, до сей поры все воспринималось мною без всяких аффектов, так ошарашили и одурманили меня лихие повороты в ходе сегодняшней вечерней гонки, однако в этот момент мистер Грин вновь положил руку мне на плечо и стиснул его — жестоко, скажу я вам, — и промолвил: “Где, черт подери, Пэтти Ларейн?”, приобщая и меня к своему гневу. И тогда я очнулся и стряхнул его руку таким же яростным движением и ответил: “Убери свои вонючие грабли”, — слова, вынырнувшие из каких-то далеких школьных перебранок. Но впервые я не боялся его. Я даже был готов выйти с ним на улицу и драться. Перспектива получить нокаут была соблазнительной, как кубок с вином забвения.

Имейте в виду, что у меня было мало сомнений насчет исхода гипотетического поединка. Если вы когда-нибудь сидели в порядочной тюрьме, то вы, наверное, знаете, что негры бывают разные и кое с кем из них вообще нельзя связываться. Мистер Грин не принадлежал к самому высоко-

му рангу, иначе я уже был бы трупом. Но его можно было отнести ко второму разряду: тех, с кем позволительно связываться лишь в редких обстоятельствах. Теперь его глаза вперились в мои, и самый свет между нами стал красным (это не метафора); не знаю, то ли наша совокупная ярость была столь интенсивной, что перекалились мозговые клетки, воспринимающие цвет, то ли на нас кинулись все смутьяны Адова Городка, но я испытал натиск всего гнева, скопившегося в нем за последние двадцать пять лет (начиная с первого подзатыльника в люльке), а он попал в орбиту безумной сумятицы того, что приключилось со мной. Я думаю, нас обоих ошеломил этот свирепый красный сполох. Однако мы оба простояли так, глядя друг на друга, достаточно долго: я даже успел вспомнить печальную историю его жизни, рассказанную им Пэтти Ларейн и мне в день нашей встречи, — историю о том, как завершилась его боксерская карьера.

Если вам трудно поверить, что я мог думать о таких вещах, когда пар его безумия жег мне глаза, — что ж, это и впрямь удивительно. Возможно, я не был столь смел, как мне казалось, и прибег к этим воспоминаниям в надежде умерить таким способом его ярость. Нельзя ударить человека, который проникнут к тебе сочувствием.

Вот эта история. Он был незаконнорожденным, и его мать утверждала, что он не ее ребенок. Говорила, что в роддоме перепутали ярлычки. Она драла его каждый день. Став постарше, он побил всех, с кем судьба свела его в "Золотой перчатке". Он был на пути к тому, чтобы попасть в команду США на Панамериканском турнире, но перед этим отправился в Джорджию искать своего отца. Он не нашел его. Мертвецки пьяный, забрел в бар для белых. Его отказались обслуживать. Вызвали полицию. Явились двое полисменов и попросили его покинуть заведение. "У вас нет вариантов, — сообщил он им. — Пускай меня обслужат, и клал я на вас". Один из полицейских ударил его дубинкой так сильно, что Панамериканский турнир начал обращаться в химеру уже с этой минуты. Но тогда он об этом не думал. Он просто ощутил огромное счастье, потому что истекал кровью, как бык на бойне, но отнюдь не утратил решимости. Собственно говоря, он был в полном сознании. Он продолжал сопротивляться копам, и чтобы утихомирить его, понадобилась помощь всего бара. На него надели наручники и отвезли в тюрьму. Помимо всего прочего, ему повредили череп. Отныне он не мог заниматься боксом.

Это была грустная история. Он поведал ее нам в качестве примера своей глупости, а не доблести (хотя Пэтти это восприняла именно так), а когда мы узнали его получше, он оказался забавным малым. Он смешил нас, подражая манере черных проституток. Мы часто виделись с мистером Грином, и я одалживал ему деньги.

Поймете ли вы теперь, сколь близок я был к полному самоуничтожению и сколь заманчивой представлялась мне эта идея (после недавней крысиной беготни ради спасения своей жизни), если я скажу, что мысленно отдал Тесаку должное, ибо он обошелся со мной не так плохо, как я с Уодли? Вскоре моя ярость окончательно улеглась, и на ее место пришло спокойствие. Не знаю, о чем думал мистер Грин, но его гнев иссяк одновременно с моим.

— Ну, — сказал я, нарушая тишину первым, — чего тебе надо, мать твою так?

— У меня никогда не было матери, — ответил он. Грустно протянул он мне для пожатия руку. Грустно хлопнул я по его ладони своей.

— Я не знаю, где Пэтти Ларейн, — сказал я.

— Ты ее не ищешь?

— Нет.

— А я ищу и не могу найти.

— Когда она от тебя уехала?

Он нахмурился.

— Мы были вместе три недели. Потом она потеряла покой. И отчалила.

— Где вы были?

— В Тампе.

— Ты встречался с ее бывшим мужем?

— Это который Уодли?

Я кивнул.

— Виделись мы с ним. Один раз приглашал нас обедать. Потом она без меня к нему ходила. Я не дергался. Чего мне его бояться. Решил, она хочет что-нибудь из него выкачать. Но на следующий день она отчалила. — Казалось, он вот-вот заплачет. — У нас все было по-хорошему. Ни с одной хмарой у меня не было так по-хорошему. — Он выглядел очень печальным. — Я хочу поговорить с ней об этом, давно хочу. Я устал. — Его глаза изучали мои. — Ты знаешь, где она? Мне надо ее найти.

— Может, она где-то в городе.

— Точно.

— Откуда ты знаешь?

— Звонил тут один по телефону. Сказал, что ему велела позвонить Пэтти Ларейн. Она хотела, чтобы я знал. Она снова в Провинстауне вместе с Уодли. Этот парень сказал, она по мне скучает.

— Что за парень?

— Он не назвался. То есть назвался, но с таким именем здесь никого нет. Это я сразу понял, что имя фальшивое. Он говорил через платок.

— Какое имя он назвал?

— Хили. Остин Хили[1].

Из памяти всплыла частичка практического багажа. Несколько лет назад нам надоело имя Студи, и в нашей тесной компании стали говорить о нем как об Остине Хили. Однако новое прозвище продержалось недолго, и Студи так и не узнал о нем. Скорее всего, Грину звонил Паук.

— Этот Хили сказал, что Пэтти в гостинице "Провинстаунская", — продолжал Тесак. — Я туда позвонил. Черт, ее там и духу не было.

— Когда ты вернулся?

— Три дня назад.

— А когда она тебя бросила?

— Да уж с неделю будет.

— Не меньше семи дней?

— Восемь. Я считал.

Да, он считал свои дни. А я свои.

— Убил бы ее, — сказал он, — за то, что она меня бросила.

— Нет такого человека, которого она не бросит, — сказал я. — Она воспитывалась среди ограниченных людей. Теперь это для нее грех.

— Я тоже ограниченный, — сказал он, — и я собираюсь устроить хорошую бучу, когда увижу ее. — Он посмотрел на меня искоса, словно желая сказать: "Ты можешь надувать других, но смотри, детка: мое доверие обманывать нельзя". Потом он отмел свои сомнения. Ему хотелось вы-

1. "Остин Хили" — марка легкового автомобиля.

ложить все. – Остин Хили сказал, что Пэтти Ларейн опять встречается с тобой. Когда я это услышал, то подумал: надо будет тебя навестить, поздороваться. – Он сделал паузу, давая мне осмыслить эти веские слова. – Но после понял, что не смогу тебя тронуть.

– Почему?

– Потому что ты обошелся со мной по-человечески.

Он поразмыслил над этой фразой и, похоже, согласился с самим собой.

– К тому же, – сказал он, – Пэтти Ларейн тебя больше не любит.

– Пожалуй.

– Она сказала, ты заставил ее выйти за себя обманом.

Меня разобрал смех.

– Чего тут смешного, ханурик?

– Мистер Грин, есть старая еврейская поговорка: "От жены и от жизни правды не жди!"

Он засмеялся тоже.

Наше веселье продолжалось достаточно долго, чтобы привлечь внимание публики. Сегодня в "Бриге" вершилась история. Рогоносец и черный любовник славно отдыхали друг с другом.

– Ладно, Джозеф, увидимся, – сказал я Тесаку Грину.

– Держи язык за зубами.

Пора было отправляться на прогулку. Я услышал больше, чем мог связать воедино.

На улице моросил дождь, и я побрел по Коммершл-стрит, засунув руки в карманы и так низко надвинув на лоб капюшон куртки, что заметил едущую за мной машину только тогда, когда лучи от ее фар, упершиеся мне в спину, уже нельзя было игнорировать. Я обернулся. За мной катил патрульный автомобиль с одним человеком внутри. Он открыл дверцу.

– Садитесь, – сказал он. Это был сам Ридженси, к моим услугам.

Не успели мы проехать и пятидесяти футов, как он заговорил.

– Получили кое-что на вашу знакомую, Джессику, – сообщил он и показал на лист бумаги, лежащий на переднем сиденье. – Взгляните, – и он протянул мне фонарик, вынутый из нагрудного кармана.

Я изучил фотографию, переданную по факсу. На ней определенно была Джессика.

– Похоже, это она.

– Мы в вашем подтверждении не нуждаемся, дружище. Мы знаем точно. Ее опознали и официантка, и хозяин "Вдовьей дорожки".

– Отличная работа, – сказал я. – Как вы ее вычислили?

– Элементарно. Связались с секретаршей Пангборна в Санта-Барбаре; она назвала несколько блондинок, с которыми он имел отношения, личные или деловые. Мы их проверяли, когда позвонил ее сын. Он знал, что она в Провинстауне на пару с Пангборном, – как вы могли бы догадаться по любовной записочке нашего Лонни.

– Это тот самый сын, который был его любовником?

– Именно, – сказал Ридженси. – Тот, что с электробритвой. – Он открыл свое окошко и смачно харкнул туда. – Мне кажется, я больше никогда не смогу смотреть рекламу.

– Ну и не смотрите.

– Теперь вот что, Мадден: тут выходит неувязочка. Зовут-то ее вроде бы и не Джессикой.

– А как ее настоящее имя?

— Лорел Оквоуд. Такая странная фамилия: "в-о-у-д" вместо "вуд".

Ко мне вернулось воспоминание о том, что я сказал Гарпо перед сеансом, закончившимся криком Ниссена. "Гарпо, — сказал я, — объясни всем, что мы хотим связаться с Мэри Хардвуд, кузиной моей матери. Но на самом деле я хочу поговорить с женщиной по имени Лорел".

Такое совпадение нельзя было списать на радиомаячок. Помимо воли я начал дрожать. Сидя рядом с Ридженси в патрульном автомобиле, который двигался по Коммершл-стрит со скоростью пятнадцать миль в час, я начал дрожать заметно для посторонних глаз.

— Вам надо выпить, — сказал Элвин Лютер.

— Да нет, ничего, — сказал я.

— Может, на вас это не так подействовало бы, — предположил он, — если бы на вашей руке не было выколото "Лорел".

— Вы не остановите машину?

— Почему бы и нет.

Мы были в конце Коммершл-стрит. Мы достигли места, где когда-то высадились пилигримы, но за моросью я ничего не видел.

— Хорошо, — сказал он, — вылезайте.

Моя паника улеглась. Перспектива долгого возвращения домой с мыслями об этом незаконченном разговоре вдохновила меня на риск.

— Не знаю, куда вы клоните, — сказал я, — да мне это и не важно. Я надрался, поехал в гости к Гарпо и уломал его сделать мне татуировку. Возможно, Джессика говорила мне, что ее настоящее имя Лорел, но я такого не помню.

— Она была с вами?

Мне пришлось решиться.

— Гарпо говорит, была.

— А вы, значит, не помните?

— Толком нет.

— То есть вы могли шлепнуть ее и забыть про это?

— Вы меня обвиняете?

— Скажем лучше — прорабатываю первый вариант сценария. Я ведь тоже в своем роде писатель. — Он не смог сдержаться. Дикий жеребец разразился своим коронным визгливым ржанием.

— Не нравятся мне ваши разговоры.

— Ну вот что, приятель, — сказал Ридженси, — шуточки шуточками, но не слишком зарывайтесь. Между прочим, я вас могу упечь в два счета.

— За что это? За какое такое преступление? Может быть, эта леди едет себе обратно в Санта-Барбару. Не будете же вы портить свой послужной список необоснованным арестом.

— Позвольте уточнить, — сказал он. — Я могу упечь вас в два счета как подозреваемого в возможном убийстве Леонарда Пангборна.

— Вы говорили, что это самоубийство.

— Я так думал. Но там повозились эксперты. Приехали из Бостона по нашему особому запросу. Они любят, когда их называют суперспецами, хотя я лично называю их по-другому: суперслепцами. — Он снова посмеялся собственной шутке. — Вам здорово не понравится то, что они нашли.

— Что же они нашли?

— Я вам скажу. Очень скоро это перестанет быть секретом. Возможно, Пангборн сам убил себя, но если так, кто тогда вел машину?

— Вы говорили мне, что, прежде чем выстрелить, он залез в багажник и закрыл за собой крышку.

— Кровь на полу багажника чуть смещена — это значит, что вскоре после того, как она начала сворачиваться, машину перегнали с неизвестного нам места происшествия ко "Вдовьей дорожке".

— Разве служащие ресторана не услышали бы, что машина вернулась?

— Только не в три утра. Тогда они спали дома. И давайте не спорить. Машину перегоняли. Следы крови это доказывают. — Он пожал плечами. — Все сводится к тому, Мадден, что кто-то перегнал этот автомобиль ко "Вдовьей дорожке" после самоубийства Лонни.

— А Джессика не могла этого сделать?

— Лорел Оквоуд, разумеется, могла. Разрешите спросить: вы ее дернули?

— По-моему, да.

Он присвистнул.

— Ну и каша у вас в голове. Даже этого не помните?

— Меня беспокоит вот что: по-моему, я совершил это на глазах у Лонни Пангборна.

— Терпеть не могу цитировать негров, но Кассиус Клей[1] сказал: "Вы не такой тупой, как кажется".

— О чем это вы?

— Нечего смаковать мой комплимент. — Он зажег сигару и пыхнул ею с таким видом, точно держал в зубах по меньшей мере "бангалор-торпедо"[2]. — Мадден, вы только что предложили мне *свой* сценарий. Раз: вы заделываете Джессике на глазах у Лонни. Два: убираете инструмент в штаны и отправляетесь прочь. Три: Джессика утешает Лонни. Четыре: он начинает жаловаться: "Нам, голубым, таких соревнований не выдержать". Залезает в багажник. Бах! Он оставил ей подарочек — свой труп. Эти гомики бывают мстительны. Что ж, она сучка респектабельная и скандала не хочет. Поэтому она едет обратно ко "Вдовьей дорожке", ставит там машину и двигает домой, в Санта-Барбару. — Он кивнул. — Все это выглядело бы замечательно, если бы — раз: вы могли найти, где она провела ту ночь, хотя скажу заранее, чтобы дать вам возможность сэкономить часть адвокатских гонораров: вы всегда можете заявить, что она вернулась к вам и спала в слезах на вашем диване. Или вы уступили ей свою кровать. — Он открыл окошко и выбросил сигару. — Два: она должна найтись живой и подтвердить вашу историю. Молитесь, чтобы мы не обнаружили ее останки где-нибудь в этих лесах и дюнах.

— Вы хорошо все продумали.

Я надеялся польстить ему. Он только кивнул.

— Теперь вот вам другой сценарий. Вы с ней и Пангборном едете в Уэлфлит на вашей машине. На обратном пути Лонни не выдерживает, что ее уводят, и сует вам под нос пистолет. Вы тормозите и отнимаете пушку. В процессе она ловит случайную пулю. Умирает. Вы бросаете ее в лесу и везете Лонни к его машине, заставляете залезть в багажник — к этому времени он уже совсем как кисель. Потом отвозите его в тихое место, открываете багажник, суете ему в рот дуло, ласково говорите: "Я тебе худа не сделаю, Лонни, это все только смеха ради. Так я избавляюсь от своих закидонов. Будь добр, поцелуй для меня это дуло, Лонни". Потом вы спускаете курок, пользуетесь платочком и оставляете где надо его отпечатки. Дальше перегоняете машину обратно ко "Вдовьей дорож-

1. Настоящее имя знаменитого боксера-тяжеловеса Мухаммеда Али.
2. Удлиненный подрывной заряд.

ке", садитесь в свою машину, опять едете в лес и избавляетесь от ее тела. Да, сынок, вы делаете все это, но забываете стереть кровь с сиденья. Как говорит моя жена: "Никто не совершенен". Вот и я тоже. Я позволяю вам выкрутиться с этой кровью. Я — деревенский олух и верю друзьям. Да, — сказал он, — вы лучше молитесь и надейтесь, что ее труп не всплывет. Я первый буду против вас, потому что я купился на эту байку о кровотечении из носа.

— Ладно, — сказал я, — так почему вы не берете меня прямо сейчас?

— Догадайтесь.

— У вас не хватает улик. Если бы ее застрелили в моей тесной машине, вся его одежда была бы в ее крови.

— Возможно, вы правы. Давайте выпьем.

Это предложение меня отнюдь не прельстило. Мне совершенно не хотелось с ним пить. Но он завел мотор, принялся насвистывать "Звездную пыль" и стартовал, подняв фонтан мокрого песка.

Я думал, что мы поедем в бар для ветеранов, поскольку больше всего он любил выпивать там, но вместо этого он свернул к ратуше, провел меня в свой кабинет в полуподвале, указал на стул и достал бутылку бурбона. Видимо, мы пришли сюда, чтобы он мог пустить в ход записывающее устройство, которое наверняка держал в столе.

— Я решил, что вам не мешает насладиться прелестями этого места, прежде чем вы загремите в тюрьму, — сказал Ридженси.

— Может, поговорим о чем-нибудь другом?

Он ухмыльнулся.

— Например?

— Где моя жена?

— Я рассчитывал, что *вы* мне скажете.

— Я встретил парня, с которым она уехала. Она бросила его восемь дней назад. Я ему верю.

Ридженси сказал:

— Это совпадает.

— С чем?

— По словам сына Лорел Оквоуд — между прочим, его имя тоже Леонард, но все зовут его Сонни, Сонни Оквоуд, — семь дней назад Пэтти Ларейн побывала в Санта-Барбаре.

— Я об этом не знал.

— Да, она была там с этим малым, Уодли.

Раньше я не понимал, что означает фраза "Я не мог разлепить губы". Теперь понял.

— Хороший бурбон?

Я безмолвно кивнул.

— Да, она была в Санта-Барбаре с Уодли, и они обедали с Лорел Оквоуд и Леонардом Пангборном в клубе Лонни на пляже. Все четверо за одним столиком. Потом пришел Сонни, пил с ними кофе.

Я все еще не мог говорить.

— Хотите знать, о чем они беседовали?

Я кивнул.

— Позже мне понадобится кое-что у вас спросить.

Я кивнул.

— Хорошо. Согласно показаниям Сонни... — Тут он остановился, чтобы заметить: — Кстати, по телефону Сонни не похож на голубого. Как по-вашему, Пангборн не наврал в том письме?

Я нарисовал пальцем вопросительный знак.

– Но Пангборн не показался вам гомиком?

Я потряс головой.

– Страшно подумать, какая огромная часть жизни проходит за закрытыми дверьми, – произнес он. – Господи, да ведь и мы с вами можем быть гомосексуалистами.

– Как скажешь, милый, – прошепелявил я.

Его страшно развеселила моя шутка. Я же был рад, что снова обрел дар речи, пусть даже на таких условиях. Немота – это бремя, за избавление от которого можно пожертвовать многим.

Мы оба пригубили бурбон.

– Хотите травы? – спросил Ридженси.

– Нет.

– А если я покурю?

– Не боитесь, что вас застукают в собственном кабинете?

– Кто? Я пытаюсь разговорить подозреваемого, вот и все. – Он действительно вынул из стола самокрутку и действительно раскурил ее.

– Чудесно, – сказал я.

– Да, – он выпустил дым. – Оттяжка в каждой затяжке.

– Так точно, сэр.

– Мадден, Сонни сообщил мне, что Пангборн и Лорел должны были прилететь в Бостон, доехать оттуда до Пи-тауна и прикинуться туристами, которым страшно понравилась усадьба Парамессидеса.

– Она так называется?

– Да. Несколько лет назад ее купил один грек, подставное лицо: деньги дали арабы. Теперь Уодли решил купить ее для Пэтти. Вот о чем они говорили на том обеде.

Он затянулся снова.

– Они обсуждали возможность повторного брака, – сказал он.

– С ума сойти. – Кажется, от его сигареты "паровозом" зацепило и меня.

– Знаете, почему Пэтти облюбовала себе этот домик? – спросил Ридженси.

– Она со мной не делилась.

– По словам Сонни, она уже год как положила глаз на эту усадьбу. Уодли хотел купить ее для нее – вроде того, как Ричард Бартон покупал Элизабет Тейлор бриллианты.

– А вас эти новости не расстроили? – спросил я.

– В смысле?

– Разве вы с Пэтти Ларейн не паслись на одной лужайке?

Если бы мы были на ринге, я мог бы сказать себе: это первый удар, которым я его достал. Он моргнул, и с него сразу слетела аура напористого правдолюбца. Только так я и могу описать это: словно в космосе пошерудили кочергой, и теперь там зарождалась электрическая буря.

– Эй, эй, – сказал он. – Послушай-ка, корешок. Не задавай мне вопросов о своей жене, а я не буду спрашивать о своей.

Огонек самокрутки уже тлел рядом с костяшками его пальцев.

– Я тоже хочу дернуть, – сказал я.

– Нечего скрывать, да?

– Пожалуй, не больше, чем тебе.

Он передал мне бычок, и я затянулся марихуаной.

— Ладно, — произнес он, — теперь скажи, о чем вы сегодня говорили с Уодли.

— Откуда ты знаешь?

— Можешь ты наконец понять, сколько у меня в городе осведомителей? Этот телефон, — похвастался он, — звонит, как в хорошем магазине.

— Чем ты торгуешь?

— Я торгую вычеркиванием имен из полицейских списков, — сказал он. — Торгую снятием мелких обвинений. Знаешь что, Мадден, иди и подрочи, а когда обтрухаешь себе все штанишки, приходи сюда к нам, настоящим ребятам, и расскажи своему другу Элвину, чего Уодли хотел от тебя сегодня на пляже.

— А если не расскажу?

— Это будет похуже, чем бракоразводный процесс в Тампе.

— Думаешь, ты хитрее меня?

— Я больше работаю.

Я обнаружил, что хочу рассказать ему. Не от испуга (ты слишком далеко улетел, говорила мне марихуана, чтобы бояться кого бы то ни было), а ради любопытства. Я хотел знать, что он из этого извлечет.

— Уодли, — сказал я, — сообщил мне, что они с Пэтти Ларейн борются за покупку этого дома.

Ридженси присвистнул.

— Уодли хочет надуть то ли тебя, то ли Пэтти Ларейн. — Он быстро взвесил в уме разные варианты, точно компьютер — я почти услышал это тр-р-р-клик-дик-пик, — и сказал: — А может, и обоих.

— У него есть на то причины.

— Не скажешь ли мне, какие?

— Несколько лет назад, когда мы все жили в Тампе, Пэтти Ларейн хотела, чтобы я его убрал.

— Да ну!

— Послушай, не надо скромничать, — сказал я. — Неужто она тебе об этом не говорила?

У него было слабое место. Несомненно. Он не знал, как реагировать на подобные замечания о Пэтти Ларейн.

— Я не совсем понимаю, о чем ты, — сказал он наконец.

— Проехали, — ответил я.

Это была ошибка. Он мгновенно снова набрал скорость.

— О чем еще вы говорили с Уодли?

Я не знал, рассказывать ему или нет. Мне пришло в голову, что Уодли мог записать наш разговор на пляже. Должным образом отредактированная, его пленка могла изобразить меня наемным убийцей, ищущим ангажемента.

— Уодли был озабочен смертью Пангборна, — сказал я, — и удивлен исчезновением Джессики. Несколько раз повторил, что теперь он вынужден идти на покупку дома в открытую, а это взвинтит цену.

— Он не намекнул, где может быть Пэтти Ларейн?

— Он хотел, чтобы я попытался ее найти.

— И что он за это предлагал?

— Деньги.

— Сколько?

Ради чего, собственно, защищать Уодли, подумал я. Или во мне говорят остатки нашего семейного предубеждения против откровенности с копами? Потом я вспомнил о маячке.

— Два миллиона, — сказал я.

— И ты ему поверил?

— Нет.

— Он предлагал тебе убить ее?

— Да.

— Подтвердишь это под присягой?

— Нет.

— Почему?

— Я не уверен, что он не шутил. Кроме того, я ведь все равно отказался. Я еще в Тампе понял: для таких серьезных вещей у меня кишка тонка.

— Где я могу найти Уодли?

Я улыбнулся.

— Спроси у своих стукачей.

— У каких именно?

— Тех, что в коричневом фургоне.

Он кивнул, словно я сделал хороший ход в шахматной партии.

— Я тебе честно скажу, — произнес он, — они не знают. Он просто встречается с ними то тут, то там.

— На чем он приезжает?

— Он связывается с ними по радио. Назначает встречу. А сам приходит туда пешком. Потом уходит, тоже пешком.

— И ты этому веришь?

— Ну, я пока не тряс их так, чтоб зубы стучали.

— Советую потрясти.

— Осведомителей калечить нельзя — заработаешь себе дурную славу. Кроме того, я им верю. Именно так Уодли и стал бы себя вести. Он хочет, чтобы люди видели в нем профессионала.

— Может, ты не слишком стремишься разыскать Пэтти Ларейн?

Чтобы продемонстрировать свое спокойствие, он разыграл небольшую сцену. Взял окурок, выпотрошил его большим пальцем, скатал в маленький бумажный шарик и закинул себе в глотку. Нет оснований для тревоги, говорила его улыбка.

— Я не голоден, — сказал он. — Твоя жена объявится целой и невредимой.

— Ты уверен? Я нет.

— Подождем, — мягко промолвил он.

Я размышлял, много ли он наврал и насколько серьезной была эта ложь. От него не веяло ничем — разве что пустотой. Я вновь отхлебнул бурбона. С марихуаной он явно не сочетался.

Но Ридженси, похоже, эта комбинация нравилась. Он достал очередной косяк и подпалил его.

— Черт бы побрал убийства, — сказал он. — Рано или поздно сталкиваешься с таким, которое пускает в тебе корни.

Я не имел понятия о том, куда он клонит. Я взял предложенную им самокрутку, затянулся и вернул ее обратно.

— Было раз одно дело, — сказал он. — Дело симпатичного холостяка, который цеплял девчонку и вез ее в мотель. Он занимался с ней любовью; по его просьбе она раздвигала ноги, а он снимал ее "полароидом". Потом он ее убивал. И делал еще фотографию. До и после. А затем отправлялся домой, бросив девчонку в постели. Знаешь, как его взяли? Он собирал свои снимки в альбом. По странице на каждую леди. Его мать была ревнива и подозрительна — она взломала ящик с этим альбомом.

Увидела содержимое и хлопнулась в обморок. А когда пришла в себя, вызвала полицию.

— Зачем ты мне это рассказываешь?

— Потому что это меня заводит. Я — работник органов правопорядка, и это меня заводит. Каждый хороший психиатр немножко псих в душе, и нельзя быть хорошим копом, если где-то в тебе, под спудом, не шевелится изверг. А тебя эта история не возбуждает?

— Наверное, ты не очень здорово ее рассказал.

— Хо-хо, вот порадовался бы окружной прокурор, глядя на тебя на свидетельском месте.

— Мне пора идти, — сказал я.

— Могу подбросить.

— Нет, спасибо. Я пешком.

— Я не хотел тебя расстраивать.

— Ты и не расстроил.

— Должен тебе сказать: этот малый с "полароидом" мне интересен. В моих буднях есть что-то такое, что сродни его штучкам.

— Понятно, — сказал я.

— Сайонара, — сказал Ридженси.

На улице я снова начал дрожать всем телом — главным образом от облегчения. За последний час я не произнес ни одного невзвешенного слова. Мне приходилось тщательно выстраивать каждую фразу. Поэтому, покинув его кабинет, я почувствовал себя значительно свободнее. Однако этот мерзавец был чересчур уж сообразителен. Рассказанная им история действительно возбудила меня — точней, неприятно задела глубокую душевную струнку.

На что же он намекал? Я вспомнил фотографии обнаженной Мадлен, которые делал давным-давно, и обнаженной Пэтти Ларейн, которые делал недавно. Они прятались где-то в моем кабинете, точно рыбы, пощипывающие риф. При одной мысли о том, что они там лежат, я испытывал низкое торжество обладания, словно владел ключами от каких-то острогов. Я вновь начал спрашивать себя: неужели я и есть тот жестокий убийца?

Не могу описать, какое отвращение меня тогда охватило. Мне было физически плохо. Марихуана усилила спазмы в горле — по интенсивности они приблизились к оргазмическим. Из пищевода поднялись желчь, виски и мой скудный ужин; я перегнулся через ограду и оставил свою горечь на соседской лужайке. Можно было надеяться, что этот грех смоет дождем.

Да, я и впрямь походил на человека, наполовину раздавленного обрушившейся скалой, — преодолевая жуткую боль, он с трудом высвобождает свое тело из плена. И сразу же гнет снова придавливает его.

Я знал, почему меня вырвало. Я должен был вернуться к тайнику. "Нет, нет, — шептал себе я, — там пусто!" Но уверенности у меня не было. Какой-то внутренний инстинкт, настойчивый, как голоса Адова Городка, приказывал мне ехать. Если убийцу, как мы привыкли считать, всегда тянет на место преступления, то и во мне, видимо, что-то переключилось, ибо я был убежден: только вернувшись туда, я смогу доказать себе собственную невиновность и пережить следующую ночь. В противном же случае я виновен. Вот какой была моя логика, и когда я добрался домой, она так капитально завладела моими мыслями, что я думал лишь об одном: поскорей бы забрать ключи от "порше". Как и в прошлый раз,

я стал прокручивать в уме все путешествие: шоссе, проселок, ухабистая песчаная дорога — и заранее увидел лужи, которые должны были образоваться в колеях от дождя, потом тропу и прикрытый мхом камень у тайника. Воображение даже нарисовало мне полиэтиленовый пакет, возникающий в свете фонаря. Дальше мои мысли застопоривались. Подготовив себя таким образом, я хотел было тронуться в путь, но вдруг мой пес стал лизать мне пальцы. За последние четыре дня это было первым знаком приязни с его стороны. Поэтому я решил взять его с собой. Прикосновение широкого собачьего языка к моей ладони вызвало к жизни и практические резоны: пес вполне может оказаться полезен. Ведь если в самом тайнике ничего нет, кто поручится, что ничего нет и поблизости? Его нюх приведет нас к цели.

Впрочем, признаюсь: запах его свалявшейся шерсти произвел такую атаку на мои раздраженные внутренности, что мне захотелось все-таки оставить его дома. Однако он уже сидел в машине — мой большой черный лабрадор, сосредоточенный, как солдат перед отправкой на фронт. (Кстати, мы нарекли его Трюкачом, ибо он был слишком туп, чтобы выучиться каким бы то ни было трюкам.)

Мы поехали. Он сидел рядом со мной на пассажирском месте, носом вперед, и ехали мы с одинаковой сосредоточенностью. И только миновав больше половины пути до поворота к Труро, я вспомнил о радиомаячке. Мысль, что меня до сих пор преследуют, привела меня в ярость. Я затормозил на обочине шоссе, снял эту маленькую коробочку и положил ее в неглубокую канаву около придорожного столбика. Затем мы двинулись дальше.

Я не вижу нужды описывать остаток пути. Все происходило медленно, как и прежде, и чем ближе становилась последняя песчаная дорога, тем слабее я нажимал на педаль, пока двигатель не начал глохнуть — раз, потом другой. В последний раз это случилось в луже, и я ощутил мимолетный, как прикосновение призрака, страх, что не смогу завестись снова. В колониальную пору на одной из здешних лужаек стояла виселица, и за моросью мне чудилось, что на каждой заметной ветви висит труп. Не знаю, кому пришлось тяжелее — мне или моему псу. Он все время поскуливал — это были стенания умирающего, точно он угодил лапой в капкан.

Я слепо побрел по тропе с фонарем в руке: туман был до того плотный, что на мои щеки словно ложилась пена. Пес жался плечом к моему бедру, но за несколько ярдов до искривленной карликовой сосны выскочил вперед, лая с возбуждением и испугом, как будто, подобно нам, почувствовал себя расколотым на две несоединимые половины. Никогда еще его голос с этими взвизгами восторга и паническими задыханьями не звучал так по-человечески. Мне пришлось оттащить его, чтобы он не содрал мох с моего камня.

Но когда я отодвинул этот кусок скалы, мой пес издал тихий стон. Точно такой же звук мог бы издать и я сам, однако я не хотел смотреть туда. Затем ждать стало больше невыносимо. Луч фонаря осветил черный, осклизлый полиэтиленовый пакет, по которому ползали жуки, и, умываясь собственным потом, не способный унять дрожь в пальцах, словно сотрясаемых потусторонними силами, я вторгся в царство норы — так это воспринималось! — достал пакет и выволок его наружу. Он был тяжелей, чем я думал. Не стану досаждать вам, рассказывая, как долго я возился с узлом, но я не осмеливался просто разорвать пакет, словно из прорехи могли хлынуть все ручьи Адова Городка.

Наконец узел распутался. Я поднял фонарь и взглянул в лицо своей жене. Это было как пистолетный выстрел, пронзивший ткань тысячи спокойных ночей. На лице моей жены застыл ужас; ее шея кончалась красными лохмотьями. Я кинул туда один взгляд, второй не смог и закрыл пакет. В тот миг я понял, что у меня есть душа. Снова завязывая пакет, я чувствовал, как она ворочается в груди.

Тогда я встал, чтобы уйти, качнулся на одной ноге, затем на другой. Я не знал, смогу ли двинуться с места. Кроме того, я еще не решил, должен ли я забрать ее с собой или оставить в этой грязной дыре. Покуда воля моя пыталась очнуться от обморока, пес перестал хныкать, засуетился и начал проталкивать свою голову и плечи в нору, дальше и дальше, и через мгновение дал задний ход, совершив все движения в обратном порядке, и вытащил — зубами за уголок — зеленый полиэтиленовый пакет. Теперь я увидел лицо Джессики Понд. Я не мог называть ее Лорел Оквоуд.

Удивитесь ли вы тому, что я поднял обе головы и отнес их к машине? По пакету в каждой руке; я положил их в багажник с аккуратностью, дабы не потревожить незримые покровы смерти, которые еще не развеялись по пути, ведь полиэтиленовый пакет — поистине жалкий саван! Пес шел за мной, точно плакальщик, и деревья, стоящие вдоль тропы, скорбно молчали. Я завел мотор "порше", и под покровом тишины это прозвучало как взрыв.

Мы тронулись обратно. Я не отдавал себе отчета в своих действиях — иначе как объяснить то, что я остановился подобрать маячок? А когда я сделал это, меня внезапно атаковали Студи и Ниссен.

Позже, поразмыслив как следует, я решил, что они, наверное, преследовали меня, пока я не снял с автомобиля их приборчик. Затем, должно быть, немного подождали. Затем поехали туда, где я, по их предположениям, оставил машину, но не нашли ни ее, ни дома — только сигналы маячка упорно продолжали дразнить их. Он был рядом с дорогой, но где — это они не могли точно определить. Поэтому они остановились и принялись ждать снова.

Я увидел их только потом, стоя в канаве у придорожного столбика с маячком в руке. К этому моменту они уже бежали на меня. Помню, как я подумал, что они, пожалуй, хотят забрать украденное мною из тайника, — это показывает, в каком состоянии были тогда мои мозги. Вот в чем плюс безумия: вы можете переходить от одного трансцендентного мига к другому без всякого страха. Теперь, по здравом размышлении, я полагаю, что их взбесили долгие тридцать минут под дождем, в течение которых они без толку слушали сигналы брошенного передатчика. За такое надругательство над их великолепной техникой они искренне жаждали стереть меня с лица земли.

Они бросились на нас с собакой; в руках у Ниссена был нож, а у Студи — монтировка. Прежде мы с моим зверем никогда не оказывались в той спайке человека и пса, когда оба готовы умереть друг за друга, но сейчас он был за меня.

Я не могу сказать, что за мощь в нас вселилась. Я должен был сберечь головы двух блондинок, лежащие в багажнике за моей спиной. Взятые вместе со мною, эти головы обошлись бы мне в пару сотен лет тюрьмы, и я не собирался уступать их без драки. Было и еще одно безумное соображение: я словно перевозил моих леди из дурной могилы в более приличную.

Так что во мне вскипел гнев маниакальной силы. Точно порох, он набивался в мою голову и конечности все последние пять дней. Вид угрожающих мне Паука и Студи сработал как спусковой крючок. Помню, что пес сделал стойку рядом со мной, ощетинясь будто стальными гвоздями. Потом это случилось — и для него все было кончено. Не знаю, заняло ли это хотя бы десять секунд, но мой пес прыгнул на Ниссена и сомкнул свои челюсти на его лице и горле. Однако Паук поймал его грудь на острие ножа, и он умер прямо на Пауке, который с воплем побежал прочь, держась за лицо. Нам со Студи понадобилось больше времени.

Он кружил около меня, выжидая момент, чтобы взмахнуть монтировкой, а я держался поодаль, готовый швырнуть свой маячок — теперь это был мой маячок! — ему в голову, но этот приборчик был не тяжелей небольшого камня.

Несмотря на свой гнев, для драки я сейчас не годился. Сердце уже горело огнем, да и с монтировкой я никогда бы не сладил. Мне надо было поймать его на полновесный удар правой в челюсть — моя левая всегда была плоховата, — а для этого я должен был дождаться, пока он махнет монтировкой. Когда против тебя монтировка, необходимо заставить противника раскрыться. Ты можешь ударить только после того, как его оружие будет пущено в ход. Студи знал это. Он водил монтировкой взад и вперед, но по очень короткой дуге. Он был терпелив. Хотел измотать меня напряжением. Студи ждал, мы кружили друг около друга, и я слышал свое дыхание — оно было громче, чем его. Потом я швырнул маячок и попал ему в голову. Сразу после этого я выбросил вперед правую руку, но угодил ему только в нос, а не в подбородок, и он опустил монтировку на мое левое предплечье. Он потерял равновесие и потому ударил не в полную силу, но рука у меня отнялась, а боль была такая, что я еле увернулся от следующего взмаха. Тогда он снова рассек монтировкой воздух, хотя кровь из носа заливала ему рот и я наверняка сломал ему какие-то лицевые косточки.

Он ударил снова. Я нырнул вниз, схватил две горсти гравия с обочины и бросил ему в лицо. Ослепленный, он нанес мощнейший удар сверху вниз, но я отскочил в сторону и вложил в свой удар правой всю силу, какая во мне еще оставалась: мою руку словно пронзило молнией, и он упал вместе с монтировкой. Тут я сделал ошибку, пнув его в голову. Это стоило мне большого пальца: похоже, я его сломал. Впрочем, эта новая боль, спасибо ей, удержала меня от того, чтобы размозжить ему монтировкой череп. Подняв железяку, я прохромал через дорогу к фургону. Паук стоял, прислонившись к нему: он держался руками за голову и испускал стоны, и я познал радость исступления. Своим орудием я перебил ему все окна, передние фары, задние фары, а потом, не удовлетворившись этим, попытался оторвать дверцу, но не смог и только свернул петлю.

Паук наблюдал за мной, а под конец сказал:

— Эй, друг, будь человеком. Мне надо к врачу.

— Зачем ты говорил, что я украл у тебя нож? — спросил я.

— Кто-то же украл. У меня новый — ни к черту не годится.

— Он в моей собаке.

— Извини, друг. Я против твоей собаки ничего не имел.

На этой идиотской ноте наш разговор завершился. Я оставил Паука у фургона, аккуратно обошел Студи, чтобы не поддаться соблазну измочалить его монтировкой, опустился на колени около Трюкача, который

умер рядом с "порше", своей излюбленной колесницей, и кое-как затащил его здоровой рукой на переднее сиденье.

Потом я поехал к себе.

Описать ли вам благотворные последствия этой битвы? После нее у меня хватило духу отнести оба полиэтиленовых пакета в подвал и положить их в картонную коробку. (Я еще не говорил об этом, но в ближайшие двадцать четыре часа исходящий от них смрад обещал сделаться невыносимым.) Затем я вырыл в саду могилу для пса и похоронил его, управившись со всем этим при помощи одной целой руки и одной целой ноги — благодаря туману земля стала мягкой, — а затем принял душ и лег в постель. Если бы не эта битва на обочине дороги, я ни за что не смог бы заснуть и к утру созрел бы для психиатрической больницы. Теперь же я погрузился в глубокий, поистине мертвый сон и, проснувшись утром, обнаружил в доме своего отца.

Глава седьмая

Не могу сказать, чтобы хоть одного из нас сильно воодушевило то, как выглядит другой. Мой отец готовил себе растворимый кофе, но, едва увидев меня, отставил кувшин в сторону и тихо присвистнул.

Я кивнул. Я спустился вниз с распухшей ногой, левой рукой, которая не поднималась выше головы, и огромной глыбой льда в груди. О кругах под глазами можно и умолчать.

Однако Дуги выглядел еще хлеще. На его черепе почти не осталось волос, и он заметно потерял в весе. На скулах ярко розовел лихорадочный румянец, напомнивший мне огонь в комнате, где гуляет сквозняк.

Догадка осенила меня мерзостным стылым крылом. Должно быть, он на химиотерапии.

Наверное, он привык к этому быстрому стиранию из взгляда собеседников первоначального отвращения, потому что сказал:

— Да, у меня он самый.

— Где?

Он сделал неопределенный жест.

— Спасибо за телеграмму, — сказал я.

— Знаешь, малец, — отозвался он, — если тебе все равно помочь не могут, лучше держать свои проблемы при себе.

Он выглядел слабым — иначе говоря, не выглядел всесильным. Однако я не мог понять, насколько ему плохо.

— Ты на химиотерапии? — спросил я.

— Бросил несколько дней назад. Уж больно унизительная штука. — Он подошел и слегка обнял меня, не привлекая к себе, точно опасался заразить.

— Есть такой анекдот, — сказал он. — Еврейская семья ждет в вестибюле больницы. Выходит доктор. Этакий довольный стервец с жизнерадостным голосом. Чирикает, как пташка. — Мой отец любил при случае напомнить мне, так же как напоминал моей матери, что его корни в Адовой Кухне[1], и хрен с вами со всеми. Его снобизм неизменно оставался вывернутым наизнанку, поэтому он не упускал возможности продемон-

1. Район Нью-Йорка с высоким уровнем преступности.

стрировать свое презрение к жизни состоятельных людей и медицинскому обслуживанию как ее непременному атрибуту.

Теперь он мог продолжать свой анекдот.

– "У меня, – говорит доктор, – для вас две новости: хорошая и плохая. Плохая – что болезнь вашего отца неизлечима. А хорошая – что это не рак". "Слава богу", – говорит семья.

– Так это неизлечимо?

– Да разве кто знает, Тим? Иногда мне сдается, что я догадываюсь, когда схлопотал его. Раз я так близок к источнику, может, найду и средство. Скажу тебе, я терпеть не могу эти таблетки, которыми пичкают врачи. Ненавижу себя за то, что глотаю их.

– Спишь крепко?

– Ну, этим я никогда не мог похвастаться, – сказал он. Потом кивнул. – Малец, я слажу с чем угодно, кроме середины ночи. – Для него это была целая речь. Он оборвал ее. – Что с тобой стряслось? – спросил он.

Я выложил ему все о драке.

– Где ты оставил пса? – спросил он.

– Похоронил в саду.

– Перед тем как лег спать?

– Да.

– Неплохо тебя завели.

Мы просидели на кухне все утро. Когда я приготовил яичницу, мы ненадолго перебрались в гостиную, но мебель Пэтти была не для старого докера, и скоро мы вновь очутились на кухне. Снаружи был очередной серый день, и отец поежился, глядя в окно.

– И чем тебе приглянулось это Богом забытое место? – сказал он. – Тут как зимой на задворках Ирландии.

– А мне нравится, – сказал я.

– Да?

– В первый раз я попал сюда после того, как меня вышибли из Экзетера. Помнишь, мы напились?

– А как же. – Приятно было увидеть его улыбку.

– Ну вот, утром ты вернулся в Нью-Йорк, а я решил приехать сюда на лето. Я слышал об этом городе. Он мне сразу понравился, а как-то вечером, через неделю, я заглянул в один клуб с дансингом, недалеко от шоссе. Там была симпатичная девица – я все на нее смотрел, но не подходил. Она была со своей компанией и танцевала. Я просто наблюдал. А когда закрывали, сделал рывок. Прямо подошел к ней на площадке, посмотрел в глаза, она – в мои, и мы вместе отправились к двери. Насрать на этих ее парней. Они только рты поразевали. А мы с девицей пересекли дорогу, зашли в лес, и знаешь, Дуги, я ей влупил. По моей прикидке, с того момента, как я к ней подошел, до того, как заправил, прошло минут семь. До этого дня я и думать не думал, что способен на такое.

Он явно оценил мою историю. Его рука по старой привычке потянулась туда, где должен был стоять стакан с виски, но потом он вспомнил, что там ничего нет.

– Стало быть, тут твоя удача, – сказал он.

– До какой-то степени.

– Ты оклемался? – спросил он. – Для парня, который только что раздолбил монтировкой кузов, ты что-то не шибко довольный. Боишься, что он вернется? – Какое счастье промелькнуло в отцовских глазах при мысли о том, что Студи может прийти сюда.

— Надо многое обговорить, — произнес я, — да вот не знаю, готов ли я тебе рассказывать.

— Касается твоей жены?

— Отчасти.

— Слушай, если бы я собирался протянуть еще лет десять, я бы помалкивал, но поскольку не собираюсь, то скажу. По-моему, ты не ту себе взял. Вместо нее должна была быть Мадлен. Пускай она злопамятная макаронница, но она мне нравилась. В ней был класс. Тонкая была штучка.

— Это твое благословение?

— Слишком много лет я помалкивал насчет слишком многих вещей. Может, оно стало тухнуть внутри. Одна из причин рака, говорят жизнерадостные пташки, это неподходящая среда.

— И что ты хочешь мне сказать?

— Парень, который женится на богатой, заслуживает всего, что бы с ним ни стряслось.

— А я думал, Пэтти тебе по вкусу. — Они любили выпивать вместе.

— Характер у нее правильный. Если бы во всех деревенских было столько же пороху, сколько в ней, они правили бы миром. Но мне никогда не нравилось то, что она делает с тобой. Некоторым дамочкам надо носить майки с надписью: "Поди сюда. Я сделаю из тебя петуха".

— Благодарю.

— Эй, Тим, это я фигурально. Не бери на свой счет.

— Ты всегда за меня волновался, верно?

— Мать твоя была мягковата. Подпортила тебя. Да, — сказал он, глядя на меня своими льдисто-голубыми глазами, — я за тебя волновался.

— Зря, наверно. Я три года отмотал и не опетушился. Меня там звали Железной Челюстью. Я в рот не беру.

— Что ж, славно. Я на это надеялся.

— Послушай, Дуги, — сказал я, — а в чем тут добродетель? Думаешь, большую часть времени я чувствую себя мужиком? Нет. Ну и что я берег? Ты старозаветный фанатик. Ты посадил бы в концлагеря всех пидоров, включая своего собственного сына, если б он хоть раз поскользнулся. И это только потому, что тебе посчастливилось родиться с тигриными яйцами.

— Давай-ка выпьем. Подкрепись.

— А тебе можно пить?

Он снова сделал неопределенный жест.

— Ну, ради такого случая...

Я достал два стакана и налил в них бурбон. Он добавил себе довольно много воды. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы я понял, как он болен.

— Пойми меня правильно, — сказал он. — По-твоему, я двадцать пять лет прожил один в меблированной комнате и ни разу ни о чем не задумался? Я стараюсь идти в ногу. В мои времена, если ты был голубым, ты был проклят. Без базара. Ты был чертовым прихвостнем. А теперь петушня получила свободу. Я вижу. Голубые теперь повсюду.

— Да, я знаю, — сказал я.

— Ха-ха, — произнес он и направил на меня палец. Ранняя выпивка чудесным образом подняла ему настроение. — Мой сын выигрывает раунд.

— Что ж, танцевать умеем, — сказал я.

— Помню, — сказал он. — Костелло, так?

— Верно.

— Я больше не уверен, что понимаю, что это значит, — сказал он. — Полгода назад мне велели: перестань думать, или ты труп. Я перестал. А сейчас, когда я ложусь спать, духи вылазят из мебели и водят вокруг меня хоровод. Они заставляют меня танцевать всю ночь. — Он закашлялся, и пустоты в его легких отозвались эхом. Это была попытка засмеяться. — "Крутые парни не танцуют", — говорю им я. "Эй ты, дубовая башка, — отвечают духи, — давай танцуй". Он посмотрел свой бурбон на свет, точно там мог прятаться кто-то из них, и вздохнул. — Болезнь сделала мою башку не такой крепкой, — сказал он. — Я думаю о голубых, и знаешь, что я надумал? Для половины из них это смелость. Мужику бабьей породы труднее стать голубым, чем не стать. То есть если он баба в душе. А иначе он женится на какой-нибудь мыши, слишком робкой, чтобы заделаться лесбиянкой, и они оба становятся психологами и воспитывают вундеркиндиков на компьютерных играх. Я говорю: если ты бабьей породы, стань голубым. Иди по рукам. Нет, презираю я других. Тех, кому надо бы быть мужиками, да воли не хватает. Ты должен был стать мужчиной, Тим. Ты — мое семя. Я дал тебе фору перед остальными.

— Впервые слышу от тебя такую речь. Раньше ты никогда столько не говорил.

— Потому что мы с тобой плохо знакомы.

— Да, сегодня ты и правда выглядишь незнакомым, — сказал я.

Это было действительно так. Его крупную голову уже не венчала густая белая шевелюра — белая с растленным великолепием кремового и желтоватого. Теперь у него была просто огромная лысая голова. Он больше походил на прусского генерала, чем на образцового бармена-ирландца.

— Сейчас я хочу говорить с тобой, — сказал он. — Может, мне и не хватает тонкости, но на похоронах Фрэнки Фрилоуда я вдруг понял: Тим — это все, что у меня есть.

Я был тронут. Иногда мы не звонили друг другу по два-три месяца, а то и по целых полгода. Однако все оставалось нормально. По крайней мере, я всегда на это надеялся. И теперь он подтвердил мою правоту.

— Да, — сказал он, — я нынче рано встал, занял у вдовы машину и всю дорогу сюда повторял себе, что на этот раз нам надо потолковать по душам. Я хочу, чтобы ты знал, как я к тебе отношусь, иначе не умру спокойно.

Его слова меня смутили. Поэтому я уцепился за то, как он произнес "занял у вдовы машину".

— Ты что, шалил с женой Фрилоуда? — спросил я.

Нечасто приходилось мне видеть отца смущенным.

— В последнее время нет, — сказал он.

— Ну, знаешь! С женой своего друга!

— Фрэнки уж лет десять как не отлипал от бутылки. Не мог найти ни свой инструмент, ни куда его пихать.

— С женой друга? — Я засмеялся нашим фамильным смехом. Высоким тенором.

— Да я только разок или два. Ей надо было. В целях гуманности.

Я смеялся, пока на глазах не выступили слезы.

— "Не знаю, в чьих теперь она объятьях", — пропел я. Как здорово было снова увидеть отца в своей колее. У меня чуть не навернулась слеза.

— Ты прав, малец, — сказал он. — Я очень надеюсь, что Фрэнки об этом не узнал. — Он отвел взгляд в сторону. — Когда стареешь, начина-

ешь чувствовать: что-то вроде не так. Будто сидишь в ящике и его стенки давят на тебя все сильнее. Вот и делаешь вещи, которых раньше не сделал бы.

— Давно ты знаешь про свою болезнь?

— С тех самых пор, как вошел в Святого Винсента сорок пять лет назад.

— Разве рак может столько лет не проявляться?

— Врачи ничего в этом деле не понимают, — сказал он. — А мне сдается, что болезнь — это электрическая цепь с двумя рубильниками.

— То есть?

— Прежде чем эта дрянь начнет расти, должны случиться две катастрофы. Первая взводит курок. Вторая его спускает. Я сорок пять лет ходил со взведенным курком.

— Потому что не смог оправиться от тех ран?

— Нет. Потому что я спекся.

— Ты? О чем ты говоришь!

— Тим, я остановился и почувствовал кровь в ботинках, а передо мной была больница Святого Винсента. Мне надо было и дальше бежать за тем сукиным сыном, который стрелял. Но я увидел больницу и сдался.

— Черт, да ты пробежал за ним шесть кварталов.

— Мало. Это не заслуга, что я от природы здоровый. Проверка началась, когда я остановился. У меня не хватило смелости продолжать и поймать его. А вдруг я смог бы. Если б он, например, споткнулся. Но я не стал проверять свою удачу. Вместо этого я остановился. И ясно услышал у себя в голове голос. Один-единственный раз со мной говорил Бог или какая-то *высшая* сила. Этот голос сказал: "Силенки у тебя кончились, парень. Вот оно, настоящее испытание. Покажи, на что ты способен". Но я вошел в Святого Винсента и взял за грудки дежурного, и в тот самый момент, когда я орал на эту вонючку, я почувствовал, как сработал первый из раковых рубильников.

— А от чего сработал второй?

— Он не срабатывал. Его просто съела ржавчина. Накопилось постепенно. Сорок пять лет я жил и плевал на себя.

— Ты свихнулся.

Он сделал большой глоток разбавленного бурбона.

— Если бы. Тогда у меня не было бы рака. Говорю тебе, я все изучил. При желании можно найти скрытую статистику. У шизофреников в желтых домах рак бывает вдвое реже, чем у обычных людей. Я это так понимаю: или свихивается твое тело, или душа. Рак предохраняет от шизофрении. Шизофрения — от рака. Большинство людей не знают, как круто по ту сторону. Мне было на роду написано узнать. Так что мне нет прощенья.

Я молчал. Я не мог с ним спорить. Нелегко описать, какой эффект вызвали его слова. Неужто я впервые приблизился к разгадке того, почему теплота, проявляемая им в общении со мной, всегда словно пересекала ледовые просторы? Да, когда-то я действительно был семечком в теле Дугласа Маддена, но только после того, как он перестал уважать это тело. Я был в какой-то мере неполноценен. Я ощутил, как растравляются все мои старые раны, давно зализанные и давно забытые. Неудивительно, что отец был от меня не в восторге. Во мне забрезжило предчувствие того, что годы спустя — если мне суждено их прожить — воспоминание об этом разговоре будет приводить меня в ярость.

Однако вместе с тем мне было жаль отца. Чертово сострадание. Он перечеркнул свой образ в моих глазах длинной тенью.

Затем на меня вновь накатил страх. Ибо теперь мне опять показалось, что я мог убить двух женщин. Как часто в последние годы я подходил вплотную к тому, чтобы наброситься на Пэтти Ларейн с кулаками! И каждый раз подавлял свое желание — но не помогало ли это развиться зародышу моей грядущей хвори? Да, подобно своему отцу, я жил в неподходящей среде. Я снова вспомнил о том, как лазил на Обелиск. Может быть, той ночью я надеялся предотвратить включение первого рубильника?

И тогда я понял, что должен довериться Биг-Маку. Я должен был поговорить с ним о двух убийствах и о полиэтиленовых пакетах в сыром подвале этого дома. Я не мог больше хранить это в себе. Но не мог и заставить себя сказать об этом прямо. А потому решил начать с обиняков.

— Ты веришь в предназначение? — спросил я.

— В предназначение, — отозвался он, — в каком смысле? — Перемена темы его обрадовала. Долгие годы за стойкой приучили моего отца жить с вопросами, зияющими, как небесные врата.

— В смысле футбольных пари, — сказал я. — Может Бог выбрать команду, которая победит?

Очевидно, это был один из тех вопросов, с которыми Дуги жил уже давно. В его глазах блеснул огонек: по-видимому, он размышлял, поделиться ли со мной полезными знаниями. Потом он кивнул.

— Я думаю, если бы Бог бился об заклад, он выигрывал бы в восьмидесяти процентах случаев.

— Откуда ты взял эту цифру?

— Ну, допустим, что в ночь перед матчем Он посещает места, где спят игроки, и читает у них в голове. "Питтсбург к игре готов, — говорит Он себе. — А "Джетс" нынче не в форме". Питтсбург, решает Он, стоит того, чтобы поставить на него как минимум три к одному. И Он ставит на Питтсбург. Я бы сказал, что Он бывает прав в четырех случаях из пяти.

— Но почему в четырех из пяти?

— Потому что футбольные мячи, — зловеще произнес мой отец, — не всегда отскакивают куда надо. Выигрывать чаще, чем четыре раза из пяти, непрактично. Это уже хороший результат. Если бы Он принялся анализировать каждый отскок, Ему понадобилось бы в миллион раз больше вычислений, чтобы подняться с восьмидесяти процентов до девяноста девяти. Это нерационально. У Него слишком много других забот.

— Но почему *ты* остановился на этой цифре — четыре из пяти?

Мой отец отнесся к этому вопросу очень серьезно.

— Иногда, — сказал он, — у игрока бывает счастливая полоса, и он с месяц, а то и больше, удерживает средний уровень выигрышей в семьдесят пять процентов. Я так понимаю, что на это время у него происходит подключение к каналам связи в высших сферах.

Я подумал о Гарпо.

— А может кто-нибудь поддерживать эту связь еще дольше?

Отец пожал плечами:

— Вряд ли. К этим линиям надолго не подключаются. — Он с легкостью перескочил на параллельную метафору: — Это все равно что ходить по канату.

— А как насчет полосы жуткого невезения?

— Эти ребята тоже на линии. Только поток идет в обратную сторону. Их интуиция врет на все сто восемьдесят процентов.

— А может, это все просто теория вероятностей?

— Теория вероятностей, — с отвращением сказал он, — засрала людям мозги больше любой другой выдумки, какую я знаю. Это чистое дерьмо. Линия связи либо подпитывает тебя, либо наоборот. А жадных совсем сбивает с толку.

— Ну а если по твоим ставкам выходит пятьдесят на пятьдесят?

— Тогда ты далеко от линии связи. Работаешь, как компьютер. Загляни в газеты. Эффективность компьютерных предсказаний не подымается выше пятидесяти процентов.

— Ладно, — произнес я, — это предсказания. Но вот как насчет совпадений?

У него был встревоженный вид. Я встал и налил нам еще.

— Добавь в мой побольше воды, — попросил он.

— Совпадения, — сказал я. — Что ты о них думаешь?

— Я уже наговорился, — сказал он. — Теперь ты.

— Ну, — сказал я, — по-моему, тут тоже что-то вроде канала связи. Вернее, целой сети. По-моему, до нас доходят обрывки чужих мыслей. Обычно мы этого не осознаем, но тем не менее.

— Обожди минутку. Ты считаешь, что люди способны посылать и принимать мысленные сообщения? Телепатия? И сами того не замечают?

— Называй это как хочешь.

— Что ж, — сказал он, — допустим, ты прав. Ну и?..

— Однажды, — сказал я, — я ездил на Аляску, в Фэрбанкс, и ты это почувствовал. Значит, была связь.

— Ага, — сказал он, — рядом с магнитным полюсом. И что ты делал в Фэрбанксе?

— Так, дурацкая аферка. Ничего особенного.

На самом деле я ездил на север продавать кокаин — это произошло после моего разрыва с Мадлен. А еще через месяц меня арестовали во Флориде, куда я приехал с той же целью. Привез два кило кокаина. Только услуги адвоката, берущего хорошие деньги за свое умение торговаться в суде, помогли свести наказание к трем годам (с правом досрочного выхода).

— Как раз в Фэрбанксе я поссорился с одним малым, — продолжал я. — Дело пахло керосином. Утром я проснулся и сразу вспомнил его лицо. Оно нагоняло жуть. Потом зазвонил телефон. Это был тот самый парень. Он и в разговоре пытался нагнать жути. Хотел, чтобы я встретился с ним ближе к ночи. Весь день я натыкался на людей, которых видел прошлым вечером, и ни один из них не удивил меня своим обликом. Они выглядели сердитыми или радостными именно в той мере, в какой я ожидал. Это было безошибочно, как во сне. Под конец дня я встретился с моим ломовиком. Но к тому моменту напряжение меня отпустило. Потому что несколько часов подряд я ясно видел его в своих мыслях, и он выглядел слабым. И правда, когда я его встретил, так и оказалось: он трусил больше, чем я.

Отец усмехнулся.

— Знаешь ли, Дуги, — сказал я, — по-моему, на Аляске все так пьют, что их сознание блокируется и в чужие головы они уже не лезут.

Он кивнул.

— Северный климат. Ирландия. Скандинавия. Россия. Жрут как чумовые. — Он пожал плечами. — Но я еще не понимаю, как это связано с твоим предметом.

— Я говорю, что люди не хотят жить в головах друг у друга. Это слишком опасно. Слишком по-звериному. Совпадения сигнализируют о том, что им недалеко до такого состояния.

— А с чего это начинается? — спросил Дуги.

— Трудно сказать, — ответил я. Потом вдохнул поглубже. В конце концов, отцовское презрение — еще не самое худшее из того, с чем, быть может, придется бороться. — Я думаю, когда вот-вот должно случиться что-то важное и неожиданное, люди оставляют свою обычную болтовню. Их мысли начинают притягиваться друг к другу. Надвигающееся событие как будто создает вакуум, и мы начинаем двигаться к нему. Самые дикие совпадения сыплются подряд, с сумасшедшей скоростью. Это вроде естественного явления.

Я почти ощущал, как он взвешивает свое прошлое. Переживал ли он нечто подобное тем утром, когда в него стреляли?

— Какие надвигающиеся события ты имеешь в виду? — спросил он.

— Плохие события.

Он сохранял осторожность.

— Например?

— Хотя бы убийство.

Он поразмыслил над моими словами. Затем качнул головой, будто говоря: "Не нравится мне такая подача". И взглянул на меня.

— Тим, — сказал он, — ты помнишь инструкцию для барменов?

Я кивнул. Когда я приступал к работе бармена, Дуги выдал мне следующее расписание. "Сын, — сказал он, — запомни вот что. На улицах Нью-Йорка время зевак — с двенадцати до часу ночи, пожары с часу до двух, налеты с двух до трех, драки в барах с трех до четырех, самоубийства с четырех до пяти и автомобильные аварии с пяти до шести утра". Я никогда не забывал этого строгого графика. И он действительно оказался полезным.

— Насчет убийств правила нету, — заметил он теперь.

— Я говорю не о Нью-Йорке, — сказал я, — а об этом городе.

— Хочешь сказать, что у вас здесь убийство — что-то из ряда вон выходящее? — Я буквально видел, как он примеряет холодную сырость Кейп-Кода к пылу и крови этого деяния. — Да, — сказал он, — пожалуй. Согласен с тобой. — Он выглядел не очень-то счастливым. — И в чем суть нашего разговора?

— Я запутался в совпадениях, — сказал я.

— Стало быть, по твоей логике, ты близок к чему-то плохому, — откликнулся он.

— Не просто близок.

Он выдержал паузу.

— На прошлой неделе здесь было самоубийство, — сказал я, — хотя этого человека, возможно, и убили. В ночь, когда это случилось, я, похоже, увел у него женщину. — Тут мне на ум пришла очень странная мысль: поскольку у моего отца рак, все, что я скажу ему, никогда не станет известно прочим. Пожалуй, в этом заключалось одно из преимуществ рака. Он мог принимать в себя факты, как могила, не выпуская их обратно. Значило ли это, что мой отец уже стоит одной ногой в мире духов?

— Есть и еще кое-что, — сказал я. — Пока местные об этом не знают, но за последнюю неделю в нашем городе были убиты две женщины.

— Ох, — сказал он. Это были серьезные новости, даже для него. — Кто их убил?

— Не знаю. Только догадываюсь, но не уверен.

— Ты видел трупы? У тебя нет никаких сомнений?

Я очень не хотел отвечать. Покуда я больше ничего не сказал, мы могли бы и дальше прикидываться, что просто выпиваем на кухне; мы могли окутать его визит убаюкивающими воспоминаниями о прежних хмельных блужданиях по белым пятнам философии. Но уже моя следующая фраза вытащит нас, трезвых, промокших, на другой берег.

Наверное, я слишком долго медлил с ответом — отец даже повторил вопрос.

— Ты видел трупы?

— Да, — сказал я. — Они у меня в подвале.

— Господи Исусе! — Его стакан был пуст. Я заметил, как его рука потянулась к бутылке с бурбоном, но тут же отпрянула. Вместо того чтобы налить себе, он перевернул стакан вверх дном.

— Тим, это твоих рук дело? — спросил он.

— Нет. — Я не смог последовать его примеру и проглотил то, что осталось в стакане. — То есть не думаю, — добавил я, — хотя точно сказать нельзя.

И тогда начался подробный разговор. Факт за фактом, деталь за деталью я рассказывал ему все больше и больше о том, что мог вспомнить про каждый из дней после той встречи во "Вдовьей дорожке", а когда я признался (ибо это действительно прозвучало как признание), что одна из убитых женщин — Пэтти Ларейн, отец издал такой стон, какой мог бы издать человек, выпавший из окна, чтобы сразу же напороться на кол.

Однако я не назвал бы его вид ужасным. Ярко-розовый румянец, который еще недавно горел только на скулах Дуги и контрастировал с общей бледностью его когда-то кирпично-красного лица, теперь распространился на его лоб и подбородок. Это создало иллюзию того, что он чувствует себя лучше. Да так оно, наверное, и было. Несмотря на свою неприязнь к копам, он сам был настолько похож на одного из них — любой режиссер, подбирающий актерский состав, мигом признал бы в нем начальника полицейского участка или главу сыскного отделения, — что волей-неволей частенько обнаруживал себя в этой роли. И я должен сказать, что он умел задавать вопросы не хуже профессионального следователя.

Наконец я завершил свой отчет (причем по ходу дела утро сменилось ясным днем, а мы поддержали силы парой сандвичей с пивом). Тогда он сказал:

— Для полноты картины мне не хватает ответов на два вопроса. Первый: виновен ты или нет. Мне трудно поверить в твою невиновность, но ты все же мой сын. — Он помолчал, нахмурился и добавил: — Иначе говоря, мне трудно поверить и в то, что убил ты.

— Другими словами, — сказал ему я, — ты считаешь, что я мог это сделать. Вот оно, твое мнение! А причина такова: *ты сам* способен на убийство. Может, в свою бытность в профсоюзе ты и уложил одного-двоих.

Дуги оставил мою догадку без отклика. Вместо этого он сказал:

— Хорошие люди убивают из чувства долга или защищая свою честь. Но не ради денег. Ради денег убивает подлец. Если жмот нанюхается кокаина, он может искромсать человека. Но не ты. Тебе что-нибудь причитается по ее завещанию?

— Понятия не имею.

— Если она завещала тебе приличные деньги, ты здорово влип.

— Может, она вообще не оставила денег. Она никогда не говорила мне, сколько у нее есть. Подозреваю, что в последние несколько лет Пэтти Ларейн сделала страшно неудачные вложения. Могла и вовсе разориться.

— Хорошо, если так, — сказал он. Потом устремил на меня холодный взгляд своих голубых глаз. — Проблема в том, каким способом они убиты. Это мой второй вопрос. Зачем? Зачем кому-то обезглавливать этих двух женщин? Если виноват ты, Тим, тогда наш с тобой род, пожалуй, зашел в тупик. Нельзя его продолжать, а то родится черт знает кто.

— Уж больно спокойно ты это говоришь.

— Потому что не верю, что ты способен на такое зверство. Я просто упоминаю об этом как о варианте. Вношу ясность.

Его поразительная способность при любых обстоятельствах находить правильный образ действий вызывала во мне раздражение весьма странного свойства. Словно мы переводили беседу о жизненно важных вещах в план обычного семейного спора. Так сказать, слегка расходились во мнениях. Убить сукина сына, говорит Дуги Мадден. Нет, отвечает сын, упрятать его в больницу для душевнобольных. Мне хотелось встряхнуть отца.

— Я способен на такие зверства, — сказал ему я. — Честно. Я знаю. Во всем виноваты духи. Иногда я словно впадаю в кому. Духи могли подтолкнуть меня к этому.

Биг-Мак подарил мне презрительный взгляд.

— Этим оправдывает себя половина убийц в мире. А я считаю: нечего их слушать. Пускай даже это правда, что с того? Они только громоотвод для всей той дряни, которой насыщают атмосферу другие люди. Поэтому рядом с ними опасно находиться. — Он покачал головой. — Хочешь, скажу, что я действительно думаю? Я очень надеюсь, что это сделал не ты, поскольку, будь ты виноват, я не смог бы тебя прикончить. И даже сдать полиции.

— Хватит морочить мне голову. То один вариант, то другой.

— Дурень ты, дурень, — сказал он. — Я просто пытаюсь прийти в себя.

— Выпей, — произнес я и отправил в глотку еще немного бурбона.

— Да, — сказал он, не обратив на меня внимания, — и второй вопрос важнее первого. Зачем кому бы то ни было отрезать им головы? Разве что он надеялся заменить максимальный срок в тюрьме максимальным сроком в психушке. За такую жестокость можно схлопотать и вышку — если, конечно, в этом штате вообще вешают. Выходит, мы имеем дело с сумасшедшим. Ты на эту роль не годишься.

— Спасибо, — сказал я, — но я не думаю, что убийца — сумасшедший.

— Разве станет нормальный отрезать головы? — повторил он. — Для этого может быть только одна причина. Подставить тебя. — Он просиял, как врач, определивший характер недуга. — Может в твоем тайнике на делянке с марихуаной поместиться целое тело?

— Только если убрать сундучок.

— А два тела?

— Ни за что.

— Значит, головы отрезали с умыслом. Некоторые люди способны на все, если считают, что они от этого выгадают.

— По-твоему...

Но он не собирался отказываться от плодов своего мыслительного процесса.

— Да. По-моему, эти головы отрезали, чтобы засунуть в твой тайник. Кто-то хочет свалить все на тебя.

— Наверное, это один из двух человек, — сказал я.

— Возможно, — сказал он, — хотя я могу придумать и других. — Он принялся постукивать по столу средними пальцами. — Этим женщинам стреляли в голову? — спросил он. — Ты не определил, как их убили?

— Нет, — сказал я, — я их не изучал.

— А как насчет шей?

— Я не мог их разглядывать.

— Стало быть, ты не знаешь, как их отрезали — пилой, ножом или еще чем-нибудь?

— Нет.

— А ты не думаешь, что это надо бы выяснить?

— Я их больше не трону.

— Придется, Тим. Для нашей же пользы.

Я почувствовал себя десятилетним, готовым зареветь.

— Пап, — сказал я, — не могу я смотреть на них. Там же моя жена. Бога ради.

Это его слегка охладило. В пылу охоты он забыл о многом.

— Ладно, — сказал он наконец. — Я спущусь и посмотрю.

Пока он отсутствовал, я пошел в ванную, и меня вырвало. Лучше бы мне удалось заплакать. Но теперь, когда я остался один и уже не рисковал впасть перед отцом в истерику, слез не было. Я принял душ, снова оделся, смочил лицо лосьоном после бритья и вернулся на кухню. Он сидел там, совсем бледный. Весь румянец исчез. Его манжеты были влажными, и я понял, что он мыл руки в подвале под краном.

— Та, что не твоя жена... — начал он.

— Джессика, — сказал я. — Оквоуд. Лорел Оквоуд.

— Да, — сказал он. — Она самая. Ей оттяпали голову саблей. Или мачете. Одним сильным ударом. С Пэтти не так. Кто-то отпилил ей голову ножом, и очень неумело.

— Ты уверен?

— Хочешь убедиться?

— Нет.

Тем не менее я увидел это. Не знаю, то ли сработало мое воображение, то ли я действительно мельком уловил картину, запечатлевшуюся у него на сетчатке, но я увидел горло Джессики. Его перерубили одним махом, и по краю разруба тянулся сплошной синяк — таким сильным был удар.

Шею Пэтти мне не надо было и представлять. Я не мог забыть те красные лохмотья.

Отец разжал кулак. На его ладони лежал кусочек пули.

— Это из Оквоуд, — сказал он. — Чтобы достать остальное, пришлось бы запачкать тебе подвал, но кое-что я уже понял. Я и раньше видел такие — если не ошибаюсь, это от пули двадцать второго калибра с полым кончиком. Разрывается при контакте. Одна пулька может все мозги превратить в кашу. Возможно, пистолет был с глушителем.

— Стреляли в рот?

— Да, — подтвердил он. — На губах синяки, как будто ей силой разжимали зубы. Например, дулом. На нёбе вокруг входного отверстия есть пороховые ожоги. Дырочка маленькая. Как раз для двадцать второго.

Выходного нет. Только вот это и удалось выудить. — Он показал на кусочек пули.

Крутые парни не танцуют. Поверьте, так он и сказал: *только это и удалось выудить.* У меня дрожали колени, и чтобы поднести ко рту стакан, пришлось взять его обеими руками. Я обнаружил, что не могу спросить о Пэтти.

Но он сказал и сам:

— На лице и черепе нет никаких отметин, входных отверстий или синяков. Скорее всего, ей выстрелили в сердце и она умерла быстро.

— Почему ты так решил?

— Это просто догадка. Я не знаю. Могли и ножом. По голове можно только установить личность. — Он нахмурился, словно забыл самую важную деталь. — Нет, я понял и еще кое-что. Конечно, для полной уверенности нужен эксперт, но я бы сказал, что твою жену, — теперь он тоже не мог произнести "Пэтти Ларейн", — убили позже и между двумя убийствами прошло от двадцати четырех до сорока восьми часов.

— Что ж, это выяснится, — сказал я.

— Нет, — сказал он, — точно мы этого так и не выясним.

— Почему? — спросил я.

— Тим, — сказал он, — от этих голов надо избавиться. — Он поднял руку, предупреждая мои возражения. — Я знаю все "против", — добавил он.

— Но мы же никогда не узнаем, кто это сделал, — выпалил я.

— Думаю, что узнаем. Разве что доказать не сможем. — На его лицо возвращался румянец. — Если захочешь расплатиться, надо будет искать другие пути.

Я пропустил это мимо ушей.

— Вот как я рассуждаю, — сказал он. — По-моему, убийца был не один. Тот, кто владеет мачете, не станет возиться с ножом.

— Те, кто владеет мачете, не пользуются и пистолетами двадцать второго калибра с особыми пулями и глушителем.

— Это надо обдумать, — сказал он.

Мы затихли. Я тоже пытался понять, что к чему. Мои члены сковало какое-то онемение, словно я прошел много миль по ноябрьскому лесу и только что остановился передохнуть.

— Значит, вот что получается, — сказал он. — Кто-то выбрал твой участок с марихуаной, чтобы спрятать голову Джессики. Это так на тебя подействовало, что ты даже сам себя до сих пор подозреваешь. Потом голову забирают. Почему? — Он поднял оба кулака, точно хотел взяться за баранку машины. — Потому что кто-то решил убить Пэтти. Этот человек хочет быть уверенным, что позже будут найдены сразу две головы. Он не хочет, чтобы ты или первый убийца вернулись и уничтожили доказательство. Или, допустим, ты впал в панику. Ты мог бы вызвать полицию. Итак, этот второй — он забирает голову.

— Или она, — сказал я.

— Или она, — согласился отец, — хоть я и не знаю, что ты имеешь в виду. — Когда я промолчал — моя реплика вырвалась непроизвольно, — он сказал: — Да, я считаю, что преступников было двое. Один убил Джессику, другой собирался убить Пэтти. Первый кладет в тайник голову, чтобы подставить тебя. Второй вынимает ее, чтобы потом положить туда обе. Причем в это время, или чуть позже, ты должен принять на себя вину за оба преступления.

— Уж больно это хитро, — сказал я.

— Когда люди делают такие вещи, — сказал отец, — им кажется, что они ясно видят всю картину, хотя по сути они только добавляют в суп что-нибудь одно.

— И кто повар? — спросил я.

— Похоже, Уодли. Наверно, когда вы с ним разговаривали, он уже знал, что Пэтти мертва. Возможно, он убил ее сам, а тебя хотел использовать.

— Но как?

— Он невысоко тебя ставит. Я его не виню. Может, он слыхал, что где-то есть голова Джессики, и предположил, что ты знаешь где. Поэтому он решил заказать тебе голову Пэтти. Понадеялся, что ты выдашь за нее голову Джессики и он получит то, что хотел, — обе головы.

— Пожалуйста, перестань повторять это слово.

— "Го́ловы"?

— Я больше не могу его слышать.

— Чем же я его заменю?

— Просто называй их по именам.

— Пока мы не нашли тела, это будет только путать.

— Называй их по именам, — повторил я.

— Эй, — сказал он, — да ты, я гляжу, с причудами, как твоя мать.

— Пускай мои предки хоть всю жизнь резали торф в вонючих ирландских болотах, чихал я на это; да, я с причудами, как моя мать.

— Хо-хо, — откликнулся он, — очко в ее пользу. Упокой, Господи, ее душу. — Он рыгнул. Бурбон, пиво и болезнь действовали на него сообща. — Передай бутылку, — сказал он.

— Чересчур много предположений, — сказал я. — Почему бы Уодли и не знать, где находится Джессика? Раз это знал Ридженси, то должен был знать и Уодли. Паук — их связной.

— Вряд ли они до конца откровенны друг с другом. В таких ситуациях никогда не угадаешь, что кому известно. — Он постучал по столу костяшками пальцев. — Говорю тебе, Уодли не знал, где Джессика, и хотел, чтобы ты ее ему принес.

— А я думаю, что Уодли и положил их обеих в тайник. Держись фактов. Паук и Студи следили за мной. Не затем ли, чтобы поймать момент, когда я вернусь к тайнику? И схватить как раз в тот миг, когда обе головы окажутся у меня в руках? Это был бы беспрецедентный случай: двое таких подонков в роли слуг правосудия.

Отец нахмурился, и я понял, что мои слова произвели на него впечатление.

— Звучит правдоподобно, — сказал он. — Они думают, что ты едешь к тайнику, но маячок говорит им, что ты остановил машину. Неудивительно, что они озверели, когда ты вернулся.

— По-моему, против Уодли достаточно улик, — сказал я.

— Если говорить о Пэтти, пожалуй. Но кто убил Джессику?

— Возможно, тоже Уодли.

— Да, пистолет с глушителем — это ему подходит. Но можешь ли ты представить себе мистера Хилби с мачете?

— Как насчет Студи?

— Не исключено.

— А по-твоему кто? — спросил я.

Сколько раз, беседуя с клиентами в своем баре, отец заменял им частного детектива, исполнял роль адвоката по уголовным делам или су-

дьи, рассматривающего апелляцию? Он поднес руку к уголку рта, точно собираясь содрать с губ правду, как пластырь. Потом убрал руку.

— Не нравится мне этот Ридженси, — сказал он. — Во всяком случае, с твоих слов. Может, это он и есть.

— Ты считаешь, что Джессику убил он?

— Он вполне мог использовать мощный пистолет двадцать второго калибра *вместе* с мачете. Никто, кроме него, до такого не додумался бы. Ты рассказывал мне о его доме. Он сдвинулся на оружии. У него в подвале запросто могут лежать огнеметы. Он способен замыслить убийство смазанной ядом бамбуковой стрелой — подкинет ее врагу, чтобы тот поцарапался. Я встречал таких. "Ах, оружие! — говорят они. — Я знаю про него все! Я человек универсальный".

— Да, но ведь ты ненавидишь копов.

— Это верно. Хотя и среди них попадаются похожие на людей. А этот малый — степной волк. Профессиональный вояка, который стал копом! Я уверен, что никакой он не и. о. шефа полиции. Это прикрышка. Он — наводчик из Бюро по борьбе с наркотиками, и готов спорить, что там, в ихней конторе, его боятся. Когда он появляется, они все писают в штаны.

— Трудно поверить.

— Я знаю копов лучше, чем ты. Сколько лет я платил мафии вечером в среду, а полиции — вечером в четверг! Я знаю копов. Знаю их психологию. Думаешь, зачем такому крутому бойцу, как Ридженси, прозябать на Кейп-Коде?

— Тут вовсю торгуют наркотиками.

— Все равно с Флоридой не сравнить. Там он был бы больше к месту. Но они от него отделались. Пойми психологию полицейских. Ни один коп не захочет работать с напарником-профессионалом, чье присутствие на него давит. Ты не можешь отдавать приказы, оскорбляющие подчиненного, иначе наживешь врага. У парня с табельным оружием чересчур много возможностей пальнуть тебе в спину. Так что когда среди копов заводится псих, они его не увольняют. Они просто ссылают его куда-нибудь. Делают властелином мира в городе Гулькин Нос, Монтана. Или в Пи-тауне, Массачусетс. Нет, — заключил он, — твой Ридженси мне совсем не по душе. Вот поэтому нам и надо избавиться от голов.

Я начал было с ним спорить, но он оборвал меня.

— Если эти пакеты найдут в твоем подвале, — сказал он, — ты влипнешь по уши. Ты подсадная утка. А еще хуже, если ты попытаешься их вынести. Они сядут тебе на хвост, как только увидят, что ты завел машину.

— Я должен похоронить жену.

— Нет. Это сделаю я. Возьму твой катер, удочки и две коробки для снасти. Есть у тебя на борту запасной якорь?

— Нет.

— Тогда придется использовать рабочий. Один для обеих — и Пэтти, и Джессики.

Теперь настал мой черед воскликнуть "Господи Исусе!".

— Эй, — сказал Дуги, — ты глядишь на меня и видишь бездушного человека. Я гляжу на тебя и вижу подсадную утку.

— Я должен быть с тобой. Это самое малое, что я могу сделать.

— Если я поплыву один — это просто старый хрыч отправился на рыбалку. Они не станут следить. Но ты! Они тебя там увидят. Поднимут на ноги береговую охрану. И что ты ответишь, когда у тебя на борту найдут

двух дамочек без того, что ниже шеи? "Ах, — скажешь ты, — я их нашел. Духи объяснили мне, где искать". "Понятно, — скажут они. — Ты у нас Жанна д'Арк. В новом варианте". — Он покачал головой. — Нет уж, крошка Тим, здесь ты будешь полезнее. Я отлучусь ненадолго. А ты пока мест лучше сделай пару звонков.

— Кому?

— Перво-наперво в аэропорт. Вдруг выяснишь, когда Джессика сюда прилетела.

— Они с Лонни приехали на машине.

— Почем ты знаешь, что это была ее первая ночь в городе? Или его?

Я пожал плечами. Он был прав.

— А еще, — сказал он, — найди агента по недвижимости, который продает ту усадьбу.

Тем не менее, когда он ушел вниз, я продолжал неподвижно сидеть на стуле. Я и не двинулся бы с места, если бы он не крикнул с первого этажа:

— Тим, я беру ялик и иду к катеру на веслах. А ты прогуляйся. Я хочу вынести *их* из дому.

Я видел призраков, а он — реальных людей. Что ж, ладно. Выйдя на прогулку, я мог хотя бы отвлечь от него внимание.

Надев парку, я ступил за порог и побрел по пустынной Коммершл-стрит, залитой послеполуденным солнцем, но прошел по ней немного. День был тихий, спокойный, как солнечные лучи, которые рифлеными столпами падали из-под серых гряд на небе, и я знал, что на пляже будет игра света и тени. Услышав, как завелся мотор нашего двадцатифутового "Китобоя" (катера Пэтти), я свернул на безлюдный участок пляжа, на песок, и действительно — по почти пустой гавани, оставив ялик позади на швартовых, отец вел "Китобой" прочь из залива. Береговой охраны видно не было; только две-три рыбачьих лодки направлялись к городской пристани, и я перевел дух и, приволакивая по песку больную ногу, повернул восвояси.

Добравшись до дома, неожиданно для себя взбодренный прогулкой, я решил последовать совету Дуги и взяться за телефон. Сначала я позвонил в аэропорт, и мне сразу же повезло. Ответила девушка, с которой мы вместе гуляли на вечеринках, — сегодня была ее смена, — и я смог без обиняков спросить, значатся ли в списках улетевших или прилетевших в Провинстаун за последние несколько недель такие люди, как Джессика Понд, она же Лорел Оквоуд, и/или Лонни Пангборн. Спустя пять минут она перезвонила мне и сказала, что Джессика Понд прибыла вечерним рейсом пятнадцать дней тому назад. Она покинула наш город девять дней назад первым утренним рейсом. В аэропорту зарегистрировали ее обратный билет из Провинстауна в Бостон, далее в Сан-Франциско и в Санта-Барбару. Никто по фамилии Пангборн не прилетал и не улетал. Однако моя знакомая вспомнила, что дежурила в то утро, когда улетала Понд, и сообщила мне, что к самолету ее доставил шеф полиции Ридженси. "Как следует позаботьтесь об этой леди" — так, по ее словам, сказал ей он.

— Было похоже, что они на короткой ноге? — спросил я у нее.

— Тим, у меня было слишком сильное похмелье, и я не обратила внимания. — Она поразмыслила. — По-моему, они выглядели приятелями.

Что ж, это открывало разные возможности. Если Джессика Понд провела здесь неделю в одиночку, потом улетела в Санта-Барбару и

опять вернулась сюда, напрашивался вопрос: работали ли они с Пангборном на Уодли или она работала на себя?

Потом я позвонил городскому агенту по недвижимости — женщине, которую знал лучше других. Однако она смогла лишь назвать мне фамилию бостонского юриста, представляющего интересы хозяина усадьбы. Насколько она слышала, дом Парамессидеса не был объявлен к продаже. Позвонив в бостонскую контору, я назвался Лонни Оквоудом. Подошел юрист, и я сказал:

— Мистер Туэйт, моей матери, миссис Оквоуд, пришлось срочно улететь по делам в Европу, но она просила меня связаться с вами.

— Я рад, что вы позвонили. А то мы тут уже теряем терпение. Вашей матери давно следовало быть у нас с заверенным чеком.

— Я знаю, — сказал я.

— Хорошо. Передайте ей от меня вот что. Я слегка встревожен: цена, видимо, немного поднялась. Или поднимется, если мы от нее ничего не услышим. Сами понимаете, я не могу держать оборону на голодном пайке. Обещание есть обещание, но нам нужен ее чек. На прошлой неделе другая сторона тоже подала заявку.

— Я сейчас же с ней свяжусь.

— Уж постарайтесь. Всегда так. Идут годы, и владельцы не имеют от своей усадьбы никакой радости, одни налоги да штрафы. А потом ее вдруг хотят все разом, вынь да положь. — Он закашлялся.

— Мистер Туэйт, она вам позвонит.

— Надеюсь. Красивая женщина ваша матушка.

— Я ей передам.

Я быстро повесил трубку. Я слишком мало знал, чтобы и дальше разыгрывать по телефону роль ее сына.

Однако моя догадка получила некоторое подтверждение. По-видимому, Лорел Оквоуд действительно собиралась приобрести усадьбу лично для себя. Хотела ли она досадить этим Уодли и, следовательно, Пэтти Ларейн?

Я поставил себе вопрос: что Пэтти Ларейн сделала бы с женщиной, отважившейся на такой маневр?

"Убила бы", — таким был единственный ответ, пришедший мне на ум.

Если я был прав и Пэтти Ларейн так и сделала с помощью пистолета двадцать второго калибра, то зачем Ридженси обезглавил жертву? Чтобы оставить наиболее удобную для опознания часть трупа на моей делянке? Неужели Пэтти Ларейн ненавидела меня до такой степени? Или все дело в ненависти Ридженси?

Пожалуй что да, решил я. Ведь это Ридженси посоветовал мне поехать на делянку.

Я отошел от телефона с прояснившейся головой, более разгневанный и целеустремленный, чем был в последнее время. Может быть, сказывалась отцовская закваска? Я склонен считать оптимизм самым опасным из моих свойств. Ибо я вдруг ощутил желание посмотреть на снимки обнаженной натуры, сделанные мною несколько лет назад, причем в одном случае натурщицей служила Мадлен, а в другом — Пэтти Ларейн. Какое странное желание! Думать о непристойных фото именно в тот момент, когда с радостью отмечаешь в себе проблески характера. Да не скажет никто, что я — заурядная личность!

Я пошел наверх: там, схороненный в ящике, лежал конверт с фотографиями. На трех была Пэтти, а на двух Мадлен. Боюсь, что ноги обе-

их натурщиц были раздвинуты достаточно широко, чтобы продемонстрировать сатанический блеск их нижней души; да, те губы были видны во всей красе. Но теперь в конверте обнаружилось целых десять кусков глянцевой бумаги. Все головы были аккуратно отрезаны от тел.

Знаете ли, я верю, что мой отец выбрал именно этот миг, чтобы взять якорь с двумя головами, примотанными проволокой к звеньям цепи, и там, на глубокой воде, опустить его за борт вместе со своим жутким грузом. Я знаю, что мгновенно подвергся атаке обитательниц Адова Городка. Это был самый колоссальный натиск из всех, что мне приходилось испытывать.

"Доигрался, урод паршивый", — взвизгнул первый голос.

"Да здравствует мертвечина, дурачина", — сказал второй.

"Тимми парень хоть куда, оборви ему муда".

"Изувечь подлого изувера. Вскрой лунную опухоль, полную гноя".

"Эй, Тимми, нос в говне, голова в огне".

"Ах, убийца, кровопийца!"

"В тюрьму его — он умыкнул у меня дом".

"Слышишь, насильник, ты кувыркался в моей постели".

"Выпустим потроха этому вояке. Отгрызем ему дрын".

"Ты убил Джессику!" — взвыли в одно мое ухо.

"Дуги пришил Пэтти!" — взвизгнула гарпия в другое.

— Зачем? Зачем нам убивать? — вслух спросил я.

"Ах, дурачок. Твой отец хочет вылечиться. И он нашел средство — запах крови".

— Он-то ладно, — вслух произнес я. — А как насчет меня?

"Ты тоже болен, окаянная душа. Ты в нашей власти".

— Пошли прочь, шлюхи! — выкрикнул я.

Стоя в одиночестве в розовато-серых сумерках кабинета на четвертом этаже — глаза нацелены на море, уши на пески Адова Городка, а ноги, по моим ощущениям, на дне залива, — я мысленно видел, как две головы с развевающимися белыми волосами падают вниз, точно морские цветы на стебле цепи и с якорем вместо корней. Все глубже и глубже опускались они в подводное царство, и я уверен, что почувствовал миг, когда якорь коснулся дна, ибо голоса вдруг смолкли. Быть может, крики, которые я слышал, были их приветствием голове Пэтти Ларейн? Я стоял, вымокший в собственном поту.

Затем мои конечности начали дрожать независимо друг от друга. Одни части моего тела тряслись, в то время как прочее оставалось в покое — такого я еще не испытывал. Именно тогда в центре моего внимания возникла идея, стремящаяся подавить мое внутреннее сопротивление, словно эта мысль и я сам находились по разные стороны двери. Вскоре я проиграл борьбу: я должен был проверить свой пистолет (пистолет Пэтти). Это было оружие двадцать второго калибра.

Пусть это звучит невероятно, однако поверьте, что в последние пять дней я умудрялся избегать этой мысли. Но очередную повестку уже нельзя было проигнорировать: я не мог не взглянуть на пистолет.

Я нашел его на обычном месте: в спальне, в шкафу со стороны ее кровати. Он лежал в своей коробке. Открыв крышку, я уловил запах пороха. Недавно из этого пистолета стреляли и положили его обратно, не почистив. Кто это был — я? Патронник был пуст, в магазине не хватало одного патрона.

Я не почувствовал себя виновным. Я разозлился. Чем больше возникало доказательств, тем сильней становилась моя злоба. Пистолет вызвал особенную досаду, точно я был адвокатом, которого без честного предупреждения столкнули лицом к лицу с новым отвратительным свидетелем: да, я не чувствовал за собой вины и был зол как черт. Как они смеют? Кем бы ни были эти *они*. До чего упорно мой разум пытались сорвать с петель! Но чем более вероятной моя виновность казалась другим — включая моего отца, — тем крепче становилась моя уверенность в том, что я не убивал ни одной из женщин.

Звонил телефон.

Услышав Мадлен, я счел это предзнаменованием.

— Слава богу, это ты, милый, — сказала она и заплакала.

В ее глубоком, хрипловатом голосе звучало истинное страдание. Я ощутил в нем те бездны скорби, что говорят об утрате лет любви и о жарких клятвах плоти не в той постели.

— Ох, милый, — еле вымолвила она, — ох, дорогой, — и зарыдала снова. Ее горе походило на горе женщины, которая пять минут назад стала вдовой.

— Дорогой, — выговорила она наконец, — я думала, ты уже мертв. У меня было предчувствие. — Она вновь начала плакать. — Я так боялась, что никто не поднимет трубку.

— В чем дело?

— Тим, не выходи никуда. Запри дверь.

Я не помнил случая, чтобы она рыдала так отчаянно.

— Что произошло? — взмолился я.

Вскоре мне удалось вытянуть из нее объяснение. Медленно, фразу за фразой. Каждые несколько слов сменялись очередным выплеском ее горя, ее страха, ее ярости. Иногда я не мог понять, что мешает ей говорить — гнев или ужас.

Она нашла несколько фотографий. Это я в конце концов разобрал. Укладывала в его ящики чистое белье и наткнулась на запертую шкатулку, которой раньше не видела. Ее возмутило то, что он прячет запертую шкатулку в их общей спальне. Если у него есть секреты, почему не хранить их в подвале? И она взломала замок.

Как мне передавалась ее паника! Даже по телефону я чувствовал, что она дрожит.

— Постой, Мадлен, — произнес я, — говори толком. Давай поспокойней. Кто был на этих снимках?

— Пэтти Ларейн, — сказала она. — Там была Пэтти Ларейн. Голая. В похабном виде. — Слова душили ее. — Они хуже, чем те, что ты делал со мной. Не знаю, смогу ли я это вынести. Как только я увидела эти снимки, я подумала, что ты мертв.

— Я на них тоже есть?

— Нет.

— Тогда почему ты так решила?

Интонация ее плача переменилась. Теперь в нем было что-то от хныканья девочки, которую сбросила лошадь и которая должна — несмотря на свой шок, глубочайшее потрясение и бесконечный испуг — снова забраться к ней на спину. Так и Мадлен принуждала себя вспомнить, как выглядели те фотографии. Потом она сказала:

— Милый, на них всех были отрезаны головы.

— Тебе надо уходить из дому, — сказал я.

— По-моему, он собирается убить тебя.

— Мадлен, уходи. Тебе угрожает бóльшая опасность, чем мне.

— Хорошо бы спалить ему дом, — сказала она. Потом захихикала. Это било по нервам сильней, чем ее причитания. — Но нет, нельзя — тогда и соседи сгорят тоже.

— Ты права.

— Хотя подумай, какое у него будет лицо, если расплавятся все его пушки.

— Слушай меня внимательно. Есть у него в коллекции мачете?

— Несколько штук, — сказала она. — И сабли. Только он-то орудовал ножницами. — Она снова хихикнула.

— Ты не заметила, чтобы какая-нибудь сабля пропала?

— Нет, — сказала она, — я за его арсеналом не слежу.

— Ты можешь узнать пистолет двадцать второго калибра?

— Пистолет?

— Да.

— У него их навалом.

Я оставил эту тему.

— Мадлен, я хочу, чтобы ты приехала ко мне сюда.

— Не знаю, смогу ли двинуться с места. Я изорвала несколько платьев, которые он мне купил. И теперь как будто в параличе.

— Ну-ну, — сказал я. — Ты сможешь. Собирайся и выезжай.

— Нет, — сказала она. — Сейчас я пальцем не могу шевельнуть.

— Мадлен, если ты не приедешь, я сам отправлюсь за тобой.

— Не надо, — сказала она. — По его графику он как раз нас застанет.

— Тогда собирай сумки и садись в машину.

— Я не хочу садиться за руль, — сказала она. — Я всю ночь не спала. Глаз не сомкнула с тех пор, как ты у меня был.

— Почему?

— Потому что люблю тебя, — сказала она.

— Хорошо, — сказал я.

— Что хорошо?

— Я тебя понимаю, — сказал я.

— Конечно, — сказала она. — Мы оба тебя любим. Чего тут не понять. — По-видимому, она почти выкарабкалась из своих страданий, ибо я услышал нечто напоминающее веселый смешок. — Ты чертово отродье, — сказала она. — Это ж надо — шутки шутить в такое время.

— Если не хочешь ехать сама, — сказал я, — вызови такси. До Провинстауна.

— Пятьдесят миль на такси? Нет, — сказала она, — жирновато будет для этих извозчиков. — Я вспомнил, что на ее бережливость всегда можно было опереться.

— Ты нужна мне, — сказал я. — По-моему, Пэтти Ларейн нет в живых.

— По-твоему?

— Я знаю это.

— Ты ее видел?

— Я знаю.

— Ладно, — после паузы произнесла она. — Я приеду. Если я тебе нужна, приеду.

— Нужна, — сказал я.

— А если он объявится?

— Встретим его здесь.

— Я не хочу видеть этого человека где бы то ни было, — сказала она.

— Возможно, он тоже тебя боится.

— Это уж точно, — сказала Мадлен. — Меня он боится. Сегодня утром, когда он уезжал, я предупредила его, чтобы не поворачивался ко мне спиной. Я сказала: хоть через десять лет, но я застрелю тебя сзади, гнусный ублюдок. И он поверил. Я видела его лицо. Он из тех, кто верит такому.

— Мне было бы спокойнее, — сказал я, — если б ты знала, что такое пистолет двадцать второго калибра.

— Ох, — произнесла она, — пожалуйста, не понимай меня слишком быстро.

— Это кто сказал? — поинтересовался я.

— Андре Жид.

— Андре Жид? Ты же его не читала.

— Не говори никому, — сказала она.

— Садись в машину. Ты сможешь.

— Как-нибудь да приеду. Хоть бы и на такси. Но приеду. — Она спросила адрес, и у нее прибавилось уверенности, когда я сказал, что с нами будет мой отец.

— С таким человеком я могла бы жить, — сказала она и повесила трубку.

Я подсчитал, что ей понадобится не больше часа на сборы и час на дорогу. Однако, принимая во внимание, что привычки Мадлен вряд ли изменились за десять лет, можно было заключить, что она появится тут только спустя часа четыре-пять. Я снова задал себе вопрос, не стоит ли мне самому поехать за ней, и решил, что нет. Здесь мы будем сильнее.

Вскоре я услышал, как ялик затаскивают на шлюпбалки, а потом раздалась тяжелая поступь вышедшего на настил отца. Он обогнул дом и открыл парадную дверь ключом, который несколько лет назад, когда он впервые приехал к нам, дала ему Пэтти Ларейн.

Пэтти Ларейн была мертва.

Эта мысль, возвращающаяся в мое сознание как телеграмма, которую доставляют каждые пятнадцать минут, до сих пор не имела ничего, кроме оболочки. Она походила на конверт без единого слова внутри. Не вызывала никаких эмоций. Да, Мадлен, сказал себе я, ты и впрямь можешь свести меня с ума, но не теперь.

Отец вошел в кухню. Я кинул на него один взгляд, налил в стакан бурбона и поставил на огонь воду для кофе. Таким усталым я его еще никогда не видел. Но на скулах у него по-прежнему держался румянец. Кроме того, он выглядел умиротворенным.

— Ты сделал большое дело, — сказал я.

— Большое. — Он покосился на меня, как старый рыбак. — Знаешь, я уже отошел на три мили от берега и вдруг сообразил, что за мной могут следить в бинокль, а то и похуже. У них мог быть даже съемочный теодолит. Если таких штуковин две, можно засечь место, где ты сбросил груз. Потом послать водолаза. И готово. Поэтому я решил, что избавлюсь от груза, пока буду идти на средней скорости, и сделаю это незаметно у борта, обращенного к морю. Так они увидели бы только мою спину. Наверняка все это было лишнее, — сказал он, — и никто за мной не следил. Но мало ли что. Там у меня не было настроения рисковать.

Кофе был готов. Я дал ему чашку. Он залил ее в себя, как старый дизель, истосковавшийся по топливу.

— И только я хотел опустить якорь, — снова заговорил он, — как вдруг засомневался, выдержит ли проволока. Знаешь, сложнее всего было примотать эти головы к цепи. — Он углубился в подробности. Точно акушер, рассказывающий, как он двумя пальцами повернул головку ребенка в нужном направлении, или тот самый старый рыбак, шаг за шагом объясняющий тебе, как насадить на крючок живца и при этом не погубить его, он сопровождал свои слова жестами. Я уловил, что ему потребовалось продеть проволоку в глазницу и вынуть сквозь дыру, которую он провертел с помощью шила. И меня вновь поразило то, как плохо я знаю собственного отца. Он описывал свои действия с неторопливым смаком, точно работник санэпиднадзора, вспоминающий о самой плохой партии пива, забракованной им во время его долгой службы, и только к концу отцовского рассказа я понял, почему он получает от него такое удовольствие. Для Дуги это было сродни некоей лечебной процедуре. Не требуйте от меня обоснований. Но мой отец выглядел довольным и спокойным, точно больной, который пренебрег советами врачей и стал понемногу выздоравливать.

Затем он удивил меня.

— Ты чувствовал что-нибудь необычное, — спросил он, — пока меня не было?

— Почему ты спрашиваешь?

— Не хотелось тебе говорить, — произнес он, — но когда я опускал якорь, мне послышался голос.

— И что он сказал?

Отец покачал головой.

— Что ты услышал?

— Что это твоих рук дело.

— Ты веришь таким голосам?

— В данном случае — нет. Но я бы хотел, чтобы ты подтвердил мою правоту.

— Я этого не делал, — сказал я. — По крайней мере, насколько я знаю. Но мне начинает сдаваться, что я в некоторой степени отвечаю за чужие мысли. — Увидев, что он не совсем меня понял, я объяснил: — То есть как бы засоряю линию связи.

— Хоть ты и полукровка, — сказал он, — но голова у тебя работает вполне по-идиотски, как у чистокровного ирландца.

— От такого слышу, — отозвался я.

Он отхлебнул еще кофе.

— Расскажи мне о Тесаке Грине, — произнес он.

— С чего это вдруг? — спросил я.

Наша беседа вступила на зыбкую почву сна. Я чувствовал, что близок к какой-то ускользающей правде, а он хотел поговорить о Тесаке Грине. Что-то и впрямь не давало ему покоя.

— Все время, пока я плыл назад, — сказал он, — этот Тесак Грин не выходил у меня из головы. Как будто Пэтти подсказывала мне, чтобы я думал о нем. — Он остановился. — Я говорю о Пэтти, как сентиментальный дурак?

— Может, ты слегка пьян.

— Скоро я буду сильно пьян, — сказал он, — и мне не хватает ее. Я говорю себе — хочешь увидеть, сколько жестокости у меня в душе? — я говорю себе: если ты привязываешь груз к старой собаке и опускаешь ее в море, ты будешь скучать по ней. Что, жестоко?

— А как по-твоему?

— Это грубо. Но я по ней скучаю. Я похоронил ее, черт побери.

— Да, пап, ты сделал это.

— У тебя небось духу не хватило. — Он остановился. — Я теряю логику, верно?

— Что за радость быть ирландцем, если не умеешь брать все от собственной старости?

Он расхохотался.

— Я люблю тебя! — вскричал он.

— А я — тебя.

— Расскажи мне о Тесаке.

— А что ты сам о нем думаешь?

— По-моему, в нем есть что-то от голубого, — сказал Дуги.

— С чего ты взял?

Он пожал плечами.

— Пэтти. Пэтти сказала мне на воде.

— Почему бы тебе не вздремнуть, — сказал я. — Позже мы можем друг другу понадобиться.

— А ты куда собрался?

— Хочу пройтись в городе по магазинам.

— Будь начеку, — сказал он.

— Отдыхай. Если придет Ридженси, говори с ним поласковее. А когда отвернется, дай лопатой по голове, потом свяжи.

— Зря ты так несерьезно настроен, — сказал мой отец.

— Не схлестывайся с ним. Он способен устоять даже против нас двоих.

Я понял, о чем подумал мой отец, но он сжал губы и ничего не сказал.

— Поспи, — снова произнес я и вышел.

Я изображал беззаботность, но на самом деле мне было куда как далеко до такого состояния. Когда я сказал, что отвечаю за мысли других, меня словно толкнуло изнутри. Я почувствовал, что должен сесть в машину и проехать по городу. Этот импульс был не менее мощным, чем тот, что проник сквозь туман моего хмеля в ночь восхождения на Провинстаунский обелиск. Я ощутил знакомый страх — трепетный, почти изысканный, словно тень некоей затаеннейшей гордости.

И я подчинился. Без малого двадцатилетнее обдумывание уроков моего альпинистского штурма отнюдь не прошло для меня бесследно, и потому, несмотря на покалеченную ногу и почти парализованное плечо, я как можно более бодрым шагом пересек улицу, сел в свой "порше" и, положив на руль одну руку, медленно тронулся по Коммершл-стрит, хотя не знал ни чего ищу, ни какие от меня потребуются подвиги, а испытывал лишь нечто вроде возбуждения африканского охотника, чующего близость крупного зверя.

В городе было тихо. Город никак не реагировал на мое настроение. "Бриг" в центре был почти безлюден, а через окно "Жбана крови" я увидел единственного игрока в пул, размышляющего над очередным ударом. Он выглядел одиноким, как официант с картины Ван Гога, которого художник нарисовал стоящим посередине арльского кафе.

Я повернул направо, к городской ратуше, и остановился по другую сторону улицы, напротив входа в полицейский участок. Неподалеку, чуть ли не перегородив проезжую часть, стоял пустой автомобиль Ридженси. Мотор у него работал.

В этот миг я ощутил соблазн столь же непреодолимый, как повеление залезть на башню. Я должен был выбраться из машины, подойти к его машине, взять его ключи, открыть багажник, заглянуть внутрь — вот оно, доказательство творческой силы воображения, ибо я уже видел лежащее там мачете! — вынуть его, захлопнуть багажник, сунуть ключи обратно в зажигание, завести мотор, оставить его машину, вернуться в "порше" и дать тягу — да, я увидел все это заранее и так же живо, как любое из путешествий к тайнику, прокрученных мной в уме до выезда из дому. Теперь первой моей реакцией было — сделай это! Однако затем внутренний голос возразил: нет.

Именно тогда я вдруг отчетливо понял, что мы живем не с одной душой, а с двумя, нашим отцом и нашей матерью — по меньшей мере! — ночью и днем, если хотите: да, это не проявление двойственности, но две души, похожие на двух лошадей в упряжке — тянущих ее в разные стороны! — когда одна говорит "да", другая говорит "нет", а решающий голос принадлежит несчастному вознице, то бишь моей собственной личности, и на этот раз она сказала: да, я сделаю это, я должен. Я знал, что не переживу второй катастрофы Обелиска.

И я вылез из машины. К сожалению, боковая улица была пустынна, что не оставляло мне времени для раздумий, и, демонстративно ковыляя (точно калека в глазах полиции не способен на правонарушение), я подошел к его автомобилю с сердцем, бьющимся так отчаянно, что мой страх, минуя стадию дурноты, сразу переливался в горячечное безрассудство. Если вам когда-нибудь делали наркоз с помощью маски, то вы должны помнить концентрические круги, которые вспыхивают перед глазами по мере вашего погружения в небытие. Такие же круги я увидел сейчас, вынимая ключи из замка.

— А, привет, Ридженси, — сказал я. — Надеюсь, ты не против. Мне нужна монтировка из твоего багажника.

— Да нет, я против, — сказал он и вынул пистолет и выстрелил в меня.

Это прошло. Видение исчезло. С онемевшими ногами и дрожащими руками я вставил ключ в замок багажника.

Мачете лежало там.

В этот момент, когда мое сердце взвилось, точно кошка на высоковольтных проводах, и я почувствовал, что вот-вот умру, до моего сознания донесся далекий отзвук некоей скорбной и волнующей ноты: Он существует, или Оно существует, или, где-то по ту сторону, существуют неведомые *Они*. Это было подтвержденьем того, что жизнь, проживаемая нами со всем нашим разумом и пылом, лишь наполовину наша. Другая половина принадлежит чему-то иному.

Моим первым импульсом было бежать. Однако вместо этого я оторвал мачете от пола багажника — оно прилипло к нему! — захлопнул крышку, принудил себя (что далось мне труднее всего остального) залезть внутрь патрульного автомобиля, чтобы снова завести его мотор, и только потом позволил себе двинуться обратно через улицу к своей машине. Когда я поехал, руль "порше" дрожал в моей здоровой руке, и мне пришлось взяться за него двумя.

Миновав пять кварталов по Брэдфорд-стрит, я на минуту затормозил под фонарем, чтобы рассмотреть мачете. Ту сторону лезвия, которая не была приклеена к резиновому коврику, покрывала засохшая кровь. Все мои представления о Ридженси смялись. Я бы никогда не подумал, что он может быть таким неосторожным.

Впрочем, если он воспользовался этим оружием для Джессики (а это наверняка так), можно ли допустить, что с тех пор ему просто не удалось заставить себя вновь взять его в руки? Если под человеком зияет бездна, бывает утешительно обнаружить, что его братьям по безумию тоже знакомы страх и трепет.

Погруженный в свои мысли, я проехал через весь город и только потом сообразил, что мачете следовало бы спрятать в багажник, а не везти рядом с собой на переднем сиденье. В это время я был уже у кольцевой развязки в конце Коммершл-стрит, где высадились колонисты, а теперь низину пересекает волнолом. Тут я затормозил, поднял крышку багажника и положил туда мачете — на его лезвии я заметил щербины, — потом захлопнул крышку и увидел, что за мной остановился другой автомобиль.

Оттуда вышел Уодли. Скорее всего, он успел прилепить на мой задний бампер новый маячок. А я даже не проверил машину!

Он направился в мою сторону. Мы были у волнолома совершенно одни, и лунный свет позволял видеть достаточно ясно.

— Надо поговорить, — сказал он. В руке он держал пистолет. На нем, без сомнения, имелся глушитель. Кроме того, он действительно выглядел в точности как мой, двадцать второго калибра. Не нужно было обладать большой силой воображения, чтобы представить себе сидящую в его патроннике пулю с мягким кончиком.

Глава восьмая

— Уодли, — сказал я, — ты весь грязный. — Однако мой голос прозвучал нетвердо, и мне не удалось прикинуться, будто я не чувствую большого уважения к тому, что блестит у него в руке.

— Хоронить людей — тяжелая работа, — сказал он.

Даже в неверном свете луны, с трудом пробивающемся сквозь рваные облака, было заметно, что он выпачкан в мокром песке вплоть до самых очков и волос.

— Прогуляемся по камням, — предложил он.

— Мне будет трудно, — сказал я ему. — Я повредил ногу, когда ударил Студи.

— Да, — ответил Уодли, — он так и думал, что ты ударил его ногой. И злился на тебя.

— Я ждал, что он сегодня ко мне зайдет.

— Больше мы Студи не увидим, — сказал Уодли.

Он сделал вежливое движение дулом пистолета, словно предлагая мне самый удобный стул в гостиной. Я двинулся в путь в нескольких шагах впереди него.

Это была нелегкая прогулка. Волнолом протянулся по песчаным низинам, болотам и заливу на целую милю, и шагать приходилось по камням, из которых он был сложен. Достаточно ровные сверху, они образовывали почти непрерывную тропу, но там и сям надо было перепрыгивать четырех— или пятифутовые щели или спускаться по одной покатой скале и подниматься по другой. В темноте, с моими ранами мы шли медленно. Но его это, похоже, не трогало. Позади нас иногда проезжали машины, направляющиеся по Коммершл-стрит к развязке — там они либо поворачивали на стоянку у гостиницы "Провинстаунская",

либо устремлялись мимо болот туда, где начинается шоссе, но после того как мы одолели первые несколько сот футов нашего пути, эти машины стали казаться совсем маленькими. Их фары мерцали вдалеке, точно сигнальные огни кораблей в море.

Вода стояла высоко, но уже начала убывать, так что верхушки камней выступали над ней футов на восемь-десять. Внизу слышалось журчание моря, отступающего с низин сквозь волнолом. Возможно, в этом были виноваты боль в ноге и тяжело пульсирующее плечо, но я чувствовал, что смирился со своей судьбой. Если мне суждено окончить жизнь на этой бесконечной дамбе — что ж, есть и худшие места, и я слушал карканье чаек, провожающих нас в этот ночной поход. Как громко они перекликались во тьме! Мне чудилось, будто я могу услыхать даже, как колышется в пещерках под камнями морская трава и губки проедают скорлупу устриц. Море дышало, уходя от волнолома и обнажая льнущие к камням водоросли. Вечер выдался безветренный — если бы не ноябрьская зябкость, его можно было бы принять за летний, так спокойна была вода, — но нет, стояла все же поздняя осень: весь этот покой был подернут северной стужей, напоминающей о тех вечных царствах, где магнетические силы скованы льдом и недвижны.

— Устал? — спросил он.

— Ты хочешь перейти на ту сторону?

— Да, — сказал он, — и предупреждаю тебя, после дамбы надо будет сделать еще полмили по берегу. — Он показал налево, примерно на середину пути между концом волнолома и маяком, находящимся милей левее, на самом кончике длинного берегового вала, которым завершался Кейп-Код. Весь этот участок берега до самого маяка был свободен от асфальта и построек — там были только песчаные дороги для четырехколесных экипажей, а они вряд ли покажутся у моря поздним ноябрьским вечером.

Когда-то на том месте процветал Адов Городок.

— Путь неблизкий, — сказал я.

— Проверим, дойдешь ли, — отозвался он.

Он держался в приличном отдалении от меня, чтобы не было нужды нести пистолет в руке, а когда встречалось серьезное препятствие (были один-два спуска, где камни осели и покрылись коварной слизью), просто ждал, пока я переберусь через него, а потом трогался дальше.

Спустя некоторое время я приободрился. В пору катастроф важнее всего местные новости, а мой палец, сломанный или нет, похоже, стал гнуться чуть получше, да и ушибленная левая рука освоила еще несколько маленьких движений, не причиняющих боли. Вдобавок мой страх не был беспросветным. Несмотря на то, что́ я слышал об Уодли в тюрьме, я не всегда воспринимал его серьезно. В конце концов, когда нас выгнали из колледжа, я видел, как он плачет. С другой стороны, мне не хотелось провоцировать его указательный палец на решительные действия, и я старался не делать резких жестов. Сейчас вряд ли стоило полагаться на одни только юношеские впечатления.

Одолев больше половины пути, я попросил передышки. Он кивнул и сел футах в десяти от меня, достаточно близко, чтобы можно было разговаривать. Теперь пистолет снова был у него в руке. Именно в это время он быстро просветил меня относительно некоторых деталей. Ему хотелось говорить.

Коротко: Ниссен мертв. Студи мертв. Бет покинула город вместе с Тесаком Грином.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я.

— Я видел, как Тесак убил Студи. И как Бет с Тесаком собирались ехать. Я же сам им и денег дал. Они отправились в фургоне, который ты раздолбал. Это ее фургон.

— Куда они поехали?

— Бет подумывала о том, чтобы навестить своих папашу с мамашей в Мичигане. Вроде бы они на пенсии и живут в Шарлевуа.

— Тесак, наверное, произведет на жителей Шарлевуа неизгладимое впечатление.

— Импозантным неграм рады везде, кроме Ньюпорта, — серьезно заявил он.

— Бет не было жалко Паука?

— Я сказал ей, что он удрал. Она не слишком огорчилась. Сказала, что хочет продать дом. По-моему, она уже давно скучала по Мичигану.

— Она знает, что Студи мертв?

— Нет, конечно. От кого бы?

Я попытался сформулировать следующий вопрос потактичней, как если бы разговаривал с незнакомцем и рассказал ему анекдот про поляка, а затем решил спросить: "Ну а вы-то, случаем, не поляк?" С достаточной долей скромности в голосе я осведомился:

— Ты знаешь, кто убил Паука?

— Ну я, если тебе так интересно.

— Ты?

— Гнусно все это, — сказал Уодли.

— Он что, хотел содрать с тебя денег?

— Да.

— Можно спросить, за что?

— Тим, я полагаю, что недавно у тебя были хлопоты с головами. А вот мне достались *тела*. Понимаешь, Паук со Студи занимались похоронами.

Я отважился на догадку.

— Они похоронили тела? — спросил я.

— Обеих женщин.

— Где? Я хотел бы знать.

— Как раз там, куда мы направляемся.

— С ума сойти.

Мы помолчали.

— Прямо в Адовом Городке, — сказал я.

Он кивнул.

— Знаешь об Адовом Городке? — спросил я.

— Конечно. Пэтти Ларейн рассказывала. У нее это был пунктик. Плохо, что ее останки теперь в разных местах.

— Для нее — пожалуй.

— Где ее голова? — спросил Уодли.

— На дне моря. Точнее сказать не могу. Меня там не было.

— Впрочем, я не думаю, что стал бы оказывать ей такую большую честь, — произнес он, — как собирать ее куски воедино.

Не придумав толкового ответа, я спросил:

— А где похоронены Студи с Пауком?

— Там же, поблизости. Они у меня все рядышком. Две женщины и два мужика. Они так близко друг к другу, что если их души вылезли наружу, они могут сплясать вместе. — Его сотрясла легкая судорога веселья,

но поскольку оно было беззвучным, я не могу сказать, ожидал ли кто-нибудь из нас ответного смеха из моих уст.

Потом он поднял пистолет и выстрелил в воздух. Как я и думал, грохота не было — раздался такой звук, словно хлопнули надутым бумажным пакетом, только и всего.

— Зачем это? — спросил я.

— От восторга, — сказал он.

— А-а.

— Мне хорошо. Я справился с похоронами. Пришлось изрядно повозиться.

— Разве Тесак тебе не помогал?

— Нет, разумеется. Я же сказал тебе, что отправил его с Бет. Такому супермену не стоит задерживаться в одном штате. Я и раньше знал, что он силен, но он убил Студи голыми руками. Задушил, и все.

— Где?

Мне почудилось, что на его лице промелькнула злорадная гримаса. Я говорю "почудилось", так как лунный свет не позволял видеть ясно, однако у меня возникло впечатление, что он решил не реагировать на мой вопрос только ради удовольствия оставить меня без ответа.

— Какая тебе разница? — спросил он наконец.

— Просто любопытно.

— До чего сильна в человеке тяга к знаниям, — сказал он. — Думаешь, если я все-таки убью тебя, а я не говорю, убью или нет, — честно сказать, мне это и самому неизвестно, — ты считаешь, что сойдешь в ту глубокую темень лучше вооруженным, если некоторые твои сомнения развеются?

— Да, у меня и впрямь есть такое чувство.

— Хорошо. У меня тоже. — Он криво ухмыльнулся. — Все это произошло в лесу под Провинстауном. Недалеко от шоссе — там у Студи маленькая хижина. Очень укромное местечко. Мы поссорились.

— И ты оставил их обоих лежать в хижине, а сам повел Тесака в гости к Бет?

— Да.

— И они уехали. Вот так сразу?

— Ну, кое-что у них еще вчера вечером начало ладиться. Видимо, она неплохо повеселилась с ним, когда ты ушел из "Брига". А я только подтолкнул их к тому, чтобы уехать вместе.

— Но почему Тесак убил Студи?

— Потому что я его науськал. — Уодли кивнул. — Сказал ему, что Студи прикончил Пэтти Ларейн и избавился от трупа, скормив его своим собакам.

— Господи боже.

— Насколько я знаю, — произнес Уодли, — у Студи и одной-то собаки не было. Хотя с виду не скажешь. У таких дворняг, как он, должны быть свои звери.

— Бедняга Студи. Он и вправду убил Пэтти Ларейн?

— Нет.

— Тогда кто же?

— Может, я тебе и скажу... погодя. — Он погрузился в такую задумчивость, что я подумал, не начнет ли дуло его пистолета опускаться, но нет. Оно по-прежнему смотрело на меня. Пожалуй, это было не менее эффективно, чем яркая лампа, бьющая в глаза во время допроса.

— Ну, — наконец промямлил я, — пойдем, что ли.

— Ага, — сказал он и поднялся.

Мы пошли дальше.

— Можно еще вопрос?

— Пожалуйста.

— Как ты умудрился дотащить их обоих до самого Адова Городка?

— Я просто положил их в багажник и отвез в дом, который снимаю. Это в Бич-Пойнте, между прочим. Там сейчас никого нет. Так что не надо было особой ловкости, чтобы переправить тела на мой катер. Тем более в темноте.

— Разве они такие уж легкие?

— Я немного сильней, чем кажется.

— Раньше ты был не очень сильный.

— Тим, теперь я качаю мышцы в спортзале.

— Мне бы так.

— Может, еще займешься.

— Значит, ты перевез тела по воде в Адов Городок и похоронил там?

— Только мужчин. Вообще-то мне следовало с самого начала взять на себя все похороны. Если бы я не откладывал это маленькое мероприятие, Паук со Студи никогда не получили бы шанса что-нибудь из меня вытрясти.

— Но в любом случае после этих последних похорон ты вернулся на своем катере домой, в Бич-Пойнт?

— Да.

— И нашел меня по маячку?

— Нет, маячок ты выбросил. — На его лице снова появилась кривоватая улыбка. — А на тебя я случайно наткнулся.

— Поразительно.

— Я люблю красивые повороты судьбы, — сказал он. — Может, ради них-то все и затеяно.

— Может, — сказал я.

— Как у тебя дела с déjà vu? — спросил он. — У меня эта способность здорово развита. Сомневаюсь, чтобы хоть одну ситуацию мы переживали только раз. Может, на втором круге от нас ждут большего.

— Не знаю, — сказал я.

Мы продолжали идти.

— Надо признаться, что я высматривал твою машину, — сказал он. — Ездил по городу, пока не увидал "порше".

— Не могу понять, рад я этому или нет, — откликнулся я. Возможно, в этом была виновата боль, но я счел своим долгом продемонстрировать жизнерадостное остроумие пациента, которого хирург везет на операцию.

Мы двигались в молчании. Вода под нами заметно фосфоресцировала, и я задумался о генерирующей свет деятельности планктона, но ничего оригинального в моих мыслях не промелькнуло. Мы достигли самой глубокой ямы на своем пути, и поскольку перепрыгнуть ее я не мог, мне пришлось идти по камням, лежащим ниже уровнем и окаймляющим расселину; стена рядом обросла ракушками, и я жестоко ссадил себе руку. Когда я выругался, он посочувствовал мне.

— Прости, что гоню тебя так далеко, — сказал он, — но это важно.

Мы шли дальше. Наконец возник тот ритм, что говорит о движении без начала и цели, и я едва отметил момент, когда мы ступили на другой берег за милю от нашего старта. Волнолом остался позади, и мы побре-

ли по краю залива. Влажный песок леденил ноги, но идти по сухому было гораздо тяжелее. В темноте, поскольку луна спряталась за облаками, приходилось шагать очень осторожно. Там и сям из песка торчали старые бревна от разбитых судов, массивные, как человеческие тела, и серебрящиеся, точно свет самого безумия. Тихо шумело море. Был отчетливо слышен писк каждого вспугнутого нами кулика, шорох убегающих крабов и посвистыванье полевых мышей. Мы давили ногами раковины устриц и мидий, пустые домики улиток, беззубок и гребешков — как разнообразны звуки, которые издает ломающийся кальций! Под нашими подошвами, словно ореховая скорлупа, хрустели сухие водоросли, бурые и саргассовы, и море, медленно испускающее дух на отливе, вновь обнажало траур прибрежных бакенов.

Мы шли, наверное, с полчаса. У кромки воды, словно толстые тетки на солнце, бултыхались в лунном свете розовые и голубые медузы, и морскую траву, которую называют русалочьими волосами, выносило на берег. Я впивал в себя влажную фосфоресценцию прибоя, точно последним огонькам моей жизни суждено было перейти в это холодное свечение.

Наконец мы достигли нужного места. Это был участок пляжа, ничем не выделяющийся среди всех прочих, и Уодли отвел меня за низкую дюну, через высокую траву к песчаной ложбине. Когда мы сели, море скрылось с наших глаз. Я пытался напомнить себе, что нахожусь в песках Адова Городка, но мне казалось сомнительным, что духи по-прежнему ютятся тут. Над нами висела только легчайшая дымка. Должно быть, ветра на этом далеком пляже слишком суровы. Я подумал, что духи скорее всего предпочитают витать близ сараев, более века назад перевезенных на Коммершл-стрит.

— Тело Пэтти здесь? — наконец спросил я.

Он кивнул.

— Не угадаешь, где я их похоронил, правда?

— Не при таком освещении.

— Дневной свет тебе тоже не помог бы.

— А как ты отличаешь это место?

— По расстоянию от тех кустов, — произнес он, указывая на одно-два растения у края ложбины.

— Не очень-то надежно.

— Видишь вон тот перевернутый панцирь мечехвоста?

Я кивнул.

— Приглядись получше. Я положил в него камень, чтобы не снесло ветром.

Я не мог рассмотреть камень в такой темноте, но притворился, что вижу его.

— Пэтти Ларейн, — сказал Уодли, — похоронена под этим панцирем, Джессика на четыре фута правее, а Паук на четыре левее. До Студи еще четыре фута влево.

"А для меня ты местечко приготовил?" — вот что просилось мне на язык (бодрость духа, приличествующая отважному пациенту, требовала не меньшего), — но я испугался, что подведет голос. В моем горле словно что-то застряло. Смешно сказать, но теперь, когда моя смерть была совсем рядом, я боялся не больше, чем перед началом первого футбольного матча в средней школе. И уж точно меньше, чем перед своим первым и последним выступлением в "Золотой перчатке". Может быть,

жизненные перипетии сточили мою душу до уровня управляемых эмоций? Или я все еще надеялся выхватить у него пистолет?

— Почему ты убил Пэтти Ларейн? — спросил я.

— Зря ты считаешь, что это я, — ответил он.

— Как насчет Джессики?

— Ну нет. У Лорел, конечно, были серьезные минусы, но убивать ее я бы не стал. — Он набрал песка в руку, свободную от пистолета, и пропустил его сквозь пальцы, точно обдумывая, стоит ли продолжать. — Ладно, — произнес он, — пожалуй, я тебе скажу.

— Будь добр.

— Да какая тебе разница?

— Я же говорил — по-моему, разница есть.

— Интересно, неужто ты прав?

— Прошу тебя, скажи мне, — произнес я, словно обращаясь к старшему родственнику.

Это ему понравилось. Я полагаю, что прежде он ни разу не слышал в моем голосе такой интонации.

— Ты хоть понимаешь, что ты скотина? — сказал Уодли.

— Мы не всегда видим себя со стороны, — ответил ему я.

— Так вот, ты страшно жадный тип.

— Должен признаться, я не совсем понимаю, с чего ты это взял.

— Мой друг Леонард Пангборн был глуп во многих отношениях. Он хвастался, что облазил самые тайные уголки мира голубых, хотя на самом деле и близко к ним не подходил. Он был существом замкнутым. Как он страдал от своей гомосексуальности! Она его мучила. Он ужасно хотел стать обычным. И невероятно обрадовался, когда Лорел Оквоуд затеяла с ним роман. Подумал ты обо всем этом? Нет. Тебе надо было втюхать ей прямо у него на глазах.

— Откуда ты все это узнал?

— От самой Джессики, как ты ее называешь.

— Да что ты?

— Да-да, милый мой, она позвонила мне поздней ночью, тогда, в пятницу, — шесть дней назад.

— Ты уже был в Провинстауне?

— Конечно.

— И что сказала Джессика?

— Она была совсем выбита из колеи. После того как ты устроил свое гнусное шоу — это с ними-то, простыми душами! — у тебя еще хватило наглости бросить их там вместе с их машиной. "Эй вы, свиньи, — рявкнул ты, — ищите дорогу сами!" Как это согласуется с моральными устоями бармена, а, Мадден? Поскобли любого из вас, и наружу вылезет деревенщина. Ну чем они могли ответить? Они поехали обратно и страшно поссорились. Лонни вернулся в свое привычное состояние. Как маленький обидчивый ребенок. Скандал у них был настоящий — прямо дым коромыслом. Он обозвал ее шлюхой. А она его — старой бабой. Это его доконало. Бедняга Лонни. Он выходит из машины, захлопывает багажник и шагает прочь. Так ей кажется. Она ждет. Даже не слышит хлопка и только задним числом понимает, что какой-то звук был. Определенно хлопок. Как будто открыли шампанское. Она сидит в машине одна где-то около пляжной стоянки в Рейс-Пойнте, всеми брошенная, только что ее назвали шлюхой, и слышит, как открывают шампанское. Неужто Лонни решил помириться и сделал красивый жест? Она ждет, потом выходит и ос-

матривается. Лонни нигде не видать. Что за притча! Поддавшись порыву, она распахивает багажник. Там он и лежит, мертвый, с пистолетом во рту. Прекрасная смерть для нашего брата. "Дорогая подружка, — мог бы с тем же успехом сказать он, — я бы лучше взял в рот член, но раз уж из жизни надо уходить с холодной титькой, пусть будет холодная титька".

На протяжении всего этого рассказа Уодли держал дуло пистолета направленным на меня, как указательный перст.

— Откуда он взял пистолет двадцать второго калибра с глушителем? — спросил я.

— Он носил его не первый год. Давным-давно я купил редкий комплект из трех штук — наверное, таких не больше ста во всем мире — и подарил один пистолет Пэтти Ларейн и один Лонни. Но в это мы углубляться не будем. Хочешь верь, хочешь нет, но когда-то я очень любил Лонни.

— Не понимаю, зачем он взял с собой пистолет в ту пятницу.

— А он с ним не расставался. Это помогало ему чувствовать себя мужчиной, Тим.

— Ох, — сказал я.

— Что, никогда не приходило в голову?

— Если он так расстроился, глядя на нас с Джессикой, то почему не всадил в меня пулю?

— Ты не носишь с собой пистолета, — сказал Уодли, — потому что можешь им воспользоваться. А он не мог. Уж я-то знаю Лонни. Внутри он, без сомнения, рвал и метал. Убить тебя, убить Лорел, — но, конечно, он не мог сделать ни того, ни другого. Ведь он был такой душка.

— И потому убил себя?

— Я не хочу врать. Здесь виноват не только ты. У него были крупные неприятности с деньгами. Светил здоровенный срок. Он сдался на мою милость месяц назад. Умолял помочь. Я сказал, что попробую. Но, знаешь ли, даже в моем капитале это проделало бы чересчур большую брешь. Он чувствовал, что до конца я идти не намерен.

Меня вновь стала пробирать дрожь. Конечно, наряду со всем остальным сказывалась и усталость, но мои ботинки и штаны на заду уже промокли.

— Хочешь развести костер?

— Да, — сказал я.

Он поразмыслил над этим.

— Нет, — сказал он наконец, — боюсь, это отнимет слишком много времени. Все кругом сырое.

— Да.

— Ненавижу дым.

— Да.

— Извини, — сказал он.

Мои руки играли с песком. Вдруг он выстрелил. Вот так, ни с того ни с сего. Пок. Пуля взметнула фонтанчик в дюйме от моего каблука.

— Зачем ты это сделал? — спросил я.

— Не пытайся ослепить меня песком.

— Ты хорошо стреляешь.

— Я тренировался.

— Вижу, что не зря.

— От природы мне этого не дано. Я от природы неловок, за что бы ни брался. По-твоему, это честно?

— Нет, наверное.

— Одного этого довольно, чтобы снюхаться с дьяволом.

Мы умолкли. Я старался не дрожать. Мне пришло на ум, что моя трясучка может разозлить его, и как он тогда поступит?

— Ты не рассказал мне остального, — произнес я. — Что ты сделал, когда позвонила Джессика?

— Попробовал ее успокоить. Я и сам был не в своей тарелке. Лонни умер! Потом я велел ей ждать в машине. Обещал приехать.

— Какие у тебя были планы?

— Я еще не начал их строить. В такие моменты все, что ты можешь сказать себе, это "Ну и каша!". Я не представлял, с какой стороны браться за дело, но тем не менее выехал в Рейс-Пойнт. Однако мне неверно объяснили дорогу. Я угодил на северную окраину Труро, и все пошло наперекосяк. Когда я добрался до Рейс-Пойнта, Лорел уже не было и машины тоже. Я вернулся в Бич-Пойнт — хотел сказать Пэтти Ларейн, что я думаю о ее инструкциях насчет дороги, но не нашел и ее. В ту ночь она так и не явилась обратно. И я больше никогда не видел лица Джессики.

— Пэтти Ларейн жила с тобой?

— Мы до этого дойдем.

— Хотелось бы.

— Сначала скажи мне: заходила Пэтти к тебе домой? — спросил Уодли.

— Вроде нет.

— Ты что, не помнишь?

— Я был слишком пьян. Может, и заглянула на минутку.

— Знаешь, что Пэтти Ларейн говорила о твоих провалах памяти? — осведомился Уодли.

— Нет.

— Она говорила: "Опять у этой задницы задницу закупорило".

— Это в ее стиле.

— Она всегда называла тебя задницей, — сказал Уодли. — Когда ты был нашим шофером в Тампе, наедине со мной она о тебе иначе и не говорила. И в последний месяц тоже. Задница. Почему она тебя так звала?

— Может, вместо кретина.

— Пэтти тебя ненавидела.

— За что бы? — сказал я.

— По-моему, я знаю причину, — сказал Уодли. — Некоторые мужчины ублажают женскую часть своей натуры, склоняя женщин к занятиям особым видом орального секса.

— О господи, — сказал я.

— Вы с Пэтти занимались чем-нибудь подобным?

— Уодли, я не хочу об этом говорить.

— Гетеросексуалы болезненно относятся к таким вещам. — Он вздохнул. Закатил глаза. — Зря мы, наверно, не развели огонь. Это было бы сексуальнее.

— Уж уютнее точно.

— Ладно, сейчас не до того. — К моему изумлению, он зевнул. Потом я понял, что он сделал это как кошка. Чтобы снять напряжение. — А меня Пэтти Ларейн этим баловала, — сказал он. — Собственно говоря, так она меня на себе и женила. Раньше я с таким качественным исполнением не сталкивался. Но потом, после свадьбы, все прекратилось. Резко. Когда я намекнул, что не прочь продолжить наши скромные забавы, она сказала: "Уодли, я не могу. Теперь всякий раз, как я вижу твое лицо, оно

напоминает мне твой зад". Вот почему мне страшно не нравилось, когда она называла тебя задницей. Тим, а с тобой она когда-нибудь так делала?

— Я не собираюсь отвечать, — сказал я.

Он выстрелил. Прямо оттуда, где сидел. Он не целился. Просто навел дуло и спустил курок. На такое способны только самые лучшие стрелки. Я был в свободных штанах, и пуля прошла сквозь складку над коленом.

— В следующий раз, — сказал он, — я раздроблю тебе бедро. Так что, пожалуйста, ответь на мой вопрос.

Я внутренне спасовал. Подпитка моего мужества давно шла из запасного бака. В таких условиях дай бог сохранить хотя бы видимость спокойствия.

— Да, — сказал я, — однажды я попросил ее это сделать.

— Попросил или заставил?

— Она была не против. Молодая, хотела новизны. По-моему, раньше она никогда так не делала.

— Когда это случилось?

— Когда мы с Пэтти Ларейн впервые легли в постель.

— В Тампе?

— Нет, — сказал я. — Разве она тебе не говорила?

— Ответь сначала ты, потом я.

— Как-то мы с подругой поехали в Северную Каролину. Я жил с этой подругой уже два года. Откликнулись на объявление и махнули в Северную Каролину к супругам, которые хотели обменяться на ночь партнерами. По прибытии обнаружили там крепкого старикана и его юную женушку, Пэтти Ларейн.

— Тогда ее звали Пэтти Эрлин?

— Да, — сказал я, — Пэтти Эрлин. Она была замужем за одним тамошним священником. Еще он работал футбольным тренером в средней школе и хиропрактиком. В объявлении, правда, отрекомендовался гинекологом. Потом он сказал мне: "Это приманка. Ни одна американская юбка не устоит против такого обмена, если думает заполучить акушера". Это был длинный, нескладный пожилой мужик с большим аппаратом, по крайней мере так мне потом сказала подруга. К моему удивлению, они отлично спелись. С другой стороны, Пэтти Эрлин была рада познакомиться с настоящим барменом из Нью-Йорка. — Я оборвал речь. Мне стало неловко от своей разговорчивости. Я явно перестал следить за его вниманием.

— И она сделала это с тобой в первую же ночь?

Видимо, насчет его внимания беспокоиться не стоило.

— Да, — сказал я, — такой ночи, как та, у нас никогда больше не было. Мы оказались прямо созданы друг для друга. — Пусть живет с этим, подумал я, когда меня не станет.

— Она делала все?

— Более или менее.

— Более?

— Допустим.

— А в Тампе она уже не заходила так далеко?

— Нет, — солгал я.

— Ты лжешь, — сказал он.

Я не хотел, чтобы он выстрелил снова. Мне пришло в голову, что его добрый папаша Микс, наверное, частенько бил Уодли без предупреждения.

— Ты выдержишь правду? — спросил я.

— Богатым всегда лгут, — сказал он. — Но я готов жить с любой правдой, даже самой неудобоваримой, — это для меня дело чести.

— Хорошо, — сказал я, — это бывало и в Тампе.

— Когда? — спросил он. — В каких случаях?

— Когда она уговаривала меня убить тебя.

Так я не рисковал еще ни разу. Но Уодли был человеком слова. Он кивнул, соглашаясь с истинностью сказанного.

— Я догадывался, — промолвил он. — Да, конечно, — добавил он, — потому она и дала тебе такое прозвище.

Я не сказал ему, что после той ночи в Северной Каролине Пэтти Ларейн некоторое время писала мне. Похоже было, что, когда я вернулся в Нью-Йорк, та ночь не давала ей покоя. Она точно хотела стереть со своих губ всякую память о ней. "Задница" — так называла она меня в своих письмах. "Милый задница", — начинала она, или: "Привет, задница". И это прекратилось только вместе с письмами. Что произошло примерно через год после того, как я угодил в тюрьму. За решеткой я не мог допустить, чтобы меня называли такими именами, и перестал отвечать, так что на этом переписка оборвалась. Жизнь развела нас в стороны. Потом, спустя несколько лет, стоя как-то вечером в одном из баров Тампы, я почувствовал на плече чью-то руку и, обернувшись, увидел красавицу-блондинку, роскошно одетую, которая сказала: "Хелло, задница". Передо мной словно предстала внушительная печать самого Случая.

— Наверное, она по-настоящему хотела убить меня, — сказал Уодли.

— Ты должен посмотреть правде в глаза.

Он заплакал. Он крепился уже очень долго, и теперь его наконец прорвало. К моему удивлению, я был тронут — вернее, только половина меня. Другая половина будто оцепенела, напрягшись: сейчас каждое движение было опасно как никогда.

Через несколько минут он сказал:

— Я плачу в первый раз после того, как меня выгнали из Экзетера.

— Неужели? — сказал я. — А со мной это случается.

— Ты можешь себе это позволить, — сказал он. — В тебе есть мужское, на которое можно опереться. А я по большей части сам себя создал.

Я оставил это висеть в воздухе.

— Как вы с Пэтти сошлись опять? — спросил я.

— Она написала мне. Это было через пару лет после нашего развода. Я имею полное право ненавидеть ее, говорила она в письме, но она без меня скучает. Я сказал себе: у нее кончились деньги. И выбросил письмо.

— Разве Пэтти не достался хороший куш после суда?

— Ей пришлось согласиться на небольшую часть капитала. Иначе мои адвокаты промурыжили бы ее апелляциями до гроба. Она не могла ждать. Я думал, ты в курсе.

— Мы с ней финансовые вопросы не обсуждали.

— Ты просто жил за ее счет?

— Я хотел стать писателем. Меня это не угнетало.

— Ты хорошо писал?

— Мои мысли были слишком заняты ею, чтобы писать так хорошо, как я надеялся.

— Может быть, ты все-таки бармен, — сказал Уодли.

— Может быть.

— И ты не знал, как у нее с деньгами?

— Ты хочешь сказать, что она разорилась?

— У нее не было чутья, которое помогает правильно вкладывать деньги. Провинциальная закваска мешала ей прислушиваться к разумным советам. Я думаю, она начала понимать, что впереди долгие годы ограничений.

— И потому стала писать тебе.

— Я держался сколько мог. Затем ответил. Ты знал, что у нее есть другой почтовый ящик в Труро? — спросил Уодли.

— Понятия не имел.

— Завязалась переписка. Через какое-то время она выдала свой интерес. Ей хотелось купить усадьбу Парамессидеса. По-моему, этот дом напоминал ей обо всем том, что она потеряла в Тампе.

— И ты играл на ее желании?

— Я хотел истерзать все четыре камеры ее сердца. Конечно, я играл с ней. Два года я то подогревал ее надежды, то разрушал их снова.

— И все это время я думал, что ее жуткие депрессии — моя вина.

— Тщеславие — твой порок, — сказал Уодли. — Но не мой. Я постоянно твердил себе, что вернуться к ней — это все равно что вернуться к дьяволу. Но я тосковал по ней. У меня еще оставалась надежда, что ее и правда немного ко мне тянет. — Он потопал по песку ногами. — Ты удивлен?

— Она никогда не говорила о тебе ничего хорошего.

— Как и о тебе. Самой неприятной чертой характера Пэтти была привычка всех охаивать. Если тебе нужен человек, по-настоящему лишенный сострадания, ищи добропорядочного христианина.

— Может быть, потому она была так хороша в остальном.

— Конечно, — сказал Уодли. Он закашлялся от холода. — Знаешь, что я ублажал ее как надо?

— Нет, — сказал я. — Она никогда мне не говорила.

— Тем не менее. Ни одна лесбиянка со мной не сравнялась бы. Иногда я прямо героем себя чувствовал.

— Что произошло, когда она приехала в Тампу с Тесаком Грином?

— Я не огорчился, — сказал Уодли. — Подумал, что это умно с ее стороны. Если бы после стольких лет она появилась у меня на пороге одна, это было бы уж очень подозрительно. А так мы чудно провели время. Тесак может по-всякому. Мы баловались втроем.

— И ты спокойно смотрел на Пэтти с другим партнером?

— Я всегда говорил: за сексуальной наивностью иди к ирландцу. С чего мне было страдать? Когда я был в Пэтти, Тесак был во мне. Кто не испытал этой маленькой радости, тот не жил по-настоящему.

— И ты был спокоен? — повторил я. — Пэтти считала тебя страшно ревнивым.

— Это было, когда я старался выполнять роль мужа. Ничто не делает человека более уязвимым. Но теперь я играл щедрого дядю. И получал такое удовольствие, что наконец отдал приказ Лорел. Поезжай на Восток, моя милая, и пиши заявку на усадьбу Парамессидеса. Она послушалась. К сожалению, дело усложнилось из-за ее жадности. Во время разговора по телефону Лонни Пангборн обмолвился, что Оквоуд приехала обратно в Санта-Барбару. Это меня насторожило. Ей следовало торговаться с бостонским юристом. Поэтому я был вынужден разузнать, не обратилась ли она к богатым калифорнийским друзьям, чтобы те помог-

ли ей купить усадьбу самой. Вообще-то она только сыграла мне на руку. Теперь я могу признаться, что хотел именно этого. Пэтти Ларейн был нужен замок, чтобы изображать королеву, но мне хотелось, чтобы ей в любом случае нужен был я. Разве это так уж необычно?

— Да нет, — сказал я.

— Итак, меня встревожило появление Лорел в Санта-Барбаре. Я предложил Пэтти нагрянуть туда как снег на голову. Кстати, это была удобная возможность избавиться от Тесака. Он отнимал слишком много времени.

Уодли заметно охрип. Похоже было, что он решил досказать свою историю несмотря на все протесты собственного горла. Впервые я понял, что он устал даже больше меня. Не опустилось ли дуло его пистолета хотя бы на волосок?

— На обеде в Санта-Барбаре Лорел из кожи вон лезла. Разливалась перед Пэтти соловьем. Какая-де она замечательная личность и тому подобное. Когда все кончилось, я сказал Лонни: "Я не доверяю твоей подруге. Найди какие-нибудь дела в Бостоне и поезжай с ней. Не отходи ни на шаг". В конце концов, это он ее рекомендовал. Откуда мне было знать, что я посылаю его на самоубийство?

Я зажег сигарету.

— И вы с Пэтти тоже отправились на Восток?

— Да. Тогда-то я и снял домик в Бич-Пойнте. И двенадцати часов там не провел, как Лонни себя укокошил. А Лорел я в следующий раз увидал уже за той хижиной в лесу — Паук отвел меня туда, чтобы показать ее тело. Видел ты когда-нибудь труп без головы? Это похоже на гипсовый торс в мастерской скульптора.

— Где, говоришь, это было?

— У Студи на заднем дворе. Лорел лежала в большом металлическом баке для мусора. Старого образца — теперь-то кругом пластик.

— Тебе стало плохо?

— Я был напуган до смерти. Представь себе, что значит увидеть такое в этой жуткой компании — Паука со Студи.

— Кстати, как ты вообще с ними познакомился?

— Через Тесака Грина. Сейчас расскажу. На следующий день после исчезновения Пэтти я решил поискать ее по барам на Коммершл-стрит и встретил там Тесака. Было не так просто убедить его, что я на самом деле не знаю, куда делась Пэтти.

— И он познакомил тебя с Пауком?

— Нет, с Пауком меня свел Студи. А вот со Студи — Тесак. Тем же вечером. По-моему, прошлым летом Тесак и Студи вместе торговали наркотиками. Это и есть карма в действии.

Его голос звучал рассеянно. Я испугался, что вызвал его на слишком долгий разговор. Если его мысли будут разбредаться в разных направлениях, пистолет может выстрелить в одном.

Впрочем, пока пугаться было рано. Он еще хотел закончить свой рассказ.

— Да, Паук быстро пошел в атаку. Сразу после нашего знакомства. Он слышал обо мне, сказал он, и горит желанием взяться за серьезные дела. Я уже думал отмолчаться, но Паук выложил сногсшибательный козырь. Сказал, что держит на коротком поводке главного полицейского города, отвечающего за борьбу с наркотиками! Если я дам бабки, он провернет для меня крупную операцию. Да, сказал он, и. о. шефа полиции те-

перь у него в руках. Разумеется, я спросил его, где доказательства. Тогда они со Студи отвезли меня в ту хижину и вынули из извести Лорел.

— Откуда ты знаешь, что это была Лорел?

— Серебряный лак на ногтях. И соски. Ты не обратил внимания на ее соски?

— И что ты ответил Пауку?

— Я не сказал "нет". Я был заинтригован. Подумал: вот удивительный город! Как славно было бы заправлять шикарным отелем и распоряжаться горой наркотиков. Стал бы чем-то вроде средневекового барона.

— Ничего бы не выгорело.

— Да, конечно, но я решил с ним поторговаться. В конце концов, я мало что соображал. Лонни мертв, Лорел разрезана на куски, Пэтти пропала, а у этих подонков в распоряжении труп. Поэтому я отнесся к Пауку достаточно серьезно и спросил, где он раздобыл свою безголовую леди. Он был обкуренный и сказал мне. Удивительно, какими доверчивыми бывают бандиты определенного типа. Паук сказал, что тот полицейский отдал ему тело, а голову взял себе.

— Ридженси? — спросил я.

— Он самый.

— То есть Джессику убил он?

— Не знаю. По крайней мере, хотел избавиться от тела. До чего самонадеянны эти борцы с наркотиками. Очевидно, у него была уйма компромата на Паука, и он решил, что может им командовать.

— А почему нет? Если бы труп обнаружили, Ридженси заявил бы, что это дело рук Паука со Студи. Он ничем не рисковал.

— Конечно, — сказал Уодли. — Наглость плюс власть. Но тогда у меня плохо работали мозги. Исчезновение Пэтти выбило меня из колеи. Но когда я вернулся в Бич-Пойнт после этого жуткого визита в хижину Студи, Пэтти Ларейн уже сидела там. Ждала меня. И ни слова о том, где она была до этого.

Он снова заплакал. Это меня изумило. Однако он постарался задавить свое горе. Как ребенок, которому запретили хныкать, он сказал:

— Она больше не хотела усадьбы Парамессидеса. Теперь, когда Лонни покончил самоубийством, она решила, что это не сулит ей счастья. Вдобавок она влюбилась. Она сказала, что говорит мне истинную правду. Она хочет уехать с одним человеком. Любит его уже несколько месяцев. Он хочет жить с ней, но до сих пор хранил верность жене. Сейчас он наконец готов уйти. Может, ты скажешь, спросил я, кто это? Хороший человек, ответила она, сильный, но без денег. А как же я? — спросил я. Как же Тесак? Это ведь не Тесак? Нет, сказала она, Тесак был печальной ошибкой. Она пыталась выкинуть этого другого из своего сердца, но ничего не вышло. Что я, по-твоему, тогда чувствовал? — спросил меня Уодли.

— Полный крах.

— Полный. Оказывается, я вовсе не играл с ней в кошки-мышки. Я опять понял, что обожаю ее и согласен на все, что она предложит. Пусть это будет только мизинец на ее ноге. — Он задышал очень часто, точно ему не хватало времени вдохнуть как следует. — "Ладно, — сказал я ей, — уходи из моей жизни". Надеялся сохранить достоинство. Я был как голая натурщица перед сумасшедшим художником. "Уходи же, — сказал я, — все в порядке". "Нет, — сказала она, — не все. Мне нужны деньги". Тим, она назвала сумму, сравнимую с той, которая понадобилась бы на

реконструкцию дома Парамессидеса. "Не дури, – сказал я ей. – Ты не получишь ни цента". "Уодли, – сказала она, – по-моему, ты должен мне два лимона с мелочью".

Я не мог поверить в этот ужас. Знаешь, когда я впервые встретил ее, она была всего-навсего стюардессой, и никакого лоска. Ты не поверишь, как она продвинулась под моим руководством. Она была такая сметливая. Переняла столько маленьких хитростей, которые могли помочь ей в моих кругах. Я думал, она жаждет стать королевой в своем отеле. Она все время внушала мне эту мысль. Но знаешь ли – au fond[1], ей всегда было плевать на высшее общество. Да, она меня просто как обухом огрела. Сказала мне, что те два миллиона, которые я собирался вложить в усадьбу Парамессидеса, теперь надо пустить на другие предприятия. С этим ее таинственным другом! Она хотела, чтобы я финансировал наркобизнес.

– Это она тебе сообщила?

– Нет, но она сказала достаточно. Остальное я понял. А закончила она так: "Уодли, предупреждаю тебя. Отдай деньги добром. Или на этот раз тебя *действительно* прикончат. Мой парень способен на все. Мы из тебя говно повыжмем". – Он потер лицо. Наверное, в носу у него было сухо, как в соляной копи. – "Ладно, – сказал я, – сейчас выпишу чек", – и пошел в спальню. Вынул свой пистолет, надел глушитель, вернулся в гостиную и застрелил ее. Я был спокоен как никогда в жизни. Потом взял трубку, чтобы вызвать полицию. Хотел сдаться. Но дух выживания, должно быть, переселился из мертвой Пэтти в меня. Я положил ее в мешок, отнес в машину, по телефону назначил Пауку встречу у Студи и предложил им похоронить ее и Лорел. Обещал хорошие деньги. И что же, по-твоему, ответил Паук?

– Что?

– "Уезжай, – сказал он, – а детали предоставь мне".

– И дальше начался кошмар? – спросил я.

– Беспросветный.

– Зачем ты сказал мне, что тебе нужна голова Пэтти Ларейн?

– Именно в тот день я узнал, что Паук обезглавил ее. Он закопал тело, но сказал, что голова у него. Еще хихикал при этом. Паук сказал, что хочет сфотографировать меня с ее головой в руках. Я понимал, куда ветер дует. Ему уже мерещились миллионы Хилби. Они думают, мои деньги только и ждут, чтобы их захапали. Как будто это не часть меня. Теперь тебе понятно, почему я его пристрелил. Разве есть во мне что-нибудь реальное, кроме этих денег? – Он положил пистолет на землю рядом с собой. – И как раз в этот момент Студи имел несчастье заявиться туда с Тесаком. Я еще стоял над телом Ниссена. Слава богу, мне удалось убедить Тесака, что Студи – тот самый парень, которого он ищет.

Уодли закрыл лицо руками. Пистолет лежал рядом с ним на песке, но шестое чувство велело мне не двигаться. Когда Уодли поднял глаза, они глядели – во всяком случае, так мне показалось – куда-то очень далеко.

– Не хочешь – не верь, – сказал он, – но Пэтти была моей романтической надеждой. Я не для себя ее хранил. Найди она настоящую любовь, я стал бы шафером на ее свадьбе. А ведь шансы были. Я лелеял мысль, что мы с ней создадим это уникальное место на кончике Кейп-Кода, куда смогут приезжать только самые безумные чудаки. Лучший сплав знаменитости и аристократизма. Ах, как им понравились бы мы с

1. В сущности (*франц.*).

Пэтти в роли хозяев! — Он испустил вздох невероятной усталости. — А она никогда не принимала этого всерьез. Врала мне. Она с самого начала хотела разбогатеть на кокаине. Она была полной дурой, Тим. А мне не хватило проницательности. Если люди вроде меня теряют проницательность, это беда для мира.

Он снова поднял пистолет.

— Я собирался застрелить тебя. Это особое удовольствие — стрелять в людей. Оно гораздо острее, чем кажется. И я искал повод, чтобы тебя прикончить. Но теперь не уверен, что смогу. Злости не хватает. — Он вздохнул. — Может, мне стоит сдаться.

— Стоит ли?

— Нет, — сказал он, — это не вариант. Я так мучился во время развода. Опять стать посмешищем — этого я не переживу.

— Да, — сказал я.

Он лег на бок, свернулся калачиком, поднес дуло пистолета к губам и сказал:

— Что ж, тебе повезло. — И вложил дуло в рот.

Но мне показалось, что в этот миг он подумал, как плохо будет лежать тут открытым всем ветрам.

— Ты прикроешь меня песком? — спросил он.

— Да.

Не могу объяснить, что случилось со мной дальше, но я встал и подошел к нему. Тогда он вынул пистолет изо рта и направил его на меня.

— Стоп, — сказал он. Затем опустил дуло. — Сядь рядом со мной, — сказал он.

Я сел.

— Обними меня, — сказал он.

Я повиновался.

— Нравлюсь я тебе хоть немного?

— Ты нравишься мне, Уодли.

— Надеюсь, — сказал он, и поднес пистолет к голове, и выстрелил себе в мозг.

Для оружия с глушителем звук был громкий. Может быть, это распахнулась дверь перед его душой.

Мы долго сидели вместе. Не будет другого одноклассника, чья смерть заставила бы меня так горевать.

Когда стужа стала невыносимой, я поднялся и попробовал выкопать могилу, но галька была слишком холодна для моих рук. Мне пришлось уложить его в неглубокую впадину и оставить под несколькими дюймами песка. Затем я поклялся вернуться завтра с лопатой и зашагал по берегу обратно к волнолому.

Когда я ступил на камни, дело пошло медленнее. Моя нога, несмотря на всю свою прежнюю подвижность, болела теперь, как открытый зуб, а плечо точно дергало током, стоило лишь потревожить какой-нибудь ничего не подозревающий нерв.

Однако боль порождает свой собственный паллиатив. Измочаленный сотней чересчур тяжких для меня переживаний, я успокоился и наконец-то начал думать о гибели Пэтти Ларейн с оттенком грусти. Да, это и есть средство против боли — самое скорбь.

Я утратил жену, которую никогда не понимал, и вместе с нею исчезли напор ее непобедимой уверенности и леденящие душу просчитывания ее непостижимого ума.

Я стал думать о последнем дне перед уходом Пэтти Ларейн — когда это было, двадцать девять или тридцать дней тому назад? Мы сели в машину и отправились поискать октябрьской листвы, радующей глаз больше, чем наши карликовые сосны. Близ Орлинса, на локте согнутой руки Кейп-Кода, было еще много необлетевших деревьев. За очередным поворотом я увидел на фоне яркого голубого неба клен в оранжево-красном уборе — листья его трепетали, уже на грани между последним багрянцем и более поздними оттенками коричневого, предвестниками скорого опадания. Глядя на это дерево, я пробормотал: "Ах ты моя подляночка!", сам не зная, о чем говорю, но сидящая рядом со мной Пэтти сказала: "Скоро я тебя брошу". (Это было единственное предостережение, которое она сделала.)

"Вряд ли это многое изменит, — сказал я. — Я уже не чувствую близости. Словно мне осталось от тебя не больше одной четверти".

Она кивнула.

В ее кошачьем великолепии всегда была капелька от гиены — суровая, неприступная волевая расчетливость в уголках рта. Несмотря на свою силу, она всегда была полна жалости к себе и теперь прошептала мне:

"Я точно в ловушке. В ужасной ловушке".

"Чего ты хочешь?" — спросил я.

"Не знаю, — сказала она. — Это всегда ускользает". И затем, в порыве ограниченного сочувствия, которое еще была способна ко мне испытывать, тронула меня за руку. "Однажды мне показалось, что я это поймала", — вымолвила она, и я пожал ее руку в ответ. Ибо, как я и признался Уодли, у нас была своя романтическая точка отсчета. Это была та ночь, когда мы встретились и блудили, сплетаясь точно языки пламени, и опрокидывали друг над другом рога плотского изобилия — да, единственная ночь, когда мы были счастливы, как Христофор Колумб, потому что оба открывали Америку, нашу страну, навеки оставшуюся разделенной на две половины. Мы резвились в блаженстве наших взаимодополняющих обаяний, а потом сладко уснули рядышком, как два леденца.

Утром Сутулик, ее муж, надел одну из своих других шляп, и все мы пошли в церковь, Мадлен и Пэтти, Сутулик и я. Он вел службу. Он был типичным американским сумасшедшим: мог развратничать по субботам и крестить по воскресеньям. Дом Отца Нашего состоит из многих чертогов, но я уверен, что Сутулик считал субботу чем-то вроде туалета во дворе. Я так и не понял их брака. Он был футбольным тренером, а она — заводилой болельщиков, и он отяжелил ее, и они поженились. Ребенок родился мертвым. Это была ее последняя попытка произвести потомство. Ко времени нашей встречи на их объявление откликались уже не раз ("Никаких "золотых дождей"... должны состоять в браке"). Да, при достаточном таланте я мог бы написать о Сутулике и отсеках его американского ума целую книгу, но сейчас я не стану углубляться в этот образ, а только расскажу вам о проповеди, ибо я запомнил ее тогда и вспомнил теперь, идя по камням, — как мы сидели в простой белой церковке, не больше сельской школы об одной комнате и не роскошней сарая из Адова Городка. Теперь, когда Пэтти уже не было на свете, я вновь услыхал его голос.

"Нынче ночью я видел сон", — сказал он, и Пэтти — я сидел между нею и Мадлен — сжала мою руку и прошептала мне в ухо, как девчонка на уроке: "*Твоя жена* — вот его сон", но Сутулик даже не обратил на нее вни-

мания. Он продолжал: "Братья, это было больше, чем сон, это было видение конца времен. Небеса свернулись, и я узрел, как Иисус грядет на облаке славы, дабы призвать к Себе Своих детей. И ужасно было видеть, братья, как грешники вопили, и стенали, и просили о милости, падая на лице свое пред Ним. Библия гласит, что будут две женщины, мелющие зерно, — одна будет взята, а другая оставлена. Будут двое на ложе... — Пэтти Эрлин сильно пихнула меня локтем в ребра. — Один будет взят, а другой оставлен. Матери будут рыдать, когда их детей отнимут от их груди, дабы принести Иисусу, а сами они останутся, ибо не сумели отказаться от грехов своих". Ноготки Пэтти Эрлин впились в мою ладонь, но я не знал, что она старается подавить — хихиканье или внезапный детский испуг.

"Библия гласит, — произнес Сутулик, — что в раю не будет дозволено ни единого греха. Ты не можешь быть христианином, если в воскресное утро сидишь в церкви, а затем не вернулся в нее воскресным вечером, потому что тебя потянуло на рыбалку. Братья, Дьявол хочет, чтобы вы сказали: "Пропустить один вечерок — ну какой от этого вред!"

"Ему это и правда только на пользу", — шепнула Пэтти Эрлин мне в ухо, тогда как Мадлен, глубоко задетая продолжением нашего флирта, сидела с другого моего бока, застыв, как мороженое сало.

"И еще запомните, — говорил его голос, — вы идете в кино, а потом выпиваете стаканчик, а потом *вы уже на пути* к адскому пламени и проклятию — где огнь не угасает и червь не умирает".

"Ты развратник, — прошептала Пэтти Эрлин, — как и я".

"Придите же, братья, — сказал Сутулик, — прежде чем облака свернутся и будет поздно просить о милости. Придите к Иисусу сегодня. Отвергните ваши грехи. Отдайте свое сердце Иисусу. Придите и преклоните колена. Пэтти Эрлин, садитесь за пианино. Спойте с нами номер двести пятьдесят шестой и услышьте Иисуса в своем сердце".

Пэтти Эрлин заиграла на пианино — простенько, но лихо, — и прихожане запели:

Пускай я пред Тобою нем,
Но кровь Ты пролил за меня,
Коль Ты зовешь меня к Себе,
О Агнец Божий, — я иду.

После этого мы вернулись в дом Сутулика на воскресный обед, который приготовила его сестра, старая дева. Нам подали тушеное мясо, передержанное на плите до безжизненно-серого цвета, и полусырую картошку с вялой реповой ботвой. Я встречал мало людей, способных проявить субботней ночью такую жизненную силу, как Сутулик и Пэтти Эрлин, но этот воскресный обед был обратной стороной луны. Мы ели в молчании, а перед отъездом пожали друг другу руки. Пару часов спустя мы с Мадлен угодили в дорожную аварию. Минуло почти пять лет, прежде чем я снова увидел Пэтти Ларейн, и это случилось в Тампе, где после развода с Сутуликом и недолгой работы стюардессой на авиалинии — ее встреча с Уодли произошла в воздухе — она стала миссис Микс Уодли Хилби.

Сила воспоминаний поднимает тебя над болью, и потому я закончил свое путешествие по волнолому не в худшем состоянии, чем начал. Отлив достиг предела, и с песчаных низин тянуло болотом. Ирландский

мох и морское сито колыхались под луной в лужах, подернутых серебром. Я удивился, найдя свой "порше" там, где оставил его. Если смерть существует в одной вселенной, то припаркованные автомобили — определенно в другой.

Только повернув ключ в зажигании, я сообразил, что четыре или пять часов, отведенные мною Мадлен, уже истекли. Если бы не это, я вряд ли поехал бы обратно в свой дом (дом Пэтти), чтобы стать с Ридженси лицом к лицу, — нет, пожалуй, я отправился бы во "Вдовью дорожку", где все это началось, и так напился, что утром ничего бы не помнил. Но вместо этого я закурил очередную сигарету, двинулся по Брэдфорд-стрит в направлении дома и прибыл туда прежде, чем успел бы истлеть брошенный в пепельницу окурок.

Напротив моих дверей, рядом с машиной отца, стоял патрульный автомобиль. Итак, Ридженси здесь. Этого я ожидал, но Мадлен еще не было.

Я не знал, что делать. Увидеть ее первой казалось необходимым — я хотел вооружиться теми изуродованными снимками, которые она нашла в запертой шкатулке, — но затем мне пришло в голову, что я даже не попросил ее привезти их. Конечно, она привезет — а вдруг нет? В число ее талантов или пороков не входило умение использовать страхи и горе в практических целях.

Однако я решил, что, пока Мадлен нет, я могу по крайней мере проверить, в порядке ли мой отец (хотя я был почти уверен, что да), и потому тихо, как мог, обогнул дом и достиг кухонного окна, увидев внутри, по обе стороны стола, Дуги и Элвина Лютера, уютно устроившихся на стульях со стаканами в руках. Кобуру с пистолетом Ридженси повесил на другой стул. Судя по его облику, он еще не заметил пропажи мачете — в этом я готов был поклясться. Впрочем, он, наверное, просто не успел заглянуть в свой багажник.

Пока я смотрел, они засмеялись, и меня разобрало любопытство. Я решил понадеяться на то, что Мадлен, не уложившаяся в пять часов, не приедет и в следующие пять минут. (Хотя мое сердце, возмущенное таким безрассудством, пустилось вскачь.) Тем не менее я снова обогнул дом, залез через люк в подвал и выбрал там позицию прямо под кухней. Сюда я частенько сбегал с вечеринок, утомленный гостями, лакающими мое спиртное (спиртное Пэтти). Поэтому мне было известно, что здесь слышны все беседы, которые ведутся на кухне.

Говорил Ридженси. Он вспоминал ни больше ни меньше как о службе в чикагском отделении Бюро по борьбе с наркотиками и рассказывал моему отцу о своем крутом напарнике, негре по имени Рэнди Рейган.

— Ей-богу, такое имя! — слышал я голос Ридженси. — Конечно, все звали его Ронни Рейганом. Настоящий-то Ронни был тогда только губернатором в Калифорнии, но про него уже все слыхали. Вот этот самый Ронни Рейган и стал моим напарником.

— В моем баре как-то работал официант по имени Хамфри Гувер, — отвечал отец. — Так он говаривал: "Посчитай, сколько солонок не хватает, и умножь на пятьсот. Получишь доход за ночь".

Они рассмеялись. Хамфри Гувер! Еще один дар моего отца. Такого, как Ридженси, он мог продержать на стуле целый вечер. Теперь Элвин Лютер возобновил свой рассказ. По его словам, Ронни Рейган организовал кокаиновую облаву. Но наводчик оказался провокатором, и когда Ронни ступил за порог, он получил за свои старания огневую вспышку в

лицо из обреза. С помощью операций ему попытались восстановить недостающую часть физиономии.

— Мне было жаль сукина сына, — сказал Ридженси, — и я принес с собой в больницу щенка бульдога. Но когда я вошел в палату, доктор как раз вставлял ему этот долбаный пластмассовый глаз.

— Да ну! — сказал отец.

— Да, — сказал Ридженси, — этот долбаный глаз из пластмассы. Пришлось мне обождать. Потом остаюсь я с Ронни один и кладу ему на кровать щенка бульдога. В настоящем его глазу появляется слеза. Ронни говорит — бедняга! — он говорит мне: "А щенок меня не испугается?" "Нет, — отвечаю я, — он тебя уже полюбил". Если обоссать все одеяло значит любит, то он и правда его полюбил. "Как я, по-твоему, выгляжу? — спрашивает Ронни Рейган. — Скажи честно". Эх, бедняга! У него и уха тоже не осталось. "Ну, — говорю, — ничего. Ты и раньше не был похож на розу".

Они засмеялись. Я понял, что они будут травить свои байки одну за другой, пока я не войду. Тогда я выбрался из подвала и у парадной двери наткнулся на Мадлен. Она собиралась с духом, чтобы позвонить.

Я не сделал попытки поцеловать ее. Это было бы ошибкой. Однако она вцепилась в меня и держала голову на моем плече, пока не унялась бившая ее дрожь.

— Извини, что так долго, — сказала она. — Я два раза возвращалась.

— Все нормально.

— Я привезла снимки, — сказала она.

— Пойдем ко мне в машину. Там есть фонарь.

При свете фонаря обнаружился очередной сюрприз. Фотографии были не более и не менее непристойны, чем мои "полароиды", но на них была не Пэтти Ларейн. Ножницы Ридженси отделили от тела голову Джессики Понд. Я посмотрел снова. Нет, Мадлен не могла уловить разницу. Тело Джессики выглядело молодым, а лицо было смазано. Мадлен ошиблась невольно. Но это проливало новый свет на таланты Элвина Лютера Ридженси. Одно дело снять в похабном виде свою жену или постоянную подругу и совсем другое — уговорить леди, которая провела у вас в постели максимум неделю. Доблесть есть доблесть, мрачно подумал я и заколебался, открыть ли Мадлен, кто был моделью фотографа. Однако решил не расстраивать ее лишний раз и потому смолчал. Мне было неясно, как она отнесется к очередной любовнице мужа — с удвоенным негодованием или вдвое меньшим.

Она содрогнулась опять. Я принял решение отвести ее в дом.

— Пойдем тихо, — сказал я. — Он здесь.

— Значит, мне туда нельзя.

— Он не заметит. Я проведу тебя в свою комнату, и ты запрешь дверь.

— Это ведь и ее комната, верно?

— Тогда в кабинет.

Нам удалось тихо одолеть лестницу. На четвертом этаже я подвел ее к стулу у окна.

— Свет зажечь? — спросил я.

— Лучше посижу в темноте. Из окошка такой чудесный вид. — Наверное, она впервые видела наши песчаные равнины и залив при луне.

— Что ты собираешься делать внизу? — спросила она.

— Не знаю. Надо с ним разобраться.

— Это безумие.

— Между прочим, там мой отец. Это нам на пользу, честно.

— Тим, давай просто сбежим.

— Может, и сбежим. Но сначала мне нужны ответы на пару вопросов.

— Ради душевного спокойствия?

"Ради того, чтобы не сойти с ума", — чуть не сказал я вслух.

— Возьми меня за руки, — сказала она. — Давай посидим минутку.

Мы так и сделали. Думаю, ее мысли проникли ко мне через наши сплетенные пальцы, ибо я вдруг вспомнил первые дни после того, как мы встретились — я, бармен, которого все зазывали к себе (поскольку в Нью-Йорке хорошие молодые бармены пользуются среди владельцев ресторанов такой же высокой репутацией, как хорошие молодые спортсмены-профессионалы), и она, шикарная хозяйка в мафиозном итальянском ресторане неподалеку от центра. На эту работу ее устроил дядя, весьма уважаемый человек, но она оказалась прямо-таки созданной для Мадлен — сколько хлыщей и пижонов, мелькавших в ее угодьях, пытались урвать от нее кусочек, однако на протяжении года у нас был великолепный роман. Она была итальянка и верная подруга, и я обожал ее. Она любила тишину. Любила часами сидеть в комнате, погруженной в сумерки, и мне передавалось бархатистое биение ее любящего сердца. Я мог бы остаться с ней навсегда, но я был молод и заскучал. Она почти не читала книг. Она знала по именам всех когда-либо живших знаменитых писателей, но почти не читала сама. В ней были блеск и изящество атласа, но мы никогда не ходили никуда, разве что друг в друга, и этого хватало ей, но не мне.

Теперь же я, возможно, снова возвращался к Мадлен, и в моем сердце подымалась волна. Назовем ее ночной волной. В свои лучшие часы Пэтти Ларейн дарила мне ощущения, близкие к солнечному свету, но я уже приближался к сорока, и луна с туманом стали ближе моей душе.

Я освободил ее руки и легонько поцеловал Мадлен в губы. Это воскресило память о том, как нежен ее рот и как он похож на цветок. Слабый звук, хрипловатый и чувственный, как сама земля, шевельнулся в ее горле. Это было прекрасно, или было бы прекрасно, если бы все мои мысли не были заняты тем, что ожидало меня внизу.

— Я оставлю тебе оружие. На всякий случай, — сказал я и вынул из кармана пистолет Уодли двадцать второго калибра.

— У меня есть, — сказала она. — Я взяла свой, — и достала из-под пальто маленький двуствольный "дерринжер". Два выстрела. Две дыры размером 0,32. Затем я подумал о "магнуме" Ридженси.

— В этом доме теперь целый арсенал, — сказал я, и в комнате хватило света, чтобы увидеть ее улыбку. Я давно заметил, что одна хорошая, вовремя произнесенная фраза может сделать ее почти счастливой.

Итак, я спустился вниз не безоружным.

Однако Ридженси наверняка заметил бы пистолет, выпирающий из-под моей рубашки или штанов, — его просто некуда было спрятать, — а такая перспектива меня не вдохновляла. Поэтому я изобрел компромисс, положив его на полочку над телефоном, поблизости от кухонного порога. Затем боевым шагом вошел внутрь.

— Эй, а мы и не слыхали, как ты открыл дверь, — сказал отец.

Мы с Ридженси поздоровались, отвернув глаза, и я плеснул себе выпить, чтобы осадить свою крупнокалиберную усталость. Первую порцию бурбона я опрокинул неразбавленной и налил вторую, даже не кинув льда в стакан.

— Куда гонишь, хозяин? — спросил Ридженси. Он был пьян, и когда я наконец поймал его взгляд, мне стало ясно, что он далеко не так спокоен, как я решил, увидев его позу через кухонное окно и услыхав его голос в подвале, — нет, подобно многим большим, сильным людям, он умел таить в разных частях своего тела целые блоки тревоги. Он сидел на стуле неподвижно, как крупный зверь, но будь у него хвост, он колотил бы им по перекладине. Только глаза, остекленевшие от зловещих перипетий последней сотни часов и сверхъестественно яркие, выдавали то, что накопилось в его душе.

— Мадден, — сказал он, — твой отец — король.

— Хо-хо, — сказал отец, — мы тут неплохо поладили.

— Дуги, ты лучше всех, — сказал Ридженси. — Я расшибу башку любому, кто возразит. Что ты сказал, Тим?

— Ну, — произнес я, поднимая стакан, — выпьем.

— Выпьем, — сказал Ридженси и опорожнил свой.

Наступила пауза. Потом он сказал:

— Я говорил твоему отцу. Мне нужен долгий отдых.

— Мы пьем за твое увольнение?

— Я ухожу, — сказал он. — Этот город взбаламутил всю дрянь, какая во мне есть.

— Не надо им было тебя сюда присылать.

— Точно.

— Твое место во Флориде, — сказал я. — В Майами.

— Какая сволочь про меня настучала? — спросил Ридженси.

— Это каждая собака знает, — сказал я. — Всем известно, что ты спец по наркотикам.

Его веки тяжело упали. Я не хочу преувеличивать, но было похоже, что ему надо перевернуть матрац.

— Стало быть, всем, да? — спросил он.

— Эта работа накладывает на человека свою печать, — спокойно произнес отец. — Ее не скроешь.

— Я говорил этим мудакам, которые меня назначали: нет смысла прикидываться, что ты из центрального управления, да что толку. Португальцы тупые, упрямые люди во всем, кроме одного. Их на кривой не объедешь. И. о. шефа полиции! — Если бы здесь стояла плевательница, он бы в нее плюнул. — Да, я ухожу, — сказал он, — и не надо говорить "посошок", Мадден. — Он рыгнул и сказал отцу "прошу прощенья" за невоспитанность, а потом помрачнел. — Мной командует бывший моряк, — сказал он. — Можете представить, чтобы моряк стоял над "зеленым беретом"? Это все равно что положить бифштекс на огонь и прихлопнуть его сковородкой.

Мой отец решил, что это забавно. Возможно, он засмеялся, чтобы повысить всем тонус, но Ридженси был польщен.

— Об одном я жалею, Мадден, — сказал он, — что мы так и не потолковали чуток про наши философии. Хорошо было бы надраться.

— По-моему, тебе уже почти хорошо, — отозвался я.

— Какое там. Знаешь, сколько я могу выпить? Скажи ему, Дуги.

— Он говорит, что начал вторую пятую своей дозы, — сказал отец.

— И если подсыпешь мне в стакан снотворное, я тоже не свалюсь. Я сжигаю это дело скорее, чем оно успевает подействовать.

— Тебе много чего сжигать, — сказал я.

— Философия, — сказал он. — Поясню на примере. Ты думаешь, я тупой, необразованный сукин сын. Да, я такой и горжусь этим. Знаешь почему? Коп есть человеческое существо, рожденное в тупости и продвинутое в ней. Но он хочет стать умным. Знаешь почему? Так желает Бог. Всякий раз, когда болван становится чуть-чуть умнее, это сбивает с Сатаны капельку апломба.

— Я всегда думал, — сказал я, — что люди идут в полицию, чтобы защититься от своих преступных наклонностей.

Мое замечание было чересчур опрометчивым. Я понял это, едва оно сорвалось с моих губ.

— Пошел ты, — сказал Ридженси.

— Эй... — начал я.

— Пошел ты. Я хочу поговорить о философии, а ты мне шпильки в жопу суешь.

— Это уже два, — предостерегающе сказал я.

Он собирался повторить то же самое, но сдержался. Однако отец мой сжал губы. Он был недоволен мной. Я начал понимать, в каком отношении его присутствие может оказаться помехой. Ридженси не станет финтить, как я. Наедине с Элвином мне было бы плевать, посылай он меня хоть всю ночь напролет.

— В чем сила подлой души? — спросил Ридженси.

— Скажи мне, — отозвался я.

— Ты веришь в карму?

— Верю, — сказал я. — Почти всегда.

— Я тоже, — сказал он. Он наклонился вперед и пожал мне руку. Мне показалось, что несколько секунд он боролся с соблазном раздавить мне пальцы, но потом сжалился и отпустил их. — Я тоже, — повторил он. — Это придумали азиаты, но какого черта, есть же во время войны перекрестное опыление, верно? Должно быть. Вся эта бойня. По крайней мере, хоть добавили в колоду парочку лишних карт.

— И какая твоя логика?

— Логика у меня есть, — сказал он. — Крепкая, как таран. Если в войну зазря умирает столько людей, столько невинных американских ребят, — он поднял руку, пресекая возражения, — и столько невинных вьетнамцев, тогда вот тебе вопрос: чем возместить это? Что возмещает это в нашем мире?

— Карма, — сказал отец, опередив его. Кто-кто, а мой отец знал, как измотать пьяного!

— Правильно. Карма, — сказал он. — Видишь, я не обычный коп.

— А кто же ты? — спросил я. — Светская попрыгунья?

Моему отцу это пришлось по вкусу. Мы посмеялись втроем, Ридженси — меньше всех.

— Средний коп презирает уличную шушеру, — сказал он. — Я нет. Я уважаю их.

— За что? — спросил отец.

— За то, что у них хватило пороху родиться. Подумайте над моим аргументом, ну-ка. Сила грязной, подлой души в том, что, несмотря на всю ее мерзость, она смогла возродиться в новой жизни. Ответьте на это!

— А как насчет возрожденных голубых? — спросил я.

Тут я его поймал. Его предрассудкам пришлось спасовать перед его логикой.

— Они тоже, — буркнул он, но это отшибло у него охоту спорить. — Да, — сказал он, глядя в свой стакан, — я решил уйти в отставку. В общем-то, уже ушел. Оставил им записку. Беру длительный отпуск по личным причинам. Они прочтут ее и отправят тому козлу в Вашингтоне. Морячишке, что надо мной. Они взяли этого морячка и прокрутили его через компьютер. Теперь он думает только на "бейсике"! И что он, по-вашему, скажет?

— Что вместо "личных причин" следует читать "психологические причины", — сказал я.

— Сто процентов. Так у них, дураков, принято.

— Когда ты уезжаешь?

— Сегодня, завтра, на неделе.

— Почему не сегодня?

— Надо вернуть патрульную машину. Она городская.

— Ты не можешь вернуть ее сегодня?

— Я могу все, что хочу. А я хочу отдохнуть. Я восемь лет работал без нормального отпуска.

— Тебе себя жалко?

— Мне? — Зря я его подковырнул. Он поглядел на меня и моего отца, точно оценивая нас впервые. — Слушай, парень, — сказал он. — Мне жаловаться нечего. У меня такая жизнь, что тебе впору позавидовать.

— Это какая же? — спросил отец. По-моему, он искренне заинтересовался.

— Действие, — сказал Ридженси. — Я всегда действовал столько, сколько хотел. Жизнь дает человеку два яйца. Я свои использовал на всю катушку. Скажу вам вот что. Редко бывает такой день, чтобы я не отхарил двух женщин. Пока не отделаю вторую, ко мне ночью сон не идет. Поняли? В характере человека две стороны. И они обе должны проявиться, прежде чем я лягу спать.

— Что это за две стороны? — спросил отец.

— Дуги, я тебе скажу. Это мой страж порядка и мой маньяк. Вот они, два имени для меня самого.

— Который говорит сейчас? — спросил я.

— Страж порядка. — Он усмехнулся себе под нос. — Вы удивились бы, если б я сказал "маньяк". Но *его* вы еще не видели. Пока я просто беседую с двумя *так называемыми* хорошими людьми.

Тут он переборщил. Я мог бы снести его оскорбления, но почему их должен терпеть мой отец?

— Когда будешь сдавать патрульную машину, — сказал я, — не забудь отмыть коврик в багажнике. Он весь в кровавых пятнах от мачете.

Это было словно выстрел с расстояния в тысячу ярдов. Когда смысл фразы достиг его сознания, ее сила ушла, и снаряд упал к его ногам.

— Ах да, — сказал он, — мачете.

Потом он ударил себя по лицу с огромной силой — я никогда не видел, чтобы человек так бил себя самого. Сделай это кто-нибудь другой, можно было бы улыбнуться, но от звука *его* удара содрогнулась вся кухня.

— Поверите ли? — сказал он. — Это меня отрезвляет. — Он схватил обеими руками край кухонного стола и сильно сжал его. — Я хочу, — сказал он, — поступить по-благородному и уехать из города тихо, Мадден, не обвиняя тебя, но чтобы и ты ко мне не лез.

— Поэтому ты здесь? — спросил я. — Чтобы уехать тихо?

— Мне надо знать положение дел.

— Нет, — сказал я, — тебе нужны ответы на несколько вопросов.

— Может, на этот раз ты угадал. Я решил, что вежливей будет нанести визит, чем тащить тебя на допрос.

— И правильно решил, — сказал я. — Если ты меня арестуешь, придется это зарегистрировать. Тогда я не отвечу ни на один вопрос. Вызову адвоката. А когда я расскажу ему все, что знаю, он заставит штат допросить тебя. Ридженси, сделай мне одолжение. Веди себя со мной так же вежливо, как вел бы с португальцем. Оставь эти дохлые угрозы.

— Ага, — сказал отец, — он дело говорит, Элвин.

— Надо думать, — сказал Ридженси. — Твой сын в этом собаку съел.

Я мрачно посмотрел на него. Когда наши взгляды встретились, я почувствовал себя лодчонкой, подошедшей чересчур близко к носу корабля.

— Потолкуем, — сказал он. — Мы скорей на одной стороне, чем на разных. Так? — спросил он у моего отца.

— Говорите, — сказал отец.

При этом последнем замечании лицо Ридженси так изменилось, словно мы с ним были братьями, каждый из которых хочет первым заработать отцовскую похвалу. Это прозрение сказало мне о многом. Ибо я вдруг понял, какую ревность вызывает у меня Ридженси теперь, когда на нас смотрит Дуги. Похоже было, что славный, сильный и непокорный сын, которого Биг-Мак хочет научить уму-разуму, — это он, а не я. Бог мой, я был так же неравнодушен к своему отцу, как большинство девчонок — к своим матерям.

Пока же мы все молчали. В иных шахматных партиях половины отведенного игроку времени едва хватает на один ход. Игрок просчитывает, что будет дальше. Поэтому я молчал.

Наконец я решил, что его смятение сейчас глубже, чем мое. И заговорил:

— Поправь меня, если я ошибусь, но тебе нужны ответы на такие вопросы. Первый: где Студи? Второй: где Паук?

— Допустим, — сказал он.

— Где Уодли?

— Подписываюсь.

— Где Джессика?

— Дальше.

— И где Пэтти?

— Все верно, — сказал он. — Это мои вопросы.

Будь у него хвост, он сильно пристукнул бы им при упоминании о Джессике, а при упоминании о Пэтти — вдвое сильнее.

— Ну, — сказал он, — перейдем к ответам?

Я подумал, нет ли у него при себе записывающей аппаратуры. Потом сообразил, что это не имеет значения. Он явился сюда не как полицейский. За чем мне действительно надо было следить, так это за "магнумом" калибра 0,357, висящим в кобуре на стуле, а малую вероятность того, что он записывает мои слова, можно было не принимать во внимание. В конце концов, он пришел ко мне, чтобы не свихнуться самому.

— Так как насчет ответов? — повторил он.

— Обе женщины мертвы, — сообщил я, точно он мог этого не знать.

— Да ну? — Его удивление было совсем неубедительно.

— Я нашел их головы там, где храню свою марихуану. — Я подождал. Он явно не рассчитывал что-нибудь выгадать, продолжая изображать удивление.

— Что стало с этими головами? — спросил он.

— Ты положил их туда, верно?

— Я не клал туда две головы, — сказал он. К моему изумлению, он вдруг застонал. Как раненое животное. — Я был в аду, — сказал он. — Не могу поверить. Я был в аду.

— Это уж точно, — прошептал мой отец.

— Но теперь все равно, — сказал Ридженси.

— Зачем ты отрубил Джессике голову? — спросил отец.

Он помедлил.

— Не скажу.

— По-моему, ты хочешь сказать, — произнес отец.

— Притормозим, — ответил Ридженси. — Я скажу вам то, что вы хотите знать, если вы сообщите мне то, что интересует меня. Quid pro quo[1].

— Не пойдет, — сказал я. — Ты должен мне верить.

— А где твоя Библия? — спросил он.

— Не пойдет, — повторил я. — Стоит мне сказать тебе что-нибудь, и ты сразу же задашь новый вопрос. А когда я выложу все, у тебя не останется причин говорить самому.

— И наоборот, — сказал он. — Если я заговорю первый, что заставит тебя ответить тем же?

— Твой "магнум", — произнес я.

— Думаешь, я прикончу тебя в здравом рассудке?

— Нет, — сказал я, — думаю, ты выйдешь из себя.

Отец кивнул.

— Логично, — пробормотал он.

— Хорошо, — сказал Ридженси. — Но начни ты. Сообщи мне что-нибудь, чего я не знаю.

— Студи убит.

— Кто это сделал?

— Уодли.

— А где Уодли?

— У тебя рефлекс, — сказал я. — Привык задавать вопросы. Я отвечу тебе со временем. Теперь твоя очередь.

— Хотел бы я повидаться с этим Уодли, — сказал Ридженси. — Я об него на каждом шагу спотыкаюсь.

— Повидаешься, — сказал я. Только когда это слово сорвалось с моих губ, я осознал его жутковатый смысл.

— Хорошо бы. Я ему рыло разворочу.

Я засмеялся. Не мог удержаться. Впрочем, это, наверное, была самая лучшая реакция. Ридженси налил себе виски и выпил. Я заметил, что это была его первая порция с тех пор, как я упомянул о мачете.

— Ладно, — произнес он, — я расскажу тебе мою историю. Богатую историю. — Он взглянул на моего отца. — Дуги, — сказал он, — я мало кого уважаю. Тебя — да. С той минуты, как вошел. Последним равным тебе, кого я видел, был мой полковник из "зеленых беретов".

— Лучше бы генерал, — ответил Дуги.

1. Одно вместо другого (*лат.*).

— Я ничего не скрою, — сказал Ридженси. — Но хочу предупредить заранее: это будет не слишком приятно.

— Догадываюсь, — сказал отец.

— Ты перестанешь относиться ко мне с симпатией.

— Потому что ты ненавидел моего сына?

— Ненавидел. Это прошедшее время.

Отец пожал плечами.

— Теперь ты вроде бы его уважаешь.

— Нет. Разве что наполовину. Раньше я думал, что он подонок. Теперь нет.

— Почему? — спросил я.

— В свое время, — сказал он.

— Ладно.

— Я скажу честно. Я много чего сделал. Тим, я хотел свести тебя с ума.

— Это почти получилось.

— У меня было право.

— Какое? — спросил Дуги.

— Когда я в первый раз встретил свою жену, Мадлен, ее надо было спасать. Твой сын ее развратил. Она сидела на кокаине. Я мог бы арестовать ее. Твой сын таскал ее по оргиям, устроил ей автомобильную аварию, в которой она повредила матку, а через год бросил ее. Мне досталась пропащая душа — она была вынуждена торговать порошком, чтобы его хватило на собственный нос. Попробуй поживи с женой, не способной родить тебе сына. Так что честно скажу, Мадден, я тебя ненавидел.

— Зато ты украл жену у меня, — спокойно ответил я.

— Пытался. Может, это она меня украла. Я разрывался между ними двумя, твоей женой и моей.

— Да еще Джессикой, — сказал я.

— Я не извиняюсь. Когда твоя жена уехала, она бросила не только тебя, она бросила и меня, парень. А у меня привычка. Любовь тут ни при чем. За ночь я обрабатываю двух женщин. Иногда я не брезговал даже подстилками от Студи — это чтобы ты понял, что значит принцип, — с некоторой гордостью сказал он. — Джессика была суррогатом — заменителем Пэтти, не больше.

— То есть вы с Мадлен... каждую ночь, когда ты бывал дома?

— Конечно. — Он глотнул еще бурбона. — Но это не важно. Давай не отвлекаться. Я говорю, что ненавидел тебя, а я человек простой. Поэтому я взял голову Джессики и положил рядом с твоей марихуаной. Потом сказал тебе, что надо перепрятать запасы.

— Ты не подумал, что я могу заподозрить тебя?

— Я решил, что ты сломаешься и потонешь в собственном дерьме. Вот так.

— И ты вымазал кровью сиденье в моей машине?

— Да.

— Чья это была кровь?

Он не ответил.

— Джессики?

— Да.

Я уже хотел спросить: “Как ты это сделал?”, но заметил, что его взгляд то фокусируется на чем-то невидимом, то снова расплывается, словно та сцена опять встает у него перед глазами, а он пытается ото-

гнать ее. Мне пришло на ум, что он, наверное, использовал для своей цели голову, но я отбросил эту мысль прежде, чем она начала зрительно оформляться перед моим взором.

— Тогда почему на следующий день ты не взял кровь с сиденья на анализ? — спросил отец.

Ридженси улыбнулся, как кот.

— Никто бы не поверил, — сказал он, — что это я вымазал машину кровью, раз я такой тупой, что позволил тебе смыть ее, а не взял на анализ. Ну кто после этого обвинил бы меня в провокации? — Он кивнул. — В то утро я опасался, что меня прижмут. Теперь это звучит глупо, но тогда я так не считал.

— Ты же терял главное доказательство против Тима.

— Я не хотел его сажать. Я хотел, чтобы он рехнулся.

— Это ты убил Джессику? — спросил я. — Или Пэтти?

— До этого мы дойдем. Не в этом суть. Суть в том, что я не мог без Пэтти, а она все время говорила только о тебе, как она тебя ненавидит да как ты загубил ей жизнь. Сначала я думал: ладно, ты все равно ей не ровня, так чего она тогда ноет? Потом понял. Ей до зарезу надо было угробить мужика. Потому что, когда я не стал трогать тебя, она чуть не угробила меня. Сбежала. Тут я все понял. Она ждала, что я разберусь с тобой. Забуду свои полицейские клятвы и разберусь.

— И ты хорошо потрудился, — сказал Дуги.

— Не то слово. Великолепно. — Он потряс головой. — Детали были хоть куда. Я велел Пэтти взять пистолет, которым и застрелили Джессику, а потом сунуть его обратно в коробку нечищеным. От одного запаха тебя должен был хватить удар. Ты валялся там без памяти, а она подошла к кровати и забрала пистолет.

— Как тебе удалось в ту ночь найти мои фотографии? Пэтти не знала, где они лежат.

Он посмотрел на меня непонимающе.

— Какие фотографии? — спросил он.

Я ему поверил. Мое сердце ухнуло в тесный колодец, выложенный холодным свинцом.

— Я нашел снимки, на которых были отрезаны головы... — начал я объяснять ему.

— Пэтти говорила: пьяный ты черт знает что творишь. Наверно, сам и отрезал.

Я не хотел жить с этой мыслью, но как мог я опровергнуть его?

— А если бы ты резал снимки, — спросил я, — то зачем?

— Я бы не стал. Такое может сделать только ублюдок.

— Но ты сделал. Ты разрезал снимки с Джессикой.

Он отпил еще немного бурбона. Горло его сжал спазм. Он выплюнул бурбон.

— Это правда, — сказал он. — Разрезал.

— Когда? — спросил я.

— Вчера.

— Зачем?

Я подумал, что с ним сейчас случится припадок.

— Я хотел забыть про ее лицо в тот последний раз, — еле выговорил он. — Я должен был вытравить из памяти ее лицо. — Его челюсти скрипели, глаза вылезли на лоб, а мышцы на шее напряглись. Но он вытолкнул из себя вопрос: — Как умерла Пэтти?

Прежде чем я успел ответить, он испустил ужасный стон, поднялся, шагнул к двери и стал биться головой о дверной косяк. Я чувствовал, как дрожит кухня.

Отец подошел к нему сзади, обхватил руками поперек груди и попытался оттащить. Он отбросил моего отца. Отцу было семьдесят. Тем не менее я не мог в это поверить.

Однако это успокоило Ридженси.

— Извини, — сказал он.

— Все нормально, — сказал мой отец, распрощавшись с остатками ложного убеждения в том, что сила никогда не уходит.

Теперь я снова боялся Ридженси. Словно я был обвиняемым, а он — скорбящим мужем жертвы. Я мягко сказал:

— Я не имею к смерти Пэтти никакого отношения.

— Если ты врешь, — сказал он, — я разорву тебя пополам голыми руками.

— Я не знал, что она мертва, пока не увидел в тайнике ее голову.

— Я тоже, — сказал он и заплакал.

Наверное, он не плакал с тех пор, как ему было десять. Звуки, которые он издавал, походили на стук разболтавшейся стиральной машины. Глядя на его горе — куда там моему! — я ощущал себя мальчишкой, подающим в борделе полотенца. Как он любил мою жену!

Однако я понял, что теперь могу спрашивать его о чем угодно. Плачущий, он был беспомощен. Он потерял кормило. С этого мига он будет барахтаться в вопросах.

— Ты вынул из тайника голову Джессики?

Он завращал глазами.

— Нет.

Меня озарила догадка.

— Значит, Пэтти?

Он кивнул.

Я хотел спросить зачем, но он, похоже, не мог говорить. Я не знал, что делать дальше.

Вмешался отец.

— Пэтти думала, — сказал он, — что мой сын, как он ни плох, все же не заслужил, чтобы ему подкинули эту голову?

Ридженси помедлил. Затем кивнул.

Как я мог узнать, в этом ли была причина или Пэтти забрала голову, чтобы еще больше меня запутать? Его кивок не убедил меня. Как бы то ни было, он кивнул. Еще я подумал, не собиралась ли Пэтти шантажировать с помощью этой головы своего бывшего мужа Уодли, но и это мне было не суждено выяснить.

— Пэтти попросила, чтобы ты подержал голову у себя? — продолжал отец.

Он кивнул.

— И ты спрятал ее?

Он кивнул.

— А потом Пэтти тебя бросила?

Он кивнул.

— Уехала, — еле выговорил он. — И оставила меня с этой головой.

— И ты решил вернуть ее на старое место?

Ридженси кивнул.

— И тогда, — сказал мой отец очень мягким голосом, — ты обнаружил голову Пэтти. Она тоже была спрятана там.

Ридженси положил ладони на затылок, чтобы помочь себе согнуть шею. Он кивнул.

— Ужаснее этого ты не видел ничего в жизни?

— Да.

— Как тебе удалось держать себя в руках?

— Удавалось, — сказал Ридженси, — до сих пор. — Он снова заплакал. Это было словно визг раненой лошади.

Я подумал о том, как мы курили марихуану у него в кабинете. Всего за несколько часов до этого он нашел голову Пэтти, но тогда я ничего не заметил. Нелегко видеть, как подобные глыбы воли разлетаются вдребезги. Сейчас он походил на человека, которого вот-вот хватит удар.

Отец сказал:

— Ты знаешь, кто положил Пэтти рядом с Джессикой?

Он кивнул.

— Ниссен?

Он кивнул. Пожал плечами: Может быть, он и не знал.

— Наверняка он, — сказал отец.

Я согласился с ним. Это наверняка был Паук. Мне оставалось только гадать, насколько глубоко сам Паук увяз в этом деле. Конечно, он хотел, чтобы увяз я. Да, они со Студи рассчитывали взять меня с этими головами. Кто поверил бы в мою невиновность, если бы при мне нашли две головы?

— Ты убил Джессику? — спросил я у Ридженси.

Он пожал плечами.

— Значит, Пэтти?

Он покачал головой. Потом он кивнул.

— Значит, Пэтти?

Он кивнул.

Неужели я не догадывался об этом раньше? Уж в этом-то я мог быть уверен: Пэтти и Ридженси, а не Уодли, встретили Джессику в Рейс-Пойнте, и скорее всего именно Пэтти перегнала машину с телом Лонни обратно ко "Вдовьей дорожке". Затем все трое, по-видимому, уехали оттуда на патрульном автомобиле. Где-то в лесу они остановились, и там Пэтти застрелила Джессику. Пэтти застрелила Джессику.

Я не мог точно сказать почему, хотя свои резоны у нее, очевидно, имелись. А кто был способен измерить глубину ее ярости, когда коса находила на камень? Джессика пыталась перекупить усадьбу Парамессидеса. Джессика крутила с Элвином Лютером. В чрезвычайных обстоятельствах довольно было и одной из этих причин. Да, Пэтти вышла из себя. Я почти видел, как она втискивает пистолетное дуло в лживый рот Джессики Понд. А если в этот миг Джессике вздумалось воззвать о помощи к Ридженси и если Ридженси сделал движение, намереваясь убрать пистолет, — да, этого вполне могло оказаться достаточно, чтобы курок был спущен. Подобно мне, Пэтти годами жила на этой грани. При такой злобе, как наша, убийство — как ни ужасно это звучит — может сыграть роль лекарства от всех прочих недугов.

Ридженси сидел на своем стуле, как боксер, который в последнем раунде подвергся сокрушительной атаке.

— Зачем ты отрубил Джессике голову? — спросил я, но, спросив, был вынужден расплатиться за это: перед моим мысленным взором сверкнуло широкое лезвие мачете.

В его горле что-то булькнуло. Уголок рта оттянулся вниз. Я подумал, что у него, должно быть, и впрямь удар. Затем раздался его голос, хриплый и полный благоговения.

— Я хотел, — сказал он, — разделить с Пэтти судьбу.

Он упал со стула на пол. Его начало колотить.

В кухню вошла Мадлен. В руке у нее был "дерринжер", но, по-моему, она этого не осознавала. Наверное, она не выпускала его все время, пока сидела наверху в кабинете.

Она выглядела старше и больше итальянкой, чем обычно. В ее лице было что-то от немого страха каменной стены, почувствовавшей, что ее вот-вот разрушат. Она была дальше от обещания слез, чем любой из нас.

— Я не оставлю его сейчас, — сказала она мне. — Он болен. Мне кажется, он может умереть.

Припадок Ридженси кончился. Только его правый каблук все стучал и стучал по полу в набегавших конвульсиях, как тот самый хвост, которого у него не было.

Мы с отцом потратили все свои силы, чтобы отнести его наверх, и все равно еле справились с этой задачей. Несколько раз мы чуть не упали. Я уложил его на королевского размера кровать, которую некогда делил с Пэтти. Что ж — ведь это он был готов умереть за нее, а не я.

Эпилог

Ридженси пролеживал у нас день за днем, и Мадлен ходила за ним, точно он был умирающим богом. Удивительно, какие вещи могут сойти с рук в нашем Провинстауне. Утром она позвонила в полицейский участок и сказала, что у мужа нервный срыв и она везет его в долгое путешествие. Не позаботятся ли они об оформлении отпуска? Поскольку у меня хватило смекалки еще до рассвета вымыть багажник патрульного автомобиля и оставить его у городской ратуши с ключами под сиденьем, никто не мог связать отсутствие Ридженси с моим домом. Мадлен аккуратно звонила в его офис — каждое утро на протяжении четырех дней — и болтала с сержантом о его самочувствии, и о паршивой погоде в Барнстебле, и о том, как она отключила телефон, чтобы Элвина не беспокоили. И она действительно попросила телефонную службу, чтобы ее номер отключили. Потом, на пятый день, Ридженси допустил ошибку, начав побеждать болезнь, и у нас стали разыгрываться кошмарные сцены.

Он лежал в постели и поносил нас всех. Говорил о том, как он нас арестует. Обещал прижать меня за посев конопли. Еще он собирался повесить на меня убийство Джессики. Мой отец, объявил он, является тайным содомитом. Он, Ридженси, уедет в Африку. Станет профессиональным солдатом. Сначала он хотел заглянуть в Сальвадор и прислать мне оттуда открытку. Там будет он сам с мачете в руках. Ха-ха. Он сидел на кровати — мускулы выпирают из-под футболки, рот перекошен после удара — и слушал собственный голос, который теперь доходил до него новыми внутримозговыми путями, а как-то раз схватил телефон и разбил его, обнаружив, что линия мертва. (Я вовремя успел оборвать провод.) Мы давали ему транквилизаторы, и он проламывался сквозь таблетки, как бык сквозь забор.

Справиться с ним могла только Мадлен. В те дни я увидел ее с новой для себя стороны. Она унимала его, она клала руку ему на лоб и успокаи-

вала его и, когда все остальное не срабатывало, укорами вынуждала его замолчать.

– Уймись, – говорила она, – ты расплачиваешься за свои грехи.

– Ты меня не бросишь? – спрашивал он.

– Я тебя не брошу.

– Ненавижу тебя, – говорил он.

– Знаю.

– Ты грязная брюнетка. Знаешь, что такое грязные брюнетки?

– Тебе бы самому под душ.

– Ты мне отвратительна.

– Прими эту таблетку и помолчи.

– Из-за нее у меня откажут яички.

– Это тебе полезно.

– У меня уже три дня не стоял. Может, и вообще больше не встанет.

– Не бойся.

– Где Мадден?

– Я тут, – сказал я. Я всегда был тут. По ночам она опекала его одна, но либо я, либо отец всегда дежурили в коридоре с его "магнумом".

Телефон, висевший внизу, звонил очень редко. Никто из оставшихся ни в чем меня не подозревал. Ридженси, как было известно, отправился в отпуск. Бет уехала, Паук тоже, поэтому те, кому случалось о них вспомнить, делали вывод, что они путешествуют. В конце концов, фургон ведь исчез. Семья Студи, боявшаяся его, наверное, радовалась, что он не дает о себе знать. Никто из моих приятелей не скучал без Тесака, а Пэтти, как все полагали, раскатывает по дальним городам и весям. Так же как и Уодли. Через несколько месяцев родственники Уодли могли заметить, что от него чересчур долго нет ни ответа ни привета, и объявить его пропавшим; спустя семь лет ближайший родич унаследовал бы его имущество. Через несколько месяцев и я мог бы заявить, что Пэтти пропала, или, наоборот, спокойно промолчать. Я решил, что буду действовать по обстоятельствам.

Некоторые опасения внушал сын Джессики Понд – Лонни Оквоуд. Однако разве мог он связать меня с матерью? Я тревожился из-за своей наколки и Гарпо, но не слишком. Донеся на меня однажды, он не стал бы делать это во второй раз, а наколку я рассчитывал изменить как можно скорее.

Оставался Ридженси. Если наша безопасность опиралась на Элвина Лютера, значит, ее у нас не было. Он перекрывал нам кислород. Не нравилось мне и то, что он не встает с постели. Я видел в этом только одно: он придумывает легенду для самого себя. Во всяком случае, своего ложа он не покидал.

Находясь же на нем, он сквернословил невыносимо. В нашем присутствии он сказал Мадлен:

– Ты у меня кончала шестнадцать раз за ночь.

– Да, – сказала она, – но ни разу как следует.

– Это потому, – с надеждой сказал он, – что у тебя матка дырявая.

Она застрелила его в тот день. Это мог бы сделать любой из нас, но судьба выбрала Мадлен. Мы с отцом уже обсуждали этот вопрос в коридоре.

– Выхода нет, – сказал Дуги, – надо значит надо.

– Он болен, – сказал я.

— Может, и болен, но он не жертва. — Дуги поглядел на меня. — Это должен сделать я. Я его понимаю. Он моего поля ягода.

— Если передумаешь, — ответил я, — тогда и я смогу.

Я не кривил душой. Моя проклятая способность живо представлять себе то, что может со мной случиться, работала вовсю. Я мысленно разряжал "магнум" Ридженси ему в грудь. Моя рука подскакивала вверх от отдачи. Его лицо искажалось. Я видел маньяка. Ридженси походил на дикого кабана. Потом он умирал и его черты приобретали суровое выражение, а подбородок становился деревянным и непоколебимым, как старая добрая челюсть Джорджа Вашингтона.

Знаете, что он произнес перед самой смертью? Я вошел в комнату, услышав двойной выстрел из ее маленького "дерринжера", а он уже испускал дух на моем бывшем брачном ложе. Кажется, последним, что он сказал перед тем, как Мадлен нажала собачку, было:

— Я любил Пэтти Ларейн. Это был высокий класс, моя женщина-мечта.

— Ну-ну, — ответила Мадлен.

— Когда мы встретились, я думал, что ты тоже класс, — сказал он, — а потом понял, что ты ни рыба ни мясо.

— Конечно, — ответила Мадлен и спустила курок.

Возможно, его слова и не заслуживали подобной кары, но она тоже успела прийти к выводу, что с ним надо кончать. С сумасшедшими на ключевых местах надо кончать. Это правило впитывается с молоком мафии.

Год спустя, когда это перестало быть закрытой темой, она сказала мне: "Я ждала от него только слова, которое меня разозлит". Не стоит говорить итальянской королеве, что она ни рыба ни мясо.

В ту же ночь мой отец отвез его тело в море. Ридженси был похоронен вместе с цементным блоком, прикрученным отдельными кусками проволоки к его талии, подмышкам и коленям. К этому времени отец уже как следует освоил нужную технику. В первое утро после припадка Элвина Лютера, когда тот лежал без сознания, Дуги заставил меня сесть на катер, отправиться вместе с ним на кладбище Уодли в песках Адова Городка и найти могилы. А ночью, пока я сторожил нашего рухнувшего колосса, отец посвятил шесть часов душераздирающему труду. На рассвете, с началом прилива, он вышел на глубокую воду со всеми пятью телами и надежно утопил их. Пожалуй, я рискую кончить ирландской комедией, поэтому не стану описывать, с каким смаком Дуги готовил к упокоению в морской пучине Элвина Лютера, разве что приведу его реплику, отметившую завершение работы: "Похоже, всю жизнь я занимался не своим делом". Что ж, может, оно и так.

Мы с Мадлен сначала перебрались в Колорадо, а теперь живем в Ки-Уэсте. Я пытаюсь писать, но у нас есть и постоянные источники дохода: она работает хозяйкой в местном ресторане, а я — барменом-почасовиком в одной дыре напротив ее заведения. Иногда мы ждем стука в дверь, но я не уверен, что он вообще когда-нибудь раздастся. Правда, была суматоха вокруг исчезновения Лорел Оквоуд; портреты ее сына появлялись в газетах. Он заявил, что не успокоится, пока не найдет мать, но его лицу на фотографиях, по моему мнению, не хватало решимости, необходимой для подобных поисков, а в сопутствующем очерке подспудно фигурировало мнение жителей Санта-Барбары, считающих, что Лорел, повязанная темными делишками с Лонни Пангборном, вполне могла

подцепить себе богатого сингапурского бизнесмена или кого-нибудь в этом роде. Несмотря на смещение кровяных пятен в багажнике машины, Пангборн был официально признан самоубийцей.

Как-то раз в майамской "Геральд" появилась заметка об исчезновении Микса Уодли Хилби Третьего, причем один репортер даже разыскал меня в Ки-Уэсте и спросил, не могли ли Пэтти и Уодли возобновить свои отношения. Я сказал ему, что оба они ушли из моей жизни и теперь обретаются в Европе, или на Таити, или где-нибудь между. Наверное, интерес к этой теме может в любой момент вспыхнуть снова.

Насколько нам известно, никто так и не заинтересовался тем, что стряслось с Ридженси. В это трудно поверить, но его сослуживцы почти не беспокоили Мадлен по официальной линии. Однажды ей позвонил человек из вашингтонского отделения Бюро по борьбе с наркотиками, и она сказала ему, что они с Ридженси поехали в Мексику, но в Ларедо Элвин сбежал от нее, так что она даже не пересекла границу. (Раньше, по пути в Колорадо, мы сделали приличный крюк и добрались до Ларедо, чтобы обеспечить ее квитанцией из мотеля, которую при случае можно было бы предъявить на допросе.) Впрочем, я не думаю, чтобы кто-то из государственных борцов с наркотиками всерьез жалел о потере Элвина Лютера. Как ни крути, а пока все тихо. Я спросил у Мадлен о его брате, но оказалось, что тот снимок с племянниками был сделан во время ее единственной встречи с его семьей, а именно вышеупомянутым братом.

Поскольку денег у нас было немного, мы подумывали о продаже наших домов, но ни тот, ни другой не были записаны на наше имя. Скорее всего когда-нибудь их конфискуют за неуплату налогов.

Мой отец жив до сих пор. Недавно я получил от него письмо. Он сообщал: "Не забудь постучать по дереву, но жизнерадостные пташки, к своему изумлению, определили у меня ремиссию. Для них это прямо отпущение грехов, не меньше".

Однако у Тимоти Маддена, сына Дугласа Маддена, есть на этот счет своя теория. Я подозреваю, что снизошедшая на моего отца физиологическая благодать каким-то образом связана со всеми теми головами и телами, которые он снабдил грузами и похоронил в море.

Неудивительно, что лечение рака обходится так дорого.

А я? Что ж, мне не дают покоя так много прошлых поступков, что я должен писать и тем самым пробовать выбраться из внутренней темницы своих нервов, своей вины и своих невыплаченных духовных долгов. Но я не теряю надежды. Честно говоря, не так уж все плохо. Мы с Мадлен часами спим друг у друга в объятьях. Я живу в ущелье ее деяния (там вполне уютно и безопасно), глубоко к ней привязанный и понимающий, что моя теперешняя психическая уравновешенность покоится на прочной основе тяжкого преступления.

Но да не скажет никто, что мы сбежали от Адова Городка без единого шрама. Однажды теплым летним вечером в Ки-Уэсте, когда через Карибское море задували ветры с экватора, а кондиционер отказал, я не мог заснуть, думая о фотографиях Мадлен и Пэтти, обезглавленных мною с помощью ножниц. И вот тогда-то я наконец вспомнил, что сделал это после заката (очевидно, в качестве жуткого опыта в стиле любительского вуду, рассчитывая удержать Пэтти от ухода из дому) — да, сделал это прямо перед тем, как мы отправились на сеанс к Гарпо. Если помните, Ниссен закричал там, поскольку ему привиделась Пэтти в ее последнем состоянии.

Что еще вам сказать? Недавно в Ки-Уэсте побывал один моряк, мой приятель по Провинстауну; он сообщил мне, что Гарпо сошел с ума. По словам моряка, недавно он провел очередной спиритический сеанс и заявил, что увидел шесть трупов на дне моря. Из этих глубин с ним говорили две лишенные голов женщины. Беднягу Гарпо отвезли в сумасшедший дом и, по слухам, должны выпустить только в конце нынешнего года.

Комедия:

дурные люди и поступки, свадьбы, пирушки, азартные игры, обман и зловредные слуги, хвастливые господа, интриги, юношеское неблагоразумие, старческая скаредность, сводничество и тому подобное в своих ежедневных проявлениях среди обычных людей.

Трагедия:

смертельные удары, отчаяние, детоубийство и отцеубийство, пожар, кровосмешение, война, мятеж, слезы, причитания, вздохи.

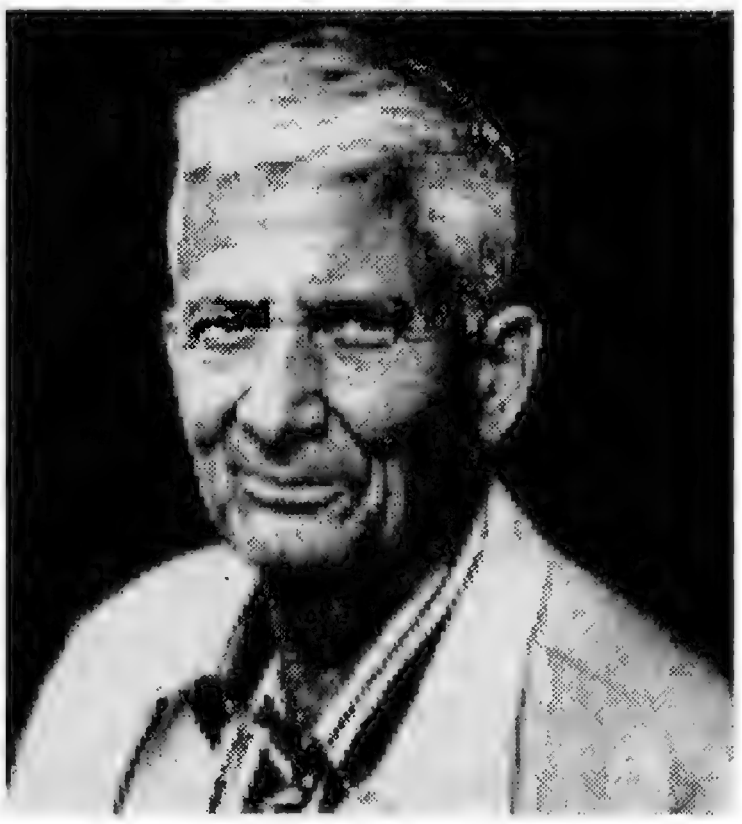
Мартин Опиц фон Боберфельд
(1597–1639)

Хотя Провинстаун существует в действительности и определенно находится на Кейп-Коде, несколько имен и названий мною изменены, а кое-какие здания и одна важная должность – придуманы. В Провинстауне нет и, насколько мне известно, никогда не было и. о. начальника полиции. Кстати, полиция в моем романе не имеет никакого отношения к настоящей городской полиции. Как полагается указывать в предисловии, все персонажи – плоды моего воображения, а все события вымышлены. Всякое сходство с реальными людьми абсолютно случайно.

Мне хотелось бы поблагодарить Джона Апдайка за любезное разрешение привести отрывок из его новеллы “Соседская жена”, опубликованной в 1980 году издательством Lord John Press в сборнике People One Knows. Использование этого отрывка в романе – вынужденный анахронизм. Кроме того, я хочу поблагодарить своего старого друга Роджера Донохью, рассказавшего мне историю, из которой взято название моей книги.

Н. М.

Пер Улов Энквист



Низверженный ангел

Любовный роман

Перевод с шведского А. Афиногеновой

Зачин

До сих пор храню одну из странных записочек мальчика. В ней всего три слова: “Выдыхаю свое лицо”.

Молитва?

Проснулся в 3.45, сон по-прежнему стоит перед глазами. Невольно провел пальцем по лицу, по коже щеки.

Был совсем рядом с ответом.

Встал.

Там над водой висел удивительный утренний туман, мрак рассеялся, оставив парящее серое покрывало, не белое, а как бы с отблеском темноты; оно висело метрах в десяти над поверхностью воды — блестящей и совершенно неподвижной, как ртуть. Птицы спали, ввинтившись в самих себя и в свои сны. Неужели птицы способны видеть сны? Туман стелился так низко, что открывал взору лишь воду и птиц, противоположного берега не было, только черная неподвижная поверхность воды, беспредельное море. Я мог вообразить, что нахожусь на краю земли и впереди — ничего.

Последний предел. И птицы, ввинтившиеся в свои сны.

© Per Olov Enquist, 1985
© А. Афиногенова. Перевод, 2001

Внезапно движение; взлетела птица. Я не слышал ни звука, видел только, как она била кончиками крыльев по воде, вырвалась, взлетела наискось ввысь: это произошло внезапно и так легко, невесомо. Я видел, как она поднималась все выше и выше к серому потолку тумана и пропала. И не слышал ни единого звука.

Я стоял как вкопанный и ждал, но больше ничего, абсолютно ничего. Должно быть, именно так было, когда умер Пинон. Как птица, которая взлетает, устремляется ввысь и внезапно исчезает.

Свобода. Или одиночество. Восемь минут — сколько это? Он оставил после себя Марию, и восемь минут она была в одиночестве.

Записываю в дневнике: "Посмертная карточка. Он вдруг видит самого себя".

Сигнал.

Когда Брехт пришел к Рут Берлау в психиатрическую клинику в Нью-Йорке, намереваясь забрать ее домой, она потребовала, чтобы он забрал и всех других пациенток в палате. Он отказался, и она осталась.

"Лучше вместе с осужденными, чем с оправданными".

Она жила только им. Сначала это было правильно, единственно возможный способ жить. Потом внезапно сделалось — недействительным. Как это произошло, она по-настоящему не знала, просто вдруг она превратилась в змеиную кожу, брошенную на лесной прогалине. Он перестал ее видеть. А ведь ей хотелось, чтобы ее видели. Человек может жить без зрения, слепой тоже человек. Но если тебя не видят, то ты — ничто.

Человек не может жить как змеиная кожа.

Все, чем она была, прошло через него. Она сама ведь так и хотела. А он сказал: если появляется зависимость, то это уже не любовь.

Змеиная кожа, не человек. И тогда она плюнула ему в лицо, на глазах у всех.

Записываю теперь тщательно все сны. Важно заметить, как они меняются.

Пытаюсь вспомнить старый сон в деталях.

По-моему, было так. Человек в ледяной могиле, я не знал, кто это, он лежал с открытыми глазами, уставившись в серый космос. Подтаявшая, а потом вновь замерзшая вода образовала на его лице тонкую, прозрачную ледяную корку. Через нее он мог видеть части предметов, которые вроде были ему знакомы: глыбы льда, свинцовые тучи и птицу там, высоко, двигавшуюся словно тень; но ледяная корка была плохим стеклом, и он был не уверен. Все описания вдруг перестали существовать, когда он умер, но все равно он не мог четко видеть. Когда выпал снег, человек стал совсем непрозрачным и детали исчезли: и он наконец обрел свободу. Последнее, что он видел, — альбатроса там, в вышине, если то был вообще альбатрос: ему казалось, что это паук, который медленно полз по его лицу.

Это старый сон.

К., его жена и я договорились встретиться в кабинете К.; мы намеревались сообща уладить все, что требовалось после смерти мальчика, ото-

слать его немногочисленные вещи его родным. Когда я пришел в кабинет, и К. и его жена были уже на месте.

Они стояли в темноте лицом к более светлой плоскости окна, обнявшись, похожие на сплетшийся силуэт. Именно в тот вечер его жена обрушилась на меня с гневными нападками. Я до сих пор помню ее искаженное яростью лицо, почти вплотную придвинувшееся к моему, поток слов и обвинений, которых я вначале совершенно не понимал.

Это верно, что я ничего не понимаю. Но я ведь стараюсь, впервые, честное слово. Если бы она выслушала, то, может быть, и поняла. "Невозможно объяснить любовь", — кричала она.

Но если не пытаться, если бы мы не пытались, где бы мы были?

Спасение Паскаля Пиноа из рудника. Альбатрос кружил там, в вышине, описывал круг за кругом, точно там, на высоте тысячи метров, хотел отметить место, подавал знак. Он качал из стороны в сторону своей большой, украшенной хохолком головой: это здесь, не бойся.

Проводник уже вошел в штольню и, стоя внутри, делал нетерпеливые жесты, точно был жутко взволнован или просто напуган. Шайдлер в нерешительности топтался снаружи. С него градом лил пот. Внизу, в руднике, находилось чудовище, он знал это, и ему было страшно. Ему не хотелось спускаться, хотя он понимал, что придется.

Наконец он все-таки вошел. Полчаса они медленно спускались вниз по деревянным ступенькам, время от времени сталкиваясь с анонимными тенями, карабкавшимися наверх. Никто не произнес ни слова.

И вот они у цели.

Сперва он ничего не увидел. В слабом свете шахтерской лампочки были различимы лишь неясные тени, но в конце концов в середине вырисовалась одна определенная тень, которая шевелилась почти как живое существо. Свет шахтерской лампочки пробежал по пещере, расширению штольни размером, наверное, четыре на три метра. На полу стойло, сколоченное из досок и заполненное соломой и тряпками, рассмотреть точнее было трудно. Может, это были куски кожи или одеяла.

На кровати существо, которое начало медленно двигаться, село.

— Это не человек, — сказал проводник.

Это было существо со своего рода головой, из черноты блестели глаза. Большая часть головы заросла волосами. Под головой имелось туловище, круп, напоминавший лошадиный, и конечности, похожие на руки, которые оканчивались — копытами или ладонями? Разглядеть было невозможно, но внезапно в нос проникла вонь, тяжелая, едкая вонь, от которой Шайдлер чуть не задохнулся.

— Это не человек, — сказал проводник.

Голова существа была обмотана тряпкой. Вернее, черной, свалявшейся массой, когда-то бывшей тряпкой. Проводник шагнул вперед и начал дергать за свисавший конец, а существо, руками обхватив голову, в панике отбивалось. Проводник не отступал.

— Ему стыдно, — сказал проводник. — Он так всегда делает, потому как стыдится, не хочет показывать.

Неожиданно кусок тряпки отстал, потом еще один и еще один. Раздался гортанный стон, словно рев агонизирующего зверя, хрип умирающего быка. Но вот тряпка отвалилась совсем, и проводник, торжествующе держа ее в руках, спокойно и неумолимо направил лампу на

существо, грузно опустившееся в темную массу, представлявшую собой солому или рваные одеяла.

Стало ясно видно, что это было. Совершенно ясно.

— Это отродье Сатаны, — сказал проводник. — Не человек. Мы поймали его, когда он упал.

Поразительно: до сих пор не рассвело. Озеро черное. Туман, как и прежде. Я чуть ли не затаив дыхание считаю секунды; так оно должно было быть. Впервые одна.

Восемь минут она была одна.

II

Песня о посмертной карточке

Прежде у меня было всего три сна. Я всегда считал, что у человека, которому снится только три сна, что-то не в порядке, — и тут я имею в виду не обычные сны, те, что рождаются предыдущим днем и эхом бьются в темноте. Я имею в виду настоящие сны, отчетливые и потому совершенно не поддающиеся пониманию.

Таких у меня долгое время было всего три. Человек, которому снится только три сна, наверное, умер в младенчестве, чуть ли не зародышем, и у него осталось лишь тело.

Один из снов: маниакально повторяющийся. Я вместе с незнакомой женщиной иду по заснеженной равнине где-то в российской глубинке. Солнце стоит высоко. Женщина смотрит на меня, смеется, берет в руку льдинку. И острым предметом рисует на ней контур птицы.

Потом подносит льдинку к губам, дует на нее. Ледяная птица медленно исчезает. Чуточку тепла, и произведения искусства нет.

Значит?

В последний год появились сны с Пиноном. Они снятся все чаще. Нередко они переплетаются со старыми. Он — миниатюрная, размером с шарик, фотокамера, которая опускается в меня, разглядывает меня и мои старые сны изнутри, дружелюбно и критически.

Потом он говорит со мной через Марию.

Один пример: очень короткий сон с Пиноном. Мы вдруг, взявшись за руки, идем по улице какого-то чужого города. Во сне я, судя по всему, совсем маленький, мальчишка, но все-таки наши отношения неясны: ребенок ли является отцом, или отец ребенком? Мне все хорошо знакомо, я нахожусь в центре сна, который совершенно очевиден и в то же время нов. Во сне Пинон поворачивается ко мне, поворачивает ко мне свою голову с громадной шахтерской лампочкой на лбу, я вижу, как шевелятся губы Марии, но пока ничего не слышу.

Тем не менее понимаю: я прощен.

Милосердие. Вот как все просто может быть.

Нас было всего четверо, включая священника, на похоронах мальчика. Там были священник, я сам, К. и его жена.

Трое близких людей, можно, пожалуй, сказать, и в определенной степени ошибочно. Близкие. Но разве у него не было других, настоящих?

Кладбище в Уппсале, самое западное и самое новое, где еще не успели вырасти деревья, и откуда начинается равнина, и где, как мне всегда казалось, ни один покойник не захочет жить; шел теплый, липкий дождь, который постепенно прекратился, священник, очевидно, понятия не имел, кого он хоронит, и потому произнес обычное надгробное слово, какое, вероятно, говорят над могилами молодых людей, раньше времени ушедших из жизни, — неописуемая чушь о том, как ужасно, когда оказывается загубленной жизнь юного человека.

Я стоял сбоку, позади К. и смотрел на него. Он не плакал и не подпевал во время пения псалма, а я думал о том, как страшно он ненавидел этого ребенка или как можно еще назвать труп там, в могиле, да, ребенка, как страшно он в свое время ненавидел этого мальчика, с холодным, отчаянным бешенством, которого мне никогда не забыть.

А потом: необъяснимая любовь.

Его жена, может, была права. Я мало что понимаю. Но я пытаюсь, впервые вполне серьезно. Это ей следовало бы уразуметь.

Молодой человек ушел из жизни. И еще в таком же роде: о жестокости и несправедливости, а после псалом, и бац — книга псалмов захлопнута, и все закончилось.

Интересно, что случилось бы, если бы я сказал, что этот наложивший на себя руки молодой человек убил еще и двух молодых, теперь, стало быть, мертвых людей.

Никаких близких, только мы. Им, верно, стыдно. Интересно, кстати, а есть ли близкие. Быть близким — это труднее, это не биология. Да, пожалуй, мы были его близкими, по крайней мере один из нас.

Кошка сидит на полу, в полутора метрах от меня, глядит на меня. Если я ухожу в другую комнату, она идет следом и усаживается на том же расстоянии. Когда я пытаюсь погладить ее, уворачивается.

Она не может жить без меня, она не позволяет дотрагиваться до себя. Не так все просто. Кто сказал, что должно быть просто.

Мальчика обнаружили мертвым в камере. Он надел на голову пластиковый пакет и затянул его; и на этот раз ему так хорошо удалось затянуть пакет, что вредный воздух не смог взорвать эту оболочку и наполнить мальчика своим смертельным ядом.

Сообщили К. Он позвонил мне. Когда я пришел, и он, и его жена были уже там. Стояла тишина, ничего особенного, ведь было ясно, как все произошло. В конце мальчик с силой стукнул одной рукой по стене, но другую все-таки сумел не разжать. Мне не хотелось ничего говорить, тем двоим тоже. Я предполагал, что есть достаточно вопросов, расплывчатых и бессмысленных, о том, для чего нужна была эта человеческая жизнь и что значит быть человеком; плохие вопросы, а если не знаешь вопроса, тогда трудно. Ведь это не совсем математика, тут нельзя сложить один и один, даже если бы нам всем хотелось, чтобы именно так и было.

Я, кстати, понял постепенно, что не все в жизни математика.

Он лежал там, и вид у него был пригожий, светлые, прежде всегда аккуратно расчесанные волосы взлохмачены.

Да, и еще лицо.

Мы сидели, глядя друг на друга. Думаю, им хотелось, чтобы я сформулировал для них вопрос, вопрос, на который можно ответить, но ведь не все так просто.

Вопрос, в который вместились бы и мальчик, К. и его жена, Рут, Паскаль Пинон и Мария — и в какой-то степени я сам, если Гейзенберг прав, утверждая, что тот, кто видит, портит картину.

Итак, вот вопрос, пусть и деформированный.

Я знаком с К. и его женой больше двадцати лет. Он — врач в отделении судебной психиатрии при больнице Уллерокер в Уппсале и сейчас, кстати, уже развелся с женой.

К слову сказать, довольно сомнительно, можно ли вообще развестись.

Более трех лет назад она сошла с ума, что бы эти слова ни значили, или, во всяком случае, у нее произошел тяжелый срыв. Они разведены, но в определенном смысле ее можно считать его пациенткой, что делает ситуацию противоестественной. Но ситуация и на самом деле противоестественная.

Двадцать лет я их знаю и ни черта не понимаю.

Сам я убежден, что она абсолютно здорова, а странны их отношения. Он не в силах освободиться от нее. К. говорит, что она часто звонит ему, он знает, что это она, хотя она не произносит ни слова. И он тоже. Самое удивительное, что, похоже, оба смирились с этим. Он не переносил ее, развелся с ней, а такой ненависти, которую она испытывает к нему, я думал, вообще не бывает. Теперь она звонит ему, и они молчат, прижав к уху телефонные трубки.

Он утверждает, что это своего рода сообщение, хотя и без слов. Если это бессловесное сообщение, тогда я, откровенно говоря, не понимаю, зачем им телефон. Песня без слов, утверждает он. Иногда грязная, иногда чистая.

Я их не понимаю. Если бы у них были слова, мальчик сегодня был бы жив и я бы всего этого избежал.

Миссис Портич больше меня не жалует.

Историю про Пинона и его жену я услышал от двух людей, но миссис Портич — главный свидетель. Когда-то я был знаком с ее внучкой, Кэтрин, подарившей мне постер, на котором были изображены две божьи коровки, и стихотворение к нему. Она рассказала, что у бабушки был очень странный пациент. Я послал миссис Портич письмо с вопросами, в ответ получил несколько писем, но в конце концов переписка оборвалась.

Она меня больше не жалует, но я не виню ее. Последнее письмо было совсем коротким. Она устала, или у нее возникли подозрения. Может быть, я написал что-то не то. Она отказывается от задания, пишет она, как будто я когда-нибудь давал ей какое-нибудь задание. Кстати — от некоторых заданий нельзя отказаться, во всяком случае я не могу отказаться от Пинона.

Теперь уже не могу. После сложившейся ситуации.

Короткое письмо. Она пишет, что изложила все, что знала, и других сведений, кроме тех, которые она предоставила, добавить не может. Она ухаживала за Пиноном весь последний год, это было переворачива-

ющее душу переживание, после чего заботы о нем с нее сняли, поскольку он умер, а ее уволили из больницы.

Больше прибавить было нечего. Она, похоже, сожалела о том, что Кэтрин рассказала мне в свое время об этом случае. Но с тех пор, как все это случилось, прошло пятьдесят лет, и она больше ничего не может вспомнить.

Враждебный тон письма меня удивил. Она утверждает, что не понимает этого моего упорного, болезненного ("извращенного") интереса к умершему пятьдесят лет назад монстру, которого она сама, к слову сказать, вовсе не считает монстром (неужели я хоть раз употребил слово "монстр" в письмах к ней?). Никаких научных или общественно-медицинских воззрений по этому поводу у меня ведь быть не может, пишет она.

Так оно, наверное, и есть. Тут она права.

"Однако, – пишет она в P. S., – посылаю Вам в знак окончательного прекращения нашей переписки фотографию Пинона и его жены. С уважением, Хелен Портич".

Фотография расхожая, та, которую обычно публикуют в прессе и которая помещена на обложке книги Джона Шайдлера "A Monster's Life"[1] (Бостон, 1934). У меня она уже была.

В письме ни слова о ребенке Пинона.

Часто просыпаюсь рано и, пока свет неспешно растекается над озером, пишу дневник. Сердце точно мешок с песком, так проще.

Кажется, как-то ночью я долго писал, помню, что взял щетку и подмел пол под фикусом в углу комнаты. Листья облетали каждый день, фикус был болен или же следовал смене времен года, хотя и стоял в комнате. Кто знает.

Скоро он умрет, успокоится в своей смерти, как птица. К весне, возможно, появятся новые листья. Это своего рода надежда, откуда мне знать, как думают деревья, если я вряд ли знаю, как думаю сам.

Потом снова заснул. Позднее перечитал, что написал в дневнике за многие часы работы. Обнаружил только одно слово: "гастроскопия".

Сразу сообразил, что это значит. Рутинное обследование стенок желудка, мне его делали однажды в Академической больнице Уппсалы. Своего рода обследование с помощью миниатюрной телекамеры. Я мог наблюдать за всем в отводную оптику.

Сперва мне сделали анестезию горла, я лежал на боку, шланг с отводной оптикой был прикреплен к левому глазу; и вот крошечную, в виде шарика, телекамеру ввели через гортань в желудок. Она была, наверное, полтора сантиметра в диаметре, но прошла легко, совсем легко, и я все видел в прямой съемке, в цвете, все-все.

Видел все с внезапным, растущим, сухим, легким, странно экзальтированным возбуждением.

Сначала камера скользила по громадной, чуть ли не бездонной шахте, колодцу с почти белыми, слегка кольцеобразными стенками; но в колодце имелось дно – своеобразный рыбий рот с мягкими, похожими на лепестки губами, которые медленно раздвинулись, и глаз опустился в рыбий рот, раскрывшийся прямо-таки зазывно: беззубый рот просто

1. "Жизнь монстра" (*англ.*).

раскрылся, словно лаская глаз, — губы и лепестки проплывали мимо, ласково терлись о стенки глаза.

И вот вдруг мы оказались в пещере.

Это была гигантская пещера, громадная подземная пещера под бело-

голубым мерцающим куполом, кое-где мягко отливавшим розовыми оттенками; он вздымался огромной аркой над озером, покрывавшим пол пещеры: это было скорее море, желтое пузырившееся склизкое море, живое море, которое шевелилось и преображалось, море Солярис, море, которое, как казалось, говорило, хотя и молча, другими способами, не поддававшимися моему разумению и толкованию. Потом глаз снова начал двигаться, очень медленно, вплотную приблизившись к поверхности этого живого моря, которое пыталось сообщить мне что-то, чего я не понимал, но хотел понять, хотел. А глаз просто продолжал двигаться, близко-близко от поверхности моря, и осторожно опустился в дальний конец пещеры, где можно было разглядеть очертания входа, рот, шевелившийся, как и все остальное шевелившееся, пульсировавшее и говорившее. И тут внезапно, впервые, с силой, которая чуть не убила меня, я осознал, что нахожусь внутри самого себя.

Именно тогда, в тот самый миг, я увидел самого себя. Пусть и не в обычном облике, не в том, к которому я привык и который, возможно, был истинным, но, быть может, только потому, что я к нему привык, — нет, не в обычном. Я увидел. Это был не только человек, анатомия, — это был я сам.

Это был я. Так я выгляжу. То, что двигалось, пульсировало, разбухало, опадало, говорило беззвучно шевелившимися губами, — я сам. Я был наивным, все принимал за чистую монету. Теперь впервые я увидел самого себя, конечно, лишь часть себя, но так, как мне следовало бы увидеть и все другое тоже, другое, что было мной.

Впервые. Никакой математики.

Я лежал в состоянии полного паралича и мало что помню из дальнейшего. Глаз скользнул в нижний рот, прошел сквозь красные покачивающиеся растения, ласково тершиеся о стенки глаза; потом мы снова стали подниматься, выбрались из гигантской пещеры и шахты цвета слоновой кости. Думаю, мне делали анализы. Наверное, так и было. Но поскольку я не совершал путешествия к центру Земли сквозь Хеклу, а увидел всего лишь частичку самого себя, то точно не знаю.

На этом все закончилось. Я долго лежал на столе для обследования, уставившись в потолок, надо мной склонилась медсестра и спросила, хорошо ли я себя чувствую. И я кивнул. Да. Почему бы мне не чувствовать себя хорошо.

Несколько минут за мной наблюдал я сам. Почти увидел себя так, как все время видели меня другие, не говоря мне об этом. Это вселяло страх. Я увидел физическое, но все же не только. Мне хотелось пробудиться от паралича, но я был не в состоянии пошевелиться. Я лежал один в комнате и думал: значит, это был я. Частичка самого сокровенного, но только физического, но не до самого дна. Если это был я, значит, существует и что-то другое, возможно, континенты чего-то другого: еще один рот, который мог бы раскрыться и впустить в себя глаз, и еще один, и еще.

Все возможно. То, что видел, только начало. И я почувствовал, как колотится сердце.

Теперь я редко сплю после четырех утра. А зачем?

Когда я бодрствую и, сидя у окна, смотрю, как рассвет растекается над озером, то записываю слова. Короткие слова-коды, они постепенно составят тайный язык для той действительности, которую я так хорошо знаю и которую раньше никогда не понимал.

Этим утром слово "пловец".

Я мгновенно соображаю, что это. Это однажды виденный мной фильм, очень плохой, по-моему, с Бертом Ланкастером. Я опоздал минут на пять и не уловил сюжета начальных сцен, но речь, кажется, шла о человеке из Калифорнии, который внезапно оказывается в нескольких километрах от дома. Между ним и его домом тянется ряд вилл, все с бассейнами. И тогда он решает плыть домой, от бассейна к бассейну, через все эти десятки бассейнов, принадлежащих его соседям и друзьям.

У каждого бассейна он встречает друга, или подругу, или бывшую любовницу. Со всеми друзьями он беседует. Однако по ходу действия фильма тон его друзей становится все враждебнее, все злобнее; это происходит незаметно, но происходит. Внезапно, — похоже, слово "внезапно" постоянно возникает у меня в памяти, как будто оно и есть грозный ключ к происходящему, — внезапно выражения лиц всех друзей героя делаются глубоко враждебными. Можно спросить, а любили ли эти друзья его когда-нибудь. Или — можно спросить, видел ли он когда-нибудь самого себя.

Помню, это был очень плохой фильм, запомнившийся мне, в отличие от других плохих картин. И вселявший ужас. Конец в памяти не отложился. Ужас был связан с риском быть внезапно увиденным, а может, и наоборот.

Идентичны ли эти две точки зрения? Страх быть увиденным и страх не быть увиденным?

Я лежал на столе, уставившись в потолок, а сердце все колотилось и колотилось.

По-моему, однажды я уже видел самого себя. Какой-то краткий миг, мне было тогда шестнадцать.

Отца я совсем не помню, потому что он умер, когда мне было полгода. Это случилось в марте; потом маму высадили у строгальни, и она побрела, утопая в снегу, к опушке леса, где стоял дом, был поздний вечер, дом погружен во мрак, а соседка, взявшая меня к себе, пока отец умирал, жила в километре оттуда. За месяц до этого кто-то из деревенских напророчествовал, что умрут трое мужчин, и трое мужчин умерло: этому человеку приснилось, что свалилось три сосны, и, проснувшись, он понял. Это был знак. В тех краях все было полно тайных знаков, и они вполне поддавались толкованию, но любопытно все же, что еще могло каждую ночь сниться этим норрландским лесорубам, как не падающие деревья: ведь деревья падали все время. У нас был сосед, на которого свалилась сосна, и он пролежал, придавленный ею, в глубоком снегу двадцать часов, а когда его нашли, он уже замерз до смерти. Правая рука у него была свободна, и на снегу он пальцем оставил свое последнее послание: *милая Мария я*, а дальше не дотянулся. Деревья падали постоянно, но не все имели смысл; в деревне научились различать сны.

Шофер, это был Марклин, остановился у строгальни и, обернувшись к пассажирам, спросил, не может ли кто ее проводить, но она не захотела.

Когда мне исполнилось шестнадцать, я впервые увидел посмертную карточку отца. Она лежала среди других фотографий, их я уже видел.

Какие-то мне нравились, какие-то были непонятными. На одной карточке отец сидел на лужайке, перед ним стоял поднос с кофе, он в выходном шевиотовом костюме и белой рубашке, а в глазах — странно-легкомысленный блеск, который совсем не соответствовал тому, как я себе это представлял, что-то тут было не так, я про себя давно решил, что его сокровенное будет и моим сокровенным, и на фотографии что-то не сходилось. Когда он вечерами возвращался из леса домой, то садился писать стихи в блокноте; после его смерти блокнот сожгли, потому как стихи считались грехом. Пока все сходилось.

И вот вдруг, когда мне было шестнадцать, я увидел посмертную карточку.

В тех краях существовал обычай фотографировать лежавших в гробу покойников. Иногда фотографии вставляли в рамку и водружали на комод — своего рода горизонтальные портреты, катакомбы Вестерботтена. Но посмертной карточки отца я никогда не видел. И вот внезапно обнаружил ее в белом конверте.

Я никогда этого не забуду. Это был словно удар в челюсть. Я уставился на карточку, точно на меня напал столбняк, поскольку сперва не понял, кто на ней изображен. Я держал фотографию в руке, воображая, что вижу самого себя. Конечно, это я, никаких сомнений, один к одному, ошибка исключена. Каждая черточка моя. Наверняка это я. Одного только я не мог взять в толк: почему я лежу в гробу.

Потом я сообразил, что это мой отец.

Никогда не забуду тех секунд. Я впервые увидел самого себя. Мне было шестнадцать тогда, и пройдет тридцать лет, прежде чем я увижу себя во второй раз.

III

Песня о шахтерской лампочке

Мальчик смотрел на К., они шли, держась за руки, по больничному парку, точно мальчик был отцом, а К. — ребенком, и мальчик неотрывно смотрел на К. из глубины своего чудовищного страха, и его глаза говорили: ничего страшного. Я прощаю тебя.

Хотя должно было бы быть наоборот. Милосердие. Вот как все просто бывает.

Когда-то я считал, что история — это река, что все — река, величественно и спокойно несущая свои воды вперед, как необыкновенное повествование, в котором все неумолимо ведет вперед, к морю.

Но совершенно несовместимое, то, что дарит тебе самое тяжкое и труднодоступное озарение, вовсе не река, оно необязательно с неумолимостью ведет от одного к другому.

За ним надо бдительно приглядывать, пока внезапно...

Жену К. положили в больницу Уллерокер 12 октября 1981 года, тем же вечером, когда убили их дочь.

История следующая.

Годом раньше они формально развелись, а до этого с год прожили отдельно. Девочку, которой было тогда восемь лет, оставили матери.

Развод проходил нелегко, я наблюдал за ним с близкого расстояния, можно сказать: этот развод был жестоким, не знаю даже, как описать его. Через несколько месяцев после того, как К. ушел из дома, его жена прочитала статью о молодом убийце, явном психопате, которого поместили в закрытое отделение в Сетере. Ему было двадцать два года, и за ним закрепилось прозвище Волк из Сетера. Он был интеллигентным, чувствительным юношей, вызывавшим всеобщие симпатии; только что отслужил в армии и тут, совершенно необъяснимо и на первый взгляд без всякого повода, убил шестилетнюю девочку.

Просто взял и убил. Не мог объяснить почему. Никаких сексуальных мотивов вроде бы не было, он не изнасиловал ее. Просто убил.

Его поместили в Сетер.

Однако через какое-то время среди пациентов поползли слухи о том, что он изнасиловал девочку, а потом задушил ее. Как-то ночью, через два месяца после того, как его поместили в больницу, два других пациента проникли к нему в камеру. До этого момента он отказывался разговаривать с кем бы то ни было. К этому следует добавить, что убийцы детей на сексуальной почве — он не был насильником, но его таковым считали — пребывают в последнем, даже в тюрьмах и психбольницах, круге ада. Они существуют в теневой зоне, сами по себе, подвергаясь не имеющему себе равных презрению со стороны остальных заключенных.

Два человека вломились к нему в камеру.

Вероятно, они были пьяны или накачаны наркотиками; желая проучить парня, они набросились на него, пригвоздили к месту и, прижав подушку к голове, зашептали, что сейчас ему будет преподан особый урок, на всю жизнь, если такая жизнь вообще чего-нибудь стоит. И стащили с него штаны. И пометили его. Или, как сказано в протоколе следствия, нанесли тяжелое ножевое ранение в пах.

Когда вбежали охранники, он сидел один на постели и кричал, почему-то обмотав голову простыней.

Точно ему было стыдно, как выразился один из охранников.

Об этом случае довольно много писали. Почему он получил прозвище Волк из Сетера, никому не известно. Он совсем не был похож на волка. Бывают преступления и пострашнее того, которое совершил он. Это не было сексуальным преступлением. Просто оно было необъяснимым, что, возможно, и пугало больше всего.

К. предполагает, что именно необъяснимое во всей этой истории и заставило его жену завязать переписку с мальчиком. Когда его перевели в Уллерокер, она навестила его.

Так все и началось.

Записываю в дневнике: ледяная могила.

Должно означать: Финн Мальмгрен в ледяной могиле. Они шли на юг, за помощью. Два его итальянских товарища вырубили могилу во льду и, сняв с него кое-какую одежду, бросили на произвол судьбы, еще живого. В детстве именно эта картина глубже всего врезалась в мое сознание: я представлял себе, как нахожу Финна Мальмгрена в его ледяной могиле, мертвого, и тонкая ледяная корка покрывает его тело, голову и лицо, представлял себе, как он лежал там с открытыми глазами, глядя вверх сквозь эту ледяную корку, и как умирал, видя высоко в небе, возможно, альбатроса, гигантскую белую птицу, которая все кружила и кружила, словно слабая белесая тень под ледяной коркой.

Картина, возвращающаяся с таким маниакальным упорством. И ужас, смешанный с наслаждением, при мысли о том, чтобы жить и умереть под ледяной коркой. Быть может, наслаждение сильнее ужаса.

Кабинет К. выходит на больничный парк. В окно ему видно, когда она появляется. Их отношения ненормальны. Но с другой стороны, что сейчас нормально.

Его жену положили в больницу, она сама настояла, я не уверен, что она нуждается в этом. Можно сказать так: она замыкается в больничных стенах, прячется там. Если ей хочется повидать К., она приходит, в одном и том же зеленом плаще, и стоит неподвижно под деревьями, глядя на его окно. Сам же он в это время прячется за шторой, и через какое-то время, убедившись, что он ее увидел, она идет к корпусу 32, в подвал, твердо зная: он придет.

Страшно трудно понять ненормальное, хотя оно так обычно; с рациональным злом можно справиться, а с беспричинным нельзя, я знаком с К. и его женой больше двадцати лет, но не понимаю их одержимости. Более того, эта одержимость вызывает у меня усиливающееся с каждым днем отвращение. Они ненавидят друг друга, но не в силах освободиться друг от друга.

К. поведал о том, что происходит. Она спускается в подвал корпуса 32, в чулан, где хранятся джутовые мешки и газонокосилки. Направляется именно туда. И туда же следом идет он.

И вот она ложится на джутовые мешки, слева от газонокосилок, и стаскивает трусы. Через несколько минут появляется К. И они предаются любви.

Вот так. Она больна. Он ненавидит ее. Они предаются любви.

Мальчика — они почему-то называют его просто мальчиком — перевели в Уллерокер. Она навестила его, и спустя некоторое время с ней что-то случилось — не знаю что. Она тоже не знает. Думаю, это была своего рода влюбленность.

Своего рода. В тот год я жил за границей и не наблюдал за развитием событий с близкого расстояния. Во всяком случае, не с такого близкого, как позднее. Не так, как сейчас.

Вот что случилось. Мальчику начали разрешать покидать стены больницы. Жена К. жила на Скульгатан с дочерью и все более регулярно встречалась с мальчиком. Она говорит, что любила его, он получил собственный ключ от ее квартиры. Как-то в пятницу в октябре 1981 года он пришел на пару часов раньше положенного, дома была одна девочка, которая, кстати, замечательно к нему относилась. Они играли, точно двое ребятишек, мальчик пришел слишком рано, в квартире была только девочка, они стали собирать мозаику, занимались этим около получаса, выкладывая большую мозаичную карту Швеции, а через полчаса он внезапно задушил девочку. Задушил. Правда. Он задушил ее.

Никакого сексуального насилия.

Без всяких причин.

Когда жена К. вернулась домой с пакетом из винного магазина в руках, он сидел на раскладном диване, подтянув под себя ноги и обхватив руками колени, в комнате царил полумрак, он включил проигрыватель.

Он крутил пластинку Рода Стюарта “Sailing”, ставил ее явно снова и снова, просто протягивал руку и ставил опять, в комнате гремела

"Sailing". Жена К. убавила звук и спросила, как дела, но ответа не последовало. Никакого. Он лишь мурлыкал "Sailing". И тут она обнаружила дочкину сумку и поинтересовалась, ушла ли та куда-нибудь, но он промолчал, а она спросила еще раз и еще.

И наконец он посмотрел на нее взглядом, переполненным таким ужасом, что ей этого никогда не забыть, этот взгляд прожег ее насквозь, навечно, испепелил ее, превратил в ад последующие годы и выжег в ней все. И вот тогда она закричала и, бросившись к телефону, позвонила К.

Пластинка закончилась, но мальчик не стал снова ставить ее. Она позвонила, и пришел К.

Мальчик рассказал обо всем в общих чертах, но в детали не вдавался. Придя, К. начал искать девочку. Ее нашли засунутой в ящик под диваном, на котором сидел мальчик. Мертвую. Он задушил ее, запихнул в ящик раздвижного дивана, сел и принялся крутить "Sailing".

Так было дело. Как ни странно, К. ударил жену. Не мальчика.

Я понимаю его в каком-то смысле.

Не очень-то приятно писать о ненависти или наблюдать ее.

Когда все было позади, два дня спустя я впервые увидел К. С какой же одержимостью он живописал, что хотел бы сделать с мальчиком, как сетовал, что пациенты Сетера уже сотворили с ним то, что он, К., желал бы сделать сам, как был поглощен — чуть ли не наслаждаясь — деталями мести.

Когда я думаю о том, что произошло потом, я много чего не могу взять в толк. Да, забыл про одну вещь: про интонацию. В словах К. сквозило невысказанное, но явное обвинение в адрес жены, что она, мол, сотворила это совершенно хладнокровно. Поскольку ей хотелось отомстить мужу за то, что тот ее бросил, она связалась с мальчиком. Прекрасно сознавая последствия. Своего рода убийство с помощью заместителя, абсолютно не поддающееся раскрытию, но убийство. Месть. Она ведь знала, что К. любил девочку.

Абсурд, конечно. Любопытно, а может, она, стоя с прижатой к уху телефонной трубкой и ничего не говоря, воспринимает это как песню, злобную песню, висящую в воздухе? А потом они встречаются в подвале, среди джутовых мешков и газонокосилок, и трахаются, или предаются любви, что называется.

Это верно — как выплюнула она мне в лицо, — что я не понимаю. Не надо пытаться объяснить любовь. Но если бы мы не пытались, что с нами было бы?

Сегодня ночью во сне короткий разговор с Рут Б. Она, похоже, обвиняет — я энергично защищаюсь. Согласился: думаю, ты права, я был трусом. Но впервые в жизни я пытаюсь всерьез.

Она сомневается. Я повторил: правда. Честно.

У нее была с собой шляпная картонка, как всегда. Во сне у нее всегда с собой шляпная картонка с головой Брехта.

Удивительно, что она так никем и не стала. Выпустила лишь один небольшой сборник рассказов под псевдонимом. Ну и письма, разумеется. Интересно, что бы она написала о Пиноне. Интересно, что бы она написала о Пиноне.

Последние годы в Берлине она вечно была пьяной, отталкивающей, совсем не такой, как прежде, ей не разрешалось навещать Брехта, его никогда не было дома, хотя она и знала, что он дома. Она ведь знала, что стоит ей только поговорить с ним, и он поймет, что они неразлучны. Но когда однажды она попыталась заговорить с ним в фойе "Берлинер ансамбль", в антракте премьерного спектакля, он отказался отвечать, и тогда она плюнула ему в лицо, прилюдно.

На глазах у всех. О ней много болтали.

Он в ней больше не нуждался. И все же она вспоминала очень ясно на старости лет, каким одиноким он был; как-то раз она увидела его стоящим в кромешной тьме совершенно одного, в саду, он мочился, плакал и бормотал, что, мол, только пес и Рут понимают его. Остальным нужны лишь роли. Он сказал это, стоя под березой. Но в фойе отказался говорить, и тогда она плюнула.

Они так и не избавились друг от друга.

После его смерти, когда ей вновь было дозволено дать волю своим чувствам к нему, опять наступили в общем-то хорошие времена. Он умер, она была жива, испытывая одновременно и странное чувство свободы, и близости к нему.

Собственно говоря, это был самый прекрасный период в их жизни — когда он умер.

Она заказала гипсовую голову, которую сделали по его посмертной маске. Эту голову она и носила с тех пор с собой. Всегда, всегда.

Носила ее в шляпной картонке. Когда Рут проходила курс лечения от далеко зашедшего алкоголизма в психиатрической лечебнице Восточного Берлина, она то и дело разыгрывала небольшие представления для пациентов, обязательно ставя голову Брехта посередине стола.

Вечерами можно было наблюдать, как она сидит на кровати с шляпной картонкой на коленях, крышка снята, но голова по-прежнему внутри, и тихо, проникновенно разговаривает с ним, хотя иногда, чем-то возмущенная, начинает поносить его непотребными словами; бывали моменты, когда она считала его поведение непростительным, и в таких случаях швыряла на картонку крышку и запихивала ее на верхнюю полку гардероба, грязно ругаясь и грозя, что больше никогда не вытащит его оттуда.

Персонал знал, кто она, и препятствий не чинил.

Но, как правило, она позволяла Брехту находиться рядом с собой, со снятой крышкой; иногда она вынимала его из картонки. И при этом частенько бывала несколько навеселе, что для персонала представляло сплошную загадку, потому что ей строжайше запрещалось потреблять спиртное; у нее немедленно отбирали бутылку, если ей удавалось каким-то образом таковую раздобыть. Но тем не менее она сидела в палате, всхлипывая и покачиваясь, перед картонкой с его головой: малыш Брехт, бормотала она, малыш Брехт, ты все-таки был таким милым, только мы с псом любили тебя по-настоящему, остальным лишь роли нужны были, малыш Брехт, малыш Брехт, ведь правда, нам сейчас так хорошо.

А он, спокойно прикрыв глаза, пребывал в своей картонке, и на губах у него застыла ласковая улыбка. Позднее обнаружилось, что Рут велела выдолбить в голове дыру, а на затылке сделать дверку, и в этом полом пространстве в середине головы Рут хранила бутылочку виски.

Это по поводу посмертной карточки папы или меня самого, как вам будет угодно.

Его звали Паскаль Пинон, он родился с двумя головами.

Вторая голова была женской.

Как только речь заходила о Пиноне, сразу же возникало некоторое замешательство — непонятно было, говорить ли "он" или "они". Когда первые слухи об их поразительной любовной истории стали известны миру — где-то в феврале 1922 года, — они находились в шахте на севере Мексики. Там они жили, там выполняли свое предназначение, которое в первую очередь состояло не в работе, а скорее в существовании.

Они существовали. И еще они были пленниками. В этом заключалась задача их жизни.

Можно сказать так: весной 1922 года они стали видимыми. Слухи достигли цивилизации и докатились до импресарио из Сан-Диего по имени Джон Шайдлер. Он навестил их, он сделал их видимыми, когда он увидел их, они стали видимыми. Они существовали и раньше, но были невидимыми. Так ведь происходит со многими. Но он сделал их видимыми. Он назвал их супружеской парой, самой знаменитой любовной парой на Западном побережье Америки, сперва примером нерасторжимого несчастья, а потом нерасторжимого счастья.

Неразлучны и в смерти, брак со всеми его плюсами и минусами, но брак, который невозможно расторгнуть. Можно сказать так: Шайдлер показал нам символ.

Когда Пинона обнаружили, он находился в медном руднике на севере Мексики. Откуда он пришел, не знает никто. Никому не известны ни место или дата его рождения, ни кто были его родители. Возможно, им было стыдно; на похороны Пинона никто из его родных не приехал. Вероятнее всего, он родился в начале 1880-х годов, точнее установить не удалось. Он родился монстром.

Монстр — это правильное определение. Он сам так называл себя.

Одна его голова, нижняя, была головой мужчины, совершенно нормальная голова, даже, пожалуй, красивая. Эту свою мужскую голову он носил с печальным достоинством, держал высоко и прямо. У него была густая борода, хорошо ухоженная. Но поверх этой нижней головы росла вторая, она пробивалась у него изо лба, как почка растения или как заключенный, который отчаянно пытается прорваться сквозь тюремную стену, но терпит неудачу и которого, наполовину оставшегося в стене, приговаривают к пожизненному заключению.

Эта вторая, верхняя голова была женской. Две головы Паскаля Пинона есть на фотографиях 20-х и 30-х годов; последняя сделана за несколько дней до его смерти. К тому времени он уже приобрел определенную международную известность, и ему посвящена биография, опубликованная после его смерти: написал ее импресарио Джон Шайдлер, "A Monster's Life".

Фотографий вполне достаточно.

Все они выражают печаль и достоинство; словно бы обе головы всегда смотрели в объектив, сознавая, что потом их никогда не поймут, что те, кто увидит фотографии, никогда не поймут. Можно сказать так: Паскаль Пинон нес свою вторую голову так, как рудокоп медного рудника носит свою шахтерскую лампочку. Так он и нес ее всю жизнь: как рудокоп носит свою шахтерскую лампочку в том мраке, в котором он предпо-

чел жить, так и Пинон нес ее сквозь невероятный свет жизни. Но его лампочка не давала света. Фотографии свидетельствуют об ином: в эту лампу врывалась скорее тьма, в нее и в него.

Сначала этого невозможно было себе представить.

Невозможно было представить, что верхняя голова действительно была кем-то, личностью, человеком. Ведь определение человека включает в себя нечто большее, нечто более безусловное. Говоря о Пиноне, всегда употребляли местоимение "он". Обозначить границу человека можно только одним способом: очертив ее вокруг всего человека как единого целого. Стало быть, та женщина была частью Пинона.

Позднее, говоря о нем, стали употреблять местоимение "они". По очень простой причине; люди в конце концов уразумели, что так поступал он сам. Он дал ей имя: Мария. И тогда люди осознали. Тогда и она начала существовать.

Сперва она просто была. Потом он дал ей имя. И тогда она начала существовать.

Случилось так, что слух об их существовании дошел до цивилизованного мира благодаря импресарио из Сан-Диего; его звали Джон Шайдлер, и он был владельцем небольшого шапито на Западном побережье. Он отправился в Мексику, чтобы проверить достоверность слухов, прибыл на место, по его собственному свидетельству, измотанный, весь в поту и принялся бродить по поселку, расспрашивая горняков. Но никто ничего не слышал о двухголовом монстре.

Никто.

Кроме того, люди, которых он расспрашивал, проявляли непонятную ему враждебность. Однако, как он несколько мелодраматически пишет в своей книге, "прямо над входом в рудник я вдруг увидел высоко в небе белого альбатроса, описывавшего гигантские круги, как будто он указывал на нужное мне место; и тогда я, собравшись с духом, вошел, несмотря на враждебность местных горняков, в рудник и нашел предмет моего вожделения".

Похоже, Шайдлер не обошелся без взяток.

Проблема заключалась в том, что хотя Пинон и существовал на самом деле, но в руднике его держали не как рабочего, а как заложника. Его держали там взаперти в качестве оберега. Суеверные горняки, пишет Шайдлер, считали этого монстра порождением Сатаны — таким образом, благодаря счастливому случаю, в их власти оказался ребенок Сатаны.

Его держали в качестве оберега, потому как не мог же Сатана позволить погибнуть одному из своих детей и обрушить рудник.

Подобно низверженному с небес ангелу его держали в качестве оберега против самого зла.

Рудничные начальники, с которыми перво-наперво связался Шайдлер, выказали и смущение, и нервозность. Они уверяли, что не разделяют суеверий рабочих, но, по их мнению, присутствие Пинона все же способствует сохранению в руднике спокойной обстановки. В то же время они были встревожены тем, что история появится в газетах и вызовет скандал.

Импресарио отвели к Пинону.

Пинона поместили в небольшом расширении одного из рудничных штреков. Его щедро снабжали и пищей, и водой, но держали на привя-

зи. Он лежал на нарах, застеленных соломой и кусками кожи. Испражнения убирали ежедневно.

Очевидно, импресарио провел удачные переговоры с начальством, чередуя угрозы со взятками. Самого Пинона, естественно, о его желании не спросили. Только спустя пару лет кто-то поинтересовался у него, не испытал ли он счастья, когда его освободили. Ответ был кратким:

Мария этого хотела.

Но это произошло намного позднее, в тот период, когда он стал называть ее по имени и окружающие поняли, что она существует как человек.

Он почти не говорил о времени, проведенном в руднике.

Об одной детали упомянул: он обернул ее тряпкой, чтобы защитить. От чего защитить, так и осталось невыясненным. Может, от грязи, может — от взглядов. Время, проведенное в руднике, он называл несчастливым. Он сидел на соломе, на ногах — цепь, Мария замотана в тряпку, они с Марией не ладили. Это ужасно, что они не ладили. Они думали друг о друге без приязни, скорее с неприязнью. Бывало, что, сидя там, в темноте, он испытывал к ней ненависть. Только когда внешние обстоятельства в какой-то степени изменились и они вышли из рудника, их любовь расцвела. Первые ростки этой любви появились в марте 1922 года, и с тех пор она становилась все крепче.

Под конец можно было говорить о незыблемой любви, за одним-единственным исключением.

В разговорах с Хелен Портич, сестрой милосердия, которая ухаживала за ним в последний год его жизни, он представлял дело приблизительно так. Он говорил короткими фразами, чуть ли не смущенно, о времени в руднике, а об отношении к нему Марии (когда они сидели в темноте, в неволе) сказал, что никогда по-настоящему не понимал, чего она хочет. Знал лишь, что она им недовольна. У него в голове день и ночь словно звучал протяжный стон, своего рода тихий, бесконечный, жалобный крик.

Поэтому их отношения нельзя было назвать хорошими.

Он имел в виду, что по-другому и быть не могло.

Разве мог он любить этот протяжный, полный отчаяния, жалобный крик. Это было невыносимо. Нет, о любви и речи не шло.

Ее голова была меньше, чем его.

Их вывели из рудника ночью, альбатрос исчез. Импресарио поместил их в гостиницу и принялся их отмывать. За один раз это сделать не удалось, грязь просто въелась в кожу, но Шайдлер заплатил парикмахеру, и тот постриг их и несколько раз выкупал, и с каждым купанием их кожа становилась все светлее; медленно, почти таинственно, как проступает в проявочной ванночке фотография, проступили их лица.

На следующий день они отправились на север, и тогда-то Паскаль Пинон впервые увидел свою жену в зеркале.

Он увидел ее в первый раз. Потом он будет часто видеть ее. Потом ему будет доставлять удовольствие смотреть на нее.

Потом он придет к выводу, что она красивая.

Сейчас в зеркале он увидел ее лицо с раскосыми, прекрасными глазами, высокими скулами и тонким носом. Все, что ему казалось отвратительным в нем самом, нравилось ему в ней. Когда они жили в руднике,

он стыдился ее — он понимал, что это из-за нее они были не как все, поэтому и стыдился. Он же не знал тогда, что она красивая. В то время он ведь мог только погладить ее ладонью, он поднимал руку и проводил ею по лицу Марии, и ничего, к чему он прикасался, не указывало на то, что у нее красивые, раскосые глаза, скулы высокие, как свод, нос тонкий, ноздри трепещущие, а рот изящный; он проводил по ее лицу ладонью и думал, будто она безобразна. Он видел по глазам горняков, когда те подходили к ним со своими лампочками и срывали с нее повязку, что она безобразна. Иначе откуда бы в их глазах был этот ужас. Поэтому-то он и старался закрывать ее. Теперь же, после того как импресарио проявил их лица из тьмы, теперь, когда он постриг их и под конец протянул им зеркало, теперь он решил, что она красивая.

Самыми живыми были глаза: они постоянно моргали, иногда беспокойно, иногда печально и неспешно. Видно было, как они следят за всем, двигаются из стороны в сторону: стоило кому-нибудь неожиданно войти в комнату, веки вздрагивали, взгляд метался и успокаивался лишь спустя несколько секунд. Порой глаза моргали более нетерпеливо, словно бы она движением глаз пыталась привлечь внимание окружающих или хотела что-то сказать.

Или, когда он, стоя перед зеркалом, молча разглядывал ее, хотела запретить ему смотреть на нее.

Она была похожа на пойманную лань с глазами, которые моргают то ли от страха, то ли от беспомощности; то, что глаза пытались что-то сказать, со временем поняли все, но вот что именно — этого понять было невозможно.

Лишь один человек имел ключ к этой тайне: Паскаль. Он один.

Октябрь; письмо от К. Опять о мальчике.

Восемь раз он предпринимал попытки покончить с собой, прежде чем ему наконец удалось это. Как будто он протягивал им эти самоубийства не для того, чтобы его спасли, что было бы привычно, нет, он делал предложение. Все попытки были неуклюжими, иногда просто смешными. Первый раз он использовал свои часы, браслет от них, вернее, стальной штифтик, которым браслет крепится к корпусу, и им мальчик попытался продырявить вену. Он ковырял и ковырял этим тупым штифтом и в конце концов сделал крошечную дырку, из которой кровь сочилась по каплям; смешная попытка.

Помню старый фильм про американского солдата, тяжело раненного во время Первой мировой войны: выстрелом ему размозжило лицо, а тело парализовало. Он не мог говорить, не мог двигаться, вообще ничего не мог: строго говоря, функционировал только мозг.

В больнице считали, что ощущения у него полностью отсутствуют. Тем не менее в нем поддерживали жизнь в чисто экспериментальных целях. Но одна сестра милосердия заинтересовалась этим живым трупом, и через год с огромным трудом ей удалось создать некий код, который открывал возможность общения с ним, — что-то вроде подергивания мочки уха или сигнальной системы дыхания. Забыл.

Втайне эта сестра наладила связь с тем, кого уже не считали человеком: тайное общение между человеком и не человеком. В конце концов она получила от него первую, очень короткую весточку.

Очень короткую, всего два слова: *Убей меня.*

Самое краткое известное мне определение того, что значит быть человеком: право желать смерти. Своего рода граница?

Иногда ее глаза наполнялись слезами.

Никто не знает, плакала ли она в руднике до того, как их освободили. Сам Паскаль ведь не хотел говорить об этом времени, по крайней мере всерьез. Первый раз ее увидели плачущей летом 1926 года, когда в их семейной жизни произошел кризис. Второй раз это случилось, когда он умер.

А так она обычно не плакала.

Всю свою жизнь она была пленницей его головы, долго считалось, что она немая. Пинон так не думал, и именно он заставил всех понять. Так же медленно, как импресарио той весенней ночью 1922 года в гостиничной ванне проявил ее человеческую сущность, так же медленно дошло до окружающих, что она не немая.

Она шевелила губами, но что пыталась сказать, никто истолковать не мог. У нее был изящный, красиво очерченный рот, она часто шевелила губами. Иногда улыбалась. Никто не понимал. То, что пытались сказать ее губы, было недоступно пониманию. Звуков возникнуть не могло — у нее не было ни легких, ни горла, ни голосовых связок. Зато был язык и целый ряд маленьких, размером с рисовое зерно, и на удивление белоснежных, красивых зубов.

Те, кто наблюдал за ней, нередко задавались вопросом, действительно ли она пыталась подражать движению губ, речи или словам окружающих, не занималась ли упорно созданием собственного кода, который помог бы ей наладить контакт с миром; порой губы ее шевелились чуть ли не с отчаянием, словно бы она впадала в уныние или бешенство оттого, что они не понимали ее кода. Но Паскаль на вопросы о том, что она, по его мнению, старается сказать, становился неприступным или возмущался; особенно в первый год работы в шапито он напрочь отказывался отвечать, когда его просили каким-либо образом передать ее сообщения.

Он уходил прочь прямо-таки с искаженным от гнева лицом, он отказывался говорить, есть, участвовать в представлениях; и тогда его приходилось умасливать, беседовать с ним на нейтральные темы, делать вид, будто Марии не существует вовсе; и в конце концов он возвращался, принимал участие в представлениях, и все было как прежде.

Впервые он намекнул на то, что ему известно, что́ она пытается сказать, одним вечером, когда внезапно произнес:

— Сейчас она поет злобную песню.

Впервые он намекнул на то, что, кроме языка, существуют и другие возможности. Никто не мог расшифровать движения ее губ, в том числе и Паскаль, но, похоже, между ними сложились иного рода отношения, язык, не нуждавшийся в словах. По его выражению, она ему “пела”. Вполне возможно, это была песня или, скорее, бессловесные обрывки мелодий, которые поддавались толкованию.

“Сейчас она поет злобную песню”.

Он произнес эту фразу как раз после того, как с ним случился приступ гнева. Его спросили, что она хочет сказать. Он впал в бешенство. И когда он отказался быть ее переводчиком, она злобно запела.

Ему стало больно.

Может, это была та же самая песня, что она пела в руднике. Тем не менее то, что он сообщил, было важно. А сообщил он следующее: она не

немая. Кроме того, она — человек. Я слышу ее, но я единственный, кто способен ее слышать. Она существует только через меня.

Злобная песня причинила ему боль.

Запертая в его теле пленница пела песню, причинявшую боль; почему она желала ему зла? Хотела отомстить? Этого и сам Паскаль не понимал. Он не понимал, просто сидел молча с искаженным лицом, оскорбленно глядя прямо перед собой, и слушал. Запертая в его теле пленница пела песню, причинявшую боль, — может, это была песня о том, как тяжело всю жизнь жить взаперти? Он слышал песню, но отказывался ее расшифровывать. Дело обстояло так: они были заперты друг в друге. Сначала они были несчастны оттого, что заперты друг в друге, и тут она запела злобную песню, причинившую боль. Потом ей захотелось донести свою песню до окружающих, но он отказался. И она вновь злобно запела.

Он был единственный, кто мог ей помочь. Он этого не сделал. Причина — любовь?

Не исключена и другая возможность: он ее некоторым образом боялся и потому не осмеливался дать ей слово. Он отказывался переводить ее песню именно потому, что ему не нравился смысл. Быть может, она пыталась всю свою жизнь найти те движения губ, которые заменили бы песню и сделали бы ее слова независимыми от Паскаля.

Быть может, он боялся, что тогда он как бы потеряет ее. Вполне возможно, он так сильно ее любил, что не осмеливался.

Один эпизод из первого письма Хелен Портич от 8 января 1982 года из Лос-Анджелеса.

Пинон лежал в той больнице, где работала Хелен, и в ее ежедневные обязанности входил уход за ним. Как-то зимой она вошла в его палату (проявляя заботу о других пациентах, его поместили в отдельную палату). Было раннее утро, она вошла, она почти уверена, что это случилось в январе, потому что в окне четко вырисовывались заснеженные горы Сан-Габриеля.

Пинон спал, тяжело, с хрипом, дыша, Хелен, ступая "тихо, как бабочка", по ее собственному выражению, проскользнула в комнату. И вдруг увидела, что Мария не спит.

Она лежала с открытыми глазами, как всегда чуточку беспокойно моргая, и тут же, как только Хелен вошла в дверь, перевела взгляд на нее. Сестра подошла поближе к кровати, чтобы удостовериться; она и представить себе не могла, что жена способна бодрствовать, когда муж спит.

Но именно так и оказалось. Хелен охватили "strong sentiments", и под влиянием внезапного импульса она протянула руку и погладила Марию по щеке. Погладила едва заметным движением ладони.

Хелен утверждает, что помнит это мгновенье совершенно отчетливо. Пинон продолжал спать, тяжело, с хрипом, дыша, а Мария не отводила глаз от сестры. И вдруг, пишет Хелен, у нее возникло чувство, что она только благодаря вот этому прикосновению к щеке Марии все поняла. Словно бы предпосылкой этого стали мертвая тишина в палате, горы вдали, белые вершины в невероятной чистоте январского воздуха, глубокий сон Пинона и ее рука, легко, точно крыло птицы, прикасавшаяся к щеке Марии: все вмиг совпало, и она, Хелен, что-то ощутила в себе, мелодию, или внезапно поняла. Секунда почти волшебного озарения.

Может быть, то была песня. Ясная и совершенно понятная.

И Мария посмотрела на нее, ее взгляд был спокоен, в нем сквозила теплота и чуть ли не юмор, и тут на ее губах появилась слабая, но отчетливая улыбка.

Пинон не проснулся. Он не проснулся.

"Твое письмо, — пишет Рут Берлау Брехту 22 марта 1942 года, — возмутило меня и привело в отчаяние, как и насмешливые слова о срастании. Но мне кажется, ты боишься".

Сегодня ночью опять снился Пинон. Как и прежде, старый сон сплелся с новым; сам я, однако, каким-то удивительным образом был вне сна.

В нем присутствовали лишь Пинон и мальчик.

Они сидели на чердаке зеленого деревянного дома, в котором я жил в детстве, сидели, держась за руки, и слушали небесную арфу. Была зима, полнолуние, трескучий мороз, снег белый-пребелый. За окном виднелась рябина, посаженная папой. Так странно — несмотря на зиму, она не потеряла листву. И это казалось вполне естественным. Пинон сидел, повернув свою громадную двойную голову к мальчику, и держал его за руку, по-отцовски, а мальчик, с закрытыми глазами, склонился на его плечо, и на его губах блуждала легкая улыбка. Точно он слушал что-то такое, что делало его счастливым.

Во сне я сразу сообразил, что именно. Они слушали небесную арфу. А ее песня мне была хорошо знакома — с детских лет. Тогда случались ослепительно белые январские ночи — луна была белой, снег светился, и стоял трескучий мороз; телефонные провода крепились к стене дома, деревянного дома, который папа построил сам, и дом превращался в гигантский резонатор, и провода пели.

Это была потрясающая песня, шедшая со звезд, она звучала каждую ночь, когда стояли холода. Небесная арфа пела так, словно кто-то там, в зимней ночи, водил громадным смычком по струнам, она пела: тысячи лет горя и прощения, без слов, печально, ночь длинна, один конец проводов прикреплен к деревянному дому в Вестерботтене, а другой неподвижно висел в космосе, на черных мертвых звездах. Песня лилась из космоса, она была без слов и рассказывала о бессловесных. Не забывай нас, пела песня, мы такие же, как ты, не забывай нас.

Один конец проводов висел на черных мертвых звездах, песня летела тысячу лет и наконец долетела до тех двоих, что сидели ночью в деревянном домике в Вестерботтене. Песня рассказывала о них. Мы не немы, мы существуем. Они держались за руки и слушали небесную арфу, мальчик, с закрытыми глазами, склонился на плечо Пинона.

И было видно, что он почти счастлив.

Agape[1]: не нуждаться в том, чтобы заслуживать прощения.

Какое прекрасное слово.

Она стояла, прижав ладонь к щеке Марии, стояла долго и слушала. Но о том, что́ услышала, не пишет ничего.

Ничего.

1. Любовь (*греч.*).

IV

Песня о суровой нитке

В первом письме Хелен Портич есть фраза, на которую я сначала не обратил внимания.

Потом я перечитывал ее снова и снова.

Вот она: “Паскаль однажды признался мне, что последние годы сгорал от желания поцеловать Марию, жену, порой не мог ни о чем другом думать только потому, что знал — это невозможно”.

Он мечтал поцеловать ее.

Сперва я воспринял это как курьезную мелочь, вызывавшую чуть ли не отвращение. Позднее она стала казаться все более важной. Он мечтал поцеловать ее, ведь она была такая красивая. Но сделать этого он не мог.

Вот в чем дело.

Я знаю их двадцать лет, но так и не понимаю, что это за люди. Когда я смотрю на них, мне иногда приходит в голову, что мир, свободный от любви, был бы намного лучше.

Если это любовь. Не знаю: этот зеленый плащ, то, как она ждет в парке, а он стоит в кабинете, спрятавшись за занавеской, а потом они идут в тот проклятый подвал с газонокосилками и джутовыми мешками, где предаются любви или как еще назвать то, чем они там занимаются.

Сейчас я способен разговаривать только с К. Он однажды попытался выяснить, что же на самом деле привлекло ее в мальчике: сначала она отказывалась отвечать, потом прислала ему небольшое стихотворение. Оно начиналось так:

Не понимаю как я могла сойти с ума
От человека которого вообще-то презираю
Он душу мне прожег насквозь
Какой же тайный знак его тела
Стал той искрой
Контуры его спины
Внезапное желание к коже прикоснуться
Биение жилки у него на шее
Желание впиться в нее зубами
Дать волю языку спуститься вдоль
Запретной для меня спины
Запретной для меня спины...

Она послала стихотворение по почте. Но по крайней мере не вымазала бумагу экскрементами, как это делал мальчик со своими записками.

Что это за любовь.

Короче: проще дело от этого не становится. Но кто сказал, что все должно быть просто.

Через год после убийства дочери К. попросил разрешения навестить мальчика.

Руководство клиники провело с К. долгую предварительную беседу; думаю, они слышали о бессильной, деструктивной ярости, владевшей К. первое время после убийства. Не говоря уж о постоянных угрозах разрезать мальчика на куски, еще раз.

К., очевидно, сумел убедить их. На их месте я бы не был так уверен.

Первая встреча прошла практически в полном молчании. Мальчик сидел, как обычно обернув голову простыней. К. купил ему мороженое, итальянское, как оно там называется — "Кассата". Он протянул мальчику пачку, тот пощупал ее рукой, понял, что это такое, снял с головы простыню и, наклонившись вперед, принялся есть. К. принес с собой ложку.

Потом мальчик опять натянул на голову простыню и застыл в ожидании — он не ждал ничего.

Так было в первый раз.

Чудовищно видеть человека, который хочет умереть, но не может. Наверное, лишь тогда различаешь, что́ есть человек. Когда он у предела.

Не знаю, куда подевались монстры, — в моем детстве мир кишел ими. А сейчас их больше нет.

Летние месяцы в 40-х годах я проводил у моей тетки в Браттбю недалеко от Умео. Там была лечебница, гигантский приют для деревенских сумасшедших, монстров и уродов. Она называлась Браттбюгорд, мой дядя работал на скотном дворе. Мы торчали там постоянно. Нам была предоставлена полная свобода.

Лучше всего я запомнил человека-крокодила, его кожа состояла из твердых, как кремень, пластинок, покрывавших тело океаном раскрошенных льдинок; мы трогали его, испытывая дикий страх, поскольку он был сыном учительницы из Лёвонгера, знакомой моей матери. Он был единственный сын, как и я, и вот превратился в человека-крокодила, и мне говорили, что и я вполне мог бы стать таким же. Это всего лишь случайность. Он держал в руках резинку, которую непрерывно растягивал. Мы касались его кожи, и тогда он взглядывал на нас, и я понимал, насколько реальна была такая возможность, я видел это в его глазах, когда он глядел на меня. Он не мог говорить, но его губы шевелились, и я понял.

В той же палате лежали два паренька с головами, раздутыми водянкой, они беспомощно глазели на нас и пронзительно, так, что душа леденела, кричали, если мы подходили поближе. Дотронуться до них не удавалось, они были похожи на кошек, прижимались к спинке кровати и орали. И еще там был один со слоновой болезнью, и много людей с огромными челюстями и слюнявыми ртами, и человек, которого следовало остерегаться, и человек, родившийся без мозга, и горбун, полный сирота, потому и попавший сюда, — его считали гением; большинство из них были милыми, а некоторые — буйными.

Но мир был полон ими.

А потом монстры исчезли. Можно, конечно, сказать и так: улучшение медицинских условий, более точные анализы и методы диагностики, анализы околоплодных вод, оперативные возможности, а также более совершенные и более закрытые условия содержания сделали их невидимыми.

Их спрятали внутри нас, вот как можно сказать.

Ночью, очевидно, шел снег. Светает, лед покрыт тонким слоем выпавшего недавно снега.

Какие слова мы теперь никогда не пишем во время наших ужасных бессонных ночей? Милосердие?

В мае 1922 года началась их артистическая карьера. Это произошло через два месяца после того, как их лица отмыли и они стали видимыми.

Сегодня никто точно не знает, какими аттракционами увлекались в этом шапито, но специализировалось оно на демонстрации монстров. Тем не менее позднее двое из цирковых артистов получили определенную известность: они снялись в фильме "Freaks"[1]. Это был получеловек Джонни Экк, который считался отличным дирижером — его вносили на подносе с дирижерской палочкой в руке, — и так называемый человек-собака Адриан Джеффичефф.

В остальном же о коллегах Пинона известно очень мало. Биография Шайдлера по этому поводу весьма немногословна, и социальная среда обозначена только пунктиром. Там работала женщина-змея Барбара Таккер, я видел ее фотографии, это тот же феномен, что и человек-крокодил из Браттбюгорда, то есть грубая потрескавшаяся змеиная кожа.

Возили артистов в двух жилых вагончиках. Каждому полагалась собственная комната. Шайдлер, единолично владевший шапито, был, похоже, добродушным толстяком, который считал себя "a family father"[2], если верить его книге.

Однако у него были любимчики.

Представления проходили по устоявшейся схеме. Каждому монстру отводилось пять–десять минут для выступления, включая презентацию и своего рода номера, дабы зрители убедились, что перед ними не безжизненный манекен.

Номер Пинона состоял в следующем.

Сначала импресарио обращался к публике с коротким рассказом о том, как он нашел Пинона; он излагал историю Паскаля, говорил о его жизни в руднике, о том, как он, Шайдлер, сумел спуститься в рудник, несмотря на сопротивление мексиканцев и грозные, прямо-таки библейские, знамения (альбатрос, круживший над входом в рудник). Пинон был узником, он сидел в темном сыром закутке, так как суеверные аборигены думали, будто он сын Сатаны и потому его можно держать в качестве заложника. Тем не менее Шайдлер проник в рудник и с помощью разных ухищрений и подкупа спас Пинона, выведя его к свету и свободе. Когда они вышли из рудника, в небе все еще кружил альбатрос, словно он был знаком Сатаны. И Шайдлер взял Пинона с собой, отмыл его и наложил мазь на жуткие раны, оставленные железной цепью (иногда он говорил "веревкой", эти различные версии прослеживаются по газетным отчетам). Рассказ всегда заканчивался тем, как отреагировала жена Пинона, миновав границу США и очутившись на свободе: ее глаза наполнились слезами благодарности.

Эта краткая речь обычно занимала пять минут, в ответ раздавались громкие аплодисменты. После чего Шайдлер отдергивал занавесочку — и там сидел Пинон.

С минуту он сидел совершенно неподвижно, потом поворачивался, чтобы показать голову в профиль. И вынимал губную гармонику: Шайдлер научил его играть несложный псалом. Закончив, он убирал гармонику в карман, вставал и довольно красивым басом исполнял "Happy Birthday"[3]. Было хорошо видно, что губы его жены тоже шевелились, но звуков она не издавала. Казалось, ей тоже хочется петь, она шевелила гу-

1. "Уроды" (*англ.*).
2. Отец семейства (*англ.*).
3. "Счастливого дня рождения" (*англ.*).

бами и во время исполнения псалма (это, кстати, был "Все ближе Господь к тебе").

В газетах писали, что оба были глубоко верующими. Такой вывод сделали, очевидно, потому, что Пинон играл псалом, а жена пыталась подпевать.

"Наверное, мне не следовало бы удивляться твоему отношению к моему плану. Ведь, насколько я понимаю, тебе не нравились и мои новеллы. Если трудно любить, сразу видно, серьезен человек или нет" (Рут Б., 22.4.1942).

Он любил мороженое "Кассата". Каждый раз, навещая мальчика, К. покупал ему пачку.

И лицо мальчика, казалось, начинало светиться; склонив голову, он молча ел мороженое, и его лицо сияло от радости, потом счастье в глазах медленно гасло, исчезало и под конец сменялось привычным для них выражением: очень спокойным, хорошо контролируемым, глубоким страхом.

Он не желал говорить о том, что произошло. Он говорил, если вообще говорил, только о прочитанных им книгах и о спорте.

Однажды я послал ему пару моих собственных книг; К. взял их и передал мальчику. Когда К. пришел к нему в следующий раз, тот сидел, держа в руках одну из них — сборник рассказов начала 70-х годов. Книга была раскрыта на определенной странице, и мальчик молча велел К. прочитать ее.

Это был рассказ о человеке, застрелившем Руди Дучке. Его звали Йозеф Бахман — осужденный на шесть лет тюрьмы, он в конце концов покончил с собой.

Как раз на эту страницу и указывал мальчик. Бахман взял пластиковый пакет, надел его на голову и сумел-таки, несмотря на то что его тело, по всей видимости, билось в жестоких судорогах, свести счеты с жизнью — он задохнулся. Абзац, на который указал мальчик и который он на полях отметил жирными, отчаянными чертами, звучит так: "Пластик, словно тонкая ледяная корка, покрывал его лицо. Под ней находился господин Бахман и его теперь закончившаяся жизнь, ибо он настолько умело затянул пакет, что вредный воздух не смог взорвать эту корку и наполнить его тело своим смертельным ядом".

К. не понял, что мальчик имеет в виду. Тот лишь молча тыкал пальцем в страницу, но под конец все-таки выговорил:

— Помоги мне, пожалуйста. Я не решаюсь сам.

К., естественно, отказался.

У мальчика было довольно тонкое приятное лицо с чуть раскосыми глазами и детскими, красиво очерченными губами. После его смерти нам с К. разрешили прочитать его досье. На осмотре перед отправкой в армию он показал 142 IQ и произвел на всех впечатление милого, симпатичного человека. Отслужил 15 месяцев в Умео, имел отличные оценки, был хорошим товарищем; через два месяца после окончания службы он убил первую девочку.

Без всякой причины. Он ничего не мог объяснить.

Он выглядел совсем ребенком. Со своими светлыми коротко остриженными волосами, аккуратно зачесанными набок, он выглядел совсем ребенком, совершенно невинным, и тем не менее убил двух маленьких девочек, одна из которых была дочерью моих лучших друзей.

Без всякой причины. Хотя... как-то он сказал К., очень непосредственно, почти задумчиво:

— Она так мне доверяла. Поэтому и пришлось.

Кризис в их отношениях наступил во время третьего турне по Западному побережью. Тогда-то она и заплакала впервые после освобождения. История началась в июле 1926 года и продолжалась до августа того же года.

В августе она закончилась.

В шапито работала женщина, которую Шайдлер в своей книге называет Анн. На самом деле ее звали как-то по-другому, но это не имеет никакого значения. В отличие от остальных она была совершенно нормальной; в книге о ней упоминается как о "полноватой" женщине лет сорока с "невыразительной" внешностью. К моменту, когда все это случилось, она проработала в шапито два года.

Она влюбилась в Пинона. А он в нее.

Все началось, когда они сидели на лесенке жилого вагончика после представления и болтали; Пинон на удивление быстро научился говорить на ломаном английском. К тому же говорила больше Анн. А он сидел, глядя на нее, и кивал. Смотрел и кивал.

Первые признаки того, что что-то происходит, появились приблизительно через месяц. Дело в том, что он вновь стал прикрывать голову жены куском ткани. Получалось вроде тюрбана, который выглядел довольно странно, но, разумеется, не столь нелепо, как Пинон выглядел без него. Вообще-то в этом тюрбане он выглядел поразительно нормально, почти обыденно. Однако во время представлений все стали замечать, что происходит нечто необычное — Мария больше ему не подпевала. Она больше не шевелила губами, а в ее глазах застыло выражение, которое с трудом поддавалось истолкованию: то ли оцепенение, то ли страх.

В одно прекрасное утро Пинон исчез из вагончика. Постель была пуста. Поиски Анн в другом вагончике тоже не дали результата — она тоже исчезла.

Их не было две недели. И вдруг Пинон вернулся, голова его была обернута куском ткани; но рассказывать о том, что произошло, он отказался.

Он бросил лишь два слова: я заблудился.

Анн исчезла, кстати, навсегда.

Представления начинались обычно в шесть вечера, и потому Пинон, как правило, просыпался поздно. После двухнедельной отлучки его словно подменили. Теперь он вставал очень рано, садился на лесенку вагончика и, держась обеими руками за голову, медленно раскачивался взад и вперед. Было слышно, как он тихонько постанывает, точно пытаясь скрыть невыносимую боль.

Сначала он не снимал повязки с головы жены. Но на третий день после возвращения внезапно сорвал тряпку, словно бы в порыве гнева, и, не помня себя от бешенства, бросился между вагончиками, указывая на

Марию и выкрикивая испанские слова, но таким гортанным голосом, что никто ничего не понял.

И все время показывал вверх, словно бы в порыве гнева.

Потом он успокоился. Его накормили его любимым фасолевым супом и постарались успокоить. На два дня он был освобожден от участия в представлениях. Гнев улетучился, Пинон сидел скрючившись и молчал, точно прислушивался к чему-то. Его то и дело спрашивали, что случилось и чем ему помочь.

Наконец у него вырвалось несколько английских слов. Он сказал: она поет злобную песню.

Кусок ткани больше не прикрывал голову жены. Ее глаза были закрыты, а губы плотно сжаты.

Она не хотела прощать. Вот и все.

Она пела, и это было как в руднике, только, может, хуже. Это причиняло боль. Пинон не желал говорить, каким образом она пела, очевидно, это был своего рода атональный стон или плач, но она пела и пела, и Пинон не мог освободиться от этого пения, не мог двигаться, работать и думать.

Потом, спустя много времени, стало известно, что же произошло.

Он влюбился, они решили убежать вместе и изменить свою жизнь, чтобы никогда больше не испытывать унижений. Они собирались завести детей, и Анн рассказала об одной дальней ферме, которую можно было бы купить. И они сбежали. Сперва Мария пела тихо, почти неслышно, или просто растерянно, потом печально, надолго умолкая, точно она умерла. А затем ее, казалось, охватило бешенство, и она запела злобно.

Он терпел это злобное пение восемь дней. Почти не спал, Анн в отчаянии предложила отрезать Марию. Но он отказался. Тогда Анн предложила зашить ей рот, но разве бы это помогло, ведь она пела не ртом. А песня делалась все невыносимее, и как-то утром Пинон, будто в панике, бросил Анн и отправился в шапито.

И вот он вернулся. А она не перестает петь свою злобную песню.

Она не прощает, сказал он. *Она поет злобную песню.*

Через восемь дней после возвращения Пинона в шапито случилось то, что положило конец этой истории.

Он опять исчез. Пропал бесследно. На этот раз все почуяли неладное, однако никто не верил, что он исчез, чтобы навестить женщину, которую здесь называют "Анн". Предчувствуя недоброе, вся труппа принялась прочесывать окрестности — они в то время находились в маленьком местечке к северу от Лос-Анджелеса, в десяти километрах к югу от Санта-Барбары. Поискали вдоль побережья, но ничего не обнаружили. Тогда повернули в другую сторону и начали искать в каньонах, тянущихся прямо на восток к горам, в желтых, выжженных каньонах, заросших жухлым кустарником, и через какое-то время напали на след. Один паренек видел, как странный двухголовый монстр, пошатываясь, спускался в глубокую расселину в восточном направлении, где и растворился. Именно там и продолжили поиск.

Его нашли через полчаса; он лежал на боку в ручье на дне расселины.

Пинон был без сознания, голова опущена в воду. Скорее всего, он собирался покончить с собой. Жена его была, однако, в сознании, в глазах бился страх, губы беспокойно шевелились; когда она увидела спасите-

лей, на ее лице появилось выражение невыразимого облегчения, ужаса и свободы.

Он пытался покончить с собой, признался Пинон позднее. Поняв это, она перестала петь свою злобную песню. После чего он уже не решился осуществить задуманное. Но поворачивать назад было слишком поздно. Он совершенно выбился из сил и когда наклонился, чтобы попить, упал и ушибся.

Она звала его не переставая, но у него не было сил ответить.

Четыре человека несли его обратно.

Они проспали целые сутки; потом вышли, как обычно, из вагончика и уселись на лесенке.

Все было как обычно. Артисты расселись кружком на земле вокруг Пинона и Марии, и им стало ясно, что все позади. Глаза у Марии были снова открыты, она водила ими из стороны в сторону, и губы уже не были плотно сжаты, скорее даже на ее губах блуждала легкая, застенчивая, чуть ли не извиняющаяся улыбка. И тогда человек-собака Джеффичефф по просьбе окружающих подошел к ней поближе и погладил ее по щеке птичьим пером; ей это очень нравилось, это знали все. Иногда Пинон сам щекотал ее щеку птичьим пером, а сейчас им хотелось показать ей свою общую радость.

Итак, человек-собака получил задание. Он осторожно погладил ее по щеке пером, и все увидели, как ее глаза наполнились слезами.

В первый раз.

— Она больше не поет злобную песню, — произнес наконец Пинон.

И все зааплодировали. Человек-собака гладил Марию по щеке, медленно и осторожно. Пинон сидел на лесенке, Мария плакала от прикосновения пера, человек-собака расположился рядом, утреннее солнце светило со стороны Тихого океана, они вновь соединились.

Январь, легкий снежок.

У меня больше нет известий от К. и его жены. Ни единого письма. Похоже, они считают, что любовь и смерть неразрывны. В данный момент они мне довольно противны.

Отчетливо вижу перед собой мальчика: он сидит на кровати, обернув голову простыней, погруженный в свой непереносимый стыд. И вот ему вкладывают в ладонь пачку мороженого, холодного, как кусочек льда. Ложку, тарелку.

Сняв простыню, он наклоняется и ест.

Иногда из этого угасания доносились слова; забывшись, он начинал болтать, непринужденно, чуть ли не весело. Однажды он заговорил о своем брате. За пять лет до его собственного появления на свет его мать родила сына, который через неделю умер. Младенца все же крестили, дав ему имя Кристиан, и похоронили. И тут мальчик с маниакальным упрямством принялся повторять то, что я сперва посчитал за шутку, но не до конца. А именно — что это он сам умер, а младенец, родившийся пятью годами позже, его брат. Казалось, будто он искал — метафорически, но с отчаянной убежденностью — подтверждения того, что сам он мертв, не существует, находится где-то в другом месте, а его брат жив.

Возникали у него другие, схожие мотивы, причем совершенно неожиданно. Например, он говорил, что его зовут Пинч и в 1945 году его

пытали русские. И все время он хотел сказать одно: меня здесь нет. Это — не я.

Меня здесь нет.

Последние полгода, до того как ему удалось покончить с собой, его словно бы окружали движущиеся картинки или жизни, которые были вне его самого. Он существовал во всех этих картинках, на самом деле только там он и существовал. Одни ему нравились. Другие он ненавидел.

Но ему было абсолютно необходимо отрицать существование центра. Внутри, под простыней, обитал лишь невыносимый страх.

Лучше общность с теми, кто проклят. В дневнике обрывочное предложение: "Я умираю счастливой, поскольку я — единственный человек, который знает, что его любили ради него самого" (Джулиана Пастрана).

Джулиана Пастрана — знаменитая женщина-монстр, которая разъезжала в последний год XIX столетия по всей Европе. Небольшого росточка, вполне прилично сложена, но вся покрыта длинным черным мехом. Все тело в волосах. Голова была, однако, нелепо деформирована — лицо грубое, похожее на обезьянью морду, с чудовищно выпяченными губами и большим мясистым горильим носом. Щеки тоже почти сплошь заросли волосами. Она говорила на английском, немецком и французском языках, а во время представлений играла на фортепьяно короткие менуэты.

В двадцать семь лет она вышла замуж за своего импресарио, руководителя турне; их связывала страстная любовь, и, когда она спустя год после замужества поняла, что забеременела, счастью ее не было границ.

Она родила, но через две недели и мать и младенец скончались по причинам, не выясненным до сего дня. Именно в последнюю неделю жизни, сознавая, что умирает, Джулиана сказала кому-то: "Я умираю счастливой, поскольку я — единственный человек, который знает, что его любили ради него самого". Под словами "ради него самого" она, очевидно, имела в виду: не ради внешности.

После смерти матери и младенца ее муж велел забальзамировать их тела. И десятки лет разъезжал по миру, демонстрируя жену и дочь публике — они стояли в стеклянном шкафу. Потом этот шкаф надолго пропал, но в 1960-х годах был обнаружен на чердаке одного дома в Осло.

Внимание сразу привлекает ребенок — красивая, хорошо сложенная девочка, ни малейших признаков уродства. Бальзамирование было проведено очень тщательно, так и подмывает сказать — с любовью. На Джулиане элегантное платье, короткое, чтобы обнажить ноги, и два банта в волосах.

Она умерла счастливой. Заметно ли это до сих пор? Возможно. Но иногда не следует задавать слишком много вопросов о любви.

Пинон: однажды он заявил, что у него родился ребенок, которого ему, Пинону, тем не менее так и не довелось увидеть.

Он заявил это Хелен Портич в один из последних месяцев жизни. Мария в это время лежала с закрытыми глазами, делая вид, будто спит. Но было видно, как подрагивают ее веки, словно она слышала или понимала.

Никакого намека на то, кто мать. Я написал несколько писем, где задавал этот вопрос. Ответа я не получил.

"Подрагивают веки". Но ведь она простила его раз и навсегда?

Хотя все равно может быть больно.

Нет, память меня подвела. “Лучше с теми, кто осужден, чем с теми, кто оправдан”.

Эту историю я впервые услышал в начале 70-х годов в Лос-Анджелесе от молодой студентки по имени Кэтрин. У нее была бабушка, которую звали Хелен Портич.

Она мне больше не пишет. Я даже не знаю, жива ли она. Хотя ей бы следовало ответить на вопрос о ребенке.

Возможно, она не желает, чтобы кто-нибудь ворошил жизнь Пинона. В одном из первых своих писем она рассказывает эпизод, который позволяет сделать такой вывод. Эпизод, произошедший с Пиноном после его смерти.

После того как все было кончено, после бессонной ночи, проведенной рядом с умирающим, Хелен отправилась домой и проспала почти целые сутки, ибо, несмотря ни на что, испытала сильное потрясение. Затем, вернувшись на работу в больницу Оранж Каунти, поинтересовалась, что сделали с телом.

Сначала никто не мог — или не хотел — ничего говорить. И тогда ей в душу стал закрадываться страх, а может, возмущение. Сперва она попросила разрешить ей выяснить этот вопрос, потом стала требовать и в конце концов начала кричать. Она совершенно потеряла самообладание, сама не зная почему. Хотя, возможно, потому, что ей было страшно.

Тогда больничное начальство, в страшном раздражении, разрешило Хелен осмотреть тело. После долгих поисков она нашла патологоанатомическое отделение, где находилось тело. Посередине стола она вновь увидела Паскаля Пинона и его жену Марию.

Но там было не все тело, а только голова. Отпиленная голова Пинона покоилась на плоском блюде, было очевидно, что сделали это в научных целях, например, чтобы использовать ее при обучении студентов. Пинон и его жена и после смерти должны были стать объектом наблюдения. Но теперь уже для потомков.

Хелен Портич опустилась на стул, испытывая, по ее собственному выражению, “глубокую меланхолию”. Но потом в ней проснулся гнев. Она отправилась к начальству и заявила, что почти целый год ухаживала за Пиноном, его судьба была ей небезразлична, и она, Хелен, никому не собирается позволять унижать его после смерти. Она пригрозила, в случае если Пинона и его жену не похоронят по-человечески, обратиться к общественности, устроить скандал, который серьезно повредит репутации больницы.

Разгорелась бурная перепалка. Но спустя всего пару часов ей сообщили, что Пинона и его жену похоронят целиком.

Хелен к тому времени пребывала в состоянии сильнейшего возмущения, она даже разрыдалась, но потом, овладев собой, положила голову Пинона в корзинку для бумаг и пошла в анатомичку, где лежало его тело. От возмущения она забыла прихватить с собой нужные рабочие материалы, а использовать больничные не захотела и возвращаться обратно не стала, чтобы не выпускать из рук голову Пинона. Поэтому она достала из своей сумочки обыкновенную иголку и то, что, наверное, соответствует слову “суровая нитка” — она пишет “a bear cotton thread”. И она про-

сто-напросто вдела эту нить в ушко иглы и, подавив бушевавший в ней гнев, приступила к работе.

Приладив на место голову Пинона и Марии, она начала шить.

Работа заняла почти полчаса. Медленно, с большим трудом Хелен пришила голову к телу с помощью штопальной иглы, согнутой крюком. Наконец она решила, что все получилось удачно. По шее шел зигзагообразный шов, что выглядело довольно странно, но голова сидела прочно, а когда Хелен обмотала шею бинтом, то вообще ничего не стало видно.

Пинон лежал на столе, и вид у него был как прежде.

В дверях анатомички время от времени появлялся кто-нибудь из больничного персонала. Одни хотели что-то обсудить с ней, другие пытались образумить ее, но она упрямо молчала, продолжая свое занятие.

В конце концов все поняли, что она не шутит.

Закончив, она подкатила к столу каталку и перетащила на нее тело Пинона. После чего просторожила всю ночь. А на следующее утро состоялись, как и было договорено, тайные похороны. На них присутствовала только Хелен. По ее собственному желанию.

После краткой поминальной молитвы пастора Хелен — в память Паскаля и Марии Пинон — спела две песни, которые они обычно исполняли на представлениях, он — голосом, она — немым шевелением губ. Итак, она спела, без всякого аккомпанемента, “Все ближе Господь к тебе” и “Happy Birthday”.

Хелен не вдается в подробности того, какими мотивами она руководствовалась, какие испытывала чувства и почему вообще сделала это. Зато подробно описывает технические мелочи, начиная от типа нитки, которой она пользовалась, до деталей похоронной церемонии. А о мотивах — ничего.

А мне вот кажется, что она поступила так потому, что сделала выбор.

Тайные похороны.

Через неделю ее уволили из больницы. Для Хелен это не стало неожиданностью.

V

Песня о низверженном ангеле

Что увидел мальчик в этих двух девчушках, что? Что вселило в него такой страх, что он был вынужден их убить?

В психбольнице он на клочках бумаги писал странные записки: сперва писал, потом измазывал экскрементами и бросал на пол.

Их собирали. Регистрировали и анализировали. Но ответа они не давали. “Низверженный ангел” — стояло там. “Все-таки я еще своего рода человек” — стояло там.

Своего рода.

За восемь месяцев до смерти мальчика К. навестил его. Обычно мальчик либо лежал на кровати, натянув простыню на голову, либо сидел, обмотав голову простыней. Он стягивал простыню, только когда ел “Кассату”.

На этот раз все было по-другому.

Он лежал на кровати в одних трусах, откинув простыню, и глядел в потолок. Костяшки пальцев на одной руке кровоточили, на полу валялся рваный пластиковый пакет из магазина "Консум". Мальчик пытался задушить себя, но не сумел. Он не сумел достаточно долго продержать голову в затянутом пакете, хотя боролся как зверь, до крови разбил костяшки пальцев на правой руке о стену. Но не вынес и сорвал пакет с головы.

Сорвав пакет, он завыл. К нему тотчас примчался персонал. Он лишь сказал, что хочет повидать К. И тогда они позвонили К.

Откуда он достал пакет, поинтересовался К. Откуда у мальчика возникла такая идея, в свою очередь спросили К. Тот ответил, что не знает.

Естественно, мне было не по себе. Внезапно свалившаяся ответственность, можно было бы сказать. А может, следовало бы почаще попадать в ситуации, заставляющие испытывать это ощущение.

К., выпроводив всех из палаты, спросил мальчика, о чем тот хотел с ним поговорить. Но мальчик, судя по всему, вообще ни о чем не хотел говорить, он лишь попросил К. подержать его за руку. И К. просидел с ним всю ночь, потому что мальчику было очень страшно и он не отпускал К.

Стало быть, К. сидел на кровати, мальчик лежал, положив голову на колени К., и К. гладил его по голове, пока тот не заснул. Мальчик произнес всего одну фразу: "Разве справедливо, что это выпало на мою долю?"

Впрочем, К. точно не помнит. Может быть, мальчик сказал: "Разве справедливо, что именно я оказался избранным?"

Как будто кто-то заставил его убить двух малышек. Возможно, что он был более серьезно болен, чем казалось.

В отношении К. к мальчику в этот последний год было что-то, что не поддается пониманию.

Сначала эта чудовищная ненависть. А потом — словно мальчик сделался его сыном или точно он действительно полюбил его.

К. рассказал, что он просидел всю ночь на кровати мальчика, держа его голову на своих коленях. Простыня больше не была нужна. К. сидел, гладя мальчика по голове, осторожно, как будто его ладонь превратилась в птичье перо. В полночь дыхание мальчика выровнялось, успокоилось, он наконец заснул. Комната была погружена в темноту, свет от парковых фонарей бил в потолок, но мальчик спокойно спал, светлые волосы всклокочены, а губы чуть приоткрыты в легкой, почти детской улыбке.

Проснувшись, он сказал, что ему снилась кошка.

Все это очень странно. Но иногда мне кажется, что К. любил мальчика сильнее, чем собственную убитую дочь.

Мальчик проспал до пяти утра.

На улице прошел дождь. В парке больницы Уллерокер не было ни души. У К. оказались с собой больничные ключи. Он отпер дверь, принес свитер, плащ и резиновые сапоги, и они отправились на долгую прогулку под рассветным дождиком.

Они держались за руки, но не произносили ни слова. Мальчик впервые вышел за стены больницы или, вернее, — впервые решился на это. Он ступал с опаской, словно шел по тонкому льду. И почти все время

смотрел на К., робко, но дружелюбно, словно бы наконец все-таки простил его.

Что мы видим, когда глядим сами на себя? Но эти мгновения так коротки. Почти ничего не успеть.

А потом забываешь.

Я вглядываюсь в фотографии Пинона, внимательно, точно тайна вот-вот раскроется. Он носил свою жену всю жизнь так, как шахтер носит на лбу свою лампочку. Но какой свет падал из этой огромной лампочки?

Падал прямо в нас.

К. показал мне несколько коротких, с маниакальным упорством нацарапанных записок, обнаруженных в палате мальчика, записок, найденных только после его смерти.

Короткие зашифрованные сообщения. Непонятно, были ли то его собственные слова, или он вычитал их в какой-то книге. Мне, по крайней мере, они были незнакомы. "Кто-то должен быть звеном между светом и тьмой". "Только виновные заслуживают оправдания".

Самым примечательным был толстый блокнот, страниц двести формата А-5, исписанный полностью. Хотя он писал лишь одно-единственное имя, строчка за строчкой, страница за страницей, десятки тысяч раз.

Тереза. Тереза. Тереза. Тереза. Маниакально, час за часом, строчки-четки, состоящие из одного имени, на это же надо было, наверное, потратить целую вечность.

К. спросил меня, не знаю ли я, кто такая эта Тереза. Я ответил, что не знаю, не знаю никакой Терезы. Возможно, так оно и есть. Я не знал, кого имел в виду мальчик, если только не искать метафизических ответов, чего я делать не собираюсь. Но в таком случае это, возможно, Тереза де Хесус, святая всех отверженных, и тогда мальчик действительно в глубинном мраке своего страха сотворил именно четки.

Эти короткие, измазанные нечистотами, записки.

"Я же все-таки по-прежнему своего рода человек".

Сегодня утром над озером опять стелется туман. Лед сошел.

Я тщательно обследую фикус. Мертвые хорошо умеют маскировать свою жизнь: листьев до сих пор нет.

О Пиноне одно время писали очень часто. Потом совсем редко. В последние годы его жизни.

В некоторых статьях рассказывается о секте.

Осенью 1930 года в Лос-Анджелес приехал на гастроли человек с деформированной внешностью, то есть монстр, по имени Антон Лави, а в октябре того же года он ушел из шапито. Пинон работал в другом шапито — сегодня трудно подсчитать, сколько существовало разъездных групп с монстрами в то время, но кульминация совершенно очевидно пришлась на 20-е годы. Однако, без сомнения, Лави и Пинон каким-то образом познакомились.

Через два месяца после приезда в Лос-Анджелес Лави основал секту, религиозную секту сатанистов.

У Лави была опухоль, покрывавшая всю правую половину лица. Она начиналась на лбу, огибая глаз, ответвлялась на висок, спускалась на ще-

ку и заканчивалась на челюсти. Иссиня-черного цвета опухоль эта выдавалась сантиметров на пять. Можно сказать так: опухоль была громадной, но вовсе не чудовищной — родимое пятно, гигантская иссиня-черная жаба, присосавшаяся когда-то к его щеке и испортившая ему жизнь, но не сделавшая его настоящим монстром.

Не существовало ни единого названия, которое было бы применимо к Лави. Ни человек-змея, ни человек-собака, ни человек-волк, ни человек-крокодил — никто. Он был никем и обитал в серой зоне между человеком и монстром, в лучшем случае весьма посредственным монстром, который годился разве что на то, чтобы предварять появление настоящих, интересных, подлинных уродов. Своеобразная разминка перед явлением истинных звезд.

Он основал свой приход в Уэствуде, Лос-Анджелес, но через год переехал с братией в Сан-Франциско, где его "Сатанинская церковь Сан-Франциско" приобрела широкую известность. Секта очень скоро обросла слухами, но факты с течением времени отчасти потеряли свою сенсационность.

Все было очень просто. Секта исповедовала религию сатанизма, а ее члены были сплошь люди с физическими уродствами. Короче говоря, церковь монстров, и больше ничего, состоявшая из людей с теми или иными физическими уродствами. Можно сказать и так: приход, состоявший из людей, чья принадлежность к человечеству была поставлена под вопрос.

Сатана, отверженный и низринутый с небес ангел, стал Богом секты. Ему-то они и молились, исповедуя гуманистическую, а не богословскую веру. Если у христиан в центре был Бог, то у сатанистов — человек. Если Божий Сын вознесся на небо, то Сатана был низвергнут сюда, к людям, где он и остался. Таким образом, он сделался ангелом отверженных, Богом отринутых, Богом неудачников, отвергнутых, несовершенных, то есть Богом людей. Ему они молились, исповедуя гуманистическую веру. Поставленные перед вопросом, что есть человек, вопросом, которым каждый член секты задавался неоднократно, — поставленные перед этим вопросом, они использовали — или проверяли — самих себя в качестве ответа.

Вере в нормального, хорошо сложенного, не отталкивающего человека они противопоставляли самих себя. Уродство, отверженность стали пробным камнем, доказательством того, на чьей стороне стоял человек. И поскольку Бог однажды отверг Сатану, монстры отвергли Бога.

Все было очень просто, быть может слишком просто. Но для них истина была очевидна: они считали себя первейшими защитниками человека. Они находились у последнего предела человека и там, у этого предела, разбили лагерь.

Пинон примкнул к секте весной 1931 года.

Сохранилась одна-единственная фотография, отображающая деятельность секты; кстати, она приведена и в книге "A Monster's Life"

Это групповая фотография.

Прихожане сфотографированы в помещении, где проводились черные мессы. Помещение, судя по всему, весьма непритязательное — то ли подвал, то ли гараж, видны голые стены, на которых висят знаки, длинный стол и стулья, стоящие к объективу спинками. С задней стены свисают покрывала (черные?), а на столе вырисовываются классические ат-

рибуты черной мессы: два подсвечника с черными горящими свечами, круглая чаша, два небрежно скрещенных ножа, несколько непонятно каких книг.

За столом участники мессы.

В подписи под фотографией указаны имена. Подпись носит несколько комичный оттенок, поскольку автора, очевидно, больше интересовали уродства участников, нежели их вера. Указаны сестры Эдит и Хелен Моррис (59 и 48 см соответственно) — но для большинства приводятся лишь их артистические имена. Там есть мисс Пингвин, у нее поразительно короткие ноги, всего один дециметр, и плоские ступни, лишенные больших пальцев; мисс Сюзи (женщина с крокодиловой кожей). Женщина-слон, три обезьяноподобных человека, женщина с волосатым телом. На столе красуется Адриан Джеффичефф, человек-собака.

В группе присутствует и Антон Лави, основатель секты, со своей неизменной опухолью на одной стороне лица.

На фотографии всего шестнадцать человек. Никто не улыбается. Они судорожно держат друг друга под руки, словно что-то должно случиться, словно они ждут нападения врага, словно они только что приготовились, словно они все равно решили держаться вместе. Все смотрят прямо в камеру.

Крайний слева — Паскаль Пинон. Его громадная раздвоенная голова поднята, он несет свою жену, как шахтерскую лампочку, нет, я ошибся, внезапно я вижу, что он держит свою голову и свою жену совершенно по-иному.

Как шлем? Готов к борьбе.

Мне все чаще снится Пинон. Сейчас он стал само собой разумеющейся частью ночи, почти привычной частью. Повторяются все старые сны, я, как всегда, не способен их растолковать, но Пинон присутствует обязательно. Это новый элемент. Он начинает играть все более важную роль.

Во сне все происходящее рационально, вполне объяснимо. Во сне необъяснимое сочетается с необъяснимым, и я понимаю. Никаких странностей. Все поддается толкованию.

Сегодня ночью видел сон: сидел с Пиноном и его женой на берегу моря, у самой кромки воды. Мы развели костер. Я держал его за руку, а Мария, как обычно, пела, не злобно, а печально, беззвучно и отчетливо, как пела всегда, и мы понимали ее пение и любили его.

И она знала, что мы понимаем.

И тем не менее мы находились в моем старом сне. Старом сне, раньше всегда пугавшем меня, сне о вечности, потому что раньше я всегда был наедине с вечностью и это меня пугало, не то что сейчас, когда меня окружала их самоочевидная любовь. Небо было, как в том старом сне, совсем темное, и я знал, что где-то там вдали высится гора, десять километров длиной, десять километров шириной и десять километров высотой. И каждую тысячу лет туда прилетает птица и точит о гору свой клюв. И когда гора срыта, проходит лишь секунда вечности.

Прежде я был совсем один в этом сне. Какая невероятная разница по сравнению с теперешним временем, когда я узнал Пинона и его жену. Они меня научили всему, и во сне я все понимал. Я сидел, держа Пинона за руку, Мария пела покойно и беззвучно, и, по-моему, я был почти счастлив.

Дневник: "Agape: не нуждаться в том, чтобы заслуживать прощения".

К концу жизни они обрели громадное утешение в этой вере. Словно бы круг замкнулся; то, чего они не понимали, стало чуточку яснее, неестественное исчезло, запутанное прояснилось.

Мне так кажется. Я ведь не знаю точно. Но такой ночью, как эта, когда Паскаль и Мария сидят со мной у самой кромки моря и Мария поет, кое-чему учишься. Нельзя этого ни недооценивать, ни презирать.

Раньше, когда их считали детьми Сатаны, в то время, когда они сидели в темноте и чувствовали только, как врезаются в тело веревки, чувствовали влагу и боль от ран, они ведь не понимали, что их страдания имеют свой смысл. Их исключили из любви, свергли с небес любви. Их страдания были абсолютно бессмысленными. Бессмысленность страдания и причиняла самую сильную боль. Теперь они осознали, что Бог раскололся пополам, что любовь — это одновременно и жизнь, и смерть, а сами они представляют жизнь. Теперь они поняли, что их страдания — это жертва тому богу, которого они выбрали, не свергнутому Сатане, а Человеку. И что боль была необходима именно поэтому.

Итак, в конце концов они пришли к примирению. Существовали небеса и для низвергнутых с небес, там-то Пинон с женой сейчас и пребывали, получив задание чрезвычайной важности. Их поставили сторожить последний предел земли и человека, чтобы защитить тех, кто оказался внизу. Они поняли, что на самом деле монстры созданы в качестве религии для человека, святого человека, в принципе несокрушимого и потому постоянно подвергающегося попыткам его сокрушить, уникального человека, каким бы деформированным ни было его тело. Поэтому они поняли, что, оказавшись среди тех, кто внизу, среди последних, они приняли на себя более высокую, трудную и великую миссию. Они были пробным камнем: человек с деформированным телом показывал, на чьей он стороне — на стороне совершенного Бога или на стороне несовершенного человека.

Они начали понимать. И в последний год им стало легче жить.

Когда все пели псалмы в церкви секты, Паскаль Пинон молчал. Выступая в шапито, пел именно он, а в церкви сидел на стуле, подняв свою огромную двойную голову, и молчал. Ни разу не запел. Пела только Мария — ее губы шевелились, это все видели, шевелились в такт песне.

Но никто, кроме Пинона, не слышал ее.

Может, поэтому он и молчал: в конце концов он научился слушать себя, научился слышать беззвучную песню, небесную арфу Марии, той, кого, как он наконец осознал, любил. На это ушло немало времени. В их браке песня играла огромную роль — сначала в руднике, когда песня звучала пронзительным диссонансом, беспомощно завывающим плачем небесной арфы, край которой крепился не к любви, а к смерти, к черной звезде в далеком космосе. Это был плач, который приводил Пинона в отчаяние, ибо он рассказывал о жизни без смысла, о том, кого никто не видел, о том, кто обитал в никуда не ведущей боли.

Потом песня стала ласковой, дружелюбной; их освободили, что-то должно было произойти. Потом песня стала злобной, Мария пыталась убить его, злобная песня, злая. Потом Мария сидела на лесенке в лучах утреннего солнца с Тихого океана, и человек-собака гладил ее по щеке птичьим пером, и она снова запела с любовью, совсем не так, как в эти

четырнадцать чудовищных дней, когда другая женщина пыталась встать между Пиноном и Марией, пыталась забеременеть, что ей, возможно, и удалось, — и все для того, чтобы завладеть им, не понимая, не понимая, не понимая, не...

Любовь, которая была лишь смертью.

И вот, под конец — да, может быть, ее песня была похожа на псалом. Но обращенный не к богам. Она пела для окружавших ее монстров. В полной уверенности, что они поймут.

Когда община пела, Паскаль молчал. Но слушал себя, так это должно было быть. Он наверняка слышал ее совершенно отчетливо и, вероятно, не желал слушать кого-нибудь еще. Никого, кроме нее.

VI
Кода

Ее высадили у строгальни; дело было в марте, поздним вечером, снега еще по колено, и шофер, его звали Марклин, повернулся к пассажирам и спросил, не сжалится ли кто над ней. Но она не пожелала. И пошла по глубокому снегу к опушке.

Дом был погружен в темноту.

Невероятный первый шаг в долгое одиночество: как головокружительный шаг в необъятную пустоту.

Мне было всего шесть месяцев, когда умер отец, так что я его не помню.

После его смерти у него в кармане нашли блокнот со стихами, которые он писал от руки, карандашом. Это было удивительно, лесорубы в тех краях, пожалуй, не так уж часто писали стихи.

Блокнот немедленно сожгли.

Не знаю почему. Но быть может, потому, что поэзия считалась грехом, искусство считалось чем-то греховным, отец согрешил, и в таком случае лучше всего сжечь. Но порой меня гложет любопытство: что же там было написано.

Итак: сожгли, и стихов как не бывало. Неотправленное послание. Иногда мне кажется — то, что я сам пытаюсь делать, отчасти должно восприниматься как попытка реконструировать сожженный блокнот.

Мы договорились встретиться в кабинете К. все трое: К., его жена и я. Нам предстояло упаковать оставшиеся вещи мальчика и попытаться сочинить письмо его близким.

Вполне возможно, что им было стыдно. Поскольку они не хотели его знать даже после его смерти. Но все равно написать было надо.

Был поздний вечер, в регистратуре никого. Я решил, что пришел первым, поскольку свет нигде не горел. Потом я увидел их.

Они казались темным силуэтом на фоне окна, освещенного уличными фонарями, стояли обнявшись, как два сросшихся дерева. Поразительная картина, которую мне никогда не забыть, картина, вмещавшая в себя все ужасы этого больничного парка, того самого, что, как мне представлялось, был полон голых деревьев, серого моросящего дождя и абсолютно неумолимой смерти. И фонарей. И вечного дождя. И вот два

человека, которых я знаю двадцать лет и которых никогда не понимал, не понимал их любви, в первую очередь именно любви, стоят неподвижно на этом ужасающем фоне и обнимаются. Их ребенок убит, а они любили дочку, и мальчик, которого они тоже любили, умер, и они задавали вопросы о беспричинном зле и беспричинной любви, но ответов не нашли.

И теперь стоят в темноте, в обнимку, молча и неподвижно, словно желая сказать: но это-то все-таки осталось. Это мы не утратили. А почему бы и нет. Быть может, в этом и кроется ответ.

Позднее, тем же вечером, К. намеревался переехать к жене. Хотя тогда я этого не знал. Я бы этого не понял. Я вообще мало что понимаю в этой истории, наверное, потому мне и захотелось ее рассказать. Они не слышали, как я вошел, и я лишь проговорил:

— С ума сойти.

Чуть ли не уткнувшись лицом в мертвый фикус, я пристально осматриваю его ствол.

Вот. Никаких сомнений. Он жив. Мертвые тоже следуют ритму времен года. Я так и знал.

Мы упаковали то немногое, что было у мальчика, его немногочисленные личные вещи, и отправили родственникам. Все закончилось. По-моему, мы надеялись, что так оно и будет, точно мы были способны решать, что *все закончилось;* что эта история завершилась. Что мы поставили в этом деле точку, закрыли за собой дверь и пошли дальше. Поставили точку, закрыли дверь. Хотя прекрасно сознавали, что так не получится никогда.

Мы отправили вещи, и наступило молчание. Нам никто не ответил. Как мы, собственно, и ожидали.

Но один предмет я оставил себе, единственную вещицу из того немногого, что было у мальчика. Она лежит передо мной, каким-то образом совмещаясь теперь со всем остальным: с Пиноном, озером, утренней дымкой, птицей, взмывшей в небо и исчезнувшей. Она лежит передо мной, я никому ее не отдам. Вещицей ее назвать трудно, это всего лишь грязный, когда-то скомканный клочок бумаги. Я разгладил его как мог.

Это своеобразное послание, написанное карандашом, — всего три слова, — отправленное из той точки, где он находился, из черной дыры жуткого страха, и предназначенное кому-то там, снаружи, все равно кому, тому, кто, возможно, сумеет понять смысл. Все равно кому, значит, и мне тоже.

Поэтому я оставил послание у себя. Там написано:

“Выдыхаю свое лицо”.

Они жили и умерли в плену друг у друга. Сперва в несчастье, потом — наверное, то было счастье. Он носил ее, как шахтер носит свою шахтерскую лампочку; эта лампочка излучала и тьму, и свет, так обычно и бывает.

В зеркале он видел ее лицо, глаза, которые открывались и закрывались, беспомощно моргающие веки, словно у пойманной косули, ее рот. Пинон медленно гладил ее по щеке. Ему хотелось поцеловать ее, но он

не мог. Он считал ее красивой. Он не желал держать ее в плену и тем не менее держал. Одно время она ненавидела его за это.

Потом она поняла.

Она была пленницей его головы, а он — пленником ее головы. В плену друг у друга они жили рядом с последним пределом, их брак не выходил за рамки обычного, он был, наверное, просто рельефнее. Всю свою жизнь Пинон носил Марию, сначала с гневом и ненавистью, потом с терпением и смирением и под конец с любовью.

В последние годы он засыпал, положив руку на ее щеку.

Он умер вечером 21 апреля 1933 года в больнице Оранж Каунти в Лос-Анджелесе. Медсестра, которая ухаживала за ним последний год и которую звали Хелен, все время сидела рядом. Смерть была безболезненной: он умер легко, и его крупное темное лицо успокоилось, а рука соскользнула с кровати легко, как птица, что взлетает с поверхности озера беззвучно и невесомо, взмывает сквозь ночной туман и исчезает: тихо-тихо. И ее нет.

Согласно истории болезни Мария скончалась через восемь минут после него.

Когда он умер, у Марии широко раскрылись глаза, в них стоял невыносимый ужас, точно она сразу же поняла, что случилось; губы, которые всю ее жизнь стремились что-то сказать, зашевелились, как будто она просила о помощи. Но и в этот момент с них не слетело ни звука. Несколько минут она словно бы отчаянно старалась выкрикнуть какое-то сообщение кому-то там, возможно, оно предназначалось Пинону, быть может, она надеялась вернуть его. Но птица уже взмыла в небо, ночной туман вновь неподвижно повис над озером, и Мария осталась в одиночестве.

Что она хотела выкрикнуть? Никто не знает. Не стоит пытаться объяснить любовь. Но кем бы мы были, если бы не пытались?

Внезапно она успокоилась, и ее глаза наполнились слезами. Птица взлетела, и она осталась одна; она плакала во второй раз. Первый раз это произошло на лесенке вагончика, когда миновал кризис и человек-собака погладил ее по щеке птичьим пером. И вот во второй раз, но теперь она была спокойна. Она готовилась сделать невероятный шаг в головокружительную пустоту и знала, что справится. Она лежала не шевелясь, смотрела прямо перед собой, смотрела сквозь все, точно ничто не могло ей помешать. И тут губы медленно раздвинулись в легкой, но явной улыбке, она закрыла глаза — и умерла. Это произошло через восемь минут после смерти Пинона.

Восемь минут она была одна.

Сегодня ночью мне опять приснился Пинон.

Мы находились в ледяной пустыне, очевидно где-то в районе полюса. Льды разнесли в щепки наш корабль, и мы пошли пешком, но направлялись мы вовсе не к полюсу.

Экспедиция состояла всего из нескольких человек: Паскаля Пинона и его жены Марии, меня самого, К., его жены, мальчика и Рут Б. Рут со шляпной картонкой в руках была прехорошенькая, впервые она казалась совершенно счастливой и беспрерывно болтала с головой, лежавшей в картонке; создавалось впечатление, что они наконец-то обрели друг друга и прошлое забыто. Больше ни досады, ни злобы. Чистый воздух, над головой солнце. Мы шли быстро, без напряжения, прямо-таки

плыли по льду, так, словно не существовало никаких препятствий. Наши ноги едва прикасались к ледяной поверхности.

Пинон, высоко подняв свою громадную двойную голову, возглавлял процессию. Распахнутые глаза Марии стреляли по сторонам.

Как быстро мы шли. Как невесомо. Как легко двигались. С беззаботной улыбкой, точно заранее знали. И не только благодаря окружавшей нас поразительной белизне и величию ледяных торосов, но и чувству нашей общности, чувству сильной взаимной приязни, тому, что мы многому научились друг у друга. Мы были единым организмом, внезапно озарило нас. Вместе мы сумеем решить задачу, ибо только вместе мы — человек. Вместе мы достигнем цели, разрешим невероятно сложную задачу.

То было ощущение покойного счастья и решимости, каждый из нас готов помочь. И Рут, и мальчик, и К. с женой, и я, и Паскаль с Марией. Вместе мы один человек.

Мы знали, куда идем. Все мы уже давно увидели вдали знак: кружившего высоко в небе альбатроса. На высоте тысячи метров он, казалось, просто висел, настолько плавным был его полет.

Туда мы направлялись.

Какая же стояла тишина и покой. Без малейшего напряжения мы плыли вперед, взявшись за руки, с легкой улыбкой на губах.

И вот внезапно мы на месте. Возле ледяной могилы. Ее обнаружил Пинон. Само собой, ведь он шел первым, он и должен был отыскать для меня эту могилу. Он показал рукой. Глаза Марии беспрерывно моргали, она переводила взгляд с ледяной могилы на меня. Я почувствовал, как мальчик тронул меня за руку, словно хотел помочь или сказать, чтобы я не боялся. Но я вовсе и не боялся.

Мы пришли, сказал Пинон.

Я сразу увидел, кто это. Человек лежал, вытянувшись на спине, в ледяной могиле. Это был мой папа, совсем как на посмертной карточке. Итальянцы бросили его здесь. Сняли почти всю одежду, забрали продукты, вырубили гроб в белом, с голубыми искорками, почти прозрачном льду и положили его туда, еще живого. Подтаявшая вода замерзла, превратившись в тонкую ледяную корку, но прозрачную, было видно, что он лежит с открытыми глазами, взгляд устремлен в небо, устремлен сквозь матовую корку льда.

И Пинон сказал: ты пришел. Теперь твоя очередь.

Он протянул мне птичье перо. Белое, я узнал его. Наклонившись, я увидел: так неспешно парила в небе птица, что ее линии отпечатались на ледяной корке, выгравировали ее контур на льду. Я наклонился, дохнул на ледяную корку и одновременно провел по ней птичьим пером. Ледяная птица медленно испарилась, и проступило лицо, и то был я.

Мишель Турнье

Рассказы

Перевод с французского Н. Бунтман

Пиротехника, или Памятная дата

ИЗДАТЕЛЬ заявил мне: “Уезжайте из Парижа, иначе вы никогда не закончите книгу. Около Карпантра, в Монтё, у меня есть дивный домик с бассейном и внутренним двориком. Вас там никто не знает. Полный покой обеспечен. Короче, монастырь со всеми удобствами, надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. И не возвращайтесь, пока “Холодное блюдо” не будет готово к печати”. Дело в том, что я изложил ему сюжет своего будущего детектива — мрачную историю мести, растянувшуюся на целую жизнь, где два человека оказываются навеки связаны неким давним происшествием: один движим неодолимой потребностью отомстить, а другой, сознавая неотвратимость удара, покорно ждет мщения, как обычно ждут смерти, с той лишь разницей, что он знает, от кого и почему она придет. Мне представлялось, что действие должно происходить в провинции, в небольшом городке или поселке, среди местных жителей, знающих друг друга как облупленных, и нанесенная обида, а также порожденная ею жажда мести должны быть всем известны. Все знают и ждут. И от этого угроза мести становится еще более тяжелой, роковой.

Такова была хилая сюжетная канва — хилость ее я в меру своих сил постарался скрыть, дабы не разочаровать издателя и не спугнуть аванс,

© Éditions Gallimard, 1989
© Н. Бунтман. Перевод, 2001

на который мне позволили надеяться. С этим я и сел в поезд, отправлявшийся прекрасным летним утром в Авиньон. Оттуда меньше чем за час я должен был добраться на автобусе до Монтё. Дом полностью оправдал мои ожидания. Как во многих старых провансальских постройках, окна в нем были крохотные, ибо солнце и ветер традиционно считались здесь грозными стихийными бедствиями. Зато вышеупомянутый внутренний дворик, где рос одинокий куст жасмина, напоминал крытые монастырские галереи и располагал к уединенным прогулкам и размышлениям. Два раза в день появлялась Сидони, дородная обитательница здешних краев, на которую была возложена обязанность следить за домом и за моим пропитанием. Но главное, она оказалась незаменимой "посредницей" между незнакомым местом и мной, обнаружившим в первый же вечер, что обещанный мне покой — абсолютнейшая химера.

Путешествие меня утомило, и я вознамерился лечь пораньше. Но лишь только я растянулся на кровати в позе, наиболее подходящей для отхода ко сну, как дом задрожал от оглушительных раскатов и окна осветились будто днем. Естественно, я пулей выскочил на террасу. И увидел самый восхитительный фейерверк в своей жизни. Летающие ракеты и бенгальские огни, искрящиеся фонтаны и сверкающие гирлянды полыхали в ночи почти четверть часа. Тщетно, вернувшись в комнату, я искал в календаре причину этого буйного роскошества. Двадцать пятое июля. Любопытно, чем же святая Анна, чей праздник отмечался в этот день, могла так прельстить жителей Монтё, что они воздают ей столь пышные почести?

На следующее утро Сидони просветила меня. Правда, сначала она заявила, к полному моему замешательству, что вовсе не слышала изумившего меня салюта. Хотя дом ее находился неподалеку, она, судя по всему, ничего не заметила. Я стоял как громом пораженный. Пока наконец не сообразил, что эти небесные феерии для Монтё обычное дело и жители давно не обращают на них внимания. Главным предприятием городка была пиротехническая фабрика Ружьери, а при ней в двухстах метрах имелся пустырь, где по просьбе заезжих клиентов демонстрировалась готовая продукция. Иначе говоря, фейерверки предназначались для посторонних. Ни один местный житель не опустился бы до того, чтобы удостоить их взглядом.

Ладно, с местными все ясно, но парижанину, да к тому же еще романисту вроде меня все это показалось крайне интересным и колоритным, и я не угомонился, пока не добился встречи с директором фабрики. Я представился писателем из Парижа, желающим ознакомиться с пиротехническим производством вообще и с предприятием Ружьери в частности для книги, над которой работаю в настоящее время. Когда я сюда приехал, у меня и в мыслях не было заниматься фейерверками, но рукопись сродни растению, чьи корни тянут из земли все, что она может дать. Я смутно чувствовал, что пиротехнические эффекты должны занять свое место в моем детективе.

Господин Каполини принял меня с энтузиазмом профессионала, явно польщенный тем, что именитый невежда специально прибыл из Парижа, чтобы у него поучиться. К тому же он так пылко говорил о своем деле, что порой сам напоминал фейерверк. Я не раз сталкивался с подобным воздействием ремесла на внешность человека: видел колбасницу, словно вылепленную из сала, крестьянина, замешенного на глине с навозом, банкира, похожего на сейф, конюха, который ржал как ло-

шадь. Руки Каполини поминутно превращались в ракеты, огненные фонтаны, букеты, вертящиеся солнечные диски. В его глазах вспыхивали и сменяли друг друга многоцветные феерии.

— Странное, потрясающее ремесло, в основе которого — взрыв! — восклицал он. — Да, да, мы производим смеси, и все они взрывчатые. Я всегда любил слово "взрывчатый". В нем слышится внезапность и удивление. Мы покоряем взрыв, овладеваем им, чтобы переместить в пространстве и отсрочить во времени. Мы составляем смесь, но, вместо того чтобы рвануть hic et nunc, здесь и сейчас, она взорвется позже, где-то далеко. Например, в Париже в канун 14 июля. И это еще не все. Помимо внешних передвижений во времени и пространстве, существует и движение внутреннее: ракета должна описать в небе заданную траекторию, а посему взрыв необходимо растянуть на несколько секунд. Видите ли, вся пиротехника сводится к борьбе против "hic et nunc". Отсрочить и переместить — вот два основных принципа пиротехнического искусства.

Он вывел меня из кабинета и повел показывать фабрику, где не было ни одного прочного строения, одни времянки.

— Взрыв, случись он hic et nunc, — продолжал он, — был бы аварией, катастрофой. И если, не дай бог, такое произойдет, то на этот случай предусмотрено все, чтобы ограничиться самыми незначительными потерями. Возьмем, к примеру, мастерские. При малейшем толчке они тут же разлетятся на куски. Состав бригады, как вы могли заметить, тоже сведен к минимуму — два человека, не больше. У вас есть с собой спички или зажигалка?

— Нет, я не курю.

— Извините, я спросил на всякий случай, у нас это железное правило. Как обет молчания в монастыре у траппистов.

Он толкнул дверь, и мы вошли в мастерскую. Там громоздились металлические коробки с разными порошками, связки картонных трубок, банки с клеем, рулоны бумаги. Двое мужчин в серых халатах сидели за столом друг напротив друга, поглощенные каким-то совершенно детским занятием: мерками, похожими на чайные ложечки, они в известном им одним порядке насыпали порошки в трубки с закупоренным дном. Ложка серого порошка, картонный кругляш с дырочкой, ложка зеленого, кругляш, ложка черного, кругляш и т. д.

Каполини расхаживал по мастерской с элегантной непринужденностью укротителя хищников. Время от времени он откупоривал какой-нибудь цилиндрик с крышкой, высыпал на ладонь белый порошок и произносил: "Азотнокислый стронций — пурпурное пламя". Потом шел дальше: "Чугунные опилки — искрящиеся цветы". Затем, дотрагиваясь до других запечатанных цилиндров, добавлял: "Цинк — голубое пламя. Селитра — золотые слезы. Измельченная слюда — золотистые отсветы. Бариевая соль — зеленый блеск. Углекислая медь — сине-зеленое пламя. Сульфат мышьяка — белые отсветы. Канифоль — оранжевое пламя". Наконец он уселся рядом со мной, вертя в руке пустую ракету.

— Как видите, основание закупорено. Снизу насыпана взрывчатая смесь, выталкивающая газы под давлением через отверстие в донышке, что и придает ускорение взлетающей ракете. Поверх взрывчатой смеси кладется утрамбованный порох для выталкивания заряда в тот момент, когда ракета окажется в высшей точке полета. Весь смысл ракеты в начинке. Там и звезды, и сияющие слезы, и цветы, и огненные нити. Но должен открыть вам еще один секрет. Если бы устройство ракеты сводя-

лось к тому, что я вам сейчас описал, она никогда бы не расцвела, не раскрылась на небосклоне, даже не взлетела бы. Да, месье, такова ее чудесная тайна. Запомните хорошенько: точно так же, как у женщины и у скрипки, у ракеты есть душа. Душа, без которой нет ни полета, ни света. Где у ракеты душа? Я не смог бы ее показать. Душу не показывают. Душа ракеты — это небольшая конусообразная полость, пустое пространство где-то внутри корпуса. Что там происходит, когда ракета взрывается? Никому не известно. Сколько физиков-пиротехников пытались решить эту задачу, столько и объяснений. Однако факт налицо: без этой пустоты в самой сокровенной ее части ракета остается неподвижной.

Каполини положил корпус на стол и улыбнулся с видом ироничного превосходства.

— Я уже рассказывал вам, — заговорил он снова, — что взрыв наших смесей должен быть отсрочен во времени и перемещен в пространстве. И здесь напрашиваются слова, священные для каждого пиротехника: "памятная дата". Салют обычно устраивают в память чего-либо. У каждой страны есть национальный праздник, знаменующий некое событие, которое считается символичным и эпохальным. Каждый год 14 июля, в день национального праздника Франции, мы вспоминаем о взятии Бастилии, 21 июля приходит очередь Бельгии, отмечающей воцарение Леопольда I в 1831 году. На следующий день поляки справляют годовщину провозглашения независимости люблинским правительством в 1944 году. 1 августа Швейцария празднует создание Конфедерации в 1291-м. 6 сентября Федеративная Германия становится на год старше, поскольку в этот день в 1949 году состоялось первое заседание Бундестага. Я мог бы перечислить вам все национальные праздники, какие есть в календаре. Что вы хотите, это наш хлеб насущный! Вне календарного графика праздники с фейерверком устраиваются все реже и реже. Королевские бракосочетания отмечаются теперь втихую и исключительно скромно, можно даже сказать, стыдливо. Да, сударь мой, нет сейчас таких торжеств, как бывало! Люди боятся блистать, выглядеть богатыми, счастливыми. В воротники глаза прячут.

Меня удивило, что, покуда он передо мной распинался, оба рабочих, словно не видя и не слыша нас, продолжали с полной невозмутимостью проделывать свои загадочные манипуляции. Казалось, они просто играют с картонными трубочками, палочками, разноцветными порошками, будто это для них забава, развлечение. Впрочем, не является ли сам по себе фейерверк символом ненужной роскоши, богатства, которые улетучиваются ради нескольких минут удовольствия?

— А как насчет безопасности? — спросил я у выхода. — Вы не боитесь несчастных случаев?

— Несчастных случаев? Никогда такого не было! За все время существования Ружьери не произошло ни единого случайного взрыва. Приняты все меры предосторожности. Наша система безопасности работает безотказно. Разве что... ну, не знаю... кто-то по злому умыслу или с целью самоубийства... не знаю.

Я шел довольный по улицам городка и размышлял. Почему китайцам, которые изобрели порох, никогда не приходило в голову сделать из него орудие убийства? Понадобилось время, чтобы у европейцев возникла дьявольская идея огнестрельного оружия. Я вспомнил памятник в городе Фрайбург-им-Брайсгау немецкому бенедиктинцу Бертольду Шварцу, разработавшему в XIV веке производство артиллерийского по-

роха. Монах... немец... с фамилией, означающей "Черный"... не слишком ли нарочито?

Я покривил бы душой, если б сказал, что в последующие дни много работал. Все мое внимание было поглощено площадкой для игры в шары, где утром и вечером под платанами собиралась крикливая компания, в своих непрерывных перебранках соблюдавшая, однако, некий словесный ритуал. Я заметил, что на эти сборища — как на торжественные переговоры с каким-нибудь вождем африканского племени — не допускались женщины и дети. Может, игра в шары — это все, что осталось от древних народных собраний, выражавших душу общины? Впрочем, жара тоже не вдохновляла меня ни на дальнейшие социокультурные размышления, ни на серьезное отношение к рукописи. Как моему издателю пришло в голову отправить меня работать сюда в разгар лета? Сиеста у меня теперь затягивалась чуть ли не до вечера, и я понимал, что грядет день, когда мне потребуются огромные усилия, чтобы встать к началу первой партии и к первому аперитиву. От этой жалкой участи меня спасло неожиданное и страшное событие.

Почтенный старик с лицом римского императора нацелился на шары, сгруппированные вокруг одного маленького шарика.

— Сейчас врежет, — пробасил мой сосед, важно кивая головой.

Шар подлетел к цели, описав красивую дугу, и в тот момент, когда он ударился о другие шары, воздух сотряс удар грома, спугнувший тучи воробьев, дремавших на ветвях платанов. Потом небо над фабрикой запылало. Начался фейерверк, но хаотичный, безумный. Яркие каскады, романские свечки, мельничные крылья, солнца, гирлянды превратились в пылающую мешанину и потонули в адской неразберихе. Hic et nunc. Я вспомнил слова Каполини. Это был взрыв здесь и сейчас, не отсроченный во времени и не перемещенный в пространстве, та самая катастрофа, которой не должно было случиться никогда.

Люди уже бежали к фабрике. Машины останавливались. Жители выскакивали из домов. Торговцы бросились закрывать лавки. Горожане, настолько привыкшие к фейерверкам Ружьери, что не обращали внимания даже на самые оглушительные, мгновенно сообразили, что на сей раз это отнюдь не безобидная демонстрация пиротехнического искусства, и, поскольку все рабочие Ружьери были из местных, город охватила паника.

Я последовал за толпой. Жандармы пытались удержать людей за территорией фабрики. Уже не было ни грохота, ни огня, а только едкие клубы дыма в бледных отсветах. Туда-сюда сновали пожарники, толпа сгрудилась вокруг носилок, которые еле-еле удалось вынести. Я искал глазами Каполини. Согласится ли он теперь со мной поговорить? Не будет ли считать меня залетной птицей, принесшей несчастье его фабрике? В конце концов я вернулся домой с ощущением, что вмешиваюсь в то, что меня не касается.

На следующий день Сидони принесла первые новости. Погибли двое рабочих из той мастерской, где произошел взрыв. Более десятка человек получили серьезные ожоги. О причинах катастрофы не известно ровным счетом ничего. Как сказал мне Каполини, этого случиться не могло... И тем не менее случилось. Фабрика временно закрылась, хотя больших разрушений не было. Я узнал имена погибших: Жиль Жербуа и Анж Креве. Первому было пятьдесят два года, отец троих детей. Второму — сорок, холостяк. Оба местные. Их фотографии мелькали на первых

страницах газет рядом с фотографией Каполини, твердившего, что технические причины аварии исключены, и следовательно... следовательно... Читателю его сумбурных заявлений оставалось только пристально вглядываться в эти лица: одно — тяжелое, упрямое, сонное, уже одутловатое, другое — узкое, тревожное, замкнутое. Знали эти двое, что произошло, или умерли удивленные и растерянные, так ничего и не поняв? Я помнил, хотя и не вполне точно, высказывания Каполини во время моего посещения. Несчастный случай невозможен... Разве что кто-то по злому умыслу или с целью самоубийства... Абсурд! Как в подобных обстоятельствах подозревать преступление или самоубийство? Я снова и снова вопрошал газетные фотографии, нечеткие, плохо пропечатанные. В памяти всплыли двое рабочих, поглощенных смешными манипуляциями, покуда Каполини произносил речь. Странной парочкой были эти Жербуа и Креве! У меня возникло желание пойти в редакцию и попросить разрешения взглянуть на оригиналы фотографий.

Вечером я потягивал аперитив в кафе на площади. Завсегдатаи за стойкой галдели все разом, к тому же из-за провансальского диалекта мой северный слух улавливал далеко не все. Судя по тому, что погибших называли "наш Жербуа" и "наш Креве", многие, видимо, знали их лично. Некоторые даже говорили "малыш Креве". Прозвище удачно дополняло его образ и вполне вязалось с запомнившимся мне тонким замученным личиком.

— Вот уж не везло парню, так не везло. С ним вечно всякие неприятности случались, и рано или поздно это должно было плохо кончиться.

Похоже, что компания, внимавшая категоричному оратору, с ним полностью соглашалась. Но о ком он говорил? О Жербуа или о Креве? Я сгорал от любопытства, но не решался вмешаться в разговор из-за своего столичного вида и "писклявого выговора". Накануне, на месте аварии, я точно так же почувствовал, что совершаю бестактность. Раздосадованный на себя и на остальных, я ретировался.

На следующий день я расспросил Сидони о пострадавших. Ничего особенного я не выведал, кроме того, что Креве был "так себе", где только не работал, жил совсем один в списанном фургоне на выезде из города. Зато она очень уважительно отзывалась о Жербуа, порядочном человеке, отце семейства, и называла его жену "славной девочкой". Больше я ничего не добился.

Некоторое время спустя, проходя по улице, я заметил в скромной витрине развернутые страницы "Дофине либере". Оказалось, это местный филиал газеты. Я вошел и представился писателем из Парижа, приехавшим осветить события в Провансе. В сущности, даже не соврал. Меня интересовала катастрофа на Ружьери и, в частности, ее жертвы. Секретарь редакции вытащил для меня толстое досье. Там имелась фотография фургона, где жил Креве, но, по словам секретаря, фургон уже должны были куда-то увезти. В анкете Креве сообщалось, что, будучи внебрачным ребенком некоей мадемуазель Креве, скончавшейся, когда ему исполнилось всего двенадцать лет, он получил, с позволения сказать, воспитание в приюте города Авиньон, откуда неоднократно убегал и куда затем водворялся под конвоем; так продолжалось вплоть до того дня, когда подошел срок военной службы и его послали в Алжир. Потом занимался чем придется: собирал оливки и лаванду, стриг овец, чинил машины, был каменщиком, землекопом, а то и вовсе сидел без работы или в тюрьме за мелкие провинности. Я в общих чертах записал исто-

рию этого горемыки. Что же касается Жербуа, то, помимо адреса, я узнал, что его всюду преследовали несчастья — видимо, именно его имел в виду завсегдатай кафе. В самом деле, этот тихоня словно притягивал к себе производственные аварии. В 1955 году, на стройке многоэтажного дома, кран поднимал груз черепицы, который упал прямо на Жербуа и сломал ему плечо. В 1958-м, во время строительства дорожного туннеля в Перн-ле-Фонтен, он пострадал от взрыва в шахте. В 1963-м на него наехал грузовик, несшийся на страшной скорости по спуску от селения Горд. Через год, когда в городе подстригали кроны платанов, у пилы оборвалась цепь — она соскочила и изуродовала ему лицо. В 1967 году, при ремонте 542-го шоссе, опрокинулся чан с раскаленным асфальтом и обжег ему ноги. В 1970-м ему в глаза попал медный купорос, которым опрыскивали виноградники. Когда Каполини нанимал Жербуа на фабрику, он наверняка не подозревал об этой цепи несчастий. Я вспомнил знаменитый вопрос, который суеверный Мазарини непременно задавал, когда ему рекомендовали какого-нибудь человека на ответственный пост: "Он счастлив?", что означало "Он удачлив?".

Я выждал недельку, а потом направился по адресу, который мне дали в газете. Адриенна Жербуа почти не удивилась моему визиту и провела меня в дом, где царил уютный беспорядок. После смерти Жиля она жила в атмосфере траура и соболезнований, пьянящей и одновременно тягостной. Увидев меня, она сразу же принялась усиленно расхваливать погибшего, главным образом его деятельность во время оккупации и Освобождения. По ее словам, Жиль был известным героем-партизаном в районе Сорг и организатором Освобождения и чистки в августе 1944-го. В течение нескольких недель он царил в Монтё и окрестностях как властелин-победитель. О, как предатели и коллаборационисты перед ним тряслись! Адриенна знала об этом понаслышке, потому что родилась только в 1940 году, но подвиги Жиля записаны в истории Монтё. А что потом? Какой толк из всего этого? Что он получил за свое геройство? Ничего, даже медали! — жаловалась она.

Я произнес имя Анжа Креве.

— Анж и Жиль? — воскликнула она. — Закадычные друзья, месье. Можно сказать, неразлучные. Для малыша Креве Жиль был старшим братом, отчасти даже отцом, которого тот не знал, вы понимаете, что я хочу сказать. Как только Жиль устраивался куда-нибудь на работу, тут же являлся и Анж. Приходилось его тоже нанимать. И то, что они погибли в одной и той же катастрофе, вполне естественно, ведь они всегда работали вместе.

Ее последние слова, признаться, меня поразили. Значит, они работали вместе не только на Ружьери?

— Ну конечно. Они были и каменщиками на стройке многоэтажки, и землекопами, и дорожными строителями, и ремонтниками, и обрубщиками сучьев, и сезонными рабочими, когда ничего получше не подворачивалось. Когда нет квалификации, приходится все уметь!

Адриенна, похоже, намеренно избегала говорить о катастрофах, жертвой которых чуть ли не каждый год оказывался Жиль. И я не стал касаться этой темы.

Вечером я зашел в "Дофине" за дополнительной информацией. К сожалению, секретарь был с головой поглощен статьей о массовом возвращении из отпусков, ожидавшемся в конце августа и сулившем большие сложности. Для него авария на фабрике Ружьери была делом закрытым

и сданным в архив. Признаться, я сам толком не понимал, что мне от него нужно. Но меня по-прежнему занимала эта странная парочка, череда несчастий и загадка смертоносного взрыва на фабрике.

Задержавшись еще ненадолго в редакции, я наткнулся на передовицу первого номера "Дофине либере", выставленную в стеклянной витрине: танки Первой армии входят в город, толпа ликует, последние немецкие солдаты захвачены в плен французскими внутренними войсками. Дата: 11 августа 1944 года. Надо же, подумал я, взрыв на Ружьери случился тоже 11 августа. Глядя, как я изучаю передовицу, секретарь пояснил:

— Венсан Бюр, автор этой статьи, давным-давно на пенсии, хотя держится молодцом; он лучше всех знает историю Монтё и все, что здесь происходило во время и после войны. Если хотите с ним поговорить, я ему позвоню.

Я поспешно согласился, и они договорились по телефону, что я зайду на следующий день часов в одиннадцать.

Бюр жил в большом доме, скорее всего, бывшем когда-то мастерской или складом, рядом с вокзалом. Помещение было унылым и невзрачным, но удивительно просторным. Фамилия Бюр хозяину удивительно подходила — он чем-то напоминал брюзгливого бурого медведя. Говорил он не останавливаясь и с таким сильным местным акцентом, что мне то и дело приходилось его переспрашивать. Видно было, что документация у него содержится в идеальном порядке.

— Слава богу, места хватает,— пояснил он, прохаживаясь по комнатам вдоль полок, забитых папками и стопками газет. — Но главный мой архив — вот тут! — и он похлопал себя по лбу. — Когда я умру, представляете, как много потеряет местная хроника! Ха-ха-ха!

И он весело рассмеялся, воображая, как славно подшутит над согражданами, отправившись на тот свет.

— Ведь я, между прочим, родился в 1918-м. И очень этому рад. Естественно, Первую мировую я пропустил. Хотя... Мой отец там по горло навоевался. Я столько раз слышал о Вердене и Шмен-де-Дам[1], что в конце концов мне стало казаться, будто я сам там побывал. Зато уж Народный фронт, война в Испании, Гитлер, Муссолини, "странная война", оккупация, Освобождение — на это я насмотрелся, как говорится, прямо из партера. Здорово быть журналистом, правда? А потом в газету стали приходить молодые ребята — просто смех и грех! Бедные цуцики! Явились, когда все кончилось. Вы ведь и сами заметили, а? Ведь больше нигде ничего не происходит! После Освобождения — тишь да гладь. Кроме Индокитая и Алжира, какое-то шебаршение, сударь, еле слышное шебаршение. Потом — ничего, совсем ничего. По старой дружбе мне каждый день приносят газету, и сколько раз, пробежав ее за тридцать секунд, я говорил себе: "Бедные цуцики! Если б вы работали по совести, ни одного номера не вышло бы! Так бы и скисли у себя в редакции: со вчерашнего дня ничего нового не произошло, следовательно, сегодня газеты не будет!" А знаете, я рад, что с этим уже все. Могу заново переживать старые события. Они-то хоть настоящие! Иногда сосед заходит. Спрашивает: "Ну? Что новенького?" А я отвечаю: "Шестая армия под командованием фон Паулюса капитулировала под Сталинградом". А он

1. Шмен-де-Дам — дорога севернее Реймса, где в апреле 1917-го и в мае 1918-го происходили кровопролитные сражения. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

мне говорит: “Старик, а ты случайно не того?” Потому что я уже не раз отвечал ему таким образом: “Японцы потопили американский Тихоокеанский флот у Пёрл-Харбора” или “Итальянцы подвесили труп Муссолини на крюк для мясных туш в Комо”. Да, веселое было времечко!

Сдержать поток его речей оказалось нелегко. Наконец я все-таки вставил слово:

— Да, но и сейчас в Монтё много шума. Взять, к примеру, аварию на Ружьери.

Он так и подскочил:

— Ружьери? Тут все наоборот. Я с детства ждал, когда на этой фабрике что-нибудь произойдет. Я знал: что-то назревает — и твердил себе: “Назревает, назревает. Когда же рванет?” Ну вот и рвануло! Только долго пришлось ждать.

— Вчера я видел жену и детишек Жиля Жербуа. Вы его, конечно, знаете?

— Конечно, знаю! Командир внутренних войск в районе Сорг. Достойный парень, поверьте!

Он поднялся, направился к стопке газет и принялся их перебирать.

— Нашел, нашел. Вот он, Жиль, со своими партизанами, народ их приветствует. — Он развернул передо мной пожелтевшие газеты с множеством фотографий и огромными заголовками. — Здесь он толкает в спину немецких пленных. Он первым встретил танки Первой армии де Латра де Тассиньи.

— А это что такое? — Я ткнул пальцем в фотографию, где худую, полуголую, босую, еле стоящую на ногах женщину окружала группа хохочущих мужчин.

— Да это же Креветка, черт побери!

— Креветка?

— Ну да, несчастная девка, жила со своим мальчонкой в лачуге на окраине. Перебивалась чем попало, а на самом деле спала со всеми. Настоящая подстилка для всего Монтё. Все деревенские мужики на ней перележали. Конечно, немцы пришли — тоже туда отправились. Пока очередь американцев не настала. Сами знаете, как это было. Без бритых баб не было бы настоящего Освобождения. А поскольку Креветка спала с немцами, Жиль за ней пошел со своими ребятами, те привязали ее к стулу на рыночной площади и обрили под ноль. Все просто покатывались со смеху.

— А потом?

— Ну, если бы все от меня зависело, дело этим бы и кончилось. Освобождение ведь праздник, замечательный праздник. И не надо было его портить. Но в нашем лесу когда-то убили партизана. И Креветку почти догола раздели, заставили разуться и повели возлагать венок на то место, где он погиб. Клянусь вам, жалкий был кортеж! Затравленная бритая Креветка в розовой комбинации на голое тело, мужики ржут, потому что через белье просвечивает черный лобок. Она ковыляла босиком по булыжникам, то и дело падала, а Жиль пинал ее сапогами и поднимал, чтобы она шла дальше. Мне было противно. Конечно, легче мучить бедную девчонку, чем сражаться с немцами! И многие считали, как я. Но вы же понимаете, никто не осмелился рта раскрыть!

— А что с ней потом стало?

— Вернулась в свою хибару. Больше ее не видели. Нашлись душевные люди, которые ей еду носили. Тут ведь, знаете, после Освобождения

ужас как голодали. Она отправляла мальчишку за милостыней и за покупками. А потом, в один прекрасный день, по-моему года через два, мы узнали, что она умерла. Она никогда особым здоровьем не отличалась. Мальчонку, щенка этого несчастного, отправили в сиротский приют в Авиньон.

— Вы его знали?

— Почти нет. Его вроде звали Анж.

— Анж Креве?

— Точно, он же был сыном Креветки.

— Так, выходит, это он взорвался вместе с Жилем Жербуа?

— Вполне возможно. Смотрите-ка, я и не сообразил. Но разве это так интересно?

А разве нет? 11 августа 1944-го Жиль Жербуа стал палачом Креветки. Анжу было тогда десять лет. Они жили с ней вдвоем, и можно легко представить себе животную привязанность, которую испытывали друг к другу эти обездоленные. Ребенок, судя по всему, стоял в первых рядах зрителей, когда Жербуа со своими мужиками брили Креветку, раздевали и гнали на могилу партизана. Через тридцать лет, 11 августа, Жербуа и Креве вместе погибают в катастрофе. Внезапно я вспомнил Каполини: "памятная дата" — слова, священные для каждого пиротехника. Я не заметил, чтобы жители Монтё отмечали 11 августа День освобождения. Разве что один из них. Выходит, редкая птичка — малыш Креве!

Мне понадобилось четыре дня, чтобы отыскать кого-нибудь, кто мог бы о нем рассказать. И наконец нашел — сестру Жиля, Адель Жербуа, старую деву, портниху. Я не сразу обнаружил ее жилище на извилистой улочке, которая карабкалась вверх вдоль горбатых домишек, окруженных крошечными садиками. То, что она поведала об отношениях Жиля и Анжа, совершенно не соответствовало рассказам вдовы Жиля, Адриенны. К тому же портниха, видимо, ни в грош не ставила невестку.

— Славная девка, не вредная, но глуповатая и почти неграмотная.

Я тут же заметил, что стены небольшой гостиной, где она меня принимала, были все в книжных полках.

— Брат, конечно, молодец, что женился. Из-за детей. Но если бы не она, он бы добился большего.

Она постоянно чего-то недоговаривала. Однако ее прорвало, когда я рискнул произнести имя Анжа.

— О мертвых плохо не говорят, но малыш Креве меня все время тревожил. Невозможно было понять, что у него на уме, вечно ходил мрачный, и все молчком, неуравновешенный, непредсказуемый. Никогда не видела, чтобы он смеялся. Настоящий дикарь.

— У него были друзья?

— Друзья? Нет, по-моему, никого. Кроме моего брата, увы! Знаете, такое ощущение, что Анж его преследовал. Сколько раз умудрялся наниматься туда, где работал брат! Жиль его, как гирю, за собой волочил. Однажды я его спросила, не боится ли он этого чудака. А он мне как-то странно ответил: "Лучше, чтобы он был рядом. По крайней мере буду знать, что он замышляет". И видите, чем все кончилось.

— А женщины?

— Женщины? Надо было быть полной идиоткой, чтобы жить с ним! Нет, не имелось. Естественно, кроме матери. Тут надо отдать ему должное! Он ее просто боготворил. Я вместе с церковным сторожем слежу на кладбище за заброшенными могилами и скажу вам, что он регулярно

приносил туда цветы. У него был свой распорядок. И страсть к датам. Никто точно не знал, к чему они приурочены. День рождения матери, именины, может, день смерти. А остальные — непонятно. Но в определенные дни можно было сказать наверняка, что Креве придет на кладбище.

Памятная дата... Снова слова Каполини вспомнились мне. И тут меня осенило.

— Кстати о датах... Кажется, с Жилем часто происходили несчастные случаи на работе. Вы не знаете точно когда?

— Вы имеете в виду, какие это были числа? Не могу сказать. Спросите у Адриенны. У нее наверняка остались какие-нибудь документы.

Через два часа я пришел к вдове Жиля и получил, что хотел. Она, конечно, слегка удивилась, но все-таки полезла в коробки с беспорядочно сложенными бумагами. Она вытащила оттуда копии заявлений о приеме на работу, протоколы аварий, медицинские справки. Не имело смысла восстанавливать злополучную жизнь Жиля целиком. Но я узнал, что цепь от пилы изуродовала его 11 августа 1964 года. Что наехавший на него грузовик несся по спуску от селения Горд 11 августа 1963-го. Что груз с черепицей свалился ему на голову 11 августа 1955-го. Больше я не обнаружил ничего. Меня обескуражило простодушие вдовы, неспособной разобрать текст этих бумажек и даже не заметившей упрямо повторяющейся даты. Хотя, в сущности, какое мое дело, зачем я в это вмешиваюсь? Я ведь не полицейский и не родственник Жиля. Мной двигало лишь любопытство, и его можно было оправдать разве что моим писательством.

В последней коробке оказались письма, в том числе и к Адриенне, с массой каких-то разрозненных сведений, одно невразумительнее другого. Со смутным отвращением и тяжестью на душе я копался в остатках чужого прошлого. Я уже укладывал все обратно, как вдруг наткнулся на конверт, привлекший мое внимание детским почерком. Внутри лежал листок, вырванный из школьной тетради, а на нем неуклюжими буквами было нацарапано без всяких правил орфографии, просто как слышится:

"КАГДА Я ВЫРАСТУ Я ТИБЯ УБЬЙУ"

АНЖ
11 АФГУСТА 1944 ГОДА

— Что это? — спросила Адриенна.

Я положил письмо в коробку.

— Ничего. Баловство.

Лично для себя я дело закрыл. Понятно, что остались пробелы, загадки, многоточия. Но мне больше не хотелось ничего разузнавать про всю эту историю любви и ненависти, закончившуюся фейерверком. Пора было наконец приниматься за мой детектив о мести, растянувшейся на целую жизнь, действие которого происходит в маленьком провинциальном городке, где всем все известно.

Теобальд, или Преступление без улик

ПРОШЛО пятнадцать лет, достаточный ли это срок, чтобы теперь со спокойной совестью остаться в стороне? Я пытался убедить себя в этом, но мне нелегко было справиться с чувством вины, когда я узнал из газет о смерти учителя Теобальда Берте. Судя по всему, он стал жертвой убийства, и вина падала на его супругу Терезу и ее любовника Гарри Пинка. Дело в том, что с Терезой Берте я пережил некогда яркое, хотя и печальное приключение, память о котором мне дорога, поскольку связана с моей молодостью.

Я готовился к экзаменам на степень лиценциата по филологии и, чтобы заработать на жизнь, одновременно исполнял скромные функции надзирателя в муниципальной школе Алансона. Теобальд Берте вел два шестых класса и, будучи дипломированным преподавателем грамматики, запросто мог бы смотреть на меня сверху вниз. Но нет, он был на редкость безобиден. Сложно представить себе более безликое и бесцветное существо, более нелепую фигуру. Он радовался, что при распределении нагрузки ему достались дети помладше — шестые классы традиционно считались самыми легкими, — поскольку подростки переходного возраста оставили бы от него рожки да ножки. Может быть, в начале своей деятельности он уже пережил подобный неприятный опыт? Помнится, когда мы заговаривали о нашей работе и об отношениях между учителем и учениками, он сразу же замолкал. То ли мои суждения — суть которых я уже давно забыл — казались ему слишком оптимистичными, не знаю, во всяком случае помню, как однажды он с обиженным видом покачал в ответ головой и несколько раз повторил: "О нет, знаете, дети недобрые, они даже очень жестокие, стоит им только почувствовать себя сильнее". И хотя к Берте я испытывал жалость с примесью брезгливости (я чувствовал, что по возрасту недалеко ушел от жестоких детей), я не презирал его, поскольку в те редкие моменты, когда его удавалось разговорить, он оказывался тонким эрудитом, как свои пять пальцев знавшим латинских и греческих авторов, умевшим со знанием дела побеседовать о романской архитектуре, живописи барокко, атональной музыке и "новом романе". И тогда у вас возникало тягостное чувство, что вы и вам подобные, равно как и вся повседневная жизнь, где правят деньги и сила, — все это относится к сфере грубой и низкой, а он в блаженном одиночестве пребывает в тайном саду, где все утонченно и прекрасно.

У этого неприметного человечка в силу какого-то невероятного парадокса была жена удивительной красоты, пышущая здоровьем, которая жила в свое удовольствие. Контраст между юной валькирией, с высокой, гордо устремленной вперед грудью, и серым, бесцветным коротышкой был разительным. Но такое встречается гораздо чаще, чем кажется. Порой властные женщины охотно довольствуются низеньким, податливым как воск муженьком.

Я был молод, наивен и предприимчив. По воскресеньям я часто ходил тренироваться в школьный спортзал. Пытаясь хоть чем-то компенсировать унизительный образ надзирателя, я затыкал за пояс старшеклассников и по бегу на сто метров, и по прыжкам в высоту. Поскольку

все вокруг грезили о прекрасной Терезе Берте, я решил стать ее любовником, отчасти искренне того желая, отчасти ради самоутверждения. Мой план осуществился с легкостью, которую я в своем тщеславии даже не счел странной. Зато меня удивляла привычка Терезы брать с собой мужа, когда мы с ней куда-нибудь отправлялись. "Тогда никто не сможет ничего сказать", — рассуждала она. Наверное. Однако, подобно многим молодым людям, я пребывал в плену предрассудков и страдал оттого, что очутился в классическом бульварном треугольнике — жена, любовник и снисходительный муж. Я без труда мог бы заметить в наших отношениях нечто необычное, тревожное, ни на что не похожее. Но я не желал ничего замечать. Всю сложную подоплеку этого приключения я понял лишь намного позже и после долгих размышлений.

Короче, с точки зрения нравственной до идеала нам было далеко. С точки зрения физической — мы загорались от малейшего прикосновения. Второе могло бы компенсировать первое, если бы не третье обстоятельство, которое все осложняло. Мои новые друзья обходились мне недешево, очень недешево, тем более если учесть скудость возможностей простого надзирателя. Само собой разумелось, что, когда мы шли куда-нибудь втроем, расплачивался за всех я. Тереза быстренько пресекала робкие попытки Берте вынуть из кармана кошелек, когда приносили счет. Кроме того, она заняла у меня большую сумму на покупку машины под тем предлогом, что операции с векселями — чистейший грабеж. Я снял все деньги со счета, решив не скупиться, раз уж мне "привалило такое счастье". Остатки сбережений я предполагал потратить на путешествие в Грецию, намеченное на каникулы.

Наша дивная любовь продолжалась в течение триместра — столь милого преподавателям отрезка времени. С пяти до семи мы резвились с Терезой в моей студенческой комнатушке. До того дня, пока не произошло нечто необъяснимое.

Как раз между пятью и семью — в тот момент, когда я победоносно скакал с моей валькирией, дверь комнаты отворилась. Как, черт возьми, я мог забыть задвинуть щеколду? Но действительно ли я забыл, или все-таки ее отодвинул кто-то другой? В дверном проеме маячил Теобальд. В комнате царил полумрак, и мы увидели только его силуэт. Жалкое, карикатурное зрелище представляла собой эта фигура, которая даже спереди казалась повернутой в профиль: нескладные руки, правое плечо выше левого, огромная голова, словно склонившаяся под собственной тяжестью.

Он простоял так довольно долго, в полной растерянности, а я не мог даже шевельнуться, крепко схваченный мощными коленями Терезы. Затем он тихо закрыл дверь, и мы услышали, как удаляются его шаркающие шаги.

Одним рывком Тереза вскочила, в две минуты оделась. "Самоубийца, — пробормотала она, — он способен покончить с собой". И умчалась как вихрь.

На следующее утро меня вызвал к себе в кабинет завуч, господин Жюльен. Это был ухоженный, изысканный мужчина с нарочито грубоватыми манерами. Он обратился ко мне с веселой развязностью, намекнул на весну, мою юность и успех у женщин.

— Только, видите ли, — добавил он, — вы зашли слишком далеко. Один из наших коллег жалуется на ваше поведение с его женой, которая, впрочем, и сама подтвердила слова мужа. Есть и другие свидетели.

Скандалы подобного рода недопустимы в учебном заведении. Какой пример вы подаете детям! В таком городе, как Алансон... совет преподавателей... родительский комитет...

Короче, он вынужден просить меня испробовать мои таланты надзирателя-обольстителя в другой школе.

Я готов был уехать сразу же, если бы не деньги, одолженные на машину. Потребовать долг от Берте я мог лишь очень вежливо и мягко, так как был перед ним глубоко виноват. Я выразил свою просьбу в тщательно отшлифованном письме и отправил его по почте. Но беда не ходит одна. Видимо, я (в очередной раз) забыл запереть дверь своей комнаты, ибо, укладывая перед отъездом чемоданы, не обнаружил и следа от пачки денег, спрятанной в белье и предназначавшейся для каникул в Греции.

Я был молод, от приключения у меня сохранились потрясающие воспоминания, и, как говорится, за все надо платить. Тем не менее я затаил серьезную обиду на супругов Берте.

Теобальд ответил на мое письмо. Количество страниц, исписанных его неразборчивым почерком, превышало запас моего терпения. Единственное, что меня встревожило, — это отсутствие чека. Я пробежал письмо разгневанным взором и забросил его подальше в ящик стола вместе с какими-то другими бумагами.

Спустя несколько месяцев я встретил бывшего коллегу из алансонской школы.

— Супруги Берте? — переспросил он. — Разве ты не в курсе? Помнишь элегантного завуча, господина Жюльена? Так вот, в конце третьего триместра — столь милого преподавателям отрезка времени — Берте застал свою жену в его объятиях. К несчастью, Берте был не один, а вместе с заместителем директора по дисциплине. Об этом случае стало известно. Берте подал жалобу в департамент образования. Дело усугубилось тем, что скандал произошел в школе. Понимаешь, в таком городе...

— Как Алансон, — подхватил я, — с таким советом преподавателей и родительским комитетом... Знаю, знаю.

— Короче, замухрышку Берте перевели с большой помпой в лицей на окраине Парижа. Хочешь, скажу, что я думаю по этому поводу?

— Я сам скажу. Будет странно, если наши мнения не совпадут. Тереза — та еще кобылка, если она и впредь будет столь же интенсивно заниматься любовью и карьерой своего муженька, ты и глазом не моргнешь, как он очутится в Сорбонне или в Коллеж де Франс. Не говоря уж о денежках, которые она подберет по дороге, ибо, хоть и говорится, кто много бродит — добра не находит, у женщин все наоборот.

***

Итак, прошло пятнадцать лет. С тех пор я ничего не слышал о чете Берте, пока не наткнулся на заметку о кровавом происшествии. Судя по всему, Берте так и не сделал блестящей карьеры, которую сулили ему таланты Терезы. Смерть настигла его на пороге пенсии в должности директора одного из парижских лицеев. Что же касается сообщника, некоего Гарри Пинка, то это был молодой английский стажер, временно работавший в лицее Берте. Если бы не гибель человека и двое обвиняемых за решеткой, у меня возникло бы полнейшее ощущение “дежа-вю”. Впрочем, были и еще кое-какие отличия. Газета поместила фотографии

всех действующих лиц. Со времени нашей последней встречи Берте почти совсем не изменился. Правда, он никогда не выглядел молодо. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые с годами приближаются к образу старца, жившего в их душе, даже когда им было двадцать. Англичанин показался мне симпатичным, ибо я невольно отождествил его с тем наивным юношей, каким был я сам в те времена, когда общался с этой странной парочкой. Но ему повезло меньше. В какой жуткий переплет он попал из-за романа с Терезой! Портрет Терезы меня потряс. Мускулистая валькирия прежних лет превратилась в мощную благородную львицу. На меня смотрело величественное, спокойное, исполненное уверенности лицо; однако щеки, шея и тень у подбородка возвещали увядание, следующее за расцветом. Больше всего изменился взгляд. В нем уже не было того дразнящего пламени и жажды жизни, которые составляли его очарование. В нем читалось в лучшем случае тревожное ожидание, в худшем — покорная усталость. Но все равно моя валькирия выглядела еще очень эффектно, и было понятно, почему юный англичанин пленился этими полными руками и массивными бедрами.

Обстоятельства смерти Берте сначала вроде бы давали повод признать это несчастным случаем, как и утверждала Тереза, но когда выяснились новые факты, она начала путаться в показаниях и попала под подозрение. Тело Берте обнаружили в ванне, и было установлено, что его убило током от электробритвы. Следствие же показало, что он всегда пользовался только опасной бритвой, найденной неподалеку, к тому же бритва, которая явилась причиной его гибели, оказалась дамской и принадлежала Терезе. Но самой важной уликой против Терезы и ее любовника сочли письмо Берте, написанное за несколько дней до смерти и адресованное сестре, которая поспешила передать его следователю. В этом письме Берте обвинял жену и юного англичанина в попытках с ним расправиться. Тереза принудила Берте подписать страховку и в случае его кончины становилась состоятельной вдовой. В том же письме он утверждал, что они уже дважды подстраивали несчастные случаи и оба раза он чудом избежал гибели. Короче, он предупреждал сестру, что если с ним что-то случится, то убийцами надлежит считать Терезу и ее любовника.

Я мысленно перебирал обстоятельства дела исходя из собственных воспоминаний и ставя себя на место англичанина. Могло ли со мной произойти нечто подобное пятнадцать лет назад? Без сомнения. И все-таки в преступнице, которую газеты описывали с мрачным сочувствием, я никак не мог узнать прежнюю Терезу. Та же страстная чувственность — да, пожалуй; та же неутолимая жажда деятельности — бесспорно; но полная безнравственность — маловероятно. Потому что, по-моему, если любишь жизнь, то инстинктивно отступаешь перед некоторыми поступками, в частности перед убийством. Тереза была ненасытной, ни одна, даже самая щекотливая ситуация не могла смутить ее, но перед физическим страданием и кровью она останавливалась как вкопанная, будто лошадь, почуявшая запах живодерни. Я вдруг припомнил, как ей стало противно, когда я упомянул об одной учительнице, которая, забеременев, решила обратиться к врачу, чтобы сделать аборт. "Ни за что!" — фыркнула она, сложив руки на животе, будто охраняя свое чрево от убийц в белых халатах. И еще я вспомнил слово, вырвавшееся у нее в тот день, когда ее муж застал нас вместе и убежал, пока мы продолжали сжимать друг друга в объятиях. "Самоубийца", — пробормотала она, хватая одежду. Самоубий-

ца? В случае насильственной смерти все-таки, наверное, стоило бы рассмотреть и эту третью версию наряду с несчастным случаем и убийством.

Изо дня в день я следил за делом Берте по статьям в печати; над головой Терезы сгущались тучи, дело шло к смертному приговору. А меня по-прежнему преследовало какое-то смутное воспоминание, силясь всплыть на свет из глубин забвения. Письмо! То, которое написал мне Берте после моего отъезда из Алансона. Расстроившись, что в конверте нет чека и мне не собираются возвращать долг, я по диагонали пробежал глазами листки в линейку, испещренные неразборчивым почерком. Да пошел он к черту, этот жулик-графоман! На что сдались мне его излияния! Теперь, стараясь мысленно восстановить содержание письма, я отчетливо вспомнил два слова: самоубийство и месть. Да, об этом там точно шла речь. Остальное покрыто мраком. Слова "самоубийство" и "месть" могли бы пролить на смерть Берте неожиданный свет.

Куда я дел письмо? Вопрос был вполне уместен, ибо у меня страсть все хранить, и в первую очередь письма, даже самые дурацкие. Но увы, эта страсть не сопровождается аккуратностью, и мои архивы накапливаются в виде папок, пропадая невесть куда после очередного переезда.

Я приступил к поискам. Чем дольше я искал, тем меньше оставалось шансов найти письмо и тем прочнее становилась уверенность, что оно может оказаться основной уликой. Несколько дней я провел в лихорадке, тревоге и злости на самого себя. Кстати, ничто так не угнетает психику, как пересматривание старых бумаг и писем, порой настолько ветхих, что прочесть их просто невозможно. Прах, забвение, пустые грезы, угасшая любовь! Я словно выкопал из могилы труп юноши, которым когда-то был, чтобы обыскать его; иногда он был трогательно наивен, но нередко все же с душком. Наконец я испустил победный вопль: письмо Берте обнаружилось в рукописи начатого, но вскоре заброшенного романа, за который я в какой-то момент снова взялся, но потом окончательно про него забыл. Читая исписанные микроскопическим почерком листочки Берте, я думал о том, что это невыдуманное послание само по себе в тысячу раз более захватывающий и серьезный роман, чем я смог бы когда-либо сочинить, хотя такие выводы типичны для человека непишущего. Однако какое это теперь имеет значение?

Дорогой юный коллега!

Я пишу Вам исключительно из-за нашей разницы в возрасте. Я не смог бы обратиться к любовнику Терезы, будь он моим ровесником. Мне Вы годитесь в сыновья, однако никак не Терезе. Ваша молодость меня обезоруживает, во всяком случае, смягчает Вашу вину в моих глазах, ибо если говорить о Терезе, о моей матери, отце и о жизни в целом, то тут моим обвинениям не будет конца. Как вы легко могли заметить, я не отличаюсь ни статью, ни удачливостью. Видимо, я родился задом наперед, протестуя против той силы, что толкала меня на свет, и пытаясь ей сопротивляться. Я никогда не радовался жизни и с нетерпением жду возвращения в небытие, с которым, я полагаю, никогда не расставался. "Господи, я пребывал в бесконечно ничтожном и покойном небытии. Меня извлекли из него, чтобы бросить в гущу странного карнавала" — так говорил господин Тест[1] с игривой непринужденностью великого эстета. Для меня же это не странный карнавал, а зловещий балаган. Я не буду рассказывать о страданиях и унижениях, испытанных мною в детстве. Еще в начальной шко-

1. Центральный персонаж одноименного цикла новелл и эссе Поля Валери.

ле переменки были для меня сущим мучением. И курьез заключается в том, что я так и не смог от этого спастись, поскольку стал учителем. И вовсе не по призванию, упаси господи! Скорее из-за отсутствия оного, другими словами, из-за неспособности заняться чем-то еще, попробовать свои силы в другой области. Я несколько раз пересдавал экзамен и в конце концов добился-таки права преподавать грамматику — наименее престижный предмет. Получив назначение в младшие классы, я оказался вне досягаемости старшеклассников, чью дьявольскую агрессивность я испытал на себе однажды, когда мне пришлось заменять больного коллегу. Я с ужасом вспоминаю восьмой класс, который вел в течение триместра. Одурев от их галдежа, я под вечер возвращался домой изможденный, подавленный, испытывая омерзение от одной мысли о том, что назавтра мне нужно будет снова возвращаться в эту клоаку. Все это я пишу для Вашего сведения, если Вы решите продолжать преподавательскую карьеру. Мне кажется, у учителя есть только один шанс выстоять перед двадцатью или тридцатью мальчишками и девчонками, которым по четырнадцать-семнадцать лет, — разделить каким-то образом эротическое опьянение, свойственное их возрасту. Наверное, можно этого достичь за счет некоего демагогического сообщничества. Но можно добиться и большего с помощью легкой провокационной игры с девочками и солидной дозы гомосексуальности в общении с мальчиками. Важно стать для них взрослым сексуальным собеседником, абсолютно незаменимым, ибо замены они не найдут нигде, тем более у родителей. Я для этого совершенно не годился. С восьмыми классами мы чувствовали нескрываемое взаимное отвращение. К счастью, с нового учебного года я вернулся к маленьким невинным шестиклассникам.

Отношения с Терезой развивались единственным возможным путем. Муж ей нужен был как средство для достижения собственной цели. Чтобы отвоевать место под солнцем. Ее родители пришли в восторг, когда она стала женой не просто государственного служащего, а еще и ученого. Дочь разделяла их наивное восхищение представителем общественного класса, который она почитала высшим. Этим объяснялась одна странность, постоянно меня смущавшая, которая так и осталась для меня загадкой. Как Вы могли заметить, я, естественно, обращался к ней на "ты". Но несмотря на все мои увещевания, она продолжала говорить мне "вы". Этим она одновременно подчеркивала (намеренно или нет) разницу в общественном положении и в возрасте. Хотя одиннадцать лет не так уж и много. Но я никогда не был по-настоящему молод, а в ней все — тело, жесты, рот и особенно глаза — излучало молодость. Тереза! Как же я ее любил! Страстно, болезненно. Как я был неловок, смешон, уязвим рядом с ее непоколебимой уверенностью, особенно когда мы бывали на людях! Сама того не желая, незначительным жестом или непроизвольно вырвавшимся словом она меня задевала, увечила, ранила. Однажды она меня смертельно обидела — да, да, смертельно, хотя речь и идет о смерти отсроченной, не знаю, надолго ли. Тогда мы были молодоженами, если, разумеется, подобное определение применимо к нашей странной паре. Не помню, как мы подошли к этой теме, но я заговорил о ребенке, который мог бы у нас родиться. Она внезапно застыла и взглянула на меня словно впервые: "Ребенок? От вас?" Она оценивающе осмотрела меня, и в ее взгляде было столько презрения, что я, не выдержав, вскочил и убежал.

Ребенок и жизнь, продолжение жизни и даже выживание — понятия сходные. Мне казалось, что, если родится ребенок, он, подобно моей любви к Терезе, привяжет меня к жизни, спасет от навязчивых мыслей о самоубийстве. И эти спасительные врата вдруг захлопнулись. Первое "приключение" Терезы отбросило меня еще дальше в потемки. Я бы, вероятно, не выплыл, если бы не

ощутил в себе вдруг странную и мрачную энергию, новый вкус к жизни. Он был горьким, терпким, но сильным, он открыл для меня будущее: я узнал чувство ревности и жажду мести, неотделимые друг от друга, как биение и страсть одного сердца. Я был обманут, осмеян, оскорблен, но мечтал отомстить, а для этого надо было жить дальше.

Но за что мстить и кому? Тереза нанесла мне неисцелимую рану, отказавшись иметь от меня детей. И мои мысли о мести сосредоточились на ребенке. Согласен, не очень оригинальная идея. В обществе, основанном на традициях, измена женщины жестоко наказывается именно потому, что этим ставится под сомнение происхождение ребенка. Я, наверное, старомодно чувствителен. Я никогда не смирюсь, слышите, никогда, с тем, чтобы у Терезы был ребенок от кого-то другого. Вас я простил, поскольку Ваша эпизодическая связь закончилась без последствий. Но если бы сложилось иначе, то и Вам, и Терезе следовало бы опасаться моего отчаяния. Она знает об этом. И принимает все меры предосторожности. Тем не менее у нее сильнее, чем у обычной женщины, развито материнское чувство и она не может его подавить. В тот день, когда она подчинится этому зову, я наложу на себя руки. Но, поверьте, я пойду ко дну не один. Мой труп, как камень на шее, утащит за собой Терезу, ее любовника и отвратительный плод их распутства.

Вполне ли проясняют дело эти строки? Достаточно ли убедительно это доказательство самоубийства Берте, который позаботился о том, чтобы его смерть выглядела как умышленное убийство? Дабы отмести все сомнения, оставалось выяснить еще одно, последнее обстоятельство.

Я встретился с адвокатом тех, кого газеты называли дьявольскими любовниками, и отдал ему письмо Берте. Он тут же отправил Терезу на медицинский осмотр, где оказалось, что она действительно беременна. Она наверняка сказала об этом Берте, не подозревая, что таким образом запустила механизм спланированной катастрофы. Берте погиб, но отомстил. Он думал убить сразу нескольких зайцев, но забыл о красноречивом послании, отправленном пятнадцать лет назад одному юному коллеге. Таковы интеллектуалы. Неуемная страсть к речам и письму сплошь и рядом сводит на нет их самые хитроумные планы.

Терезу оправдали за отсутствием состава преступления. Выйдя на свободу вместе с Гарри Пинком, она первым делом позвонила и поблагодарила меня. И правда, было за что! Со свойственным ей легкомыслием она пригласила меня выпить шампанского, чтобы отпраздновать счастливый исход дела, но я отказался. Может быть, если через несколько месяцев она вспомнит обо мне, я мог бы стать крестным отцом? Я высказал это предложение, и оно было встречено с воодушевлением. Больше ни о ком из них я никогда не слышал.

Машина-призрак

ВОЗВРАЩАЯСЬ из Гаскони, я поехал после Орлеана по Десятой автостраде. Вскоре я увидел площадку для отдыха с рестораном и бензоколонкой. Ресторан находился внутри крытого моста через дорогу. Я подъехал к лестнице, ведущей на мост, и нашел место для парковки возле нарядной желтой палатки, где молодая женщина, тоже вся

в желтом, включая шапочку, жарила пахучие колбаски и подавала их на картонных тарелках. Я вышел из машины и задумался. Есть или не есть? Резкий запах отвратил меня окончательно, и я поднялся на мост. Там оказался ресторан с системой самообслуживания, газетный киоск, туалет — в общем, все, что нужно для полного счастья. Я поел, попил, побродил вокруг. Наконец спускаюсь по лестнице, чтобы ехать дальше. Желтая палатка на месте, и вызывающе желтая официантка, и колбаски... а машины нет. Моя шикарная машина исчезла, испарилась! Я оторопел, потом засомневался. Может, я ее не здесь поставил? Я отправился на поиски вдоль вереницы стоящих машин. Нету! Катастрофа! Там остались сумки, документы, все-все. Что делать? Возвращаюсь к желтой палатке, позвякивая ненужной теперь связкой ключей, с выражением вселенской скорби на лице. Женщина с колбасками обращается ко мне:

— Вы ищете машину?

— Да. Ее украли? Вы видели?

— Нет. Но я знаю, где она.

— Знаете где?

— Да. С противоположной стороны дороги. Вы едете в Париж?

— Да.

— А с этой стороны машины идут из Парижа. Вам надо снова подняться на мост и перейти шоссе.

Я благодарю ее так, будто она спасла мне жизнь, и бросаюсь наверх. С другой стороны, внизу, я вижу точно такую же желтую палатку, где одетая в желтое молодая женщина в желтой шапочке жарит колбаски. Моя машина тут, моя верная, притихшая машина.

Вы смотритесь в зеркало. Вы спокойны, все в порядке: галстук, пробор, улыбка. Но вдруг улыбка пропадает. Вы заметили нечто странное, необычное, тревожное, чудовищное: часы, которые вы носите на левом запястье... они-то на месте, ходят. Только не в зеркале. Человек, что в нем отражается, — бесспорно, вы. Но у него на руке нет часов.

И еще я вспомнил одну легенду. Вампиры — такие же люди, как мы с вами. Только если вы встанете с одним из них перед зеркалом, то себя вы увидите, а вампира нет.

Моя машина — вампир. По ту сторону зеркала есть лестница, сарай с колбасками, одетая в желтое молодая женщина. А машины нет.

Несколько вопросов "ИЛ" к Мишелю Турнье

Беседует Е. Моттирони

Евгения Моттирони. Прежде всего позвольте поблагодарить вас, Мишель Турнье, за то, что вы сумели найти время для этого разговора. Вы знаменитый писатель, член Гонкуровской академии. Какой смысл вы вкладываете в присуждение этой премии и как происходит выбор лауреата?

Мишель Турнье. В состав Академии входят десять профессиональных писателей. Каждый месяц мы вместе обедаем в ресторане "Друан". А

© Е. Моттирони, 2001

в конце октября – начале ноября присуждаем самую престижную премию года. Лауреат сразу же становится знаменитым и богатым. Я сам получил эту премию в 1970 году за роман "Лесной царь", а членом Академии стал в 1974-м. При выборе победителя нас не интересуют ни школы, ни направления. Мы ищем роман, который отличался бы высокими литературными достоинствами, новизной, был доступен для широкой публики и т. д. Довольно часто мы ошибаемся. Не то что мы выбираем слабое произведение – у нас все-таки достаточно вкуса, – но бывает, что мы пропускаем книгу, которой суждено большое будущее. Так, в 1932 году Гонкуровская академия совершила непростительную ошибку, не отметив "Путешествие на край ночи" Луи-Фердинанда Селина, в 1950 году был обойден роман "Плотина против Тихого океана" Маргерит Дюрас, а потом и "Жизнь, способ употребления" Жоржа Перека. Горечь от сознания нашей ошибки усилилась из-за преждевременной кончины Перека[1].

Е. М. Как вы относитесь к "новому роману" – вероятно, последнему бунтарскому направлению в литературе Франции XX века?

М. Т. "Новый роман" представляет собой интересную попытку вырвать прозу из традиций реализма-натурализма (Флобер-Золя), в которых она рисковала забуксовать. Мне эта опасность не угрожала, потому что изначально я не вполне "писатель". Я – философ, позднее обратившийся в романиста. Мои романы – это своего рода контрабанда философии: истории о любви, деньгах, войне, охоте, путешествиях и т. д., под которыми скрыты чисто философские построения. В первую очередь это относится к моим сказкам. "Амандина, или Два сада" – это метафора метафизики (Амандина идет к метаограде сада), а "Пьеро, или Ночные тайны" – метафора онтологии. Так Платон и Спиноза входят в детские сады.

Е. М. Тем не менее вы называете себя наследником Золя, братьев Гонкур, говорите, что Вам близок мистический натурализм Гюисманса. А среди современных писателей кто Вам близок?

М. Т. В противовес "новому роману" некоторые критики выделяют направление "новых рассказчиков" и причисляют к нему Жюльена Грака, Маргерит Юрсенар, Мишеля Турнье и Жан-Мари Леклезио. Я с этим, в общем, согласен.

Е. М. Все герои Ваших романов одиночки, отделенные от окружающих уникальностью своей судьбы. Что такое для вас судьба? Это "активизация заложенных в человеке возможностей" или цепь случайностей?

М. Т. Да, герои моих романов – это "люди судьбы". Только такие персонажи мне и интересны. Судьба – это тайная и неумолимая логика событий, придающая каждой жизни свой собственный смысл. Это особенно верно в отношении Тиффожа, героя "Лесного царя", который считает, что Вторая мировая война разразилась исключительно для того, чтобы совершилась его личная судьба. А Поль из романа "Метеоры" думает, что Берлинская стена построена лишь затем, чтобы разлучить его с братом Жаном.

Е. М. Как вы сочиняете свои истории? Вы чувствуете себя "близнецом окружающего мира", как иногда Вас называют критики?

1. По свидетельству очевидцев, Мишель Турнье был самым активным сторонником присуждения Гонкуровской премии Жоржу Переку. Когда по результатам голосования премию отдали другому автору, он воскликнул: "Вы еще об этом пожалеете!" (*Здесь и далее – прим. Е. Моттирони.*)

М. Т. У меня нет воображения, но у меня есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Для каждого романа я собираю материалы, совершаю разные поездки. И никогда не бываю разочарован, наоборот. Действительность щедро дарит мне свои богатства. В моей последней книге "Чествования" тому есть много примеров.

Е. М. В вашем творчестве постоянно возникает тема зрительного образа. В романе "Золотая капля" вы противопоставляете образы знакам. Вы обличаете таким способом современное общество, где играют огромную роль всякого рода картинки, плакаты, реклама — то есть образы, лишенные онтологической подлинности?

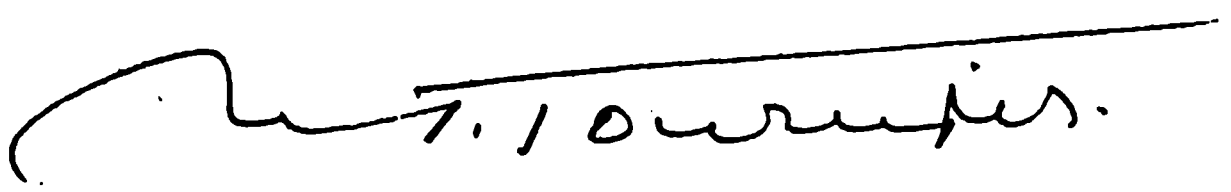
М. Т. Нет, в романах я никогда не занимаю никаких моральных или политических позиций. Как и почти во всех моих произведениях, в "Золотой капле" два сюжетных пласта. Первый — приключения юного магребинца, который отправляется по следам многих своих соотечественников во Францию на заработки. И тут мне пришлось повозиться, чтобы собрать о них достаточно материала. Второй пласт, покрывающий первый, — это столкновение нашей цивилизации образа и враждебной ей цивилизации знака — ислама, к которому принадлежит мой юный герой.

Меня всегда интересовали проблемы образа и, в частности, фотография. Я посвятил фотографии несколько книг ("Сумерки масок", "О ключах и замках", "Виды со спины") и отдал ей немало места в своей прозе ("Лесной царь", "Са́ваны Вероники"). К тому же я был в числе основателей Международных фотографических форумов в Арле.

Е. М. Вы часто рассуждаете на религиозные темы, но редко упоминаете о православии. Однако вам принадлежит предисловие к книге о русских иконах. Каково ваше представление о православном мире, о России и ее культуре?

М. Т. Я был воспитан в католичестве, но хотел бы быть православным. Во-первых, потому, что Христа здесь чтят во славе Его царства, а не в убожестве Его распятия. И еще потому, что Святому Духу в православии отведено огромное место. Первоначально мой роман "Метеоры" носил название "Ветер-Утешитель". Я хотел, чтобы его сюжетом стало уподобление Святого Духа природным явлениям. Когда я закончил книгу, то обнаружил, что не воплотил и сотой доли своего замысла, и придумал "мирской" заголовок, поскромнее. Название же "Ветер-Утешитель" я дал книге моих творческих исповедей.

Шуазель, 18 января 2001 года



Ирина Адельгейм

“На *границе моря и письменного стола...*”

Такого рода литературные скандалы, какой разразился вокруг вышедшей в 1998 году в Варшаве книги Мариуша Вилька “Волчий блокнот”, посвященной России, случаются, прямо скажем, нечасто.

Достаточно сказать, что очень популярной в Польше газете “Тыгодник повшехны” он стоил блестящего фельетониста Ежи Пильха, печатавшегося там еженедельно в течение десяти лет и считавшегося “литературным наследником” легендарного Стефана Киселевского.

Собственно, все и началось с напечатанной в “Тыгоднике” рецензии Пильха, в которой тот с присущей ему язвительностью высмеял Вилька за все сразу: за слишком “буйный” стиль и “убогое” содержание, за непомерный эгоцентризм и неуважение к автору известной книги репортажей об СССР “Империя” Рышарду Капущинскому, за незнание русской литературы и т. п.

Подобная оценка вызвала негодование польского классика Станислава Лема, который назвал рецензию Пильха “пасквилем”, пообещав впредь обходить его писания, “словно камни на дороге”. Он же заявил, что сегодняшняя Польша живет, видимо, уже “в абсолютном литературном и художественном вакууме, если мы видим такое измельчание вкусов и талантов, когда, кроме собственного творчества, ничто никого не интересует”.

С возмущением отозвался о рецензии Пильха и знаменитый Г. Херлинг-Грудзинский (кстати, в прошлом узник северных советских лагерей), посоветовавший фельетонисту “следить за своей слабостью к остроумничанью”, которое балансирует едва ли не “на грани обыкновенного шутовства”. А Ежи Гедройц, основатель и главный редактор парижской “Культуры”, многие годы бывшей центром политической и общественной мысли на Западе (там, кстати, первоначально печатались и фрагменты “Волчьего блокнота”), еще раньше заметил, что такой блестящей польской прозы, как книга Вилька, в последние годы ему читать не приходилось.

Стараясь как-то встать “над схваткой” и объяснить с этих позиций происходящее, прозаик и критик Тадеуш Комендант остроумно заметил, что Вильк с Пильхом просто “не поделили” замысел литературного освоения территории: когда один “породистый писатель неосторожно нарушает границы территории другого породистого писателя, тот защищает их, как лев”. Попытался сохранить объективность и известный прозаик Анджей Стасюк, признавая, с одной стороны, справедливость некоторых упреков Пильха, а с другой — несомненный писательский талант

© И. Адельгейм, 2001

Вилька ("ритм, звучание, этот безумный zoom хорошей прозы, которая постоянно колеблется между деталью и перспективой, между холодным описанием и едва заметной интерпретацией"). При этом он сравнил автора "Волчьего блокнота" ни больше ни меньше, как с Генриком Сенкевичем.

Так что же это за книга, которая смогла вызвать сегодня — когда подавляющее большинство пишущих действительно сосредоточено только на собственной литературной продукции — такие страсти ? И что стоит за ними?

Несколько слов об авторе книги, названии, эпиграфе

Родившийся в 1955 году, Вильк относится к поколению польских литераторов, активно входившему в жизнь в начале 80-х годов, а если быть точнее, к той его части, которая, тесно соприкоснувшись тогда с "Солидарностью", довольно быстро в ней разочаровалась.

Уехав после этого на Запад, молодой журналист вместе с двумя соавторами написал книгу о "Солидарности" — "Нелегалы" (1984 г., по-русски она вышла в Лондоне в 1987 г.). Описывающая жизнь подпольных лидеров, она на какое-то время стала самиздатовским бестселлером, а на страницах нелегальной печати разгорелась дискуссия о смысле подпольной работы. Для того времени осмелиться пойти против романтического стереотипа было либо актом безумия, либо эпатажем, либо внутренней позицией свободного и ответственного человека.

Затем Вильк отправился на Восток: долго жил в России, которую объездил вдоль и поперек, а в 1995 году стал московским корреспондентом "Культуры". В этом качестве и добрался позже до Канина Носа и Соловков. Там "решил остаться, хотелось посмотреть, что из этого получится".

Получилась книга. О России, о мифологизированной для обыденного сознания поляка "империи зла", о Соловках, не менее мифологизированных уже и для нашего сознания, а больше всего, наверное, о прозрении себя самого.

Надо еще сказать, что в то время когда Вильк осваивал русский Север, а главным образом, конечно же, искал ответы на собственные мировоззренческие и экзистенциальные вопросы, романтическая эпоха так называемого польского мифа закончилась для обеих стран. Российские проблемы перестали быть польскими проблемами, а польские — российскими...

К тому времени когда "Волчий блокнот" вышел в Польше, отсутствие взаимного интереса друг к другу стало еще ощутимее. Так что книга о России на инерции, с одной стороны, стереотипа русофобии, а с другой — ее практической уже неактуальности вполне могла показаться проявлением то ли снобизма, то ли потребности опять, как и в случае с "Нелегалами", идти во что бы то ни стало наперекор. А повторение — это уже некая закономерность, у которой есть не только свои внешние проявления, но внутренние, глубинные причины.

***

Вильк начинает "Волчий блокнот" с описания приготовления чернил по соловецкому рецепту XVI века. А заканчивает словариком, какие бывают обычно в книгах об "экзотических" странах — о Японии, например.

Внутренний импульс, заставивший Вилька написать именно

такую книгу, заключен в последней ее фразе, которую при желании можно считать объясняющей позицию писателя метафорой: "Монастырские писари не имели права взять в руки перо, пока сами не приготовят чернил". Прежде чем отважиться на книгу, к написанию которой автор относится серьезно, нужно прожить жизнь, дающую внутреннее право на нее.

Словарик же нужен здесь в той же степени, в какой наверняка понадобился бы русскому читателю книги о Польше, написанной нашим соотечественником. Та часть языка, которая всегда остается непереводимой, должна быть не только описана, но и "остранена" – хотя бы таким вот образом. А после приготовления "чернил" не менее важным оказывается найти форму, в которой прожитая человеком жизнь и сделанные для себя открытия обретают право на внимание других. Так, очевидно, и родился жанр "Волчьего блокнота".

Человек, пишущий путевые заметки, тем более профессиональный журналист, обычно делает записи для памяти. Это не дневник, не записная книжка, не мемуары. Здесь действуют свои законы отбора и, главное, композиции. Структуру блокнота держат именно *записи* (слово, которое Вильк, кстати, особенно часто употребляет), сделанные во время путешествия, во время чтения, после значимого для автора разговора или события. А замечания "по горячим следам" переплетаются уже с историческими и культурологическими экскурсами, рефлексиями и комментариями синтетического характера.

Отсюда и стилистическое многоголосие, с самого начала постулируемое автором. Неизбежное здесь и необходимое. Кроме заметок, мы находим в "Волчьем блокноте" элементы репортажа, интервью, фельетона. Есть здесь и пограничные жанры – письма и эссе, попытки эпического повествования. Так, например, описывается повседневная жизнь Соловков – море ("наше поле", как говорят поморы), рыба, земля, посадка картофеля как главного продукта питания на Соловках (она напоминает обряд: "...все разом выходят на грядки, целыми семьями: задом к небу, словно кладут поклоны, сначала два-три дня копают, потом зарывают клубни, заботливо хранившиеся всю зиму, потом пьют неделю или дольше с сознанием хорошо исполненного долга"), соловецкие огороды ("Каждый раз, читая "Год охотника" Милоша, невольно сравниваю здешние огороды с нашими. Там на Медвежьей Вершине Милош сажает бугенвиллеи... олени объедают у него цветы гелиотропа. Мы здесь, на Сельдевом мысу, сажаем картошку... соседские козы щиплют у нас лук"), соловецкая баня, где встречаются на равных все жители островов – словно вышедшие из разных миров или разных повестей человеческие судьбы.

Заметки о конференции "Россия и Соловки", организованной каким-то немецким фондом и российским "Мемориалом"; записи о прочитанных книгах; эссе о соловецких ссыльных, скопцах; фрагмент, посвященный научной деятельности зеков; описания митинга, выборов, похорон, поминок, именин, масленицы, постов; описания природы и человека в ней; отступления о повествователе и читателе; рассказ о земле самоедов – нынешней секретной зоне, территории спецполигона, полуразрушенных бараках у самого океана, – эти разрозненные страницы "Блокнота" свободно и в то же время внутренне связанно образуют единое течение познающего чувства и пе-

реживающей мысли. Сначала все-таки чувства. Очень искреннего, очень сильного и достойного по самому его тону, очень честного, а потому, может быть, и ищущего с таким высоким напряжением и такой несуетностью своего словесного эквивалента.

Вильк, по его собственным словам, пытается понять Россию через деталь: "Документальная проза сильна деталью, при условии, что та тщательно подобрана и, подобно линзе, фокусирует проблему или явление. В противном случае детали утомляют — вместо того чтобы сгущать, они размывают картину". "Выбор детали показывает, властен ли автор над действительностью, которую взялся описывать, или же это действительность навязывает ему свой хаос, в котором царит случайность... и тогда остается лишь оправдываться распадом темы".

Вильк — по-польски волк. Но обыгранная как прием — включенностью в заглавие — фамилия обрастает дополнительными значениями. Ведь волк — одно из самых мифологизированных животных. Определяющим в его символике всегда оказывается признак *чуже-сти*. Волк поэтому может осмысляться и как *инородец*. К тому же волк всегда еще и *одинок*. Все эти смыслы входят в название.

"Волчий блокнот" — это путевой "блокнот" польского журналиста, приехавшего в чужую страну (да еще с определенной для поляка исторической репутацией). Но это еще и "блокнот" человека, осмысляющего чужесть как экзистенциальную проблему. И "блокнот" человека, который, скорее всего, останется непонятым или недопонятым, а значит, одиноким — как среди чужих, так и среди своих. Об этом, кстати, уже после выхода книги сам Вильк написал "другу из Гданьска" Збигневу Жакевичу: "Ты говоришь, что для россиян я всегда буду иностранцем. Но я и в Польше в стороне — или я не Волк. Ибо "не уйти от самого себя, и следует только понять, кто ты". Вот именно".

Книге предпослан эпиграф — строки Тютчева, широко известные, хотя бы "понаслышке", даже тому, кто не слишком хорошо знает, кто такой Тютчев. Их можно встретить сегодня, например, в вагонах московского метро. На фоне переживаемого там как бы "на ходу" абсурда повседневной российской жизни они производят "обратный" ожидаемому эффект — вызывают в лучшем случае усмешку, в худшем — досаду.

Однако Вильк начинает с неожиданного парафраза этих строк:

> Умом Россию не понять,
> Аршином общим не измерить.
> У ней особенная стать —
> Россию надо *пережить*.

В тексте мы потом найдем развернутое объяснение этой замены: "...больше всего раздражал меня Тютчев, которым отделывались от моих вопросов российские знакомые... Я ощущал в этом четверостишии гордыню, свойственную большинству верующих, которые снисходительно, с высот общности взирают на поиски и сомнения отдельного человека. Это четверостишие... запало мне в душу и не давало покоя. Пока я не догадался! Последнему слову Тютчева — "верить" — я противопоставил собственное — "пережить". Россию надо было испытать на себе".

Точка обзора

"Читатель спросит, почему я Соловки выбрал? — пишет Вильк. — Что заставило меня засесть на Островах как на наблю-

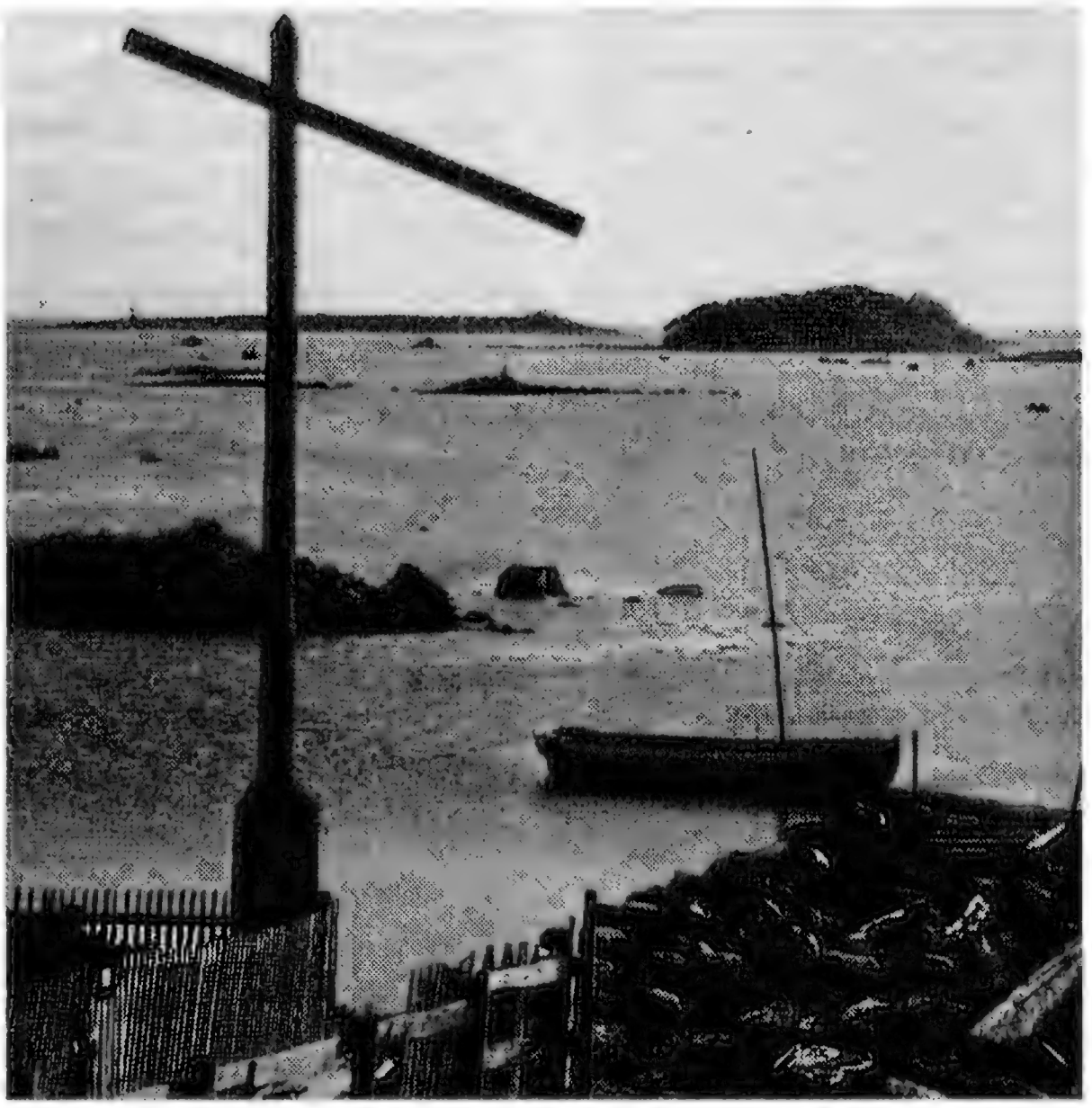
дательной вышке и глядеть оттуда на Россию, на мир?"

Сомнения оппонентов в том, что выбранная Вильком точка обзора лучше всего подходит для описания России или, точнее, ее понимания, внешне основывались на профессиональном журналистском стереотипе: Соловки слишком мифологизированы и олитературены, чтобы по ним можно было судить о всей России.

"Что ж, попробую ответить, — объясняет свою позицию Вильк, постепенно переходя к главной болевой точке разногласий со своими критиками, — хотя в нескольких абзацах трудно изложить все — самое большее, можно очертить, как когда-то писали, абрис. Ибо Соловки напоминают драгоценный камень: сколько на него ни смотри, он все переливается... преломляет свет... "играет" гранями. Чуть фабулу повернешь, акценты изменишь, сюжеты местами поменяешь, и целое сразу обретает новый смысл — засверкает иначе. Нельзя поэтому выколупывать значения, анализировать, пережевывать, нельзя вытягивать из основы нитки — каждую по отдельности, их надо рассматривать вместе, одну сквозь другую. Словом, отступить от линейных языковых законов и с некоторого расстояния взглянуть на предмет. А потом передвигаться самому, шаг за шагом, и менять угол зрения".

Именно это Вильк и делает на протяжении всей книги — передвигаясь "шаг за шагом", трудно и неспешно обживая словом чужое пространство.

Потом, оглядывая прожитое и написанное с некоторой временно́й дистанции, он скажет в том же частном письме: "Россию лучше всего переживать с Севера — вдали от Москвы и от Петербурга, вдали от *суеты и молвы*. Во-первых, потому, что Русь здесь сохранилась лучше, ибо ни татарское иго сюда не дошло, ни крепостное право, а некоторые шутят, что и коммунизм так сюда и не добрался. Во-вторых, здесь у тебя есть время и уединение, необходимые для того, чтобы нырнуть вглубь — под мерцающую поверхность сию-



минутных событий. И в-третьих, здесь действительно сам для себя измеряешь каждый куб дров, каждый невод рыбы, и каждую зиму по пальцам считаешь *наедине с самим собой*". (Курсив мой. – *И. А.*).

Наедине с самим собой происходит в тексте и узнавание чужой и не очень понятной жизни. Переплетаются цвета, запахи, звуки, более или менее четко различимые фигуры, так мало похожие на "своих". Лишь постепенно сквозь это проступают судьбы людей, островов, страны, с которой для поляков связано столько боли и неприязни. Но одновременно и притяжения, если человек в поисках истины и смысла собственной жизни добровольно отваживается *переживать* именно ее.

Быть может, потому столь выразительны и столь значимы оказываются в этой книге длинные перечисления (иногда на целую страницу) – они сами словно нити основы авторского опыта, в которую вплетается судьба постепенно узнаваемой земли. Из угадываемых, проступающих как образ жизни сюжетов, заключенных в них, состоит текст.

"Я жил в чумах у кочевников на Ямале, в рыбацких избах на Белом море, у пастухов в горах Алтая, у охотников на Енисее, у профессора-историка в Грозном, у абхазского министра в Сухуми, у крестного отца мафии в Ростове-на-Дону... Купил колхозный дом недалеко от каргопольской зоны, где в свое время сидел Херлинг-Грудзинский, принял участие в шоу, посвященном открытию беспошлинной зоны в Калининграде. Курил марихуану с рок-музыкантами из Ленинграда и пил водку с героями колымских рассказов Варлама Шаламова. Видел нетрезвых экспертов Речи Посполитой на эксгумации останков польских офицеров в Харькове и слушал русские частушки в исполнении пьяных советских офицеров в консульстве Речи Посполитой в Санкт-Петербурге на банкете по случаю годовщины Польской конституции 3 мая. Встречался с президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа и генералом Джохаром Дудаевым, вождем воинственной Ичкерии; сегодня обоих уже нет на свете. Разговаривал с чеченским атаманом Шамилем Басаевым и его боевиками, среди которых было много vorov v zakone. Пировал с мэром Питера Анатолием Собчаком, с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, Его Святейшеством Иоанном и с питерскими bomzhami. Не раз беседовал "за жизнь" с попутчиками, с bichami в лесу, с жуликами в kabakah, с muzikami на рыбацких тонях, а также с внуками Пастернака, Флоренского, Шпета...

Здесь (на Соловках. – *И. А.*) гостили цари, князья и московские бояре, декабристы, скопцы и купцы, сюда приезжали писатели, художники, путешественники, ученые и франты, сюда, наконец, несло всевозможную чернь, людскую накипь и выжимки из самых дальних уголков "шестой части света". О Соловках писали Ломоносов, Максимов, Немирович-Данченко, Пришвин, Горький, Казаков и Кублановский, рисовали их Верещагин, Борисов, Нестеров, Баженов, Крестовская, Петров-Спиридонов и Черный. Великие мира сего приносили дары Соловецкому монастырю: Петр Великий церковь на Заячьем острове основал, Солженицын дал доллары на корабль для паломников, а Гребенщиков, лидер рок-группы "Аквариум", подарил православную икону, сам, впрочем, приняв буддизм. В прошлом году на Соловках мелькнули: Его Императорское Высочество Великий

Князь Георгий Михайлович — наследник главы Российского Императорского Дома, со своей матерью, Ее Императорским Высочеством Великой Княгиней Марией Владимировной и бабушкой, Ее Императорским Высочеством, вдовствующей Великой Княгиней Леонидой Георгиевной, министр иностранных дел России, четыре посла, два консула, командование Северного флота, несколько бонз военного бизнеса, один митрополит, один архиепископ и дюжина православных священников, несколько телевизионных групп, в том числе французская, несколько съемочных групп, в том числе польская, несколько крестных отцов русской мафии, блюз-ансамбль из Одессы, секта кришнаитов из-под Вологды, несколько потомков советских зеков из "Мемориала", коммуна хиппи из Омска, участники международного джаз-фестиваля в Архангельске, сатанисты из Куйбышева, Община Богородицы из Киева, банкир из Тель-Авива, фотограф из "Политики", ксендз — профессор Люблинского католического университета и тысячи паломников, полоумных, неофитов и туристов".

А вот о жителях островов: "...во главе наместник Иосиф, за ним старец Герман, исповедник монахов (сказал мне однажды, чтобы я не зачитывался философами, не то полысею, и что истинная философия есть размышления о смерти), дальше идет отец Зосима, несколько лет тому назад таксист, сегодня монастырский эконом, и молоденький Савватий, первый соловецкий житель, постригшийся в монахи, за ним inoki Филипп, Елисей, Наум и Лонгин, когда-то московский журналист, теперь редактор монастырского издательства, Андрей и Иов, в светской жизни инженер-агротехник, в монашеской — отвечает за монастырских коров, далее Иоанн и Брат, бывший архитектор, проектировал Дом Советов в Кишиневе, а теперь вырезает поклонные кресты на Соловках, восстанавливая древнее поморское искусство, за ним Петя, Михаил и Димитрий, еще недавно анархист-фанатик, а теперь мистик и заядлый аскет, рядом бредет Кузьма, когда-то классный футболист, член сборной, нынче инвалид и сумасшедший, рядом Борис с Глебом, оба пишут иконы, и, наконец, путники, одержимые, местные бабы и приезжие гости".

Или о тех иностранцах, что в разное время писали о России: "...дипломаты, наемники, ученые и шпионы, путешественники, писатели, узники и ссыльные. В том числе: иезуит Антонио Поссевино, легат папы Римского Григория XIII; немецкий авантюрист Генрих Штаден, опричник Ивана Грозного; французский кондотьер Жак Маргрэ, капитан личной охраны Бориса Годунова; последний король Речи Посполитой Станислав Август, несчастный фаворит Екатерины II; князь Адам Ежи Чарторыйский, клеврет Александра I; посланник короля Сардинии Жозеф де Местр — этот жил в Петербурге целых четырнадцать лет; мадам Анна-Луиза Жермена де Сталь, которая сбежала сюда от Наполеона; Астольф де Кюстин; Александр Дюма-отец; Теофиль Готье; потом революционеры всех мастей и оттенков; затем гости генералиссимуса Сталина Андре Жид и Лион Фейхтвангер; и сталинские зеки Вайссберг-Цыбульский, Херлинг-Грудзинский, Александр Ват; наконец, совсем недавно лауреат Нобелевской премии по литературе Клод Симон, приглашенный Михаилом Горбачевым; и автор "Империи" Рышард Капущинский".

Это не обычное торопливое журналистское дефиле по истории и жизни, времени и пространству. В подобных перечислениях смыслообразующим становится сам их ритм. Это ритм, восходящий, очевидно, к той реальной жизни, которой живут Соловки. Ритм движения и повторяемости — смены дня и ночи, времен года, занятий, которые составляют самую жизнь, наконец, моря, в незамечаемом присутствии которого эта жизнь проходит.

Так возникает особое ощущение осязаемого реального единства времени и пространства — сродни тому, что рождает созерцание моря или жизнь "на границе моря". Оно задает психологическую установку восприятия и этическую установку узнавания — это Россия, открытая Вильком *для себя*, *его* Соловки, *его* Север.

Знания, предшествующие узнаванию

Человек, который хочет сегодня узнать о России больше четырех строчек Тютчева, начинает с чтения Карамзина, Соловьева, Ключевского, Розанова, Шестова, Бердяева.

Вильк же читает еще и тома изданной Д. С. Лихачевым "Библиотеки литературы Древней Руси". Ритм древнерусской прозы — как и найденное прежде слово для парафраза — помогает ему, во-первых, осваивать новое пространство *через рожденное им слово*. Во-вторых, задает исторический и метафизический масштаб личной потребности в знании. Наверное, поэтому рефлексии над неразрывностью языка, пространства и ментальности в "Волчьем блокноте" отдано немало места: "Целых два года пришлось прожить в России, прежде чем до меня дошло, что иностранец не может понять эту страну, думая о ней и рассуждая на своем языке"; "Варлам Тихонович (Шаламов. — *И. А.*) писал, что в русском языке существуют две традиции: фраза Толстого, замедленная и тяжелая — словно лопатой переворачивают пласт земли, — и фраза Пушкина, короткая и звучная, словно пощечина. Стоит забыть об одной из них, и Россию удастся понять только наполовину — в соответствии с формулой Милоша, утверждающего, что в русском языке есть уже все, что можно узнать о России".

И в этой связи словарик, о котором речь шла выше, приобретает, пожалуй, особое значение — хотя бы потому, что органически прорастает в текст. Читатель обнаружит здесь не только "bomzh'a", "dien'gi", "glubink'y" или "pomojk'y", но, например, и "biezmolvije" с цитатой из Флоренского.

Из русских философов Вильк особо выделяет Розанова, может быть, потому, что он и Шестов сегодня едва ли не самые читаемые на Западе авторы, через которых иностранцы пытаются найти разгадку России.

Через понятийный язык Розанова Вильк поначалу и пробует упорядочить личные впечатления. "По Розанову, испокон веку существовали две России: Россия видимости... или Империя, форма которой оттиснута во внешнем, а история записана в событиях, имеющих конкретное начало и отчетливый финал; а также Святая Русь, или Матушка, с законами невразумительными, формами неясными, тенденциями неопределенными — Русь живой крови и чистейшей веры. О первой можно прочитать у Карамзина, — пишет автор "Опавших листьев", — о другой услышать в старообрядческих скитах. Об Империи громко говорят в Москве или Петербур-

ге, о Матушке только в глубинке перешептываются. Иностранцев редко пускали бродить без присмотра в глубь России. Отсюда в свидетельствах путешественников, донесениях корреспондентов и агентов доминировал образ Империи, или Россия видимости, говоря словами Розанова. О России-Матушке мало кто имел понятие. Такое положение вещей, с моей точки зрения, сохранилось и до сегодняшнего дня.

Потому что и сегодня обе России существуют: и Империя на трясущихся ногах, и Матушка, валяющаяся в канаве...

С первой я имел дело на пресс-конференциях и на кавказских войнах, в дипломатических салонах и во время московских путчей, у "новых русских" на приемах и у старых сталинистов на дачах, на фестивалях, презентациях и тайных сборищах; со второй – на сельских гулянках и в сибирском бездорожье, в архангельских болотах и в уральских zonah, у бывших zeka за столом и у православных монахов в трапезной, на свадьбах, поминках и тайных обрядах покаяния...

Из обеих России я черпал, как из колодца. Но картина не складывалась. Может, сюжетов было слишком много, может, слишком широк угол зрения? Чем больше я узнавал, тем больше сомневался, что уловлю целое; за очередным поворотом открывалась новая панорама, с каждым следующим собеседником – новый ракурс. В конце концов до меня дошло, что́ означает Евразия, или "одна шестая света", – на опыте бродяги. Да, да, *бродяги*, потому что речь идет о переживании России, то есть резюмировании пути, а не коллекции туристических впечатлений. Так я и попал на Острова".

Вертикаль времени, горизонталь пространства, быт и бытие обживающего их человека

Соловецкий архипелаг – топоним, ставший кодовым в общекультурном пространстве.

За пределами России Соловки ассоциируются главным образом со СЛОНом (более чем миллионом уничтоженных зеков, в среднем – если уместно здесь это выражение – три с половиной тысячи погибших на каждый квадратный километр) – историей монастыря, обращенного советской властью в тюрьму, каковой он и был до начала семидесятых, а затем указом свыше мгновенно превращенного в заповедник, с удивительной красоты северной природой и церковной архитектурой. У рядового россиянина этот образ дополняется несложными ассоциациями "по смежности" – обрывками информации, полученной в последнее десятилетие благодаря "просветительским" усилиям СМИ – это Авраамий Палицын, протопоп Аввакум, Ганнибал, Горький, Лихачев, Солженицын...

Вильк приехал на север, вооруженный поначалу именно такими обрывками представлений и знаний. И увидел то, что о Соловках знает понаслышке и средний россиянин. Как будто бы и немало, но неопределенно, зыбко, неточно, когда любое "встряхивание" этих клочков информации меняет, как в калейдоскопе, конфигурацию, а общей картине все равно чего-то не хватает.

"На Соловках Россия видна, словно море в капле воды. Ибо Соловецкие острова – это одновременно суть России и ее предвосхищение; это многовековой центр православия и мощный се-

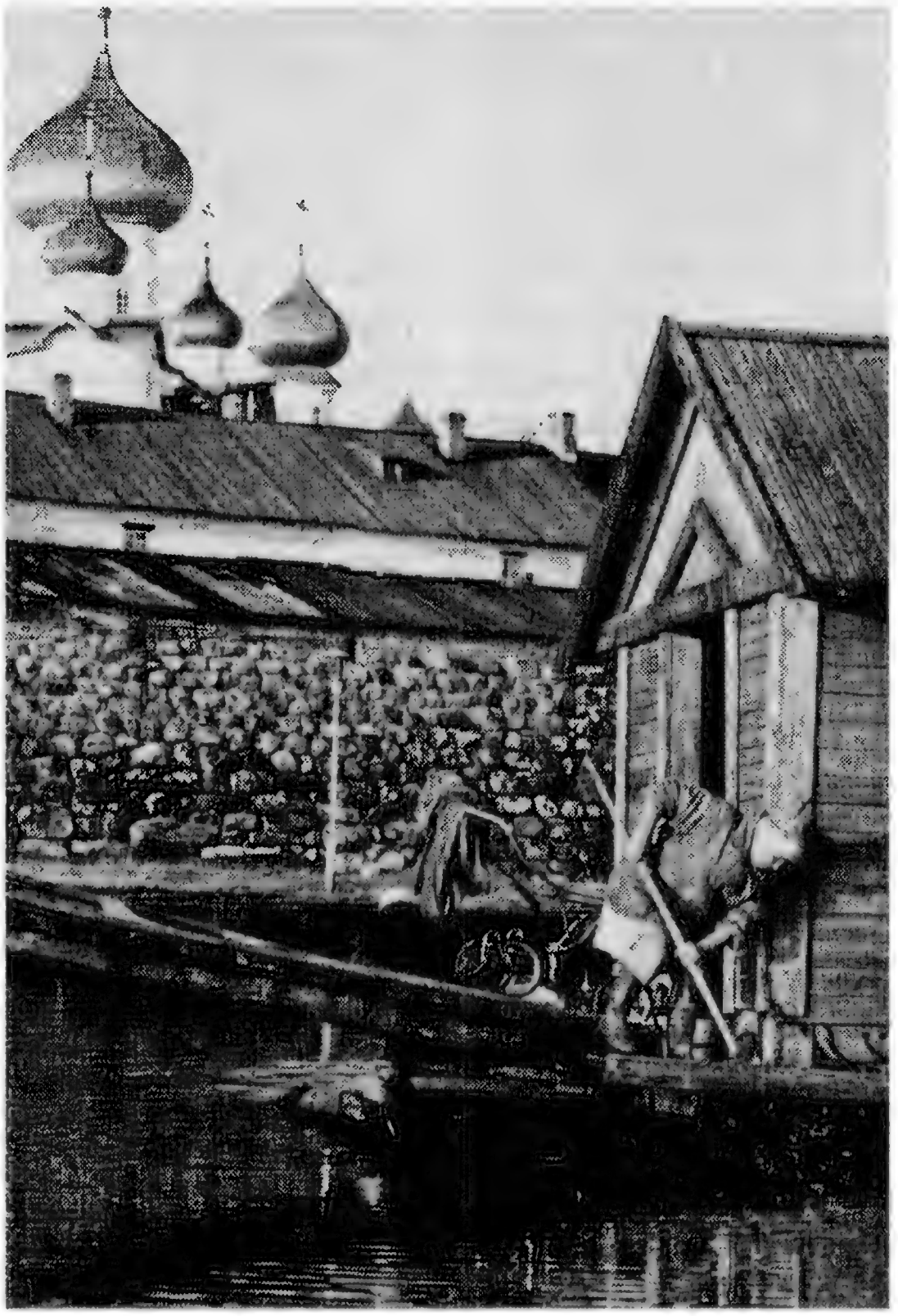
верный форпост русской государственности. Здесь, в Соловецком монастыре, в его кельях и казематах целыми столетиями писалась российская хроника: на пергаменте летописей и на страницах истории, меняя облик страны и ломая характеры инакомыслящих, приучая растения к полярным условиям, а людей — к труду на привязи. Здесь испытывали технические новинки и воплощали в жизнь новые социальные утопии, здесь построили первую в России гидроэлектростанцию и монументальную каменную стену толще стен Московского Кремля. Не случайно Василий Ключевский, прежде чем начать свой фундаментальный "Курс русской истории", основанный на мотиве kolonizacii — главного двигателя русской истории, защитил диссертацию "Древнерусские жития святых как исторический источник", в которой показал роль Соловецкого монастыря в колонизации северо-восточной Руси. Это здесь, в Анзерском скиту, зародился raskol русской православной церкви, то есть началось то, что, по мнению Солженицына, имело для России более серьезные последствия, чем большевистская революция. До сегодняшнего дня на Соловки совершают паломничество старообрядцы — словно мусульмане в Мекку. Здесь, наконец, в монастырских застенках, находилась старейшая на Руси политическая t'urma, а потом, после революции, возник СЛОН, первый в Советском Союзе lagier' — полигон ГУЛАГа. Да и сегодня для многих Соловки остаются тюрьмой, так как в результате экономических реформ последних лет люди не могут заработать на билет, чтобы отсюда вырваться... На Соловках обе России не раз встречались, здесь Империя с Россией-Матушкой, бывало, сиживали за одним столом или в одной келье".

За этим книжным знанием для Вилька неизбежно должно было начаться собственное узнавание, какое и дают реальная жизнь и свое в ней повседневное бытовое участие.

Ибо говорящие собственному уму и сердцу связи быта в какой-то момент в постижении смысла перевешивают доводы и Ключевского, и Розанова именно потому, что добыты самостоятельно... Если жить — по словам А. Сергеева — можно только там, где у тебя есть воспоминания, то Вильку и нужно было обжить это пространство — до личных воспоминаний и адекватных им слов.

Переживание, рождающее слово

"Соловки невелики, в пределах одного дня пешего хода, словно специально рассчитаны на человека, который не желает пользоваться другими средствами передвижения, кроме собственных ног. И людей здесь в самый раз, чтобы со всеми познакомиться за несколько зим. Это идеальное место для созерцания — природы, истории, людей, событий. Здесь можно взглядом объять процессы, которые там, в России, происходят на огромных территориях и поэтому плохо уловимы. На Соловках видно Россию в миниатюре, как на ладони: есть и власть, и церковь, и культура в музее, маленький бизнес, и местная мафия, есть и больница, и музыкальная школа, и мясная ферма, и частные коровы, и лесоперерабатывающее предприятие, и небольшая фабрика по обработке агар-агара, есть милиция и СИЗО, правда, суд бывает редко, иногда прилетает".



В тексте этой искренней и несуетной книги почти на глазах читателя переплавляются самые разные впечатления и переживания.

Если принять во внимание, что впечатления от путешествий — в первую очередь всегда зрительные впечатления, то они и ложатся в основу воспоминаний, которыми обживается и переживается пространство. Знаменитый соловецкий монастырь увиден прежде всего через цвет, даже смену цветов, только потом появляются звуки и только после этого — человеческие фигуры (беглые портреты, несколькими штрихами намеченные сюжеты биографий). Но эта преднамеренная, заданная эскизность — не от торопливости браконьерствующей поверхностной памяти (а память может быть и такой), а от выбранной точки обзора — "на границе моря и письменного стола", на острие "прочувствованной мысли".

Зарисовки Вилька выстраиваются вокруг временны́х отметин, отпечатавшихся в быте и бытии соловецких обитателей, как отпечатываются на выброшенных волной камнях контуры водорослей: слова "бывший", "до недавнего времени", "когда-то" и "теперь", "в настоящее время", "позже", "уже" — здесь физически ощутимые несущие конструкции жизни. "Напротив моей завалинки — по другую сторону залива Благополучия — стоит монастырь: стены — циклопы, глыбы слезятся, в тени льдом покрыты... сверкают. Едва звонят к утренней службе, солнце встает за монастырем, высекает в небе черные силуэты башен, куполов, крестов, словно вырезает на синем его профиль, потом, в обеденную пору, сбоку немного освещает, подчеркивает фактуру кам-

ня, разлагает свет и тени, а вечером, когда братья кладут поклоны на сон грядущий, заходит за Бабью Луду, обливая фасад розовым, пурпурным или золотистым, в зависимости от погоды и ветра.

Вот колокола бьют, из монастыря вышла пасхальная процессия, хоругви несут, иконы, поют. Ветер ladanom пахнет, дергает монахов за полы пальто, треплет им бороды, брызгает святой водой. Среди маленьких фигурок на фоне каменной стены я различаю персонажей, каждый из которых имеет свой собственный сюжет, каждый заслуживает собственной повести... Нетвердой походкой, поддерживая друг друга, они уходят из моего поля зрения. Можно сказать, что, пошатываясь, они покинули этот абзац..."

Тот же механизм восприятия (цвет — звук — люди) используется при описании удивительных белых соловецких ночей (которым, как замечает Вильк, даже Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" посвящает несколько поэтичных абзацев): "Белые ночи на Соловках тихо тлеют в лилово-розовом свете: от выцветшего фиолетового на первом плане, у самого берега, до малинового, густеющего вдали, на горизонте, там, где солнце тонет в море, на мгновение. Вода, небо, облака и камни — разные оттенки розового, даже туман и морская пена похожи на клюквенный мусс. Во время белых ночей Белое море спокойно: ни складки, ни морщинки. Словно большое затемненное зеркало, в котором можно увидать и острова, и людей. И себя. Люди сидят в лодках, черные, когда смотришь против света, будто бы их нет — мрачные дыры в лиловом заднике. Голодные и неподвижные. Ждут сельдь, единственный здесь для многих источник белка. А сельдь, тоже оголодавшая за зиму, идет на пустой крючок. Достаточно палки, лески, двух консервных жестянок, имитирующих рыб, а между ними шесть-семь крючков. Если идут косяком, не поспеваешь с удочки снимать, клюет сразу по нескольку штук. Тогда картина оживает, люди двигаются, качают удилищами, то и дело сельдь поблескивает — тут и там. Иногда даже смех доносится по воде, но чаще мат. Дни в это время бывают синие — от светлого индиго до эмалевой ляпис-лазури или прозрачные. На деревьях появляется молодая зелень, пушистая и нежная... из земли, жирной, напитавшейся, вылезают травы, червяки, а порой и человеческая кость, если копнуть поглубже..."

Построенные таким образом зарисовки с их почти физическим ощущением движения и неподвижности, замкнутости и разомкнутости пространства, света, цвета, светотени, звука и рождающегося из всего этого адекватного им слова-смысла — самое, пожалуй, ценное в книге именно потому, что только такой путь узнавания и есть самый действенный способ преодоления разъединенности людей, культур, стран.

Вот описание ледохода: "Сперва лед набухает водой, будто кислое молоко. Делается губчатым, хлипким и обманчивым. Кое-где желтеет, в другом месте сереет... грязной полоской. Далеко на горизонте появляется пояс живой воды, словно нитка света. Это идет к нам море. А с ним птицы. Первыми прилетают чайки. Потом лед чернеет и лопается... Прорезанный пропастями, потрескавшийся, то здесь, то там он еще громоздится, трещит, а местами уже проваливается в глубину. Полоса живой воды на горизонте растет, искрится, мерцает. Ветер приносит запахи моря, крики птиц. Летят журавли, лебеди, гу-

си... Наконец первый весенний шторм с грохотом ломает лед. Волны дробят льдины. Вода перемалывает сало. Море уже здесь. И птичий переполох...”

Или смена времен года: “Конец лета на Соловках напоминает сон: из тумана вырисовывается горизонт, словно сюжет повести, прерванной на полуслове; небо пепельное, море — перламутровое, а в воздухе витает бабье лето. То здесь, то там уже загораются березы, трава выцветает, пахнет мхом. Серый пар окутывает землю, спят в нем луга и поймы, и озера словно бы дремлют, видя во сне деревья и людей, склонившихся над ними. А люди грустнеют, что лето кончается, и пьют, чтобы продлить этот сон. И только у птиц суматоха перед вояжем: утки учат молодняк плавать, чайки стонут перед отлетом, и гаги волнуются, и гагары что-то замышляют. И вдруг приходит осень. Дни то солнцем палят, то дождем хлещут. Море штормит и беснуется, побелев от пены. В лесу вакханалия цвета: березы, словно свечки, горят желтым пламенем в темной зелени елей, осины окрашиваются в бордовый, ягодники краснеют, а болота тлеют оранжевым огнем. Земля медленно остывает. Утренний иней обваривает цветы в саду. В доме — запах сушеных грибов, бульканье варенья, везде висят пучки трав, петрушки и укропа... Ночи на Островах удлиняются, словно тени дней, делаются черными, хоть глаз выколи. Иногда только, нежданно, заметишь в небе сверкающие брызги — будто просачивающиеся с того света. Это severnoje sijanije...”

Живыми ощущениями обрастают уже сложившиеся и имеющие богатую традицию стереотипы восприятия России. Ее *бесконечность*: “Окна нашего дома выходят на залив Благополучия, стол, за которым я пишу, переходит в море. Зимой лист бумаги сливается с белизной льда за окном, а следы чернил так внезапно впадают в лыжную tropu, что я зачастую не понимаю, сижу ли еще за столом или уже несусь по морю. Зимой ветры лепят снег, каждый день по-новому, занося тропу. А летом вода плещется на краю зеленого полотна и можно часами наблюдать то отлив, то прилив, переменчивый рисунок волн на песке, соли на камнях. Летом можно и погрузиться (взглядом) в морскую бездну не вставая со стула. И быть может, именно здесь, на границе моря и письменного стола — стихии и вещи, легче понять мой замысел: попытку уловить действительность, придать ей форму, запечатлеть в слове. Ибо российская действительность, особенно на Севере, аморфна: пространства тут безграничны, болота бездонны, селения бесформенны; это нечто вроде “горохового киселя” (по выражению Достоевского), из него торчат разные предметы: тут православный крест, рядом колючая проволока, там саамский курган и осколок человеческого черепа с пулевым отверстием, а в другом месте — кусок ракеты или подводной лодки. Словом, северный ландшафт напоминает доску, на которой все новые поколения “богомазов” трудолюбиво увековечивали своего бога, не жалея краски, чтобы перекрыть предыдущий лик, а потом какой-то кислотный дождь, ядовитый и едкий, смыл все, хотя и не до конца, оставляя клочки рисунка, остатки краски. Возможно ли отреставрировать это?”

Или – *бесформенность*: “Кажется, Бердяев заметил, что пейзаж, в котором живет нация, — это символ ее души, а плоская беспредельность северных равнин — причина проблем человека с само-

определением и самоощущением. Топкая грязь (пятая стихия Руси!), которую русский мужик ежедневно месит ногами, и преодолеваемые расстояния поглощают всю его энергию, и на культуру (форму) уже не хватает сил. С другой стороны, вязкость Севера извечно пробуждала страх в пришельцах и вызывала у них потребность освоения, обживания пространства. Тем более что о языческих племенах: самоедах, карелах, лопарях, — сидевших на северных рубежах империи, у русских бытовало мнение, будто те управляют нечистой силой, способной деформировать пространство. Лопарских шаманов обвиняли в чарах "оборачивания глаза", то есть в искусстве выворачивать мир наизнанку. Поэтому рука об руку с колонизацией новых земель шла сакрализация географии — православное упорядочивание территории. Разрушали языческие sv'atilish'a, выкорчевывали священные рощи, жгли идолов и тотемы, а на их месте возводили скиты, часовни и храмы; озерам и горам давали библейские названия (Фавор, Голгофа, Иордань); стороны света поделили на святые (восток) и нечистые (запад), а кресты ставили так, чтобы нижняя, косая перекладина всегда указывала на север. Постепенно из топографического хаоса Севера возник сакральный космос Святой Руси, и русский человек почувствовал себя дома. Потом пришла революция, следы православия тщательно стирались, как некогда следы язычества: меняли названия, карты, предназначения. В храмы сажали под замок людей, в скитах держали коней, Святое озеро назвали Рабочим. Еще позже было объявлено, что революция была исторической ошибкой, и одни вновь принялись уничтожать следы, другие двинулись вспять — оживлять былые времена, а третьи надумали построить в России Америку. Мир вернулся к хаосу, на этот раз семиотическому. Пейзаж расплылся, вокруг маразм, энтропия. Продолжая мысль Бердяева и образ Достоевского, можно сказать, что сегодняшний ландшафт русского Севера есть символ "горохового киселя" в головах".

Интересно, что переживание соловецкого пейзажа у Вилька почти нигде не несет отпечатка отстраненности, несозвучности себе и собственному опыту, как было, например, с Мицкевичем в "Крымских сонетах". Может быть, потому, что Вильк был свободен в выборе России, а Мицкевичу она и Крым были навязаны.

Так что одна из психологических проблем человека XX века — хотя бы частичное преодоление барьера чужести — Вильком оказалась реализована. И реализована, с одной стороны, именно через природу и данную человеку способность к вдумчивому, несуетному ее созерцанию. А с другой — через включенность в обыденную жизнь в этой природе. Может быть, именно его способность увидеть сквозь "гороховый кисель" в головах красоту и связанность всех со всеми незаметно и снимает вечный страх перед чужой жизнью и отторжение ее. В конце концов чужаком, одиноким волком можно чувствовать себя и не будучи иностранцем. Но пережитое вместе прокладывает путь к пониманию живущего в этом же времени и пространстве человека.

Поэтика, найденная в пространстве

Для описания Соловков Вильк находит простой, но адекватный описываемому пространству прием — движение вверх-вниз по вре-

менно́й шкале, потому что и сам соловецкий пейзаж предстает как множество наслоений образующих его культурных слоев: "Доминирующий мотив соловецкого поселка — колючая проволока, которой здесь обносят огороды. Сам поселок, словно полип, оплел кремль, и издалека видно, что это болезненный нарост. Среди отсыревших домов из пустотелого кирпича торчат оставшиеся от лагеря бараки, памятники монастырской архитектуры доживают свой век, растаскиваемые по кирпичику на печи (старый монаший кирпич крепче и огнеупорнее), дороги в рытвинах, истлевшие мостки, куда ни посмотришь, щебень валяется, лом, битое стекло. Вокруг сараи, дровяные сараи, хлевы и свинарники, перекошенные и прогнившие, понатыканные беспорядочно, абы как. Из-за отсутствия приличной канализации нечистоты уходят в море, и летом, во время отлива, пристань Благополучия воняет выгребной ямой, ее края покрыты толстым слоем тины. На этом фоне слоняются нетрезвые люди и исхудавшие животные: псы растаскивают остатки с pomojek, коровы и козы пасутся везде, на улицах и между домами, а свиньи роют где попало, особенно под стенами кремля. И на первый взгляд чужаку, случайно попавшему сюда, соловецкий поселок напоминает чудовищный кич в стиле informel[1], где царят абсурд и случайность. Необходимы время и сосредоточенность, чтобы привыкнуть к этой картине и различать в ней руку отдельных художников: монахов (с начала XV века до 1920 г.), чекистов (1923—1939), военных (1939—1957), музейных работников (1967—1991), а также сегодняшнее безначалие".

Подробно представленная топография Соловков выдает многократные попытки уничтожения культурного пейзажа, абсурд, наслоения разных эпох. Все как бы колеблется между "когда-то" и "сейчас": "Пройдемся не спеша по улицам поселка, начиная от кремля... Достаточно взглянуть на дореволюционные фотографии, чтобы понять, как далеко зашла Россия в истреблении своего культурного пейзажа. Даже деревья под корень вырубили, а там, где некогда росли цветы, сегодня — глиняная пустыня. Во времена лагеря здесь была зона, в храмах держали зеков, а колокольню увенчали звездой вместо креста. В соборе, на месте алтаря, устроили уборную, в трапезной — театр, в одной из церквей — атеистическую выставку. После лагеря кремль достался армии. На колоколах сохранились следы пуль. Потом объект передали Администрации и превратили в государственный музей: в монастырских постройках разместили экспозицию, фонды и гостиницу для туристических групп и рабочих, молодежный клуб и водочный магазин. Начались реставрационные работы: с колокольни полетела вниз звезда, в соборе отскребли экскременты, а заодно и фрески XIX века, чтобы вернуть храму более старинный вид. Когда выносили щебень, раскопали монастырские могилы, с трупов поснимали кресты, перстни и четки. По ночам на крылечках гуляли туристы и местная shpana, другими словами, несовершеннолетние проститутки и жулики-малолетки. Пять лет тому назад на Соловки приехали монахи.

К северу от кремля, на небольшой площади возле Константиновской часовни, лежит камень в

1. Art Informel (*франц.*) — направление в послевоенной французской живописи. (*Прим.автора.*)

память о погибших юнгах – место ежегодных митингов во время празднования очередного Дня Победы. После митингов коровы сжирают венки. От камня, дальше на север, в сторону пристани туристических пароходов, течет улица Северная. Там в сезон завывает музыка, дискотеки на палубах, стада пьяных туристов – шанс для местных девчат, повод для драки. По дороге бараки, оставшиеся от лагеря, – в них живут люди".

Везде следы прошлого прорастают сквозь неясное и неустойчивое настоящее, колеблющееся, как отражение. Чего стоит такой, например, кадр: "А в ясную погоду можно еще увидеть остатки затопленного барака на дне озера: двери с glazkom и kormushkoj, тени нар. Сей след СЛОНа бывает порой столь отчетлив, что невольно оглядываешься, не отражение ли это". География нигде не обходится без среза истории.

С этим постоянным историческим отражением связан мотив реального оптического отражения: "И еще одно: следует быть внимательным! На Соловках сотни озер отражают свет, склонившийся к воде, а из-за нередкого на Севере оптического обмана отражения порой кажутся более реальными, чем действительность, граница же между ними стирается. Я слыхал о пьяном путнике, который упал в воду и утонул, приняв отражение монастыря в заливе Благополучия за настоящие Святые Ворота..."

Трудно сказать, как этот символ может быть понят и пережит поляками. Но гораздо интереснее, как он мог бы быть осмыслен и увиден нами.

Возможно, больше всего привлекает в книге Вилька ее язык не только лексически богатый, свежий, точный, но еще и с какой-то удивительно искренней и лишенной даже намека на цинизм интонацией. В ней нет ни капли того пафоса, который, по словам Леца, нужно снимать иронией, чтобы спасти смысл, той иронией, что сама является скрытым психологическим жестом внутренне свободного и честного человека.

При переводе Вилька на русский делаются особенно заметными – и значимыми для языка книги – случаи, когда обыгрываются два польских слова, которым соответствует одно русское. (Например, в оригинале: "vidimost'" – видимое и показное одновременно.) Эти русизмы – словно дыхание, ритмизующее прозу Вилька. Но, по сути, это пример того, как один язык может быть максимально открыт другому.

"Волчий блокнот" и стереотип России

Заранее можно было предположить, что Вильк не обойдет молчанием существующие свидетельства иностранцев о России. Хотя бы записки де Местра и де Кюстина, ставшие чем-то вроде развернутого стереотипа восприятия страны.

Вильк действительно обращается к ним – причем делает это не тогда, когда этого ждешь. Не в начале книги. И обращается к ним не столько даже как к дополнительному источнику информации или как к оправданию априори семантической закрытости России для западного человека. Он использует эти свидетельства скорее как прием. Ведь "Волчий блокнот" – это, с одной стороны, еще одни записки иностранца о России, а с другой – рефлексия по поводу создания такого рода свидетельств и даже в связи с экзистенциальным импульсом к подобным поворотам в жизни.

Обзор этих записок, к которому прибегает автор, интересен еще и постольку, поскольку позволяет показать формирование этого жанра во времени, вписывая таким образом "Блокнот" в более широкий контекст. Но эпиграфы из де Местра и де Кюстина (о необходимости пожить в провинции, чтобы понять Россию; о непередаваемо прекрасных северных пейзажах; о чуде полярной ночи) сопровождают читателя, начиная с первых глав. Главе же, посвященной собственно анализу интересующего автора жанра, предпослана очень важная для Вилька и его позиции фраза из де Местра: "Большая часть того, что писали о России за границей, довольно далека от действительности".

Рассуждая о жанре путевых записок вообще, о том, что́ видит в чужой стране иностранец, о свойственной чужаку психологической установке (свое — лучше уже потому, что ближе, понятнее, доступнее), о сформированных этой установкой стереотипе и национально-культурных предрассудках и их причинах, как никогда актуальной именно сегодня проблеме перевода одного культурного кода на другой ("Ни один другой народ не был так похож на европейский, не будучи им"), Вильк приходит к пессимистическому выводу, что и современные записки европейцев о России сводятся к тем же банальностям: Россия — тюрьма, и ее корневые и неизбывные качества — пьянство, лень, подозрительность, коварство, грязь.

"Ни тогда, ни позже жители Запада не давали себе труда разобраться в российской действительности изнутри, то есть взглянуть на Россию глазами русского человека и лишь потом, сохраняя пропорции, перевести это на свой язык. К сожалению, жители Запада смотрят на Россию извне — с точки зрения Европы — и перекраивают увиденное на свой лад". (Но и люди России смотрят на Запад либо изнутри — с точки зрения России и своего часто ущербного или, наоборот, излишне высокомерного самоощущения, либо стараются быть европейцами больше, чем сами европейцы.) "Ясное дело, не все писали о том, что видели сами, некоторые предпочитали повторять то, что им показали, другие не могли увидеть того, что действительно хотели, а третьи увидели то, чего там вообще не было, зато не заметили того, что видели все"; "С развитием масс-медиа в России появился новый тип пишущих о ней иностранцев — заграничные корреспонденты. К сожалению, эти сочинения в большинстве случаев можно упрекнуть в том же, что Ключевский ставил в укор их предшественникам. В начале 90-х я работал в Москве на одну польскую газету и имел возможность вблизи приглядеться к работе коллег-корреспондентов. Особенно мне запомнился один, не буду уж называть фамилию, — этот писал для трех газет разом, а из всех событий текущего дня самым важным для него были "Известия", из которых он черпал пару анекдотов и вечером передавал как свои собственные. Другие, не такие сибариты, бегали на всевозможные пресс-конференции, собрания и банкеты, где прилежно глотали подаваемую там chepuhu. Надо признать, что это блюдо в России подают мастерски, в чем мог убедиться не один иностранец, в том числе и маркиз де Кюстин. Кое-кто еще смотрел российское телевидение и черпал вдохновение оттуда. Прибавим к этому спецлавочку на Беговой, где каждый корреспондент мог приобрести

продукты, в Москве тогда отсутствовавшие, и многие другие привилегии, словно непрозрачным стеклом отделявшие нас от действительности, и тогда станет ясно, что образ России в заграничных масс-медиа и Россия как таковая — две разные вещи. Кроме человеческого фактора — лени, невежества (вышеупомянутый коллега Гоголя не читал, а "Повесть временных лет" приписывал Пушкину!), существенны и общие недостатки прессы: вечная торопливость (надо успеть к выходу номера), не позволяющая сосредоточиться и увидеть более глубинные явления, которые часто важней для правильного диагноза, чем эффектная, но поверхностная "новость"; стадный инстинкт журналистики, заставляющий корреспондентов валом валить на место события, будь то война, путч или пресс-конференция, и писать, комментировать одно и то же; погоня за сенсацией, скандалом и кровью, при пренебрежении к будням, непривлекательным с точки зрения массового читателя; концентрация внимания на большой политике при игнорировании окраин и провинции; все это приводит к тому, что огромная часть журналистских сообщений о сегодняшней России не выходит за рамки общих мест, стереотипов или легенд".

Любой поляк имеет к России личный и исторический счет. Сама тема России для Польши, которая была два столетия лишена государственности и героически сохранила культурную независимость, все еще очень болезненна на уровне культурного бессознательного. Сложившиеся предрассудки изживаются медленно, исторические унижения забываются с трудом, и время для этого забвения еще не пришло. Каждый поляк считает себя в подобных вопросах специалистом, и Вильк, который пошел против стереотипа, не мог не вызвать сильного раздражения. Оно тем сильнее, чем самостоятельнее позиция и — талантливее книга.

По словам автора "Волчьего блокнота", "Империя" Рышарда Капущинского — последний рассказ иностранца о евразийской державе, а точнее — рассказ о ее распаде. Таким образом, мы имеем дело не только с дезинтеграцией Империи, но и с кризисом жанра". Но жанр — это в некотором роде стиль и способ мышления. Капущинский "исследует тему и вширь и вглубь. Путешествует во времени и в пространстве". Вильк упрекает его в случайном выборе тем и мест: "Довериться случаю при выборе пути — это словно писать книгу, бросая кости, когда темы подсказывает судьба и воля чиновников (дающих разрешение на пребывание на Новой Земле), а не логика вещей. Намерение охватить весь СССР, от края до края, таит в себе риск не увидеть на самом деле ничего, особенно того, что v glubink'e. Хотя бы постсоветской деревни, которая вообще отсутствует в "Империи". Метод Капущинского прост, словно туристический вояж: несколько дней здесь, несколько там, из каждой дыры — глава-картинка, словно слайд на память. Естественно, у прекрасного писателя и картинки получаются великолепно, но... зачем? Чтобы сделать комикс об Империи? Попытка объехать весь Советский Союз и увидеть, что происходит и в Томске, и в Омске, эффектна, но поверхностна, в силу обстоятельств все сводится к упрощенным диагнозам — аллюзиям и символам, в которые автор втискивает впечатления, зачастую не проясненные до конца".

"На Россию смотрят то издалека, то свысока, получается "коллаж чужих мнений или головоломка вроде шахматного эндшпиля: кто кому поставит мат и за сколько ходов", – пишет Вильк. И это справедливо по отношению к любому национальному стереотипу, любому мифу. "Россия же так огромна, что ее не только разумом не поймешь, но и жизни мало, чтобы ее пережить – всю. А Гоголь умел всю Россию показать в одном уезде".

Европа и Польша с Соловков, через Соловки, после Соловков

Никто, конечно, не обязан повторять путь Вилька, добровольно поселившегося на Сельдевом мысу, копающего огород, запасающего на зиму овощи и рыбу и живущего обыкновенной жизнью соловчанина, но при этом, конечно же, остающегося поляком и европейцем.

Но и пройти теперь мимо его взгляда не только на Россию, но и на мир, в котором антиномия "свой – чужой" составляет ключевой и вечный источник конфликтов, мимо такого опыта переживания чужого пространства и времени, который стал частью его внутренней жизни и ее языка, будет тоже трудно. Может быть, именно этот язык помешает прочитавшим книгу смотреть и дальше друг на друга через неприязнь и высокомерие стереотипов. И безразлично, стереотип это полонофобии или русофобии.

"Проведя месяц в Польше и Франции, я вернулся к себе – на Сельдевый мыс. Огород за это время зарос крапивой, мокрицей и диким щавелем, паутина затянула дом, коты все в колтунах, приходится их выстригать. И только море за окном Белое, как и было, и в моем компьютере ничего не изменилось – достаточно включить экран, чтобы обнаружить старые следы, следы собственных мыслей месячной давности.

Польша отсюда видится маленькой, тесной и раздраженной. Я все еще слышу эту специфическую, полную претензий интонацию сегодняшней польской речи – после семи лет пребывания за границей мое внимание (филологическое) привлек ритм разговорного языка соотечественников – эти повышенные тона, которыми одни мне доказывали, что и Папа, и король поп-музыки предпочитают Польшу, а другие – что все ее разворовывают. Милош замечает, что поляки, приезжающие из России, не могут найти себе места в Речи Посполитой. Например, отец поэта "постоянно жаловался на отсутствие размаха, мелкость всего и маразм".

Круг жизни: на краю земли – наедине с собой

Охватив годовой цикл жизни на Соловках, Вильк как бы снова возвращается к северной весне. В будничной, повседневной жизни все идет по ее видимому кругу – кольцами наслаивается прожитое человеком время, отпущенные ему осени, зимы, весны... "На Севере годы считают по зимам: одну зиму здесь за два года принимают. Короче, я живу на Островах достаточно долго, чтобы и людей узнать, и жизни хлебнуть, и по краю света побродить", – объясняет Вильк "другу из Гданьска". Весна психологически всякий раз начинает для человека новое кольцо, а в нем очерченный потребностями жизни круг обязанностей, забот и вопросов.

В "Волчьем блокноте" после "Соловецких записок" следует написанный хронологически раньше "Канин Нос". Канин Нос – край Белого моря, край пространства, которое обжито человеком. Дальше – только Ледовитый океан. Именно здесь, очевидно, почти физически переживается экзистенциальное состояние пограничности – на краю земли, на краю жизни, на краю понимания-непонимания... Может, поэтому Вильк и прибегает к такому порядку повествования – в финале и автор, и читатель вновь возвращаются к вопросу, в котором заключен выход из тупика непонимания. Так весной человек возвращается к надеждам на новую жизнь.

"Порой кажется, что я сам себе противоречу. То советую занять позицию иностранца в мире, о котором пишешь, то отвергаю эту точку зрения, утверждая, что надо быть не наблюдателем, не ротозеем, но творцом и участником жизни, не в "роли писателя", который всегда несколько "вне", не важно, "над" или "сбоку", но быть субъектом "прозы, пережитой как документ" (по определению Шаламова). Антиномия здесь, однако, кажущаяся, потому что, в сущности, эти ракурсы дополняют друг друга и пишущий всегда останется иностранцем, даже в собственной отчизне, но одновременно везде он и дома – на собственной тропе".

Пишущий – а это человек, живущий для того, чтобы внутренняя жизнь обрела язык, – всегда оберегает ее личное пространство, область сокровенную и тайную, и в то же время именно через язык он открыт миру и другому человеку.

Может, поэтому он "везде дома", но всегда при этом "на собственной тропе". Наверное, это и есть тот опыт, ради которого Вильк сделал свой выбор в пользу России и Соловков, оставаясь при этом поляком и европейцем.

В цитировавшемся уже письме Збигневу Жакевичу Вильк пишет: "Прости... за то, что я так долго не отвечал. Выезжая летом с Островов, я не предполагал, что вернусь сюда только в декабре. Поэтому мне надо было сначала подготовиться к зиме: утеплить дом, укрыть водопровод, наколоть двадцать кубов дров, закопать несколько мешков картошки, вымочить бочку капусты и засолить селедки и грибов... А еще старую корреспонденцию в порядок привести. И прийти в себя после долгого отсутствия... Жизнь на Севере – суровая и трудная, и здесь как на ладони видно, кто чего стоит, все равно – будь он русским, поляком или евреем. Здесь природа одинаково относится к людям: то морозом травит, то с ума сводит, то опять-таки восхищает северным сиянием. В "Соловецких записках" ты можешь прочитать о моем увлечении этими людьми, с которых содрали кожу, живущими между бытием и небытием, пьющими насмерть. Если бы "кожу" заменить русским словом "мишура", то ты был бы прав – это увлечение жизнью. Между бытием и небытием. На грани. Итак, я дошел до грани. Далее уже только лед, снег и вечная мерзлота. Ни следов человека, никаких раскопок, никаких руин... И до космоса отсюда ближе, ибо не природа, а небо здесь диктует ритм: цикл солнца, полярная ночь, северное сияние. И последний рубеж... ведь Острова, по поверьям саамов, лежат на полпути в тот мир – как келья монаха, как зона. И еще одно... Гомбрович когда-то написал: "Я <u>один</u>. Поэтому я больше существую", – подчеркнуто мною".

Филипп Мюрэ
После Истории

Фрагменты книги

Вступление

ЭТИ современные хроники были с некоторыми сокращениями опубликованы в "Ревю де дё монд" в 1998 году, в виде ежемесячных заметок.

Опираясь на некую совокупность любопытных фактов нашей действительности, а также на комментарии, вызванные этими фактами, исследовав множество конкретных эпизодов повседневной жизни, в свете бесчисленных событий, свидетелями коих стали все мы в последние годы XX столетия, я задумал написать по возможности верную картину нашего времени и еще — попытаться создать общую теорию данного момента цивилизации, который я называю гиперфестивной эрой, ибо ничем не ограниченное увеличение числа праздников стало его самой насущной заботой, неотъемлемой потребностью, а значит, его наиболее рельефной, наиболее отвратительной и наименее изученной особенностью.

Что касается нового человека, мужчины или женщины, которого формирует эта цивилизация, то для него тоже нужно было подыскать совершенно новое, еще нигде не прозвучавшее определение; и поэтому я назвал его Homo festivus — Человек празднующий.

© 1999, Société d'édition Les Belles Lettres
© Н. Кулиш. Перевод, 2001

"После Истории" — рассказ о приключениях этого существа, решительно не похожего на всех своих предшественников. Здесь вы найдете поразительные сведения о его идеологии, языке, привычках, его поведении в быту, об общественной морали, новых методах устанавливать порядок, в том числе о том, как он все чаще и все безнаказаннее прибегает к террору.

Тому, кто пытается хоть что-то понять в наступившей эпохе, прежде всего необходимо признать: метаморфоза, постигшая человечество, *уже свершилась*, и рассматривать ее можно, только исходя из гипотезы, что исторический период полностью закончился, если считать Историю и человечество синонимами. Стало быть, "После Истории" означает также: после человека. А такая ситуация влечет за собой неисчислимое множество перемен, которые следует тщательно изучить, дабы можно было счистить с них напластования лжи, сорвать умильную личину невинности и определить их настоящую цену.

Эта книга, в которой я отказался от привычных приемов анализа, принадлежавших прежнему миру и бесполезных сегодня, — первая попытка осознать громадные перемены, происшедшие с нами, и выработать критический

подход к новой повседневности – абсолютно беспощадной ко всем нам.

После Апокалипсиса кто-то должен подвести итоги.

О *начинающейся эпохе*

Современному обществу повсюду мерещится критика, к которой оно не готово. Чтобы оградить себя от этой опасности, оно само без конца производит и выдвигает на всеобщее обозрение собственных ниспровергателей: лжеоппозиционеров, мнимых диссидентов, поддельных бунтовщиков, эрзац-повстанцев, синтетических мятежников, символических смутьянов, псевдоподстрекателей, полуофициальных нелегалов, умеренных провокаторов, осторожных посягателей на святыни, разрушителей, действующих в рамках закона, зачинщиков правительственных смут, освободителей на твердых окладах, фрондеров на час и сорвиголов с министерскими портфелями. Именно с этими силами наступившая эпоха начала войну против свободы.

Если говорить более обобщенно, то цивилизация, которая разворачивается на наших глазах, может полностью контролировать происходящее только при одном условии: если она вберет в себя все, что по идее должно ей противоречить. И вооруженные беспорядки, и вопли разъяренной толпы – все это теперь просто часть ее структуры. То, что ей враждебно, она производит на конвейере, как и остальную свою продукцию, и крупными партиями выбрасывает на рынок, но на этот товар у нее эксклюзивное право. "Нонконформизм", "особое мнение", "нарушение табу", "внутренняя ссылка" и "маргинальность" – все это давно и прочно вошло в наш обиход. И самые устрашающие "подрывные идеи" разводят теперь, как домашний скот, в бетонных стойлах Политкорректности и Консенсуса...

Наши образцовые мятежники бунтуют так же, как пасутся, – целым стадом. Новая цивилизация поощряет "подрывную деятельность" в той степени, в какой эту деятельность можно измерять не качественными, а количественными категориями. Все критические выпады, которые она поощряет, похожи друг на друга, и именно в этом их отличие от критики настоящей, всегда единственной в своем роде...

Итак, я назвал эту новую цивилизацию гиперфестивной. Этим я хотел сказать, что проведение всевозможных праздников, принимающих гигантские масштабы, стало *трудовой деятельностью* нашей эпохи и ее главным открытием. Эта активная фестивизация имеет лишь отдаленное сходство с празднествами былых времен или с "цивилизацией досуга" из нашего недавнего прошлого. "Классический" народный праздник, привязанный к определенной дате (ярмарки, карнавал и т. п.), а также праздник на дому, который обеспечивало нам телевидение, отныне растворились в глобальном празднестве, непрерывно и бесконечно изменяющем поведение людей и окружающую среду. В гиперфестивном мире праздник больше не противопоставляется повседневной жизни, не противоречит ей: теперь он – сама повседневность, вся повседневность и ничто, кроме повседневности. Праздник и будни уже неразличимы (и вся трудовая деятельность людей отныне будет направлена на то, чтобы неустанно создавать иллюзию различия). Все более и более грандиозные празднества гиперфестивной

эры: Парад геев, Праздник музыки, Парад любви в Берлине — вот лишь немногие из симптомов этой мощной эволюции. А приближение двухтысячного года сулит нам новые сюрпризы. План торжеств, которые готовит по этому случаю парижская мэрия, — презабавное чтение, пожалуй, даже более увлекательное, чем сами мероприятия. Это набор немыслимых нелепостей, порождение бессильной старческой эйфории. Перед ратушей будет установлена книга высотой в пятнадцать метров. Сена будет украшена разноцветными бутафорскими рыбами. Будет организован гигантский парад мотоциклов "харли дэвидсон". И в довершение всего — апофеоз: в полночь 31 декабря 1999 года, с последним ударом часов Эйфелева башня разродится гигантским яйцом, полным телевизоров, которые будут показывать программы со всего мира! Ну можно ли пропустить подобное зрелище, эти чудовищные роды, это адское Рождество, это металло-катодное таинство, эти демонические ясли, эту железную четырехлапую громадину, извергающую целый выводок телевизоров, и многоголосый крик этих новорожденных, в котором сольется воедино коммуникативно-виртуальная чушь со всего мира!

И все же обличать самые гнусные, самые очевидные проявления новейшей цивилизации, скажем ее экономические особенности, значит, по меньшей мере, ничего не понимать в ней. Любые негодующие возгласы лишь смягчат для сегодняшнего обывателя позор завтрашнего дня, когда конкретный мир прекратит существование. Так, совершенно бесполезно возмущаться невиданным размахом, который приобрел во Франции праздник Хэллоуин, и тем, как его "совместно" эксплуатируют промышленность и торговля, о чем писала "Либерасьон" 31 октября прошлого года. И слишком поздно порицать этот ненужный праздник как еще одно проявление американизации умов. Нежданный триумф Хэллоуина во Франции именно тем и интересен, что праздник этот никак не вписывается в культуру, которую мы по инерции продолжаем называть французской. Именно поэтому он с полным правом участвует в создании нового, лишенного смысла мира, куда смело устремляется "Франс Телеком", которая не боится стать посмешищем, раскладывая в садах Трокадеро идиотские тыквы и объявляя о превращении "этого престижного места в праздничный огород".

Сегодняшние праздники, как правило, не совпадают с традиционными. Гиперфестивный мир — это мир, где уже не существует *праздничных дней*. Но это еще и мир, в котором больше нет места праздничному настроению, когда человек удовольствия ради изощряется в шутках, озорных проделках, издевках, нелепицах, различных проявлениях духа недозволенности и необычности. А в гиперфестивном мире всякую шутку как никогда зорко стережет коршун нравственности. Теперешнее существование надо возлюбить безоговорочно, и скоро уже нельзя будет посмеяться даже над самим собой. Люди в гиперфестивном обществе не смеются, потому что это мир, в котором всегда *борются*. Отважно и без передышки. И борются против стольких вещей сразу, что уже вроде и нет нужды уточнять, с кем и за что идет борьба. "Сражаться" и "бороться" — два удобнейших непереходных глагола. Два самодостаточных императива. Два одиноких желательных наклонения.

Две дисциплинирующие монады, и если им все же чего-то не хватает, то они без этого отлично обходятся. В данной области, как и во многих других, поднимать вопрос о целесообразности стало неприличным. Как-то раз в "Либерасьон" под многозначительным заголовком "Одержимый" появился очерк о главном редакторе газеты "Монд". "У него есть вера", — утверждалось там. Вера во что? Нет ответа. Впрочем, стоило ли уточнять? В его лексиконе, поясняли нам далее, сплошь и рядом встречается слово *борьба*. Против чего именно? Не указано. Короче говоря, герой очерка изображался как "красный монах, воплощение высокой нравственности и верности". А под конец — как бы невзначай, с одобрением: "Юмор он давно уже "поставил в угол". Характерная для гиперфестивной эры невнятная ресакрализация окружающего мира вкупе с обожествлением человеческого существа гораздо лучше сопрягается со священством, чем с выявлением комедийных сторон жизни и утверждением, что жизнь есть комедия. При всей своей кажущейся разболтанности гиперфестивная Церковь не теряет ориентиров: она строго карает за кощунство. Режим, который она стремится установить, это фестивократия — то есть теократия, пришедшая вслед за агонией демократической эры и последними войнами. Праздник гиперфестивной эры происходит в полном смысле слова post festum: он наступает после всего.

В этом пришедшем в упадок мире, где множатся катастрофы, а мировая экономика уже почти не нуждается в рабочей силе, чувство унижения и растерянность достигли таких тревожных масштабов, что необходимо срочно, любыми средствами создать им противовес. Гиперфестивная система — это альтернатива язвам нашей эпохи, ибо она ставит себе целью возродить коллективный нарциссизм, в последнее время сильно поувядший. Это возрождение называется *признанием*. Потребность в признании выражается в непрестанных изъявлениях *гордости*. Но современная *гордость* стелется горестной мглой над обломками самостоятельности былых времен; и над обугленными останками того, что некогда было *славой*, героической моралью прежних веков. Это убогая массовая гордость, самоутверждение, приобретающее племенной, затем глобальный и наконец вселенский масштаб. Это стадное самопрославление, планетарный нарциссизм.

Праздник гиперфестивной эры — это уже не праздник в привычном понимании, а демонстрация гордости, когда весь окружающий мир начинает восприниматься как праздник, а праздник — как обожествление общности современных, лишенных индивидуальности людей. Тот, кто прошлым летом, во время Всемирных дней католической молодежи, назвал происходящее Молодежным парадом, Catho Pride, был не так уж не прав. Если Церковь и ее история и вправду перестали существовать, то случилось это именно тогда, при всеобщей эйфории. Все растворилось в этой гордости — ощущать себя католиком, в единодушном, карнавальном довольстве собой, при котором уже давно не осталось места для самоощущения отдельного человека (то есть ощущения разлада с существующим миром). Священнодействие было поглощено карнавальным действом, а былой католицизм, как и все прочие религии, — мистикой новейших времен, которую следует назвать *панфестивизмом*. Новая

религия утверждает себя за счет прежних, позволяя им, однако, сохранить некоторые характерные признаки, — но выхолащивая их основную (конфликтную) сущность...

Когда раздаются требования организовать на берегах Сены Парад музыки техно, не менее грандиозный, чем кошмарный Парад любви в Берлине, и нам обещают миллионное шествие, поскольку "музыка техно должна выйти на улицы", следует понимать, что этот удивительный категорический императив "выхода на улицы" есть новый гражданский долг честного обывателя наших дней, жителя новой планеты, человека, которого я в виде эксперимента и назвал Хомо фестивус.

Хомо Фестивус и фестивизм

Хомо фестивус повсюду — и нигде. У него осталось мало общего с человеческими существами прежних цивилизаций. Это может быть любой рэйвер, любой представитель среднего класса, может быть Клинтон, а может — и Билл Гейтс, один из самых влиятельных людей этого распадающегося мира, который (как недавно сообщил "Нувель обсерватёр"), "вскоре будет контролировать все программное обеспечение Интернета и все интерактивные виды досуга", но при этом, в полном согласии с фестивизмом, "костюму от Армани предпочитает джинсы, бокалу бордо — картонный стаканчик с "кока-колой", а изысканным развлечениям — тоббоган в своем новом доме стоимостью в двести двадцать миллионов франков". Хомо фестивус глядится в свою эпоху как в зеркало и благодарит ее за то, что она сделала его таким большим. На самом же деле ни один Хомо фестивус не может превзойти другого, ибо каждый — всего лишь Хомо фестивус и не может стать никем иным. К гиперфестивной идеологии, иначе фестивизму, можно отнести то, что Борхес однажды написал о номинализме: "Номинализм, бывший некогда достижением единиц, сегодня охватывает весь мир; его победа столь прочна и всеобъемлюща, что самое имя его обессмыслилось. Никто уже не объявляет себя номиналистом, потому что никто уже не может быть кем-то иным". Добавим от себя, что триумф гиперфестивизма, в перспективе ведущий к нивелировке личности, — это триумф реализма (как противоположности номинализму) неонеоплатонического и аллегорического толка, возвращение к абстракции, против чего безуспешно борется номинализм (и эта борьба, уточняет Борхес, — видите, все логично, — приводит к *появлению романа*).

Наше возвращение к абстракции уже не нуждается в обоснованиях. Оно стало повседневной практикой. Ничто не может удостоиться хвалы, если это нельзя привязать к пышным празднествам новой эпохи... Бывший министр культуры Жак Ланг, великий магистр техно-музыки, страстный апологет рэйва как воли и представления, в общем, большая шишка в гиперфестивном мире, два месяца назад написал в "Либерасьон" статью, где говорится о достоинствах французского техно и создаваемых им творческих возможностях. Праздники техно, утверждает он, "стали творческим трамплином для целого поколения молодых художников, музыкантов, стилистов, графиков, режиссеров видеоклипов, театральных актеров, создателей ледяных скульптур". Интересно, при чем тут создате-

ли ледяных скульптур? Почему бы заодно не вспомнить создателей отливок из универсального клея? Архитекторов, воздвигающих замки из песка, ваятелей, которые лепят снеговиков? Я, конечно, ничего не имею против создателей ледяных скульптур, однако мне неясно, почему бывший министр культуры удостаивает их особого расположения. А еще Жак Ланг очень хочет, чтобы мы знали: он категорически против запрета рэйва. Ведь во время ночных танцевальных безумств, утверждает он, "имена исполнителей часто остаются неизвестными, а половые и расовые различия теряют силу". Очевидно, это весомый довод, чтобы выступать против запрета рэйва.

В самом деле, прежние принципы дифференциации (главное условие даже для минимальной работы критической мысли) растворяются в празднике гиперфестивной эры. Исчезает даже человеческая речь, как напомнила нам недавно репортерша из "Монд", в полном восторге, как и экс-министр, вернувшаяся с ночного рэйва в парижском пригороде. Вечеринка была устроена на фоне индустриального пейзажа, в помещении огромного заброшенного склада, который, по словам журналистки, "был похож на паперть собора Парижской Богоматери во время средневековых ночных игрищ". Три тысячи танцоров разогревались там "под руководством ди-джеев, под супервибрации, доступные для всех, ибо они не нуждаются в словах". В наше время не нуждаться в словах — это достоинство. Еще недавно, до окончательной победы фестивизма, в отказе от живого слова увидели бы тревожный симптом возврата к животному состоянию. Но теперь этот возврат уже поздно диагностировать: он идет полным ходом, и все меньше и меньше людей выражают по этому поводу свое возмущение.

Гиперфестивная система, неусыпно заботящаяся о морали, с недоверием относится к живой речи, поскольку та с трудом поддается контролю, может нести ложь или по крайней мере звучать двусмысленно. Чрезвычайно интересен тот факт, что состояние фестивности считается верхом блаженства, поскольку оно сопровождается стиранием различий. Недавно один любитель с сожалением вспоминал о "легендарных" временах "Паласа", где "исчезали социальные, сексуальные и расовые барьеры и был изобретен новый критерий принадлежности к этому сообществу, отказавшемуся от фетишей". Праздник нужен для того, чтобы уничтожить все противоречия, все несовпадения... Хомо фестивус безмерно горд тем, что он движется в едином умиротворяющем потоке, где нельзя различить лица, в некоем космическом *континууме* мира и любви, от которого краткий *исторический* период развития человечества отделил нас, в сущности, на очень недолгое время. Жак Ланг не сознает, до чего он смешон, когда призывает устроить французский техно-парад и в качестве последнего довода восклицает: "Это могло бы стать началом новой всеобщности, всеобщности поэзии, искусства, терпимости, которая вытеснила бы всеобщность войны, насилия и репрессий". Вся эта многословная и бесцветная демагогия не имеет ни малейшей связи с реальностью. Пропагандистам гиперфестивной эры близок и дорог мир сновидений, приносящий им большую выгоду, а все остальное их не волнует. Их не удивляет исчезновение реального мира и конкретного человека.

Напротив, их это радует. Как будто с них сняли какое-то древнее заклятие...

Фальсификация

У новой цивилизации есть свои законы. Есть и те, кто следит за их исполнением: они рыщут по всему миру, выявляют отклонившихся и колеблющихся, требуют умолчаний или "смягчений" во имя политической *корректности*, которая пережила *крах* идеологий и официально заменила их собой. Всеми доступными и мыслимыми средствами, запугиванием, шельмованием, а главным образом — замалчиванием страж новейшего закона по всей Европе и далеко за ее пределами преследует все, что так или иначе не вписывается в новый мир, неприкосновенным образцом коего служит наша лучезарная пост-Европа. Одна из задач Хомо фестивуса в области Культуры состоит в том, чтобы утаить гипотезу о конце Истории и не допустить развития опасных идей, основанных на этой гипотезе. Эти абсурдные и смехотворные усилия (во имя позитивной картины мира сохранить Историю в качестве мифа, хотя двигателем Истории всегда был отрицательный взгляд на мир: люди боялись отказаться от такого взгляда на мир, чтобы не вернуться в животное состояние) иногда проявляются весьма забавно. В октябре Гюнтер Грасс дал большое интервью тележурналистке Лор Адлер. Я не знаю, что думает великий романист о философском аспекте конца Истории; хотя его замечательный роман "Камбала", посвященный возврату цивилизации к тому, что автор называет "внеисторической гинекократией", позволяет сделать некоторые выводы. Но сейчас речь не об этом.

В связи со своей последней книгой "Целая история"[1] Грасс долго говорил о сегодняшней Германии, где после падения Берлинской стены жизнь, по его описанию, становится все более невыносимой. Затем он сказал (цитирую по синхронному переводу):

"Эдикт курфюрста Бранденбургского о веротерпимости был, можно считать, отменен. Мой герой понимает, что для него в Германии больше нет места. Он готов последовать за внучкой в Севенны, как некогда гугеноты бежали из Франции... История, можно сказать, пошла в обратном направлении... История повернула вспять... Но интересно то, что конца у истории нет. Мы не знаем, что приключится с Фонти и его внучкой в Севеннах... А вдруг какой-нибудь молодой французский писатель встретит Фонти и его внучку в Севеннах и напишет продолжение этой истории? Меня как читателя это бы заинтересовало..."

Лор Адлер выхватила слово *история*. Она превращает его в *Историю* и, пользуясь тем, что Грасс не понимает (или плохо понимает) по-французски, приправляет разговор пропагандистским соусом: "Вы хотите сказать, что История может продолжаться? Значит, она не застопоривается? Значит, можно быть оптимистом?.."

Грасс в нерешительности. Молчит. Ждет, пока ему переведут бодрые слова, с помощью которых Адлер вербует его в свои ряды. Не знаю, дошел ли до него смысл сказанного. Но он отвечает, по-прежнему невозмутимый и сосредоточенный на своей книге: "Вот это и поразительно в литературе. Но это свойство многих моих книг. Когда финал повисает в воздухе, история может быть продолжена. Факт од-

1 В оригинале роман Г. Грасса называется "Ein weites Feld".

ной литературы может быть подхвачен другой литературой, и так начинается диалог поверх лингвистических границ..."

Итак, сказав слово *история*, Грасс имел в виду лишь сюжет своего романа и закончил разговор рассуждением о литературе. Но для Лор Адлер ее фальсификация важнее всего. Это можно понять. Через несколько минут на экране появляется надпись, подводящая итог беседе и сознательно искажающая ее смысл:

> Гюнтер Грасс, продолжение и завершение портрета.
> Он говорит: история не застопоривается.
> Он говорит: дойчмарка не может заменить мысль.

Как мы видим, законоучитель гиперфестивной эры желает соединить всех людей братскими узами и уравнять между собой, а также опровергнуть догадку о конце Истории. Но есть у него и еще одна особенность: оголтелый ревизионизм... В XIX веке произведения литературы оценивались и осуждались с точки зрения вкуса, в соответствии с эстетическими критериями и моральными нормами своего времени. В наши дни все потешаются над тогдашними суждениями, над тем, с какой позиции оценивали, скажем, Эмму Бовари и находили ее аморальной. Мы страшно гордимся тем, что с такого рода архаизмами и отвратительными *предрассудками* давно покончено. Больше такое не повторится, верно? Теперь *запрещать запрещено*, ведь так? Только вот беда: после всех торжественных обещаний запреты не прекратились, напротив, они все множатся и множатся. Хранителями новой ортодоксии выступают именно те, кто ниспровергал ортодоксию старую. При этом они, конечно же, строят из себя нарушителей табу, убежденных противников "политкорректности" и "единомыслия". Навязывая самый пошлый моралистический, каждый притворяется аморальным вольнодумцем, наследником Жоржа Батая, внуком маркиза де Сада, троюродным братом Антонена Арто. Но пусть мне объяснят, какая разница между тем, что писал аббат Бетлеэм в своей книге "Романы, которые следует или не следует читать" (с 1905 по 1922 год она вышла общим тиражом в сто тысяч экземпляров, желая предостеречь читателя от "тлетворного воздействия порнографических и вредных романов"), и новейшими тенденциями в литературной критике, в частности американской, где страсть к переосмыслению становится прямо-таки разрушительной стихией. Если тексты не подвергают беспощадному суду, то для них испрашивают снисхождения и пытаются доказать, читая между строк, что автор был небезнадежен. У него отыскивают скрытые проявления феминизма, антирасизма, антинационализма. А если повезет, его можно сделать и "голубым". В каждой гетеросексуальной любовной сцене будут обнаружены признаки подавленного гомосексуального влечения. Недавно нечто подобное проделали с Сервантесом. В октябре в журнале "Нувель обсерватёр" под заголовком, напоминающим крик обиженного ребенка ("Меня проценсурировали!"), Хомо фестивус (в данном случае выступающий под именем Доминик Фернандез) жалуется на издателя, отклонившего его предисловие к новому переводу "Дон Кихота". В этом предисловии он излагал собственную трактовку романа, в котором усмотрел замаскированную "голубую" эпопею.

Интересно, что в той же подборке, посвященной хитроумному

идальго, опубликованы воспоминания кубинской писательницы Зоэ Вальдес. В свое время один из ее учителей, разумеется коммунист, навязывал ученикам марксистскую трактовку "Дон Кихота": Санчо Панса символизировал пролетариат, ветряные мельницы — империализм янки, а сам Дон Кихот — Фиделя Кастро. Все это, замечает Вальдес, показалось ей "такой чушью и пошлостью", что она сбежала с уроков на пляж.

Ей выразили бурное одобрение. Еще бы, ведь теперь это совершенно безопасно: марксизм окончательно отвергнут, равно как и сталинизм, ждановизм и некоторые другие заблуждения прошлых лет. Бедный кубинский учитель хотел превратить Сервантеса в идейного борца? Ну разве не смешно?

Перевернем две страницы. Что пишет о Дон Кихоте Доминик Фернандез? Этот персонаж, по его мнению, интересен только тем, что странствует. Вот как? И к чему же хочет прийти наш толкователь? А вот к чему: "Странствия, неприкаянность, маргинальность — вот темы этого романа, актуальнейшие для нас". Да, соглашается он, теоретически можно предположить, что под хитроумным идальго скрывается еврей или мориск. Но у хитроумного критика-фестивиста в рукаве припрятан гораздо лучший вариант. "Думаю, — пишет он совершенно серьезно, — что Сервантес имел в виду другое меньшинство, которое в его время подвергалось еще более жестоким гонениям, а потому был вынужден прибегать к завуалированным намекам и иносказаниям". И делает вывод: "Дон Кихот" — озорная, утонченная, восхитительная притча о гомосексуализме, издевка над запретами". Странствующий идальго любит Дульсинею? Вовсе нет: это "чистейший интеллектуальный миф". Для Дон Кихота она — "все равно что какая-нибудь Каллас, обожаемая и далекая оперная дива, для современных геев". Разве рыцарь не приходит в ужас, когда мнимая Дульсинея, которую приводит Санчо, дышит ему в нос чесноком? Конечно, какой-нибудь не обделенный чувством юмора читатель мог бы просто-напросто предположить, что Дон Кихоту не нравилось, когда у женщины воняет изо рта. Но Хомо фестивус не столь наивен. Как истинно современный человек, он делает вывод: странствующий рыцарь испытывал глубокое отвращение *ко всему женскому полу*. Запах чеснока — всего лишь "тонкий намек" на ужас рыцаря перед женским телом; а удары кнута по голому заду Санчо "выражают скрытое половое влечение".

Между произвольной марксистской трактовкой кубинского учителя и фернандезовскими поисками "голубизны" есть только одна, но существенная разница: первая трактовка оказалась в полном историческом одиночестве и стала посмешищем, ее можно критиковать без всякого риска, наоборот, это даже рекомендуется, а другая точка зрения торжествует, она неприкосновенна, она сокрушает все; и, как сказал бы Фернандез, она "истинно современна", то есть гиперфестивна.

Когда учитель Зоэ Вальдес перекраивал Сервантеса, девочка убегала на пляж; и вот мы вместе с ней смеемся над ее тогдашними злоключениями. Но когда мы слышим примерно такой же, только чуть подновленный бред от Фернандеза, то чувствуем: на всякий случай надо стать по стойке "смирно". В этом различии и проявляется террор наступившей эпохи...

Катастрофы

Когда Хомо фестивус не катается на роликах по Парижу, он отправляется в горы и лазает там на снегоступах, вызывая лавины, и те с чудовищным грохотом погребают его под собой. Или же он приезжает в какой-нибудь рыбацкий поселок и участвует там в Празднике моря, который заканчивается кораблекрушением. А еще бывает, что его кемпинг сносит селевым потоком. Во всех этих несчастьях нет ничего смешного. Но поражает то неподдельное горестное изумление, которое читается на лице Хомо фестивуса всякий раз, когда Природа сыграет с ним злую шутку. Разве горы могут быть безжалостны к человеку? Разве океан представляет опасность? Разве реки могут взбухнуть и превратиться в потоки, сносящие все на своем пути? Ни расследование, ни поиск и осуждение виновных не смогут утешить Хомо фестивуса: у него ощущение, что его предали. Когда зимой идет "волна холода", как назло неизменно совпадающая с февральскими отпусками, люди, застрявшие на автострадах и в поездах, проклинают власти за бездействие. Послушайте их, и вы поймете, что с приходом гиперфестивной эры у людей вновь ожила вера в магию, хотя формы, которые она принимает, стали несколько иными. Теперь уже не устраиваются ритуальные пляски, чтобы вызвать или прекратить дождь, но когда наступает гололед, начинают выяснять, кто виноват. Если бы виновные нашлись, их могли бы растерзать (в январе, когда случилось несчастье в Орре, одного из проводников, который считался виновным, посадили в тюрьму, "ради его же безопасности"). С тех пор как конкретный мир исчез, явления природы, превратившись в игровую площадку, стали чем-то вроде платоновских идей. От них требуют такой же открытости, как от государственных дел и от частной жизни кинозвезд. Хомо фестивус твердо верит в то, что гора или океан суть синонимы счастья; что их предназначение — служить оправой для его увеселений. В таких обстоятельствах любой несчастный случай — это скандал, нож в спину, нарушение уговора. То, что гора или море время от времени напоминают о своем самостоятельном, реальном существовании, воспринимается как преступление. Как все дети, Хомо фестивус принимает свое желание за действительность, которой уже не существует. Он не хочет принимать во внимание, что пути Природы могут быть извилисты, непредсказуемы, загадочны. Его ребяческая религия призвана обезопасить его от непредвиденных случайностей, этих пережитков Старого Режима, призраков былых времен, когда еще не был изобретен *нулевой риск*. <...>

Поразительные прозрения

Вообще говоря, обращаться к произведениям писателей былых лет, чтобы лучше разобраться в сегодняшних событиях, — это уловка, которую следует оставить жуликам от Культуры. Трудно сказать, может ли литература прошлого, даже недавнего прошлого, помочь нам постичь настоящее. Если мы действительно испытываем уважение к гениям прежних эпох, не надо впутывать их в разбор текущего момента. Нравы и обычаи людей, все человечество претерпели столь коренные изменения, что их невозможно осмыслить в прежних категориях, кото-

рыми пользовались в прошлом, в эпоху видимой реальности. И все же бывали удивительные прозрения. Например, у Бернаноса, который в последние годы жизни решил присмотреться к меняющемуся миру. Великую эпоху ярости и открытий, начавшуюся в конце тридцатых годов и закончившуюся к 1948 году — году смерти Бернаноса, — обычно рассматривают сквозь призму политики, но она представляет интерес прежде всего в аспекте антропологии. Очень скоро Бернанос понял, что мутация рода человеческого, которую он называет *дехристианизацией*, возникла как результат отнюдь не противоестественного слияния различных видов тоталитаризма с демократией. Он повторяет снова и снова: "трестовский режим" лишь по видимости является антиподом "государственного коллективизма", и если "техническому Молоху" удалось заложить "прочные основы своей будущей тирании", не спровоцировав восстания, то только благодаря тому, что он сумел прикрыть "свои бесчисленные беззакония либеральной фразеологией". По окончании войны он предрекает преображение тоталитарного Волка в тоталитарного Агнца, и кажется, что он издали чует приближение эпохи нашей высоконравственной элиты, совестливых авторов коллективных петиций и политиков с кукольными личиками (одним из наиболее гадких прототипов коих мог бы быть непорочный Франсуа Олланд). "Всеобщая Тоталитарная Революция, — пишет он, — вынуждена пойти на мировую; завтра она перерядит волков пастухами, военных — законодателями, бывших палачей — проповедниками и моралистами. Шпионские центры, созданные для войны, будут переоборудованы в центры социальной защиты и помощи жертвам бомбардировок". К этим словам, предвосхитившим нашу эру "необходимого вмешательства" и гуманитарной помощи, следует добавить еще предвидение повальных праздничных увеселений, которым станет предаваться страдающее человечество: "Я нахожу, что мир погружен в отчаяние, но при этом он переполнен оптимизмом. "Переполнен" — самое подходящее слово, потому что официальная пропаганда закармливает его оптимизмом, как закармливают гуся перед Рождеством. Говорят, что такое кормление — отвратительное зрелище, но у фермеров хотя бы хватает жалости не закармливать больных гусей... А закармливать оптимизмом отчаявшееся общество — такое занятие никому не делает чести". Но самое поразительное, по-моему, это сделанное Бернаносом в конце сороковых годов наблюдение о все возрастающем желании человечества впасть в детство: "Пропаганда, это ужасное орудие отупления, подстригающее всех под одну гребенку, развивает упрощенчество в ущерб простоте: эти два слова так же несхожи по смыслу, как слова "ребяческий" и "детский". Увы! Весь демонизм современного мира настолько проникнут ребячеством и упрощенчеством, что Ангелам Зла впору лопнуть от смеха. Механическая Цивилизация приведет к тому, что слабоумное, впавшее в детство человечество будет катить по Земле в инвалидной коляске, а роботы будут подтирать ему зад".

Поставщики событий

"Роботы", чья задача — подтирать зад человечеству, развелись в огромном количестве, а люди, впавшие в детство, жаждут, чтобы их развлекали всякими баснями,

пока туроператоры катают их в инвалидных колясках по свету. Конечно, события, к которым готовятся, но которые так и не происходят, можно в каком-то смысле расценивать как антиискусство и антитеатр, а значит, как своего рода авангардизм; но ведь никто и никогда не принимал всей душой идеи авангардистов; между тем большинство людей изъявляют полную готовность "играть" вместе с постановщиками современных событий и идти с ними рука об руку всякий раз, когда это предлагается. Не-события нашего времени имеют вид неких празднеств без повода, без причин, без последствий, а главное, без продолжения. Примером может служить вторая, несостоявшаяся война в Персидском заливе. Но не только она. Можно привести в пример любое не-бывшее событие. Скажем, историю с астероидом XF11, который будто бы должен был столкнуться с планетой Земля лет через тридцать и вызвать настоящий Апокалипсис. На следующий день нам так же весело сообщили, что астероид пройдет на расстоянии в миллион километров от Земли. Но постановщики событий попали в цель. Как справедливо замечает один из персонажей Ионеско, "события развиваются быстро, когда их больше нет".

Не-событие вырастает на могиле настоящих событий. Оно растет и наливается силой, паразитируя на их останках. Оно — пышное изображение их отсутствия. И еще — попытка воссоздать их в виде абстракции. По отношению к подлинным событиям они — то же, что воображаемая Европа объединенных "элит", злокозненных правящих каст с новой валютой "евро" в зубах, по отношению к чудесной старой Европе, которую сотрясали войны и озаряли произведения искусства. Прошлым летом в "Монд" была опубликована большая подборка материалов о постановщиках событий: "Мир зрелищ вторгается в мир предпринимательства". *Фирмы, не имеющие отношения к культуре*, говорилось там, стали прибегать к помощи профессионалов, чтобы привлечь внимание к своей деятельности. И все довольны: «В связи с тем что количество рабочих мест в области культуры, так же как и правительственные и иные субсидии, постоянно убывает, а, с другой стороны, зрелищность востребована все больше и больше, мастера зрелищ вынесли свою деятельность за пределы культурного пространства как такового: речь может идти о раскрутке нового продукта, организации рождественского праздника на крупном предприятии, оживлении делового ужина или семинара руководящих кадров. Или же о "создании в центре города праздничной атмосферы к Новому году". Владелец сети обувных магазинов, организующий по средам или по субботам небольшие представления с участием артистов (музыкантов, жонглеров, акробатов), утверждал, что его магазины "должны быть чем-то бóльшим, чем просто заводами по продаже товара". Рынок, однако, диктует свои условия: "Организация зрелищ во многом зависит от конъюнктуры. Фирмы пока еще не выработали долгосрочной стратегии в этой области". Но это не означает отсутствие перспективы: остаются еще "движения общественности, которые выступают за оживление атмосферы в проблемных кварталах. Не говоря уж о различных ассоциациях, в частности антирасистских, которые приглашают рэп- или хип-хоп-группы, чтобы придать праздничную атмосферу своим манифестациям».

Если странный нигилизм имитаторов событий можно че-

му-то уподобить, то я сравнил бы его с так называемой негативной теологией, в которой мыслитель продвигается к потустороннему окольным путем полу-отрицаний, полу-умолчаний, а всякое определение, всякая попытка конкретизировать неизъяснимое Божество воспринимается как умаление Его и потому отвергается. Но у негативной хроники событий нашего времени нет никаких мистических (а тем более познавательных) устремлений. Ничто преподносится как единственная неоспоримая сущность, доступная нам. Одобрение всего, что появляется (все "новое" прекрасно), — одна из характерных черт Хомо фестивуса, который мог бы избрать своим святым покровителем вольтеровского Панглоса. Его некритическое, безусловное приятие всего "современного" коренным образом (что неудивительно) расходится с философией Гегеля, придававшего важное положительное значение отрицанию, посредством которого существующее снова и снова разрушается, чтобы освободить место для реализации новых возможностей. Поскольку в данном случае существующее — миф, трудно представить, что именно в нем следовало бы изменить. Если вернуться к несостоявшейся второй войне в Персидском заливе и к глубочайшему не-верию, в энный раз братски объединившему зрителей и комментаторов, забавно отметить, что единственными, кто хоть как-то поверил в мнимую неизбежность этого не-события, были гиперфестивные аппаратчики мирового уровня: я имею в виду правительство Японии и Международный олимпийский комитет, которые обратились к Соединенным Штатам с официальной просьбой: не нападать на Ирак во время зимних Олимпийских игр в Нагано. Это был яркий образец последней оставшейся разновидности конфликта: между спортом, который сегодня стал единственной приемлемой метафорой былых войн (он направляет страсть к насилию в нужное русло, заставляя ее служить "сосуществованию" и восстановлению "уз коллективизма"), и дематериализованной войной (которая, однако, сплошь и рядом эксплуатируется в качестве реальной угрозы), способной составить ему конкуренцию. Даже хорошо, что противниками этой псевдонеовойны (и единственными, кто попался на эту выдумку) оказались одни лишь фестивно-спортивные начальники: у бескровных спортивных войн нет худшего врага, чем реальность в виде срыва состязаний.

Напрасно, однако, они волновались: пропагандисты новой невойны в Заливе тоже вели речь лишь о бескровной войне.

В то время как люди безучастно присутствуют при окончательном исчезновении элементов былой реальности, происходит стремительная реконструкция этой реальности с помощью ее обломков. Я говорю об отреставрированных старых кварталах, о пешеходных зонах, превращающих живую улицу в макет, и о неприметных, но милых уголках, из которых сделали "зоны творческой активности"... В этих обстоятельствах "видеть вещи такими, как они есть", означает видеть, как их преобразили те, кому хочется, чтобы мы не замечали подобных преобразований. Но новый вид деятельности создает новые рабочие места. Общественная жизнь, также подвергшаяся разгрому, тщательно восстанавливается — не просто так, а за звонкую монету. В пьесе "Топаз" Марселя Паньоля упоминается жулик по имени

Менетрие: "Ему дали во владение красивейшую горную цепь возле Антананариву. Он отправился туда, чтобы продать ее людям, которые там живут". Постановщик событий хладнокровно продает обитателям современного мира катастрофы, аварии, несчастья, сенсации и увеселения — все то, что и так им принадлежит, или то, что они вполне могли бы создать себе сами, пока для этого еще были условия (то есть подвернувшийся случай). В наше время мастеров социальной иллюзии можно встретить во всех областях жизни. Я знал человека, который арендовал у владельцев роскошные квартиры для тех, кто желал провести там ужин, прием или просто пригласить туда друзей *как к себе домой*. Таким образом, уже и в повседневной жизни проявляется тенденция к историческим реконструкциям. Начисто лишенный смысла, бесплотный, застывший во времени ритуал шикарного ужина оказывается по ту сторону Истории, где что-то якобы происходит и будет происходить — без всякой цели и надобности, а лишь потому, что оно происходит, лишь потому, что так надо. В каждой из областей человеческой деятельности работа по воссозданию разрушенного, попытка слепить нечто из праха конкретного мира приобретает характер стратегической задачи с дальними перспективами. Это будет миссия людей в третьем тысячелетии...

Слово "событийность", оторвавшись от породившего его существительного "событие", перестало обозначать факты, дела, происшествия, неприятности, достойные всеобщего внимания. Единственное, чему не осталось места в мире постановщиков событий (а кстати, как их называть: событийщики? приключенцы? катастрофисты?), — это само событие, приключение, которое случается нежданно-негаданно. В наше время случай не может рассчитывать на положительные отзывы прессы. Он оказался в лагере побежденных. Ведь сталкиваться с чем-то непредвиденным крайне неудобно. Торговцы событиями боятся этого как огня. Если за несколько недель до наступления двухтысячного года произойдет какое-нибудь действительно нежданное событие, словно в старые времена, его воспримут как скандал, как смертельное оскорбление организаторам встречи Года-2000: ведь на это время они присвоили себе абсолютную монополию на события. Но вряд ли стоит опасаться (вернее, надеяться), что будут сорваны идиотски слащавые или совершенно непристойные увеселения, коими решено отметить наступление нового тысячелетия (так называемый "Зеленый меридиан", посадка аллеи из десяти тысяч деревьев, которая должна протянуться от Дюнкерка до Барселоны, символизируя единство французской нации, гигантский рок-концерт, иллюминация моста в Гарде, "звуковое оформление" Парижа и т. д.). Событийность, эта дешевая аляповатая безделушка, может иметь успех только в отсутствие подлинных событий.

То, что не существует, заявляет о себе во всеуслышание: вот образец красноречия, характерного для организаторов событий. Речь идет о празднике, призванном оживить жизнь в маленьком городке близ Парижа. Программа праздника напоминает выспреннее поэтическое воззвание. Хомо фестивус, неустанный создатель потемкинских деревень, в которые ныне превратилось все общество, упивается собственной пустопорожней риторикой:

Все и каждый, будьте на высоте!

Объединяющее, возвышающее событие, гигантский масштаб!

Праздник на службе у высших ценностей!

Создадим событие, которое станет достоянием горожан, которое внесет свою лепту в историю города!

Праздник будет проходить в урбанистическом декоре: архитектура станет его атрибутом и рабочим инструментом.

Двигаясь от периферии к центру, праздник постепенно заполнит весь город, вплоть до апофеоза и финального взлета.

В повседневность ворвутся новые, будоражащие элементы, изменят ее, зададут ей новый ритм, сообщат изменчивость форм и насыщенность красок.

Праздник грянет в пятницу – на площадях, в скверах, в городских садах.

Смысл игры: постепенно завладеть городом. На площадках, установленных по всему городу, будут разыграны небольшие спектакли.

В первый день необходимо задействовать живую силу. Любители бок о бок с профессионалами будут совместно разрабатывать основную тему: "Взлет".

Второй день будет днем городских общественных объединений. Масштабность зрелищ возрастет, к центру города будут стекаться шествия, развивающие идею праздника вплоть до фантастического, ирреального, грандиозного. Праздник украсят собой певцы, акробаты, артисты высочайшей пробы.

В третий день события будут разворачиваться в воздухе. Игры под облаками, фейерверки, воздушные змеи, монгольфьеры...

Затем праздник оторвется от земли и исчезнет.

Это все, что можно пожелать такому празднику. <...>

Левые против

"Против ненависти" – так озаглавлена статья в "Монд". Против этой самой ненависти выступают писатели, в количестве тридцати одного. Их усаживают в ряд. Как отпускников на картинах Будэна, сидящих напротив моря. Напротив своевольной стихии, которую они созерцают, предполагая либо укротить ее, либо уничтожить. Но что такое ненависть? Удивительно, что все делают вид, будто знают это a priori, и никто не усматривает в этом *проблему*. Все ведут себя так, словно литература (которую, собственно, и призваны представлять собравшиеся здесь писатели) всегда была органически чужда ненависти. Словно она, литература, даже в высочайших своих проявлениях, не содержит ни грана ненависти. Словно ненависть была чем-то противоположным литературе, несовместимым с ней, сущностью иного порядка. Во всяком случае, так принято думать. Как если бы литература в будущем должна была предстать перед миром непременно в белых одеждах и в ореоле непорочности. Или как если бы она никогда не была теснейшим образом связана со злом, мерзостью, ужасом, демонизмом, безумием, патологией, отвращением, злобой, аморализмом, развратом, бесчеловечностью, пороком, нечистотами, отравой. Эрос, одним словом, и Танатос.

"Против ненависти". Усадить тридцать одного писателя "против ненависти" означает признать укрепление нравственности единственной задачей каждого, кто владеет пером, а стало быть, превратить литературу в лигу борцов за нравственность. Все, что за долгие века было сказано о негативном начале как необходимом условии жизни – и обществ, и индивидуумов, – мнение таких людей, как Бернар де Мандевиль (наиболее процветающие цивилизации всегда основаны на пороке, а не на добродетели), все, что сказал Жорж Батай о благотворности Зла, теперь запрещено или, во всяком случае, признано ошибоч-

ным. Истины, которые с XVII века были известны каждому иезуиту, теперь канули в забвение. Зло пытаются лечить Добром, и воображают, будто от этого будет толк. Все утрачено: и простейшие уловки разума, и парадоксы диалектики. И с таким моралистским багажом эти люди хотят помериться силами с представителями современного морального Порядка.

"Против ненависти". Несостоятельность такого проекта очевидна: любой человек, если только он считает себя не трупом, а живым существом, испытает непреодолимое искушение переметнуться на другую сторону. Куда угодно, лишь бы не оставаться в этом заколдованном царстве, где литература, культура и мораль сливаются в единое окаменевшее целое. В изнуряющей пустыне. На поверхности Луны, откуда изгнаны желания. Среди благонамеренной скучищи. Куда угодно, только не в этот литературный Диснейленд, внутренний мир добропорядочного Хомо фестивуса...

"Против ненависти". Это значит противопоставить литературу самой жизни. Как будто Достоевский, Сад, Лотреамон, Селин, Бальзак, Кафка, Леон Блуа, Батай, Фолкнер, Борхес и многие другие не занимались исследованием мрачных сторон человеческой души. Они *исследовали*, а не усаживались *против*. Они добровольно взвалили на себя бремя зла, ведь иначе его антиподы — согласие, любовь, нежность, братство — не имели бы никакой силы. Они не держались вне. Они не сели напротив в воинственных позах, защищенные своими благими намерениями, словно поясом целомудрия. Они не побежали занимать место с *правильной стороны*, крича, что оно принадлежит им по праву рождения (и ужасаясь тому, что на неправильной стороне все больше и больше народу). Они не объявили себя свободными от ненависти, не изгнали ее из литературы, превратив последнюю в школу гражданских добродетелей...

"Против ненависти"? О чем им говорить? После кончины литературы, то есть после умерщвления ненависти *в письменном выражении* (ненависти, а также красоты, смысла, конкретности, способности к наблюдению и других вещей, которые умерли *вместе с нею*), у них почти не осталось средств воздействия. Они даже не смогут теперь анализировать те специфические формы (ксенофобию, расизм), которые принимает зло, когда его выгоняют через дверь искусства, а оно возвращается через окно реальности. Они не смогут даже как следует рассмотреть предполагаемый предмет исследования, поскольку его больше не осталось на складе. Зло не соприкасается с ними, но страшит их; а если бы оно с ними соприкоснулось, то не вызвало бы уже такого страха, смешанного с извращенным удовольствием. И Ле Пен не превратился бы в ловушку, куда опрометью кидаются все эти мученики целомудрия.

"Взгляните на жизнь самых развитых и преуспевающих людей и народов, — пишет Ницше в заметке под названием "Зло", — и вы увидите, что дерево, растущее вверх, не может обойтись без ненастья и бури; что неблагоприятные условия, внешние препятствия, ненависть, зависть, упрямство, недоверие, жестокость, алчность, насилие по сути являются условиями *самыми что ни на есть благоприятными*, без которых вряд ли возможно процветание даже самой добродетели. Яд убивает слабого, а сильного делает еще сильнее — и потому сильный не станет называть его ядом".

Что же касается левых писателей, приглашенных "Монд", то они воюют даже не против правды, у них нет для этого средств: они сражаются с вымыслом, то есть с литературой, всей литературой, ничем, кроме литературы; и отныне эти писатели, тридцать один человек, могут с полным правом считаться опасными врагами литературы. <...>

Сорок три процента французов часто или очень часто думают о смерти

О смерти больше не принято умалчивать, и газеты, вышедшие в канун Дня поминовения, не скрывают своего глубокого удовлетворения по этому поводу. Наиболее проницательные наблюдатели и самые дальновидные исследователи современных нравов усматривают в этом "возрождение смерти". Доказательством может служить то, что смерть "все больше привлекает внимание средств массовой информации" и что выходит все больше и больше книг о смерти и о *состоянии траура*. Эта странная танатофильская тенденция подтверждается социологическими исследованиями, которые недавно проводили бюро ритуальных услуг: "Сорок процентов французов думают о смерти". В общем, смерть в моде. Она процветает. Ее дела идут в гору.

Мы привыкли не придавать значения статистическим данным, как правило, они вызывают усмешку и ничего более. Но эти данные резко выделяются среди прочих своим явно болезненным характером. Согласно результатам того же исследования, помимо сорока процентов французов, думающих о смерти, еще сорок три процента думают о ней "часто или очень часто" — а два года назад таких респондентов был только тридцать один процент. Выходит, всего за два года еще двенадцать процентов французов, как один человек, влились в ряды мыслителей, предающихся глубоким раздумьям об окончании земного пути. Такая поразительная смена настроений, наряду с другими изменениями того же свойства, действительно заслуживает внимания. Правда, ни социологи, ни респонденты не разъяснили, что, по их мнению, значит "думать", а тем более "думать часто"; осталось также неясным, что в современных условиях подразумевается под словом "смерть". Так или иначе, но данные эти, по-видимому, неопровержимы: мы выходим из длительного периода замалчивания, когда члену цивилизованного общества полагалось тихо и незаметно умирать в больнице. Говорят, что роскошные салоны ритуальных услуг переживают беспрецедентный бум. Гиперфективная цивилизация больше не хочет держать смерть подальше от глаз, запрятывать ее под землю. Напротив, она хочет распространить на смерть тот принцип Открытости, торжества которого добивается и во всех иных областях. Она уже не стыдится умирающих и покойников, как было десять-пятнадцать лет назад. Живые вспомнили дорогу на кладбище, и благодаря новейшим обрядам факт физического исчезновения сделался менее вопиющим.

Этот факт стал объектом фестивизации. Начавшаяся эпоха переделала календарь и по-своему расставила вехи человеческой жизни. Когда это нужно, она подправляет приевшиеся памятные даты, заменяя их более свежими. Похоже, у 12 июля, дня победы французской сборной на мировом чемпионате по футболу, есть шансы стать национальным праздни-

ком вместо изрядно устаревшего 14 июля: ведь День взятия Бастилии принадлежит старому миру, миру конфликтов, напряженности и диалектики, с которым у нас теперь нет ничего общего. А день 31 октября, то есть Хэллоуин, очевидно, в недалеком будущем заменит 2 ноября, День поминовения, посвященный мертвым. Или же прежний праздник органично вольется в новый, пополнится новыми забавами, которые гораздо ближе сердцу Хомо фестивуса, ибо в них отсутствует всякое упоминание о неприятном.

Все неприятное загнано, затравлено, преследуется даже в своем прежде неприкосновенном, по определению неприступном убежище (царстве мертвых), и дело дошло до того, что теперь смерть лишается своего священного ореола. Чтобы оплакать причиненные ею беды и найти в происходящем какой-то смысл, нам остается только уподобить ее единственному злу, еще не изгладившемуся из нашей памяти, — фашизму. Именно он и только он пока еще связывается у нас с понятием "зло". Несколько месяцев назад в "Либерасьон" появилось одно чрезвычайно любопытное траурное объявление. Приступы бесчувственности в наше время наблюдаются сплошь и рядом, однако позволительно было думать, что их не должно быть перед лицом смерти. Оказывается, это не так. Человек сообщал, что его мать умерла от рака. Не прибавив к этому сообщению ничего *своего*, во всяком случае не умея выразить *личное* горе, он превратил болезнь и смерть в страстное обличение единственного настоящего Зла (всеобщего, глобального, фатального), о котором мы еще не забыли. Вот отрывок из этой необычной надгробной речи, позволяющий нам понять, что значит сегодня "думать о смерти", и прежде всего — об умершем:

> Тоталитарный и губительный
> неистово истребляющий Других,
> ненавидящий Человека,
> рак сродни фашизму.
> Можно было бы сказать и наоборот.
>
> И т. д.

Бесчисленное множество цивилизаций создали бесчисленное множество метафор, чтобы выразить непостижимость смерти, ее грозное величие и трепет, который она внушает. Одни утешались верой в переселение душ, другие в загробную жизнь и Страшный суд. Но наша цивилизация — первая, у которой для осмысления этого потустороннего ужаса не нашлось иной метафоры, кроме фашизма с его убожеством. Большинству наших предков безмерность зла представлялась также в виде ада. А у нас, даже перед лицом смерти, осталось лишь одно жалкое мерило, с помощью которого мы еще надеемся осмыслить проклятие рода человеческого. И это мерило словно бы по чистой случайности позаимствовано у *исторического* (хоть и недавнего) прошлого человечества. Отсылка, наделяющая значением жизнь современного человека, призвана придать значение также и его смерти. Таким образом, *конкретная* смерть и *конкретное* горе, которые решили было не замалчивать, вновь покрываются травой забвения; а точнее, новыми абстракциями.

Перевод с французского Нины Кулиш

Артур Кёстлер

Анатомия снобизма

СЕРЬЕЗНОЕ эссе о снобизме – затея почти столь же безрадостная, что и серьезное эссе о юморе (сужу по собственному опыту). Однако эта тема завораживала меня на протяжении многих лет (точнее, с тех пор, как я переселился в Англию), и со временем я пришел к убеждению, что снобизм не просто смешная человеческая слабость, а краеугольный камень мировоззрения нашего современника, симптом, свидетельствующий о нездоровье нашей цивилизации, о смещении общественных и культурных ценностей.

Сначала я поведу речь о снобизме в культуре, а затем перейду к снобизму в общественных отношениях.

1

До прихода к власти Гитлера, в привольные времена Веймарской республики, я был знаком в Берлине с одной молодой особой, сотрудничавшей с левым издательством. Мария Б. была и хороша собою, и умна, но, как поговаривали, крайне неразборчива в любовных связях. У всех на слуху и на устах была шутка, что Мария спит со всеми авторами нашего издательства – независимо от возраста и пола, лишь бы их тиражи перевалили за двадцать тысяч. У меня на счету не было еще ни одной книги, и надеяться мне, видимо, было не на что, но мы с ней дружили, и однажды я поинтересовался, верны ли эти слухи. Совершенно серьезно Мария ответила, что, в общем, все правда, и тут же стала объяснять, чем вызвана подобная распущенность, оказавшаяся на поверку крайним проявлением литературного снобизма.

Ее родители, восточнопрусские мелкопоместные дворяне, воспитывали ее по-лютерански строго, и в двадцать лет она сбежала из дому, чтоб "жить по собственному разумению". Многочисленные молодые любовники интересовали ее недолго: плотским утехам мешало острое сознание греха. В двадцать один год ее соблазнил известный писатель, к которому она не чувствовала ни малейшего влечения, но с которым, к своему удивлению, испытала недоступное ранее ей наслаждение, не омраченное чувством вины. Так возник ее "комплекс многотиражности".

Она сама нашла этому объяснение, которое представила мне в форме воображаемого диалога со своим суровым отцом: "Ну, подумай, папа, может ли быть безнравственна интрижка со знаменитостью, ведь ты словно ложишься в

© М. Наумов. Перевод, 2001

постель с самой историей. Кому придет в голову порицать Марысю Валевскую за то, что она отдалась Наполеону? Всякий грех со знаменитостью искупается, превращаясь в исторический анекдот".

Мария стала жертвой собственного комплекса. Сделавшись любовницей известного в свое время корреспондента "Правды" Михаила Кольцова – непривлекательного, невзрачного человека, у которого было даже не двадцать тысяч, а два миллиона читателей, она исчезла вместе с ним во время большой чистки 1938 года. Я еще вернусь к ней, ибо, на мой взгляд, ее случай помогает прояснить самые темные вопросы психологии снобизма.

2

Одной моей хорошей знакомой, скажем, по имени Бренда, поклонник сделал ко дню рождения подарок – рисунок Пикассо в простенькой современной рамке. То был восхитительный образчик "классического" периода художника: юноша-грек несет на руках девушку; и хотя фигуры сплетались в почти нерасчленимое целое, словно тела сиамских близнецов, работа производила чудесное, гармоничное впечатление. Рисунок походил на литографию, но так как серийного номера на нем не было, несколько разочарованная Бренда, решив, что это репродукция, повесила его над лестницей. Однако когда недели две спустя я снова навестил ее, он уже красовался в гостиной над камином.

– Я вижу, копия пошла на повышение, – заметил я.

– Не копия, а подлинник! Прелестный, правда? Взгляни-ка на линию, идущую вдоль бедра девушки... – и так далее и тому подобное.

Да, то был подлинник. Просто преданный, но робкий обожатель постеснялся отметить ценность своего дара и, вручая его, пробормотал нечто невразумительное. А так как на белом фоне только и было, что черный контур, то чтобы отличить подлинник от литографии или репродукции, следовало быть знатоком или уж, по меньшей мере, вооружиться сильной лупой. Ни Бренде, ни ее гостям узнать, что́ перед ними, было не под силу. Зато, как и любой из нас, они ничуть не сомневались: подлиннику положено висеть на видном месте, а репродукции – в лучшем случае над лестницей.

Сейчас я попытаюсь рассуждать последовательно и докопаться до сути этого, на первый взгляд, вполне естественного отношения. Подлинник, конечно, много дороже копии, но нас бы возмутило подозрение, что мы вешаем картину из-за ее цены, – мы уверены, что руководствуемся исключительно чувством прекрасного. Далее, можно предположить, что наше презрение к копиям вызвано либо их низким качеством, либо сюжетным убожеством викторианских репродукций. Но современные печатные технологии поистине творят чудеса, и некоторые репродукции "Ганимеда" неотличимы от подлинника. А уж когда дело касается рисунка, копия эстетически ничем не хуже подлинника.

Однако такое низведение оригинала к копии нам отвратительно. Чтобы признаться самому себе, что та или иная копия по красоте ни в чем не уступает под-

линнику, требуется определенное мужество.

Мы живем в эпоху поточного, массового производства, но мысль, что картины Пьеро делла Франчески штампуются в миллионах экземпляров, вроде стандартной мебели и блочных типовых домов, нам и впрямь противна. С другой стороны, мы ничего не имеем против массового производства грампластинок. Не возражаем мы и против миллионных тиражей книг, а ведь и они принадлежат к разряду "копий". Но почему же мы скорей повесим дома второсортный подлинник — чуть худший или чуть лучший, в зависимости от толщины кошелька, — нежели превосходную копию шедевра? Не предпочтете же вы рукописные опусы заурядного поэта бумажному изданию Шекспира?

Тут, судя по всему, логика заходит в тупик. Давайте послушаем, как сама Бренда объясняет автору свои соображения:

Бренда. Никак не возьму в толк, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся. Конечно, когда я узнала, что это рисунок самого Пикассо, я и относиться стала к нему иначе. И при чем тут снобизм? Просто мне раньше не сказали.

Кёстлер. Хорошо, твое отношение к рисунку изменилось. Но разве сам он тоже изменился?

Б. Конечно нет, но теперь я вижу его совсем по-другому.

К. Хотел бы я понять, от чего зависит твое видение той или иной картины.

Б. Разумеется, от ее качества.

К. А что такое ее качество?

Б. Какой ты все-таки педант! Это цветовые соотношения, композиция, пропорция, это гармония, выразительность, ну и так далее.

К. Значит, оценивая картину, ты исходишь из чисто эстетических критериев, основанных на вышеперечисленных признаках?

Б. Разумеется.

К. Но если и сама картина, и ее качество не изменились, почему изменилось твое отношение?

Б. Я уже сказала почему, какой ты бестолковый! Естественно, теперь, когда я знаю, что это не просто копия, каких миллион, а работа самого Пикассо, я и отношусь к ней иначе. Неужели непонятно?

К. Нет, непонятно; ты сама себе противоречишь. Ни исключительность вещи, ни твоя осведомленность о ее происхождении не меняют присущих ей качеств и, следовательно, не должны влиять на твое отношение к ней, основанное, как ты говоришь, на чисто эстетических критериях. Но это не так. Твое отношение основано не на том, что ты видишь, а на совершенно случайном знании, которое может быть в равной степени как истинным, так и ложным, и кроме того, совершенно не важно по существу.

Б. Что значит "может быть ложным"? Это что, намек, что мой Пикассо фальшивка? Как ты смеешь говорить, что его авторство "по существу не важно"?

И так — до бесконечности. Однако Бренда вовсе не глупа; она лишь по ошибке полагает, что ее отношение к предмету искусства определяется только его эстетикой, тогда как дело решают совсем иные факторы. Она не может отвлечься от своего знания о происхождении картины. Ибо знание о происхождении, авторстве или подлинности вещи, *никак не связанное с ее эстетической ценностью*, тем не менее столь полно и неразрывно сливается в нашем сознании с оценкой, что мы не можем

разделить их. То есть Бренда невольно смешивает две совершенно разные системы ценностей.

Так значит, Бренда — сноб? Все зависит от того, что считать снобизмом, — позже нам, возможно, удастся дать ему определение. В качестве рабочей гипотезы предлагаю считать, что суть снобизма заключается в том, что при оценке того или иного явления происходит невольная подмена системы ценностей. И значит, Бренда не была бы снобом, если бы сказала так: "Эта копия не уступает подлиннику по красоте. Но все же, по некоторым причинам, не имеющим ничего общего с красотой, подлинник нравится мне больше". Бренда не сознает своего снобизма из-за того, что не может размежевать две составляющие своего переживания, не может ни выделить некое постороннее обстоятельство, которое делает пристрастным ее эстетическое суждение, ни осознать свою пристрастность.

Я понимаю, что рассуждаю как педант, заладивший, что дважды два четыре. Но, обратившись к другому, но все же родственному вопросу, мы обнаружим, что все не так уж очевидно.

3

В 1948 году немецкий художник Дитрих Фай, реставрировавший старинную церковь Святой Марии в Любеке, сообщил, что под слоем штукатурки его подручные обнаружили остатки готических фресок XIII века. Восстанавливать фрески поручили помощнику Фая, Лотару Мальскату, завершившему работу два года спустя. В 1950 году на церемонии по поводу окончания реставрационных работ канцлер Аденауэр в присутствии множества искусствоведов, съехавшихся со всех концов Европы, заявил, что, по единодушному мнению экспертов, относящиеся к XIII веку изображения двадцати одного святого — это "сказочное открытие и поистине бесценная сокровищница чудесно возрожденных шедевров древности".

Ни тогда, ни позже никто из знатоков не усомнился в подлинности фресок. Лишь два года спустя сам герр Мальскат признался в подделке. Он добровольно явился в управление любекской полиции, где показал, что все до единой фрески были собственноручно им сфабрикованы по приказу его начальника, герра Фая, и просил предать его суду по обвинению в подлоге. Однако ведущие немецкие искусствоведы твердо держались своего: нет и не может быть сомнений в подлинности фресок — герр Мальскат просто ищет дешевой популярности. Правительство назначило комиссию по расследованию, которая пришла к выводу, что реставрация церковной росписи была фальшивкой, однако к тому времени герр Мальскат уже успел признаться в том, что сотнями фабриковал и продавал как подлинники Рембрандта, Ватто, Тулуз-Лотрека, Пикассо, Анри Руссо, Коро, Шагала, Вламинка и других великих мастеров (полиция даже обнаружила несколько таких подделок дома у герра Фая). Не будь этих улик, немецкие искусствоведы, наверное, так и не признали бы, что их обвели вокруг пальца.

Что ж, и знатоки могут ошибаться, но я клоню не к этому. Восхитительный обман герра Мальската — лишь эпизод в цепи удачных и не так давно разобла-

ченных подражаний и подделок, среди которых самые невероятные, пожалуй, "полотна Вермера", вышедшие из рук ван Мегерена. И тут встает мучительный вопрос: неужто любекские святые лишаются своего великолепия и перестают быть "бесценной сокровищницей шедевров" только потому, что их написал герр Мальскат, а не другой художник?

На этот вопрос есть разные ответы, но сначала я хочу доиграть до конца свою роль advocatus diaboli: возьмем другой пример и другое искусство — Макферсонова "Оссиана". История эта столь известна, что я лишь бегло ее напомню. Джеймс Макферсон (1736–1796), шотландский поэт и искатель приключений, в один прекрасный день объявил, что во время странствий по горной Шотландии нашел древние гэльские рукописи. Воодушевленные этим известием шотландские литераторы организовали подписку, чтобы материально поддержать изыскания Макферсона, и в 1761 году он опубликовал книгу под названием "Фингал, старинная эпическая поэма в шести книгах, а также другие поэмы, сочиненные Оссианом, сыном Фингала" (Оссиан — легендарный герой III века и кельтский бард). Вскоре после "Оссиана" появился еще более объемистый Оссианов эпос "Темора", а вслед за ним — сборник под названием "Поэмы Оссиана". Ученые умы Англии тотчас усомнились в подлинности текстов, сомнения выразил и доктор Джонсон (которому Макферсон ответил вызовом на дуэль), и до самой смерти, под различными неубедительными предлогами, публикатор отказывался печатать свои кельтские подлинники. К концу столетия вопрос об авторстве был решен: исследователи установили, что большинство "Оссиановых" текстов написал, используя элементы кельтского фольклора, все-таки сам Макферсон.

И вновь напрашивается вопрос: умаляет ли поэтическую ценность этих произведений то обстоятельство, что их написал не Оссиан, сын Фингала, а Джеймс Макферсон? "Оссиановы" тексты были переведены на множество языков и оказали значительное влияние на литературный и культурный климат Европы конца XVIII — начала XIX столетия. Вот как оценивает творчество Макферсона Британская энциклопедия:

"Несмотря на то что автор использовал множество источников и его работа не является аутентичным списком кельтских рукописей, тем не менее это настоящее произведение искусства, заложившее основы европейского, и прежде всего немецкого, романтизма... И Гердер, и Гёте высоко ценили эти поэмы".

Подобных примеров бесконечно много. Старинная мебель, римские скульптуры, греческие терракотовые статуэтки, итальянские мадонны постоянно подделываются, фальсифицируются, копируются, и наша оценка произведения искусства определяется не эстетическим наслаждением, не непосредственной радостью созерцания, а сомнительным и часто необоснованным мнением знатоков. Посредственное, но признанное подлинным полотно известного мастера ценится выше, чем более сильная работа его безвестного ученика, принадлежащего к его "школе", и ценится не только тор-

говцами искусством, чья цель — выгодное вложение капитала, но и всеми нами, включая автора этих строк. Значит ли это, что все мы снобы и какая-нибудь подпись, заключение эксперта или штемпель, удостоверяющий датировку вещи, для нас важнее ее самой и присущей ей красоты?

4

Теперь представлю доводы защиты. Для них довольно одной фразы: наша оценка произведения литературы и искусства не бывает цельной, она есть результат двух независимых, одновременно протекающих процессов, которые обыкновенно искажают друг друга.

Так, мы не просто наслаждаемся красотой египетской фрески — и дело с концом, а безотчетно настраиваем ум на ценности соответствующей эпохи. Во-первых, нам известно, что египтяне лишь отчасти учитывали перспективу. Мы также знаем, что фигура обычно была тем больше, чем выше было положение в обществе изображенного на фреске человека. Иначе говоря, мы видим картину сквозь двойную раму: сквозь настоящую раму, которая выделяет ее из окружающей среды и, так сказать, создает для нее дыру в пространстве; а также — сквозь подсознательную контекстуальную рамку, которая открывает дыру во времени, и, устремляясь в нее, наш ум переносит картину в другую эпоху и другую культурную атмосферу. Всякий раз, когда мы производим, как нам кажется, чисто эстетическую оценку, основанную на одном лишь чувственном восприятии, она на самом деле соотнесена и с этой второй рамкой — иначе говоря, контекстом, ментальным полем.

Чтобы верно оценить произведение живописи, литературы или музыки, необходимо учитывать его эпоху, что мы бессознательно и делаем, наивно полагая, что исходим из абсолютных критериев, тогда как на самом деле пользуемся относительными. Так, если мы сначала любуемся поддельным Вермером, думая, что это подлинник, а потом смотрим на полотно, уже зная, что это фальшивка, наше эстетическое переживание в корне меняется, хотя картина та же самая: она перемещается в другой контекст, и, значит, видим мы ее иначе. Это касается и изготовителя фальшивки. Он может подражать изобразительным приемам фламандской школы XVIII века, но писать как Вермер по наитию не может: у него другое ощущение пространства, другое восприятие действительности, и лишь особым усилием воли вычеркивает он из памяти все, что накоплено живописью после Вермера. Впрочем, если ему и удалось бы каким-то чудом увидеть мир глазами фламандцев XVIII века или итальянцев эпохи Возрождения, ему понадобился бы массовый гипноз, чтобы должным образом настроить и своих покупателей.

Пополнить свои знания и опыт — задача выполнимая, а вот отбросить их значительно труднее. Если Пикассо решается презреть законы перспективы, значит, в отличие от древнеегипетского живописца, который их так и не постиг, он уже миновал эту стадию изобразительности. Эволюция — процесс необратимый; культура той или иной эпохи может идти вроде бы в том же направлении, что и культура более

ранняя, но ее развитие совершается на следующем витке спирали. Современный примитив — это не то, что древний примитив, и современный классицизм не то, что классицизм Эпохи классицизма, лишь душевнобольной способен отсечь кусок своего прошлого.

И все же, созерцая искусство минувшего, мы вынуждены производить как раз такое усечение, иначе нам не настроиться на мировоззрение и культуру чужой эпохи. Чтобы понять произведение, нужно проникнуться его духом, забыв о современных представлениях и обо всем, чему научилось человечество со времен Гомерова эпоса или византийской мозаики. Наша задача — спуститься в прошлое, очистив ум от современных знаний, однако "спуститься" для нас, пусть неосознанно, означает "опуститься". Мы закрываем глаза на грубость приемов, наивность восприятия, засилье суеверий, невежество и откровенные ошибки — мы делаем древним скидку. Говоря по чести, в нашем восхищении классиками всегда есть оттенок снисходительности; и удовольствие, которое нам доставляют голоса из прошлого, отчасти вызвано полуосознанным высокомерием: "Подумать только, они это уже знали!" Мы будто спускаемся на один виток спирали и с трепетом и восторгом смотрим снизу вверх на страшный Дантов Рай, но в то же время — наклоняемся над ним с заботливостью антиквара.

Эта неизбежная эстетическая двойственность перерождается в снобизм, когда контекст важней произведения, а право поглядывать на прошлое сверху вниз волнует больше красоты. Все это зачастую и ведет к неправильной оценке: мы переоцениваем мертвых и недооцениваем живых; мы преклоняемся перед любой "классической", "античной", "примитивной", а то и просто старой вещью. Именно из-за этой тенденции в ее крайнем выражении люди и чернят "под старину" кронштейны и картинные рамы, и этот вид снобизма мы — соответственно — назовем "патинированным".

К такому искажению оценки приводит уже знакомый нам процесс: некая шкала ценностей проецируется на психологически сходный, но объективно инородный опыт. Суть снобизма — в желании измерить вещь не тем прибором: измерить ее красоту термометром и взвесить — с помощью часов.

5

Тринадцатилетнюю дочь моего приятеля недавно водили в Гринвичский музей. Когда ее спросили, что ей больше всего понравилось, она не колеблясь назвала рубашку Нельсона. Что же в ней такого хорошего, удивились взрослые, и девочка сказала: "Потрясно! Только подумать, собственная рубашка, настоящая кровь человека, который так прославился!"

Восторг ребенка, очевидно, сродни очарованию, которое имеет для иных людей чернильница Наполеона, клок волос египетской мумии, мощи святого, проносимые по улицам во время ежегодного крестного хода, обрывок веревки, на которой повесили знаменитого душегуба, и счет из прачечной, оставшийся от Толстого. Примитивный ум воспринимает принадлежавшую некоему человеку вещь не просто как памятку: вещь таинственным образом впитывает ауру хозяина и столь же таинственно ее испускает.

"Я уверен, что большинство из нас испытывает особое наслаждение, вонзая зубы в персик, выращенный в поместье графа, который состоит в родстве с королевским семейством", — написал не так давно в "Дейли экспресс" один лондонский фельетонист.

В нашем подсознании живет первобытная магия: медальон с прядью волос, бабушкино свадебное платье, пожелтевший веер — напоминание о первом бале, полковой вымпел — все это фетиши, которым мы полуосознанно поклоняемся. Девочки-подростки, разрывающие на сувениры наряд поп-звезды, суть не что иное, как вульгарная современная разновидность ревностной паствы, поклонявшейся осколку кости святого. Восторг, который нам внушают подлинные рукописи, мебель с клеймом мастера, перо Диккенса и телескоп Кеплера, — более благородное проявление той же подсознательной склонности. "Потрясно", как выразилась девочка, любоваться обломком статуи Праксителя — пусть она больше не похожа на человеческую фигуру, пусть у нее нос как у прокаженного и отбиты ушные раковины. Все это не важно: прикосновения мастера наделили ее неиссякаемой магической силой, которая, излучаясь, передается нам и вызывает тот же трепет, что и кровь Нельсона на его "собственной рубашке".

Когда вдруг выясняется, что растрескавшийся и почерневший кусок холста и впрямь написан Х, меняется наше отношение к картине и возрастает ее цена, но связано это не с ее красотой, не с нашим чувством прекрасного и ни с чем подобным, а только с магией гипноза (вспомним Бренду и ее Пикассо). Невероятное значение, которое мы придаем подлинному, настоящему в тех пограничных случаях, когда лишь знатоку заметна разница между оригиналом и подделкой, — всего лишь первобытный фетишизм. Сами же пограничные случаи, как скажет вам всякий честный торговец предметами искусства, столь многочисленны, что они скорей и составляют правило. Более того, старые мастера часто препоручали ученикам прописывать детали большого полотна. Обычного посетителя музея влечет не вид картин, а магия имен, магия древности. Мы так часто подменяем эстетическое переживание бессознательным фетишизмом и *патинированным* снобизмом, что именно они определяют наше отношение к искусству прошлого, а это столь же далеко от искреннего восхищения, как похвалы наряду голо́го короля — от комплиментов ультрасовременному искусству. Все это слишком очевидно, и обсуждать тут нечего, поэтому я оставляю культурный снобизм и перехожу к снобизму социальному.

6

У принца Чарльза до сих пор целы все молочные зубы. Слух о том, что он одного лишился, собрал вчера вечером толпу жаждущих убедиться в этом. Началась давка.

"Дейли скетч", октябрь 1954 г.

"Pends-toi, brave Crillon: nous avons combattu à Arques et tu n'y étais pas"[1]. Я позабыл, что ответил Крийон Генриху IV, но уверен: он до конца жизни проклинал себя

1. "Вешайся, храбрый Крийон: мы дрались у Арка, а тебя там не было" (*франц.*). Луи де Бальб де Бертон де Крийон (1541–1615) — французский военачальник, соратник Генриха IV.

за то, что упустил случай войти в историю. То, что я назову "комплексом Крийона", можно приблизительно определить как стремление участвовать в историческом событии или хотя бы при нем присутствовать. На первый взгляд может показаться, что эта слабость свойственна немногим: одним лишь честолюбцам и завистникам; но, по-моему, это недуг более серьезный, чем думают, и поражает он, в той или иной степени, великое множество людей. Мария Б. являет собой крайний случай этого заболевания, у нее "комплекс Крийона" вылился в желание "переспать с историей". Более умеренная его разновидность — это широко распространенное желание свести знакомство со знаменитостями и "историческими" личностями. Похоже, что тому причиной непомерное тщеславие, возможность прихвастнуть: "Я познакомился с *самим* X!" Одновременно в человеке может говорить и неподдельное любопытство — желание узнать, каков X "в жизни". Однако миллионы людей, стекавшихся к Белому дому, чтобы пожать руку президенту (потом этот обычай упразднили), были одержимы не столько тщеславием и любопытством, сколько желанием "пожать руку Истории". Толпой людей, которые готовы на все, лишь бы хоть краем глаза поглядеть на коронацию, на заезжего государственного мужа или на извержение вулкана, руководит, хотя бы отчасти, желание "присутствовать при рождении истории", участвовать, пускай пассивно, косвенно, в важнейших событиях своего времени.

Комплекс Крийона порождает весьма трогательную разновидность социального сноба — "согляда-тая истории", одержимого желанием состоять при важных лицах, дружить с теми, кто, в той или иной сфере, влияет на свое время. Самым выдающимся снобом от истории был, по-видимому, Босуэлл[1] — прообраз всех охотников за знаменитостями и собирателей автографов, всех тех, кто готов целую ночь простоять на улице, только бы мельком поглядеть на выдающуюся личность или не пропустить важное происшествие.

Жизнь общества целиком проникнута комплексом Крийона. Так, именно он влияет на наш выбор окружения. Мы тяготеем к тем, кто отличился на каком-то поприще; к тем, кто приобрел "вес" в своем профессиональном кругу и чьи достижения, пусть даже совершенно нам неинтересные, возможно, определят лицо нашего времени. Не важно, будет ли то политика, китаеведение или коллекционирование табакерок; не важно, каковы человеческие качества этих персон. Ценность человека на рынке социальных отношений определяется не тем, что он есть, а тем, что он собою, в буквальном смысле, представляет. Мало быть самим собой — необходимо быть "кем-то".

Это настолько частое явление, что трудно и помыслить общество, не зараженное микробом снобизма. В таком стерильном обществе о человеке судили бы лишь по его внутренним качествам, не думая о славе, богатстве и профессиональных успехах. Однако тут же

1. Джеймс Босуэлл (1740–1795) — английский писатель-биограф. Прославился как автор "Жизни Сэмюэла Джонсона" (1791), содержавшей подробную запись суждений и поступков Джонсона. Личные дневники и многие другие произведения Босуэлла увидели свет лишь в XX веке. Известно, что во время поездок в Европу Босуэлл искал знакомства с великими, в частности с Руссо и Вольтером, и добивался их одобрения.

встает вопрос: какие именно качества мы имеем в виду? Мужество или смирение, ум или душевное тепло, а может быть, праведность? Чтоб вынести оценочное суждение, нужно располагать критериями оценки; иначе говоря, нам требуется мерка, но какая? Ведь мерка может быть неподходящей. Любитель бокса отнюдь не сноб, хотя Джо Луиса ценит выше, чем Томаса Элиота; не сноб и любитель музыки, который любит Иегуди Менухина больше, чем Уинстона Черчилля. Однако хозяйка светского салона, которая сходит по Менухину с ума и жаждет заполучить его к себе на вечеринку, хотя ей медведь на ухо наступил, — сноб, ибо делает вид, что ценит одно качество, тогда как на самом деле ценит совсем другое.

Бывает, что в особых обстоятельствах общественная группа выстраивает для себя "монолитную" систему ценностей, тогда снобизм почти не проявляется, так как там нет другой шкалы, искажающей оценку. На передовой или в опасной экспедиции сочетание мужества, оптимизма, профессионализма и товарищества является высшей ценностью, которая временно отменяет все другие мерки и выводит индивида за рамки должности, общественного положения и тому подобного. В "замкнутых" сообществах типа тюрем, лагерей, монастырей или туберкулезных санаториев обычно также вырабатывается монолитная система ценностей, правда, другая, — там требуется иное сочетание качеств. В условиях крайней несвободы члены замкнутой группы судят друг о друге исключительно на основании "внутренней ценности" или "человеческих качеств", игнорируя все прочие соображения, которые как раз и лишают оценку объективности.

Однако в нормальных условиях человеческое общество представляет собой хаос — смешение взаимоисключающих ценностных систем, которые, постоянно пересекаясь, сталкиваются между собой. Как, за какие качества следует выбирать себе друзей и знакомых — по этому вопросу трудно прийти к единому мнению. Мы все признаем, что склонны дружить с людьми, которые нас творчески раскрепощают, с которыми мы чувствуем себя свободно, которые разделяют наши вкусы и интересы, равны нам по культурному уровню и положению в обществе, верны, способны к сопереживанию и привлекательны для нас независимо от ранга или профессии. Неловко признаваться, но руководствуемся мы этими соображениями в гораздо меньшей степени, чем хотелось бы. Все дело в головной идее, будто человека можно лишить "контекста", конкретных обстоятельств жизни, — вот где таится подвох.

Позвольте мне привести один наглядный — и обескураживающе типичный — пример. На одной многолюдной светской вечеринке меня представили ничем не примечательной немолодой особе, которая сделала мне расхожий комплимент по поводу моей книги. Имени ее я не расслышал и поинтересовался, не пишет ли она сама. "Нет, — отвечала она, — у меня магазин дамского платья". При первой же возможности я улизнул и, вздохнув с облегчением, вступил в беседу с кем-то еще, а потом этот кто-то еще спросил меня: "Ну и как вам понравилась княгиня де Г.?" — и назвал одно из самых прославленных имен Франции. Я обернулся, вновь взглянул на ту

же маловыразительную женщину — и что же? Она вдруг показалась мне совершенно очаровательной. Хотя изменилась не больше, чем пресловутая копия Пикассо, оказавшаяся подлинником; но изменились мои критерии оценки, и собеседница явилась мне в другом контексте — и в другом свете. Так, мне показалось примечательным, что правнучка легендарных личностей владеет магазином дамского платья, а также поразила чудовищная заурядность ее речей. По иронии судьбы, в результате моих дальнейших расспросов выяснилось, что раньше княгиня была манекенщицей, а с домом де Г. она породнилась благодаря короткому случайному браку. Таким образом, она вернулась в прежний контекст — Пикассо вновь разжаловали и выдворили на лестницу.

Однако всего лет двести тому назад мою столь быструю перемену мнения сочли бы не снобистской, а естественной: согласно тогдашней иерархии ценностей, княгине по праву отдавалось предпочтение перед человеком низкого происхождения. А необыкновенное внимание к зубам доброго принца Чарльза воспринималось бы как совершенно нормальное и трогательное проявление народной любви к своему будущему монарху. В феодальной Европе существовала поистине монолитная система общественных ценностей, согласно которой дарованные Божьей милостью происхождение, должность и положение служили общепринятым мерилом. После штурма Бастилии и принятия Декларации прав человека система ценностей подверглась изменениям — по крайней мере на бумаге. Но архетипические корни старых систем, а также их символы: благородные короли, прекрасные принцессы, хищные бароны и доблестные рыцари — не умерли и постоянно вторгаются в наше либерально-демократическое мировоззрение.

7

Любой вид снобизма (а их великое множество) всегда можно свести к одной и той же исходной форме: смешению двух разных систем ценностей. Первая, S_1, — та, которую мы выдаем за основополагающую или считаем таковой и куда входят: эстетические критерии, личное обаяние, личные качества и так далее. Вторая, S_2, накладываясь на первую, искажает нашу оценку; сюда относятся: фетишизм, комплекс Крийона, любовь к званиям, власти и тому подобное. Повторим наше прежнее определение в несколько уточненном виде: *снобизм есть результат психологического слияния двух независимых систем ценностей, разных по своему происхождению и природе, но неразрывно связанных в сознании субъекта.*

Из сказанного не следует, что "инородная" система S_2 сама по себе не имеет ценности — ее эмоциональная сила, искажающая ценности S_1, часто восходит к глубоким, архетипическим источникам. Только сноб-перевертыш стал бы, например, утверждать, что "аристократия", которая понималась некогда как элита и которую в силу традиции и воспитания отличали высокие стандарты поведения, манер и вкуса, сама по себе не обладает ценностью. Из уникального социального сплава низших слоев аристократии и высших слоев торговой буржуазии, известного как верхушка английского среднего класса, вышло

подавляющее большинство ведущих политиков, литераторов, художников и прошлого, и самого недавнего времени; даже крайне левые писатели-марксисты носили в 30-е годы и дворянские, и мещанские фамилии. Следовательно, "инородная" ценностная шкала основана на поистине великом культурном наследии прошлого. Наверное, поэтому можно простить английской интеллигенции столь свойственную ей любовь к аристократии. При всем том снобизм был и остается уродливой хворью английского общества — англичане наивно стремятся если не ощутить себя элитой, то хотя бы затесаться в ее круг, несмотря на ее очевидный упадок. В данном случае комплекс Крийона — это страх не стать полноправным участником очередного исторического события, каковым является не новое сражение при Арке, а театральная премьера или светский прием с коктейлями. "Pends-toi, brave Evelyn: nous avons dîné à Blenheim et tu n'y étais pas"[1].

8

До сих пор я не упоминал о самом очевидном и распространенном мотиве социального снобизма — стремлении поддержать свое уязвимое ego, втираясь в общество сильных мира сего, будь то титулованная знать, денежные тузы или художественная элита. Но такое объяснение мало что дает. Компенсация комплексов неполноценности — чуть ли не главный психологический механизм из всех известных, но почему сноб компенсирует свои комплексы столь своеобразно? Рассел Лайнс в забавном эссе "О снобах" пишет: "Сноб, можно сказать, по определению уязвим в своем общественном положении (понимаемом в широком смысле слова), и снобизм для него лишь способ помассировать свое ego. Вряд ли есть люди столь в себе уверенные, что никогда не нуждаются хотя бы в некоторой подпитке ego; следовательно, нет человека, который не был бы снобом хоть в чем-то". Это верно, но лишь отчасти — ведь способов "помассировать свое ego" столько же, сколько сфер человеческой деятельности. Начиная от Демосфена, который компенсировал свое заикание тем, что заставлял себя говорить с набитым камешками ртом, пока не сделался лучшим оратором Греции, и кончая Наполеоном, который компенсировал свой маленький рост и низкое происхождение завоеванием Европы, чувство собственной ущербности всегда было мощным двигателем честолюбия. Вопрос в другом: почему в одном случае компенсация выражается в творческих достижениях, а в другом — в нелепой и пустой позе? Верно, почти каждому человеку нужно порой "подкормить" свое ego, но лишь снобу требуется для этого масло олив, вызревших на Капри возле Голубого грота.

Сноб, чей ценностный эталон ничтожен, преследует пустые цели и не испытывает истинного удовольствия. Он не рвется к власти — ему лишь хочется вращаться среди тех, кто ею обладает, и греться в лучах их славы. Он предпочитает тесную каморку в отеле люкс комнате с ванной и красивым видом в гостинице попроще; он ищет не телесного комфорта, который заставляет нас стремиться к роскоши, а гонится за при-

1. "Вешайся, храбрая Эвелин: мы обедали у Бленема, а тебя там не было" (*франц.*).

зрачным: главное для него — "остановиться в "Ритце". Не лучше обстоит дело с радостями общения. Он ищет не любви, дружбы и веселой компании, а общества избранных, как ни уныла эта перспектива. Сноб от искусства получает удовольствие не от картин, а от выставочного каталога; снобу-интеллектуалу важен не Кьеркегор, а сознание того, что он читает Кьеркегора. Привычка к ложным ценностям может повлиять даже на биологические инстинкты сноба: меняется вкус, обоняние, сексуальность — так, его возбуждает не Боккаччо, а Дебретт[1]. А лет сто тому назад, когда устрицы и портер были пищей и напитком бедняков, и вкусовые сосочки сноба работали иначе.

Подытожим: сноб получает удовольствие не от объекта своих пристрастий, а от некоего второстепенного обстоятельства, связанного с этим объектом; таким образом, это псевдоудовольствие. Желания сноба вторичны, старания бесплодны, радости ложны, а победы — всего лишь самообман. Лучшим символом для него может служить роскошная антенна на крыше загородного дома, где нет телевизора.

9

Без сомнения, в 50-е годы XX века начинающей светской кокетке приходилось труднее, чем обычно думают. Самое главное – обладать культурой (мы слышали своими ушами, как это сказала одна молодая аристократка, тут же прибавив: "Впрочем, надо признать, что приобретать ее скучновато"), но все-таки невозможно посвящать ей весь день.

"Хаусвайф", апрель 1954 г.

Перечислять все формы снобизма — дело долгое и неимоверно утомительное, но все же хотелось бы упомянуть некоторые не вполне очевидные его варианты.

Поговорим, к примеру, о легком презрении, с каким английская знать произносит слово "образованность", а также о гордости и воодушевлении, с каким женская ее половина делает заявления вроде: "я не сильна в орфографии, арифметике, географии..." и так далее. Когда-то люди образованные были по преимуществу писцами, жившими впроголодь, а еще раньше — рабами, тогда как высшие классы занимались своими господскими развлечениями. Пренебрежение, с каким самые закоснелые представители верхушки общества по сей день относятся к знаниям, "образованности", "учености", — несомненно, слабый отголосок тех давно минувших дней.

Другая, менее заметная, недооценка знаний вызвана тем, что в школах делается упор на гуманитарные науки и, соответственно, игнорируются точные; корни этой традиции также легко обнаружить в прошлом. Результат подобного подхода парадоксален: люди с великим смущением сознаются, что не слышали имени какого-нибудь третьесортного поэта или художника, но с гордостью — что им совершенно неведомы законы наследственности или принцип действия электрической лампочки.

Еще один тип снобизма, вызванный неуважением к знаниям, — это сознательное культивирование личных причуд,

1. Джон Дебретт (ум. в 1822) — лондонский издатель и типограф. Известен как составитель "Книги пэров", которая впервые была опубликована в 1892 г.

стремление прослыть "анекдотической личностью". В обществе, где серьезный разговор считается дурным тоном, а уклонение от подобной опасности и умение придать беседе смешной характер — тоном хорошим, процветает зубоскальство, которое, как сорняки, душит всякое живое слово, и маска чудака или, по крайней мере, человека со странностями является вернейшим способом произвести впечатление. Безыскусственность и прямота не ценятся — снобу нужен не характер, а "характерность". Этот вирус поражает даже великие умы — довольно вспомнить паясничанье Шоу, чванство английских профессоров, нарочитое "эканье" высоколобых, повальное увлечение эксцентричностью — все это доказательства того, что разум не властен над позой.

Столь же очевидное явление — "снобизм наоборот". Традиционную шкалу ценностей просто переворачивают с ног на голову — и вот уже перед вами рекордсмены скромности и чемпионы неприметности, выставляющие напоказ свои грязные ногти и кокетничающие своим невежеством. Наверное, следующее помешательство века жвачки пройдет под лозунгом: "Дурной запах изо рта — залог сексапильности". Если мы противопоставим сверхутонченных краснобаев Пруста молчунам Хемингуэя, то тем самым определим крайние полюсы снобизма в литературе.

Наконец, следует упомянуть и меланхоличную фигуру "сознательного" сноба, который в отличие от сноба наивного, или истинного, понимает, что снобизм — это дурно, но смиренно признается себе, что без этой сладкой отравы или, если угодно, привычного костыля он жить не может. Чистейшие образчики сознательного, презирающего себя, но неизлечимого снобизма легко найти среди современных английских писателей.

10

Но так ли сладка эта отрава? В одной своей книге я как-то обмолвился, что хотел бы написать продолжение басни Лафонтена "Лисица и виноград". Примерно такое. Несчастная лиса, осмеянная друзьями, удрученная своей неудачей и страдающая комплексом неполноценности, понимает, что от последнего можно избавиться одним-единственным способом. Поэтому еженощно, пока все остальные члены стаи получают от жизни удовольствие, лакомясь краденными жирными курочками, она тайно упражняется в лазании. Через неделю-другую упорных тренировок ей наконец удается достать виноград, и что же?... ее ожидает страшное разочарование. Вожделенный виноград и впрямь оказывается кислятиной, как она бросила невзначай для отговорки. Но кто в это поверит? Ей и самой с трудом верится, что крупные спелые с виду ягоды кислы, как уксус. Добыча винограда становится ее навязчивой идеей. Задыхаясь и обливаясь потом, она продолжает ежедневно карабкаться за гроздьями и, достав, давится, но ест противные ягоды с единственной целью доказать себе, что у нее достаточно мужества — мужества зрелой личности, мужества лисы, — чтобы добыть их. На такой диете долго не протянешь, и вскоре от лисы остаются только кожа да кости; потом у нее появляются нервные присту-

пы, и в конце концов она умирает от язвы желудка.

Эта басня призвана продемонстрировать, сколь трагично положение всех "сознательных" снобов и карьеристов. Умный сноб отлично знает, что клуб или кружок избранных, куда путем неимоверного напряжения сил ему удалось-таки втереться, его больше не привлекает и не занимает, однако он вынужден питаться скудными плодами этого вертограда, чтобы доказать себе, что по-прежнему вхож туда. Это относится ко всем, кто одержим погоней за успехом, будь то кинозвезда, бизнесмен, сердцеедка или держательница светского салона. Добравшись наконец до вожделенного плода и раз его отведав, все они обнаруживают, что он совсем не так хорош, как грезилось, но делать нечего — придется потеть, выбиваться из сил и до конца дней вкушать горькие плоды своего выбора.

Куда ни глянь, сегодня вся общественная сцена населена тощими лисами, которые объедаются кислым виноградом; кроликами и курами теперь интересуются лишь самые непритязательные и ограниченные из лисьего племени. Отсюда эпидемия несварения и коллективный невроз, которые приобрели неслыханный доселе размах и свидетельствуют о повсеместном искажении ценностей современной цивилизации.

Таким образом, всепроникающий снобизм есть отражение духовного кризиса и сопутствующего ему морального и умственного хаоса. Из-за отсутствия твердых ориентиров измерение ценностей неподходящей меркой становится неизбежным. Наш современник, вооруженный компасом, стрелка которого всегда указывает неверное направление, и метром, который в отличие от волшебной палочки обращает в прах все, чего касается, на ощупь пробирается сквозь дебри мира — в метафизических потемках он гонится за призрачными благами, которые дарят ему призрачные радости.

Перевод с английского М. Наумова

“Я в некотором смысле создатель религиозной секты...”

С Филиппом Лежёном, профессором университета Пари-Нор, беседует Елена Гальцова.

Ровно год назад мы познакомили наших читателей с Филиппом Лежёном — самым известным во Франции специалистом в области биографического письма (автобиографии, дневники, эпистолярий)[1], автором десятков статей и нескольких монографий, посвященных этой проблеме, основателем Международной ассоциации в защиту автобиографии и автобиографического наследия.

Сегодня Филипп Лежён отвечает на вопросы “ИЛ”.

Е. Гальцова. Документалистика и в особенности биографический и автобиографический жанры переживают сейчас период большого подъема – как во Франции, так и в России. В апреле 2000 года вышел специальный “французский” номер журнала “Иностранная литература”, посвященный этой теме, где были напечатаны и отрывки из вашей книги “В защиту автобиографии” (перевод Б. Дубина), опубликованной в 1998-м. Но ваша первая работа – “Автобиография во Франции” – появилась в 1971-м, и ваши определения автобиографии и смежных жанров оказались “каноническими”.

Ф. Лежён. Прежде всего я вовсе не пытался насаждать канон, было бы вообще абсурдно полагать, что отдельная личность может устанавливать каноны, я лишь постарался зафиксировать наличие в литературе некоторых правил. Сами определения я позаимствовал из общедоступных французских словарей, наподобие “Ларусса”, но мне хотелось отыскать их обоснование в ментальности самых обыкновенных людей, а не создавать какие-то догматические конструкции. Анализ этих формулировок позволяет выстроить систему, частью которой является жанр автобиографии, и выявить значимые оппозиции, служащие для ее определения: автобиография противопоставляется биографии (различные позиции рассказчика), дневнику (положение во времени), автопортрету (так как это неповествование), мемуарам (в которых предмет повествования не только отдельная личность), автобиографическим роману и поэме.

Е. Г. Извините за несколько банальный, но, кажется, весьма

1. Российско-французская программа работ по этой теме осуществляется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции.

актуальный для российских культурологических штудий вопрос. Каково, по вашему мнению, соотношение автобиографических описаний и сакрального? Ведь совершенно ясно, что история развития этого жанра (тут стоит, разумеется, вспомнить "Исповедь" Руссо) связана не в малой степени и с культурой Просвещения, и с изменениями в отношении к религии в XVIII веке. Можно ли говорить об автобиографическом жанре как "заменителе" некоторых религиозных обрядов?

Ф. Л. Мой пространный ответ сводится к одному слову — "да!" Но признаюсь, эта проблема не имеет отношения к моему личному опыту, поэтому мне трудно отвечать на такие вопросы. То, о чем вы меня спрашиваете, является предметом моих расхождений с философом Жоржем Гюсдорфом[1]. Когда я только начинал, во Франции мало кто интересовался этой материей, но среди тех немногих были очень уважаемые люди. Например, Жан Старобински[2], написавший замечательную книгу о Жан-Жаке Руссо, опубликовал работу о стиле автобиографии как раз в тот момент, когда я писал свою первую книгу. Другим был Жорж Гюсдорф. Он много изучал дневники, автобиографию... В 1956 году напечатал статью "Условия и границы автобиографии", отчасти посвященную и той проблеме, которую вы затронули. Он рассуждает и о том, когда в человеческом обществе возникает автобиография, почему в восточных культурах нет такого жанра. Скажем, считается, что буддизм несовместим с автобиографией. Он связывает автобиографию одновременно с греко-латинской и библейской традициями и делает вывод, что монотеизм более благоприятен для автобиографии, чем иные религии, и пр.

Е. Г. Мой вопрос был куда более "невинен". Я имела в виду "сакральное" в том отвлеченном смысле, в каком его трактовали в XX веке Жорж Батай или Мишель Лейрис[1], когда говорил о "сакральном в повседневной жизни".

Ф. Л. Ну конечно, в каком-то смысле речь идет об отношениях замещения. Я считаю, что человек реконструирует сакральное в повседневности. Более того, если уж принять эту терминологию, я в некотором смысле создатель религиозной секты, ибо именно в такой перспективе и работает Ассоциация в защиту автобиографии.

Е. Г. Как вам пришла мысль создать ваше "тайное общество" — вашу Ассоциацию?

Ф. Л. Прежде чем ответить, я должен в двух словах рассказать свою историю. До сих пор вы видели во мне специалиста в области литературы, который строит теорию жанра, анализирует произведения и так далее... Но на самом деле я "двойной агент", ибо, с одной стороны, стал преподавателем и литературоведом, интересующимся автобиографиями, а с другой, и это самое главное, — я, как миллионы обыкновенных людей, некоторое время вел дневник. Так вот, автобиографии и дневники простых людей занимали меня все больше и больше. Кстати, в 1984 году мы с отцом опубликовали автобиографию мо-

1. Жорж Гюсдорф (1912–2000) — французский философ, автор книг "Открытие "я" (1948), "Память и личность" (1950), "Описания "я" (1991), "Авто-био-графия" (1991) и др.
2. Жан Старобински (р. 1920) — швейцарский критик, теоретик литературы; его книга "Жан-Жак Руссо, прозрачность и препятствие" вышла в свет в 1958 г.

1. Мишель Лейрис (1901–1990) — французский писатель, этнолог-африканист.

его прадеда Ксавье-Эдуара Лежёна. Мне представилось немало возможностей отдалиться от литературы. Я случайно наткнулся на один исторический фонд XIX века в Национальной библиотеке Франции, где обнаружил много автобиографий, и убедился, что, помимо опубликованных, существует огромное количество неизданных текстов... Меня заинтересовала еще одна форма автобиографии – устная. Все началось с того, что я посмотрел фильм Мишеля Конта, где Сартр рассказывает о себе. Я вдруг понял, что великий Сартр подчас путался и ошибался. Когда вы что-то говорите перед камерой, даже если вы так же гениальны, как Сартр, вы не всегда контролируете то, что произносите. И очень многое зависит от слушающего – как и в случае с автобиографиями обыкновенных людей. Должно возникнуть нечто вроде соавторства, где ключевую роль будет играть читатель или слушатель. Меня это настолько поразило, что я стал записывать на магнитофон беседы со своими родителями и представителями их поколения. Дело в том, что даже самые заурядные люди жаждут, чтобы их услышали, прочитали. В современном обществе людям недостает этого взаимного слушания рассказов об их жизни – и здесь мы возвращаемся к проблеме религиозности.

Е. Г. Таким образом, ваша Ассоциация выполняет функции идеального читателя автобиографических текстов? А как вы относитесь к их публикации?

Ф. Л. Прежде всего надо подчеркнуть, что Ассоциация книг не публикует, не желает публиковать и никогда не будет этого делать. Таков наш символ веры, основополагающий принцип. Наши авторы должны сами решать, публиковать им свои произведения или нет. Ведь, как правило, автобиографические повествования пишутся обыкновенными людьми не для печати, и поскольку мы признаем за любым человеком право писать о себе, было бы абсурдно думать, что каждого человека надо обязательно превращать в книгу. Мы выступаем за так называемое *микрочтение, микровосприятие*: автобиографический текст должен встретить двух, трех или четырех читателей... Правда, компьютерные технологии позволяют сегодня выпускать хоть один, хоть сотню экземпляров книги. Таким образом, речь идет о микрочтении огромного количества текстов. А для широкой публики мы издаем не тексты, а каталоги, где тексты кратко описываются, чтобы заинтересованный читатель мог прийти к нам и с ними познакомиться.

Е. Г. Чем занималась ваша Ассоциация в самое последнее время?

Ф. Л. Прошлые выходные я провел в местечке Перш на юге Нормандии, в замке, который принадлежит одному из членов нашей "секты". Это был двухдневный семинар, посвященный разным практическим вопросам нашей работы. Мы принимаем любые приходящие к нам автобиографические произведения, тексты совершенно незнакомых нам людей. Но в какой мере мы действительно готовы принять тот или иной вид автобиографии? Можем ли отвергнуть тот или иной текст? Насколько автобиографии могут оказывать дестабилизирующее влияние на читателя? Как сам факт прочтения посторонним лицом воспринимается авторами? Зачастую нам об этом ничего не известно... Но ведь могут возникнуть и конфликтные ситуации.

Е. Г. Расскажите, пожалуйста, еще об одной "массовой" форме вашей работы, той, что проводилась в 1987–1988 годах, об анкетировании по поводу дневников.

Ф. Л. Вообще-то, автобиография как таковая — в силу своей сложности — более редкий вид литературной деятельности по сравнению, скажем, с дневниками, которые ведут миллионы людей. Во французском обществе ведение дневников — занятие поистине массовое; семь или восемь процентов французов признаются, что ведут дневник. Это очень много!

И вот после пятнадцати лет автобиографических штудий я обратился к дневникам. Но ведь подавляющее большинство дневников не напечатано — их пишут для себя. А значит, предмет, которым я собирался заниматься, труднодоступен. Раздумывая, как к нему подобраться, я и решил организовать опрос общественного мнения... На первую анкету ответило около тысячи человек — школьники, студенты, преподаватели, пенсионеры. Конечно же, социологический опрос имеет свои недостатки, но только благодаря ему я узнал о том, что скрыто от стороннего наблюдателя. Например, перечитывают ли люди свои дневники и показывают ли их кому-нибудь еще, и уничтожают ли их (оказывается, очень часто).

Потом я напечатал в журнале "Магазин литтерер" небольшую заметку, в которой призывал тех, кто ведет дневник, рассказать мне о том, как это происходит и почему. И получил целых сорок семь писем! Хотя выборка людей в данном случае не была репрезентативной и невозможно было получить точные цифры, но у меня оказалась поистине бесценная информация о способах ведения дневников, их функциях и так далее[1].

Е. Г. Я слышала, что вот-вот должна появиться ваша новая книга. Расскажите, о чем она.

Ф. Л. "Физически" она уже появилась три или четыре дня назад. Завтра, 29 октября, она должна поступить в продажу. Книга называется "Дорогой экран", это что-то наподобие второго тома "Дорогой тетради", то есть новые анкеты по поводу дневника, продиктованные необходимостью понять, как повлияло на дневниковое письмо использование новых технологий. Сюда вошли и отрывки из моего собственного дневника, который я стал набирать на компьютере, а теперь публикую в классической и традиционной форме книги. Что изменилось, когда дневник стали вести не на бумаге — в тетради, а на экране компьютера? Меня интересовали и ответы тех, кто считал, что дневниковый жанр несовместим с компьютером, и их аргументы. А во второй части я задавал вопрос: что происходит, когда дневник "подключается" к Интернету. Я сам давно веду дневник на компьютере, но мне кажется, что я никогда не смогу и не захочу запускать его во всемирную сеть. Когда я узнал о существовании дневников в режиме on-line (это совершенно новая практика), я отнесся к этому скептически, но после опроса мое мнение переменилось, по крайней мере теоретически. В общем, это книга о современности, поскольку франкоязычные дневники появились в Интернете совсем недавно, и первые исследования этого феномена дали очень интересные результаты — изменилось многое: и возрастные, и профессиональные особенности, и отношение к по-

1. Результаты этой анкеты вошли в книгу "Дорогая тетрадь" (1990).

тенциальному читателю, и регулярность ведения дневника.

Е. Г. Какие явления в филологии привлекали вас прежде и какие кажутся интересными сейчас?

Ф. Л. Когда я начинал, меня просто зачаровала научная модель, предложенная фонологией. В пятидесятые годы, когда я был студентом, у нас не было предмета "общая лингвистика", и я стал изучать фонологию, уже сам став преподавателем. Для меня было большим откровением увидеть, в чем заключается различие между фонетикой и фонологией, а также понять проблему обозначения и значимых оппозиций: мне казалось, что система фонологии способна прояснить все связи литературной системы и механизмы ее изменений.

Еще я увлекался чтением русских формалистов, прежде всего Юрия Тынянова в переводе Цветана Тодорова; мне особенно импонировала его концепция литературной эволюции...

Я считаю себя учеником Жерара Женетта. Я тщательнейшим образом проштудировал его книгу "Фигуры III"[1], которая оказала большое влияние на мой труд "Автобиографическое соглашение". Я буквально строчка за строчкой анализировал рассуждения Женетта об особенностях повествования у Пруста и Бальзака, хотя редко читаю теоретические исследования таким образом. Но не менее скрупулезно я изучал в ту эпоху и книгу Харальда Вайнриха "Время" – она поразила меня своим прагматизмом и большим искусством, с которым автор исследовал законы функционирования всех микросистем во французском языке в разные времена.

1. В русском переводе "Фигуры III" вышли в 2-томном издании работ Жерара Женетта "Фигуры". М., Изд-во им. Сабашниковых, 1998).

Кто еще? Пожалуй, Фрейд, книга "Остроумие и его отношение к бессознательному", а также Якобсон – "Шесть лекций о звуке и значении". Все это увлекало меня в период формирования моей концепции автобиографического жанра, но потом желание осваивать новые теоретические модели пропало. Года два или три я пытался работать в системе Жака Лакана[1], но безуспешно. Кстати, вы могли бы задать мне один вопрос, но вы, конечно же, этого не сделаете, потому что вы не американка: "Что значит для вас философия Жака Деррида?"

Е. Г. Я действительно не собиралась спрашивать вас об этом, но как раз по противоположной причине – дабы не вторгаться в сферу российской интеллектуальной моды. Но раз уж речь зашла о Деррида, то не могу удержаться от вопроса о другом французском кумире современной российской гуманитарной мысли – о Ролане Барте.

Ф. Л. Меня потрясла книга Барта "S/Z", и я много с ней работал – по тем же причинам, что и с Фрейдом. В обеих книгах больше всего мне нравилось, что авторы не только что-то делали, но и показывали, каким образом они это делают. Я люблю книги-лаборатории, книги-мастерские... Как и Фрейд в "Остроумии", Барт может ошибаться, возвращаться вспять и говорить: "Я ошибся потому-то и потому-то", – и все это на ваших глазах.

Я всегда очень высоко ценил Ролана Барта. И как бы продолжая работать вместе с ним, а вовсе не для того, чтобы над ним посмеяться, я написал пародию на его книгу "Ролан Барт о Ролане Барте"[2].

1. Жак Лакан (1901–1981) – французский психоаналитик, основатель одной из школ психоанализа.
2. Пародия была опубликована в кн.: Philippe Lejeune. Moi aussi. Paris, 1986.

Е. Г. На того самого Барта, который объявляет о "смерти автора", и на ту самую книгу, которую вы включили в свой список во втором издании "Автобиографии во Франции"!

Ф. Л. В данном случае интереснее всего его "возвращение". Человек, сказавший, что существует только текст, а автор является лишь эффектом текста, вдруг сам возвращается в ту сферу, которой только что вынес приговор. Но теперь его уже нельзя воспринимать с прежним доверием. Он возвращается, но "во второй степени". И главная проблема книги "Ролан Барт о Ролане Барте" в борьбе между этим скептицизмом и той основополагающей наивной непосредственностью, которой все равно невозможно избежать. Получается, что невозможно "узаконить" смерть автора, ибо невозможно "узаконить" смерть личности, а тем более своей собственной. Ведь механизмы личностного самоопределения, механизмы нарциссизма, механизмы сопряжения с жизнью оказываются, по-моему, в конечном счете сильнее, чем философствования по поводу этих механизмов. Мне кажется, в этом тексте Барта существенней всего конфликт между непосредственностью и лукавством. Возникает неизбежное напряжение между подспудным желанием говорить о своей жизни искренне и — лукавством. Это и было темой пародии, которую я на него написал. Моя пародия преследовала две цели. С одной стороны, она призвана была защитить Ролана Барта от авторов пародийной книги "Ролан Барт без усилий"[1], где он изображен как заумник, изобретающий галиматью. К тому же эта книга была плохой пародией, потому что мало общего имела с текстами Барта, а скорее напоминала карикатуру. В моей пародии, впрочем, содержатся и тексты самого Барта (я их "украл" из разных его произведений), и собственно пародии, то есть тексты, написанные "в слегка утрированной манере Барта", и еще я добавил туда тексты других авторов. То есть пытался обыграть саму традицию пародии; и поскольку Барт очень изощрен, то мой Барт еще изощреннее вплоть до того, что сам в конце концов признает, что глуп. Может быть, это звучит слишком грубо — но именно глуп, как глупы мы все.

Е. Г. До сих пор речь шла о ваших любимых "теоретиках". А какие явления в современной литературе представляются вам наиболее примечательными — в жанре автобиографии или вне его?

Ф. Л. Я очень сожалею, но мне трудно выносить суждения о современной французской литературе. Самыми выдающимися французскими писателями первой половины века были, на мой взгляд, Пруст и Селин... А кто потом — не знаю. Что касается автобиографии, то так получилось, что мои самые любимые авторы — "современные", все они ушли из жизни не так давно: Мишель Лейрис, Жорж Перек, Клод Мориак и Натали Саррот. Но я могу назвать имя писателя, которым я восхищаюсь безумно, — это Натали Саррот. Думаю, русские читатели способны оценить мой выбор.

Е. Г. Вы говорите об автобиографическом жанре, но ведь именно Натали Саррот терпеть не могла слово "автобиография", да и Лейрис тоже. Вспомним Сартра, автора автобиографической повести "Слова": в своем труде о

1. N.-A. Burnier, P. Rambaud. Le Roland-Barthes sans peine. Paris, 1978.

Флобере ("В семье не без урода") он противопоставлял ранние неудачные писательские опыты Флобера, насквозь пропитанные личным опытом, его зрелому творчеству, где торжествует воображение. Автобиографичность вызывает у них сопротивление, кажется препятствием.

Ф. Л. Это происходит потому, что автобиография считается бесхитростным жанром — ничего не надо выдумывать, заново создавать. То есть она как бы вне мира творчества. И Саррот, и Сартр, и Флобер написали много всего, помимо автобиографий, и они высказывали мнение, ставшее во Франции традиционным: документ противостоит творчеству, предполагающему метаморфозы, переработку реальности. Малларме называл документ "всеобщим репортажем" и считал его ничтожным и пошлым уделом журналистов. Согласно этому стереотипу, автобиографический жанр — отступничество, отказ от творчества, возврат к самому банальному пониманию функций языка. Так в начале "Детства"[1] двойник Натали Саррот говорит ей: да ты стареешь, ты потеряла творческую силу и теперь будешь рассказывать о своей жизни. Как это ни парадоксально, но я борюсь (и примером мне служит Мишель Лейрис — величайший маг и пророк автобиографии как формы искусства XX века) за то, чтобы доказать: автобиография — это именно творчество, в котором также реализуются все возможности вымысла и формальных построений. И при этом биография не выходит за рамки документального повествования, основанного на соглашении о соотнесенности с реальностью и о внутреннем единстве. Именно такие формы творчества, по-моему, наиболее сложны.

Е. Г. Вы много писали о Лейрисе[1], но создается впечатление, что сюрреалистическая юность, когда он входил в группу Андре Бретона, не столь важна для его автобиографического творчества. Между тем Бретон еще в "Наде", написанной в форме дневника, мечтал о "книгах, распахнутых, как двери, к которым не надо подыскивать ключей", книгах, распахнутых в реальность.

Ф. Л. Лейрис — единственный из группы сюрреалистов, кто посвятил все свое творчество автобиографической теме. От Бретона же я просто леденею. Особенно вспоминая его интервью, которые передавали по радио. Прежде всего, это были не интервью, а текст, заранее записанный Бретоном и который теперь он торжественно зачитывал. Казалось, он вообще не способен говорить. Что еще сильнее бросалось в глаза при сравнении с интервью Поля Леото[2] или хотя бы Андре Жида. Да кто угодно был живее Бретона! А несчастный Лейрис вообще выглядел неудачником: и скучным, и слишком сложным. Но в его произведениях присутствовало особое человеческое измерение, выходящее за рамки формальной репрезентации, — он брал на себя обязательство говорить правду, о чем писал в "Литературе, рассматриваемой как тавромахия". Лейрис создал новый вид поэтической и ассоциативной автобиографии. Свою особую систему звука и значения, ме-

1. См. "ИЛ", 1986, № 12 (перевод Л. Зониной и М. Зониной).

1. Имеется в виду кн.: Philippe Lejeune. Lire Leiris. Autobiographie et langage. Paris, 1975.
2. Поль Фирмен Валантен Леото (1872–1956) — французский писатель, известный своим "Литературным дневником" (19 томов, 1954–1966).

ханизм которой был продемонстрирован еще в его поэтическом "Глоссарии", он воплотил в больших автобиографических творениях... Самое гениальное и в его поэзии, и в автобиографии — это то, что Лейрису удалось представить структуру как произведение искусства и благодаря поэзии вырвать автобиографию из границ повествовательной и логической модели. Мне кажется, что Лейрис совершил в автобиографическом жанре настоящую революцию, и ее последствия должны еще проявиться. По всей вероятности, в области автобиографии XXI век будет *лейрисовским.*

Париж, октябрь 2000 г.

АЛЬФА-БАНК ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ ПИСАТЕЛЯМ

Альфа-Банк совместно с Московским Литфондом продолжает благотворительную программу поддержки московских писателей, работающих над новыми произведениями.

Уже третий год подряд 15 авторов, представивших наиболее интересные проекты на ежегодный конкурс Московского Литфонда, будут получать в течение года — с 1 ноября 2001 г. по 31 октября 2002 г. — ежемесячные стипендии Альфа-Банка. Рассматривает заявки Экспертная комиссия, состоящая из главных редакторов ведущих литературно-художественных журналов.

Благотворительная акция Альфа-Банка, которая стала уже традицией, реально помогает рождению новых талантливых произведений и появлению новых имен в литературе.

“Нежный строй голосов отзвучавших...”

Ариадна Эфрон. *Переводы из европейской поэзии.* Составление и подготовка текста Р. Б. Вальбе. М., Возвращение, 2000

Ариадна Сергеевна Эфрон не слишком почитала свой труд поэта-переводчика. В письмах и воспоминаниях она с удивительным упорством повторяет одно и то же — как ей “надоели чужие слова”, как ей опостылело переводить, чтобы “затянуть бюджетные дыры”, как ей хочется дожить до пенсии, чтобы “развязаться с переводами” (правда, тут же добавляла, “с теми, что не для души”!). Дочь великой матери, Ариадна Сергеевна главным делом жизни почитала работу с архивом Марины Цветаевой, публикацию ее литературного наследия, возвращение России ее творчества. Но и сама Ариадна Эфрон была прирожденным литератором, прежде всего — поразительным прозаиком, и книги ее воспоминаний и писем, изданные, кстати, большими тиражами и переведенные на ряд европейских языков, открывают этот ее талант, так же как в свое время Цветаева открыла в маленькой дочери талант незаурядного поэта, публикуя вместе со своими стихами ее детскую лирику.

Жизнь Ариадны Сергеевны — ранняя и трудная эмиграция, возвращение на родину, обернувшееся шестнадцатью годами лагерной и ссыльной немоты, а затем еще двадцатилетняя борьба с советскими чиновниками и за собственное выживание, и за возвращение имени Цветаевой в русскую литературу, — эта трагическая жизнь вытеснила на периферию судьбы ее собственные таланты поэта, рисовальщика, прозаика, мемуариста, которые стали и становятся нашим достоянием, когда самой Ариадны Эфрон уже давно нет на свете.

Руфь Борисовна Вальбе, составитель и комментатор вышедшего пять лет назад тома писем А. Эфрон (“А душа не тонет...” Письма 1942—1975. Воспоминания. М., Культура, 1996), в прошлом году опубликовала ее неизвестную лирику (“Новый мир”, 2000, № 1), а недавно дополнила ее библиографию книгой избранных переводов из европейской поэзии.

В русской литературе ушедшего столетия все складывалось таким образом, что книга переводчика, занимавшего в советской литературной иерархии маргинальное место, тем не менее, как правило, утверждала — коли эта книга выходила в свет — победу переводчика над навязанными обстоятельствами судьбы, утверждала высокую значимость самого переводческого труда и значительность его в контексте современной культуры. Так в первой половине века произошло с известной антологией Бенедикта Лившица. Теперь — последняя по времени — книга Ариадны Эфрон.

В сборник вошла только лирика и только французские поэты, за исключением семнадцати сонетов Петрарки, которые стали для А. Эфрон одной из последних и одной из самых близких ее сердцу переводческих работ. А до того были Арагон, Бодлер, Верлен, Готье, поэты французского Сопротивления; была драматургия — Тирсо де Молина, Мольер, Лопе де Вега, “искрометный”, по определению Е. Эткинда, перевод “Жодле-дуэлянта” Поля Скаррона и другие его пьесы. Были и переводы, как тогда говорили, “с языков народов СССР”, — как правило, поденщина, чтобы удержаться на плаву; были поэты стран народной демократии, переводившиеся с той же целью, о чем Ариадна Эфрон говорила, не скрывая иронии: “Из-под моего пера

выскакивают, например, вьетнамцы, похорошевшие, как после визита премьера. Но меня, увы, это хорошеть не заставляет".

Переводами Ариадна Сергеевна занималась еще во Франции, переводила и в тот короткий промежуток времени в конце тридцатых, между приездом в Россию и арестом, когда она работала корреспондентом и переводчиком в журнале "Ревю де Моск-ку". По возвращении из Туруханска она стала переводить стихи профессионально, с огромной требовательностью к себе, которая шла и от ее литературного таланта, и от сознания "непомерности задачи". Тогда же произошла типичная для советской издательской деятельности история, о которой она с неутихшей горечью пишет в "Воспоминаниях о Казакевиче", когда оказалось, что заказанные ей для перевода стихи были уже переведены кем-то из "маститых" и "мой перевод, на который я возлагала столько надежд, естественно оказался никому не нужным".

После стихов Арагона, переведенных для одиннадцатитомного собрания его сочинений, она входит в "рабочую плеяду" переводчиков французской поэзии. Ее блестящие работы шестидесятых годов — прежде всего Бодлер и Верлен — тут же стали классикой жанра. В конце столетия высокую оценку ее творчеству дал в антологии "Мастера поэтического перевода" Е. Г. Эткинд, назвав Ариадну Эфрон одним из лучших поэтов-переводчиков XX века: "Ее воссоздания Бодлера, Верлена, Готье превосходят почти все, что было сделано ее многочисленными предшественниками".

В письмах же Ариадна Сергеевна бесконечно сетует на несоответствия — труда и результата, голоса и немоты. "Я не пишу стихов, — жаловалась она в 1948 году Николаю Асееву. — Мне даны глаза поэта и его слух, но я — немая..." Она — порой с удивительным простодушием — буквально сводит счеты со своими авторами: Марселина Деборд-Вальмор — не дается и "лягается", Скаррон — "злосчастный и нелюбимый", Тирсо де Молина — "никому не нужный и неинтересный"... Между тем "несносный" Мольер в ее исполнении естествен и ироничен, поэт XVI века Оливье де Маньи современен и злободневен, а что уж говорить о Бодлере, словами которого изливается ее собственная душа:

К тебе, к тебе одной взываю я
из бездны,
В которую душа низринута моя...
Вокруг меня — тоски свинцовые края.
Безжизненна земля и небеса
беззвездны.

Шесть месяцев в году здесь стынет
солнца свет,
А шесть — кромешный мрак и ночи
окаянство...
Как нож, обнажены полярные
пространства:
Хотя бы тень куста! Хотя бы волчий
след!

Верлен Ариадны Эфрон — одно из высших достижений отечественной школы поэтического перевода. Примечательно сравнить ее переводы из Верлена с тем, что́ и как она пишет о нем во время этой работы: "Работаю ужасающе медленно, не изнутри, а извне себя перебирая слова, пока найду подходящее; и это — только подходящее, а *не* необходимое, то самое *единственное* слово, для которого, помимо добросовестности, требуется и внутреннее озарение". Такая показательно низкая оценка своего творчества на самом деле отражает кропотливейшую работу переводчика-исследователя, сопряженную с интуицией и озарениями, с тем "искусством потерь", которым, собственно, и является искусство перевода. "Я все никак не одолею Верлена, — пишет она Павлу Антокольскому уже в конце работы, — он мне не дался, я так и не нашла к нему того синтезирующего ключа, без которого не отомкнешь перевода. Все у меня осталось непреодоленным, слова вяло разбрелись по строчкам и скудно срифмовались; но — не начинать же сначала, как велит совесть, которая всегда — вопреки здравому смыслу! Вообще же, чтобы (хотя бы!) переводить, не совесть

нужна и отнюдь не здравый смысл, а всего лишь *талант* — вот в этой-то мелочи и загвоздка!"

Таланта Ариадне Сергеевне было не занимать. И как раз ее Верлен, представленный в "Переводах из европейской поэзии" (помимо опубликованных, Р. Б. Вальбе включила еще два стихотворения из архива А. Эфрон) — тому свидетельство. Многие стихи Верлена она переводила на русский впервые, в других шла вослед В. Брюсову и Ф. Сологубу, создавая свой особый образ французского поэта, по форме — предельно гармонизированного, изнутри — разодранного в клочья сомнениями и душевными муками:

Убийца дней моих, глумливая тоска,
Открыто не разит — грызет
исподтишка,
И колет и когтит с улыбкою слащавой,
Чтоб сделать боль мою посмешищем,
забавой,
И в склепе, над моей воздвигнутом
мечтой,
На шутовской мотив гнусит
"за упокой".

Кажется, что в подобных строках в равной степени отобразились судьбы и поэта, и переводчика — настолько точен перевод и в то же время так естествен, афористичен и горек русский стих.

Любопытно посмотреть на перевод, не включенный в свое время в книгу Верлена, вышедшую в 1969 году в серии "Сокровища лирической поэзии", для которой, собственно, и переводила Верлена Ариадна Эфрон, — это стихотворение "Поёт Каспар Гаузер":

Прибрел я в город, где дома
Так высоки — юнец безотчий...
Мне люди заглянули в очи,
Но не узрели в них ума...

Любовной жаждою палим,
Изведал я тоски отраву:
Пришлись мне женщины по нраву,
Но не понравился я им...

Пусть не храбрец, в войне огня
Искал я, чтоб испепелиться,
Хоть не за что мне было биться...
Смерть отвернулась от меня.

Не к месту в веке я и в дне,
И в этом мире изнываю...
О вы, которых я не знаю:
Хоть помолитесь обо мне!

До Ариадны Эфрон это стихотворение переводили Валерий Брюсов и Георгий Шенгели, позже сделал свою версию перевода Александр Ревич. История Каспара Гаузера привлекала внимание многих в течение всего XIX века, в эпоху Верлена оставалась невыясненной и долгое время занимала поэта. Каспар родился в 1812 году и был предполагаемым сыном Стефании Богарне, племянницы жены Наполеона, Жозефины. Отнятый у матери из корыстных побуждений, детство и отрочество он провел в заточении и скитаниях. В 1828 году был найден в Нюрнберге с письмом, из которого явствовало, что он "покинутый ребенок". Шестнадцатилетний юноша говорил как дитя и с трудом мог написать свое имя. Он был убит при неясных обстоятельствах в баварском городе Ансбахе в 1833 году, и на его могиле было написано: "Здесь покоится Каспар Гаузер. Загадка своего времени. Происхождение неизвестно, смерть таинственна".

Георгий Шенгели проницательно обосновал интерес Верлена к "нюрнбергскому найденышу" тем, что поэт "как-то отождествил себя с этой загадочной и грустной фигурой... И он был в значительной мере прав. Он пришел в наш необычайно сложный и страшный мир, все видя и чувствуя и не умея в нем определиться".

"Не к месту в веке я и в дне" — эта строка отсылает нас к Цветаевой, к ее "век мой — враг мой", и не случайно: трагедия Гаузера ее пронзала, в одном из писем 1936 года к А. Штайгеру она назвала гибель Каспара одной "из самых больших человеческих общественных и исторических низостей". В переводе Эфрон примечательна и другая отсылка, к пушкинскому "Пророку", вплоть до прямых аллюзий ("Духовной жаждою томим..."). Эта ориентация наполняет

образ Гаузера-Верлена дополнительным смыслом: "глухонемой", по определению Верлена (так он писал о Каспаре в "Записках вдовца"), становится в интерпретации переводчика "пророком", который "не к месту" в своем времени, но ему ведомо то, что еще предстоит разгадать грядущим поколениям.

Такой расширительный смысл перевода при адекватном его исполнении был свойствен Ариадне Эфрон в полной мере. И своего сурового Бодлера, и изящного Готье, и даже многословного Арагона она вписывала в пушкинскую традицию русской поэзии, и каждый из них оказывался по-своему обогащен новым прочтением и звучанием стиха. А. Эфрон умела читать классику, но столь же свежо и убедительно звучит в ее исполнении и поэзия, казалось бы, далекая от ее основных пристрастий, – и темный, весь в подтекстах, Тристан Тцара, и создавший свою особую поэтическую космогонию Пьер Реверди:

И больше ничего.
И нечего сказать.
Мир ужасам своим определил
пределы.
А вне пространств, где мне дано
дышать,
Разостлан длинный траурный покров.

Переводческая муза Ариадны Эфрон умела примерять такие траурные покровы, сама переводчица слишком хорошо знала им цену, знала, из какого прочного и безысходного холста они кроятся. Поэтому ее Луиза Лабе (XVI век) восклицает: "...И сплошь страданье и сплошь восторг – мое существованье!" Ее Мольер советует: "Дай горю своему слезами изойти!" Ее Готье просто повторяет за нею ее собственные слова:

Избитой карнавальной темы
Варьяция! Сквозь слезы – смех...
Как от тебя страдаем все мы!
И я, пожалуй, горше всех...

Как в письмах, как в мемуарах, Ариадна Сергеевна Эфрон и в переводах своих передала нам ощущение мужественной, превозмогающей беды, "призванной" личности, умеющей не только сохранять, но наполнять жизнью "нежный строй голосов отзвучавших" – по словам *ее* Верлена. "*Личность*, – писала она, – это всегда то, что претворяется в дело, каково бы оно ни было; личность – это всегда *труд* и *призвание*". И как бы она сама ни сетовала на свою "трудовую воловью колею", ее переводы, ныне собранные в авторской антологии, остаются замечательным памятником – призвания судьбы.

Михаил Яснов

Бог – это жизнь и род человеческий?

Торгни Линдгрен. *Вирсавия*. Перевод с шведского Н. Федоровой. М., Текст, 1999

Торгни Линдгрен – один из самых известных писателей современной Швеции. Он родился в 1938 году в Вестерботтене, сельском районе на севере страны. Изучал историю, географию и политику в Стокгольме и Уппсале, потом двенадцать лет проработал учителем в маленьком городке Виммербю. С начала 70-х годов писал рассказы и романы социально-психологической направленности, но между 1981 и 1982 годами в его мировосприятии произошел резкий перелом: он решил, что должен отказаться от предвзятых идеологических установок и впредь просто "неустанно месить словесное тесто", сосредоточившись на таких универсальных проблемах бытия, как "любовь, ненависть, зло, смерть, жизнь и мистерия жизни". Произведения этого второго периода его творчества, в которых на первый план выступает притчевое начало и используются традиции устного рассказа, различные пласты народного (разговорного, эпического, "библейского", то есть употребляемого в каноническом шведском переводе Библии), а не современного литера-

турного языка, собственно, и принесли Линдгрену всемирное признание. В числе его лучших книг повесть "Путь змея на скале" (1982; русский перевод в 1991-м), романы "Вирсавия" (1984), "Свет" (1987), "Бог любви Фрё. Жизнеописание" (1988), "Пчелиный мед" (1995; русский перевод в 1997-м). В 1991 году он стал членом Шведской академии.

Восприятие романа "Вирсавия" начинается с ощущения, что тебя увлекает мощный поток ритмизированной прозы — очень похожей на библейскую речь, временами сливающейся с нею и все-таки иной, хотя, пожалуй, не менее красивой и печальной. Красота здесь — от пристального внимания к мелочам, от точности слова, лаконизма. А печаль (но это понимаешь позднее) — от того, что необыкновенный речевой поток есть лишь отражение двух других, реальных потоков, знакомых нам всем: потока преследующих человека роковых внешних неизбежностей и потока его собственных, не подвластных разуму страстей.

"Со всеми нами всегда что-нибудь происходит, думала Вирсавия. Нас поражают болезни, и ненависть, и любовь. Нас похищают, и оставляют, и убивают. Всегда есть что-нибудь, перед чем мы беззащитны". (Здесь и далее курсив мой. — *Т. Б.*)

Мир, который описывается в книге, — это очень точно воссозданный мир восточной деспотии X века до н. э. Здесь каждый имеет свою четко обозначенную жизненную роль. Библейский царь Давид *вправе* похитить жену военачальника Урии, *не может* не убить оказавшегося невольным свидетелем этой сцены отрока Шафана (и сама Вирсавия потом по необходимости убьет другого "отрока", Шеванию, случайно услышавшего клятву царя сделать престолонаследником ее сына Соломона), *не может* пощадить царя и народ захваченного израильтянами города Раввы. Но в силах Давида не проявлять *ненужную* жестокость, и его выбор, неповторимость его индивидуальности состоят в том, что он не желает смерти ни сына своего Амнона, обесчестившего сестру, ни другого сына, Авессалома, который убил брата и поднял мятеж против отца. Он не испытывает радости, видя несчастье своих врагов (в Равве) и прощает собственный народ, который в дни поражения отвернулся от него. Шафан, Шевания, калека Мемфивосфей — как будто бы безответные орудия в руках царя, но они *своей волей* превращают эту службу в служение, вкладывая в нее любовь. И пророк Нафан, твердо знающий, что первенец Вирсавии умрет, все-таки — *своевольно* вступая в спор с велениями Бога — благословляет ее чрево. Однако удивительнее всего та метаморфоза, которая происходит с Вирсавией.

Когда царь Давид впервые овладевал Вирсавией, она чувствовала себя "не более чем *предметом* неистовой его любви... порожним, дотоле не использованным сосудом". А когда все закончилось, оценила свое положение так: "У побежденного нет более намерений, думала она, нет стремлений, нет цели, побежденный свободен от надежд и мечтаний, всеми покинут и свободен. Свободен быть пленником". Дальше с ней происходит некое (растянутое во времени) чудо, которое, собственно, составляет сюжет книги и вовсе не исчерпывается тем, что Вирсавия сама начинает испытывать любовь к Давиду ("Я устремилась к длани, которая схватила меня!"), — иначе она стала бы просто еще одной любящей рабыней, одной из сотен царских жен. Выясняется, что Вирсавия обладает какими-то необычными качествами, которые поначалу ставят царя в тупик. Сам Давид определяет эти качества так:

"Она — жена и все-таки не жена, *кажется, будто она человек.* Я не понимаю ее. Это я говорю с упованием: я не понимаю ее.

Вирсавия говорит со мною, хотя я не приказывал ей говорить, она приходит ко мне незваная... я спрашиваю у нее совета, она сама выбирает для себя украшения, какие нравятся ей в моей сокровищнице..."

Она, может быть, еще не личность, но в ней от природы заложено ощущение своей самоценности ("Я думаю: я есмь я. *Это немного, но все же*

кое-что. Совсем не то, конечно, что быть наполненной Давидом, но все же и не полная пустота"), недаром в приведенной выше цитате она употребляет понятие "свободный" (в парадоксальном контексте, относящемся к ситуации тотальной внешней несвободы), тогда как для большинства народа, как говорится дальше, "свобода была... тяжким, почти невыносимым бременем". Вирсавия открыта для нового опыта и не может в каждый момент времени не испытывать того или иного желания, которое она (как скажет Давид) "бросает будто копье и несет перед собой будто щит".

Всего этого оказывается достаточно, чтобы начался процесс развития ее личности и параллельно с этим зародилась их с Давидом любовь. В интерпретации Линдгрена Вирсавия становится подлинной царицей — сначала советчиком Давида, его "правой рукой", затем — регентшей при своем малолетнем сыне Соломоне. Но интереснее, чем внешняя фабула, то обстоятельство, что Линдгрен показывает, с каким трудом дается Вирсавии каждый шаг на этом пути. Вирсавия пытается облекать в слова свои смутные мысли или ощущения и, сначала колеблясь, не доверяя себе, все-таки просит писца эти слова записывать. Потом как бы поднимается на новую ступень — начинает планировать собственную судьбу: "Впервые она так алчно и вместе хладнокровно придумывала великие события, которым должно произойти, изобретала неведомые дотоле события... Это было *упражнение в помыслах* как священнодействие". Вирсавия учится мыслить точно так же, как учится стрелять из лука, и именно в то время, когда царевич Авессалом обучает ее обращению с оружием, она вдруг формулирует для себя новый принцип: "Мы сами должны создать случай, который нам нужен!"

И Давид, которого влекло к Вирсавии плотское желание (правда, он с самого начала бессознательно "искал узы, связующие лицо и лоно, дух и плоть"), теперь видит в ней "друга", различает "на месте красоты... черты лица". Поэтому их любовь сможет выдержать даже такое испытание, как старость Давида, и на последнем взлете этой любви, на грани жизни и смерти, Вирсавия станет для Давида больше чем другом — Богом: "Давид не понимал, как он мог жить без Вирсавии; размышляя о своей молодости, он более всего удивлялся, что ее там не было... ведь остаться без нее — все равно что остаться без Господа".

Мир, который описывается в книге, — не только конкретная историческая реальность, но (в первую очередь!) пространство притчи. И потому он вмещает в себя очень много: всю шкалу любви — от голого секса, насилия над телом другого, до такой высокой концентрации этого чувства, когда плотское уже не играет почти никакой роли; всю шкалу внешней свободы-несвободы — от нулевой отметки рабского состояния до всевластия абсолютного монарха; и всю линию внутреннего, личностного развития, самую запутанную из всех (недаром о царе Давиде говорится, что он "всегда колебался меж кротостью и жестокостью, меж ненавистью и любовью... знал, что нераздельны добро и зло, но различать их все же необходимо").

Еще одна важная тема книги — попытка определить сущность божественного. Многие ее герои задаются вопросом о том, что́ есть Бог, каков Он. И каждый раз на этот вопрос отвечают по-разному.

"А каков Он — Господь? — спросила Вирсавия.

Он таков, как я, сказал царь Давид...

И Вирсавия подумала о том, как вот он только что едва не раздавил ее..."

"Тяжелым" представляется Господь и военачальнику Иоаву, собственная жизнь которого вся состоит из тяжкого служения царю. А хитроумный Давид позже скажет: "Многообразие и противоречивость отличают Его. Внушение и запрет. Искушение и ответственность. Обетование и кара". Но самое неожиданное и самое полное в книге определение Богу даст калека Мемфивосфей: "Ему присущи все качест-

ва, какие только есть на свете и могут быть нами помыслены. Он кровожаден, и полон любви, и мстителен, и всепрощающ, и отвратителен, и прекрасен. Он заслуживает весь гнев, и всю ненависть, и всю любовь, какую мы способны питать к Нему". И Вирсавия почти повторит (обобщит) его слова: "Я думаю, Бог — это жизнь и род человеческий". Как понимать это сложенное из разнородных фрагментов определение Бога? Ясно одно: вера изображается здесь, если можно так сказать, как функция конкретной человеческой личности, и вследствие этого сама личность выступает на первый план, приобретает огромную значимость. Любая личность, потому что, как бы ни была она слабо развита или греховна, она обладает не известным заранее потенциалом развития и потому что, как утверждает Вирсавия, "ни один человек не может исполнить ничего вместо другого, людей нельзя выменивать, как самоцветы на жемчуга или мясо на кожи". Эта мысль звучит в романе рефреном, поворачиваясь — в сознании разных персонажей — разными гранями. Руководствуясь ею, царь решает помиловать преступника: "Важнее всего — продолжение жизни, сказал Давид... Хоть он братоубийца, но он и святыня, ибо он хрупкий сосуд, в коем семя мужа твоего движется сквозь время". Урод Мемфивосфей находит в той же мысли опору для чувства собственного достоинства, для уверенности в том, что и он тоже достоин любви. И еще раз к ней прибегнет "отрок" Шевания, когда, за несколько минут до смерти, попытается сформулировать закон межчеловеческих отношений: "В причастности возникает наше бытие. Соучаствуя в жизни друг друга, мы создаем самих себя. Без причастности мы не существуем".

Подобно тому как имеется внешняя и внутренняя несвобода, так же у слов (и жестов) есть смысл внешний и смысл внутренний — их подлинное содержание. Однако, согласно Линдгрену, в конечном счете слово и его содержание совпадут (или в идеале должны совпасть).

Некоторые темы книги — неотступные вопросы о том, каков Бог, почему удары судьбы безжалостно преследуют невиновных, как влияют на человеческие судьбы такие "слепые" инстинкты, как стремление к власти, влечение к противоположному полу, ревность, — волновали людей всегда: и в те времена, когда создавалась библейская история царя Давида, и потом. Но у Линдгрена попытки найти ответы на эти вопросы оборачиваются обостренным вниманием к самому человеку, к мере *его* ответственности за происходящее, к развитию личности *как результату ее же сознательных усилий* (и, соответственно, к такой любви, которая состоит, по выражению Вирсавии, в нахождении "бок о бок, не сверху и не снизу"). Мне кажется, что подобный угол зрения особенно характерен для литературы XX века, порожденной миром, который навязчиво подталкивает людей к превращению в ничтожные и взаимозаменяемые детали общественного механизма. О необходимости непрерывного внутреннего развития, при малейшей остановке которого личность начинает деградировать, писал, например, Томас Бернхард; высказывания о ценности любой человеческой личности, о работе, потребной для внутреннего развития, можно найти и у Анри Мишо: "Всякая мысль очень скоро останавливается. Думай, чтобы убегать: сначала из *их* мыслей-тупиков, потом из *твоих* мыслей-тупиков..."

Роман Торгни Линдгрена "Вирсавия" был переведен на двадцать два языка, удостоен литературных премий в Швеции и Франции. Блестящий перевод Нины Николаевны Федоровой передает и ритмическую структуру текста, и сложную игру возвышенного и будничного языковых пластов, и лаконичную точность линдгреновских образов.

Т. Баскакова

В поисках утраченного денди

Жюль Барбе д'Оревильи. *О дендизме и Джордже Браммелле.* Перевод с французского М. Петровского / Под редакцией А. Райской. М., Издательство Независимая Газета, 2000

Первая публикация книги Барбе д'Оревильи была осуществлена в России еще в 1912 году, что было весьма симптоматично для русской художественной культуры того времени. Поиски нового пути развития, стремление в прямом смысле слова материализовать рождавшиеся тогда художественные доктрины, эстетизация повседневности, поиски утраченной цельности среды – все заставляло художников и литераторов превращать самих себя в произведение искусства. Самым действенным инструментом перевоплощения обыденного в художественное была мода. Не случайно Михаил Кузмин в предисловии к русскому изданию трактата Барбе писал: "...эта книга о моде, может быть, о моде внутренней, о психологической манере "завязывать галстуки", <...> своего рода "хороший тон" скорее для внешнего поведения и внешнего мышления целого литературного поколения".

Мода, понимаемая не как изощренное искусство портного, но способ выразить свою индивидуальность, явилась новой для России сферой приложения творческих сил не только художников или поэтов. Складывалась такая культурная ситуация, которая могла бы способствовать созданию русского типа денди. Барбе д'Оревильи писал, что "Браммелл в своем роде был великим художником; только искусство его не имело жанра и не проявлялось в специально отведенное время. Им была сама его жизнь: то был нескончаемый блеск дарований, не знавших передышки в человеке, созданном, чтобы жить среди людей. Он восхищал своей личностью, как другие восхищают своими творениями".

Трактат о Джордже Браммелле явился для читателей первого русского издания своего рода исторической иллюстрацией, действенным аргументом плодотворности такого способа реализации личности.

Появление в 2000 году, почти девяносто лет спустя, новой публикации Барбе д'Оревильи столь же актуально, хотя и по иным причинам. В литературоведческих и исторических штудиях последних лет дендизм оказался весьма надежным инструментом для описания и анализа литературного и художественного быта первой половины XIX века. Примером может служить исследование Анны Мартен-Фюжье "Элегантная жизнь, или Как возник "весь Париж" (русское издание 1998), заключительная глава которого посвящена дендизму и, в частности, "дендизму и литературе".

Среди работ отечественных ученых следует отметить книгу "Поэзия Пушкина, или подвижный палимпсест" О. А. Проскурина (1999), одно из приложений к основному тексту которой "Что скрывалось под панталонами" имеет подзаголовок ("Корреляция "мода – язык" в "Евгении Онегине" и ее культурный контекст") и демонстрирует действенность таких понятий, как мода и дендизм, для понимания многих художественных процессов.

В отечественной науке последних десятилетий XX века интерес к дендизму проявился лишь после публикаций зарубежных исследователей. Это не случайно, поскольку особенности развития русской культуры первой половины XIX века позволяли говорить лишь о некоторых элементах дендистского поведения. Объяснение этому отчасти можно найти на тех страницах трактата Барбе д'Оревильи, где он рассказывает о недолгой армейской карьере Браммелла: "Денди, который на все накладывает печать *утонченной оригинальности* (слова лорда Байрона), не может не питать ненависти к мундиру".

Престиж и значимость военной формы в России с первых лет александровского правления общеизвестны. В эпоху Николая I степень регла-

ментации общества и необходимой для такой жесткой системы форменной одежды достигла апогея. Своего рода мундир предлагался даже нигде не служившим дворянам. На письме Бенкендорфа царь сделал следующую пометку: "Вы могли бы сказать Пушкину, что неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах, и что он мог бы завести себе по крайней мере дворянский мундир; впоследствии в подобном случае пусть так и сделает".

Денди может выразить себя как денди только в светском общении, вне его элементы дендистского поведения оказываются лишь щегольством или чудачеством, которые не имеют такой власти над общественным мнением, как истинный дендизм. Существовали и некоторые частности русского быта, которые препятствовали распространению (по крайней мере, замедляли распространение) некоторых дендистских нововведений, связанных главным образом с символикой цвета.

Таким образом, в первой трети XIX века дендизм не мог иметь на российской почве нужного ему для адекватной реализации культурного пространства. Позднее лучшие умы были захвачены противоборством между фраком и армяком (споры западников и славянофилов). Только на рубеже XIX и XX веков в России сложилась такая культурная ситуация, в которой "психологическая манера завязывать галстуки" (М. Кузмин) делается принципиально важной для выражения новых художественных идей. Русские художники и литераторы становятся восприемниками и продолжателями этой тонкой эстетической игры, которая не получила естественного и логического завершения, отчасти посему и не стала объектом критического анализа.

В сущности, тема дендизма в русской научной литературе практически не освещена. Легко перечислить работы, авторы которых обращались к этой проблеме. Прежде всего соответствующее место из комментария Ю. М. Лотмана к роману "Евгений Онегин" (1980); статья Ю. Б. Демиденко "Костюм и стиль жизни" о художественном и литературном быте начала XX века (1990); комментарий В. А. Мильчиной к первому изданию на русском языке "Трактата об элегантной жизни" Бальзака (1995) и, наконец, серия статей О. Б. Вайнштейн о европейском дендизме, опубликованных в 1996—2000 годах в различных изданиях, в том числе и журнале "Иностранная литература" (2000, № 3). Именно О. Вайнштейн является научным редактором, автором предисловия и комментариев (совместно с А. Райской) рецензируемой книги.

Следует сразу же отметить высокий академический уровень последнего издания книги Барбе д'Оревильи, что позволяет опустить все рассуждения о новом оформлении текста, выпущенного в серии "Modus vivendi". Рецензенту доводилось пользоваться изданием 1912 года, переплетенным в серебристо-голубой шелк с типографской карточкой, сообщающей, что экземпляр предназначен для Михаила Кузмина. Издание сохраняет небольшой формат (Барбе в предисловии ко второму изданию назвал свою работу "книжечка") и прихотливую вязь сносок, "перетекающих со страницы на страницу".

Главное же в новом издании — это тщательная подготовка текста, предисловие и комментарий, которые позволяют восполнить существующий в отечественной научной литературе пробел и, по сути дела, делают эту публикацию авторитетным научным источником, со знакомства с которым будут начинаться все штудии, посвященные феномену дендизма. Примечания и предисловие изобилуют отсылками, вводящими в научный обиход забытые или совсем неизвестные в России исследования о дендизме, творчестве Барбе д'Оревильи и его последователях.

Имеющие возможность сопоставить издания 1912 и 2000 годов сразу заметят тщательный подбор иллюстраций, включающий довольно редкие изображения героев давно прошедшего времени. Отметят обширность комментария, бережное

отношение к предисловию "русского Оскара Уайльда", "короля эстетов" и даже "русского Брюммеля" — Михаила Кузмина к первой полной публикации трактата о дендизме в России.

Следует особо отметить, что текст, публикуемый в переводе М. Петровского, был выверен и отредактирован по французскому оригиналу (А. Райская); в примечаниях учтены все авторитетные комментированные издания трактата Барбе д'Оревильи, изданные во Франции (О. Вайнштейн и А. Райская).

Остановимся на трех из множества других аспектов, рассмотренных О. Вайнштейн в предисловии: истории создания текста, что весьма существенно для понимания жизнеспособности темы дендизма в культуре и после Браммелла, и после Барбе д'Оревильи; анализе самого текста, выполненном в лучших традициях современных научных интерпретаций; дендистском стиле в русской культуре Серебряного века.

Французский писатель Барбе д'Оревильи был младшим современником своего будущего героя англичанина Джорджа Браммелла (1778—1840). Однако, решив обратиться к личности и жизни Джорджа Браммелла, он не располагал никакими личными впечатлениями, так как никогда не встречался со знаменитым денди, проведшим последние два десятилетия своей жизни во Франции. Барбе воспользовался посредничеством своего старинного друга Гийома Требютьена, хорошо знакомого с капитаном Уильямом Джессе, игравшим при Джордже Браммелле, как пишет О. Вайнштейн, "роль собеседника-секретаря — в духе Эккермана при Гёте".

Капитан снабдил Барбе д'Оревильи нужными сведениями и даже выслал ему только что вышедшие два тома своего трактата о Браммелле. Вот здесь проявился особый подход писателя к своему герою. "Для него Браммелл ценен прежде всего как реализация Идеи Дендизма. В этом аспекте название трактата абсолютно буквально отражает авторский замысел: "Я хочу описать и определить дендизм, я покажу его героев, я создам его законы и, наконец, завершу все человеком, который воплощает его в наивысшей степени, во всем абсурдном великолепии", — писал Барбе Требютьену.

Такой подход заставил Барбе опустить большую часть трактата Джессе, который слишком подробно описал жизнь Браммелла в период лишений и тяжелой болезни, что заставило Барбе упрекнуть дотошного биографа Джессе в "недостаточной забывчивости". Немощный, нуждающийся и постаревший денди никак не мог бы быть "возвышенным и харизматичным".

Пятнадцатью годами раньше первой публикации Барбе, в 1830 году, был опубликован "Трактат об элегантной жизни" Бальзака, где помещено интервью с Браммеллом, которое "скорее всего плод воображения автора" (комментарий В. Мильчиной). Бальзак пишет: "И в старости, и в бедности Браммел оставался Браммелом: правда, подобно Георгу IV, он слегка обрюзг, и это нарушило идеальные пропорции его некогда стройной фигуры; хуже того, бывший бог дендизма носил парик!.. Страшный урок!.. Браммел в таком виде!.. Как тут не вспомнить Шеридана, выходящим мертвецки пьяным из здания парламента или попадающего в лапы понятых?

Браммел в парике; Наполеон в собственном садике на острове святой Елены; Кант в припадке старческого маразма; Людовик XVI в красном колпаке и Карл X в Шербуре!.. Вот пять самых поразительных зрелищ нашей эпохи". Здесь следует отметить, что предшественники Барбе, и прежде всего Бальзак, не стали объектом рассмотрения в предисловии.

Возможно, что личные наблюдения скорее помешали бы Барбе создать образ Браммелла как персонификацию "абстрактного дендизма. <...> Под "дымящимся пером" Барбе испарялась живая индивидуальность, телесность Браммелла, чьи мельчайшие привычки мгновенно становились темой для анекдотов". И далее О. Вайнштейн пишет: "Вероятно, молчащий Браммелл в чем-то

больше устраивал автора, так как "взгляды, жесты, намерения и молчание" нуждаются в экзегезе, и эта роль герменевта, посвященного, толкующего для профанов элитарные смыслы, весьма импонировала самолюбивому Барбе".

Анализируя метафорику текста, О. Вайнштейн выявляет особенности стиля Барбе, его безусловное эстетическое чутье, позволившее предугадать многие проявления будущего искусства. Например, она пишет: "Надо отдать должное Барбе, ведь в своей трактовке он интуитивно предвосхитил всю пряную эстетику андрогинизма эпохи декаданса". И затем: "Но нельзя не отметить, что в эстетическом плане Барбе, возможно, один из первых в XIX веке почувствовал вкус к исчезающему, испаряющемуся объекту, чья прелесть — в вибрирующем контуре, в нежном мерцании формы на грани бытия и небытия. Наш век только довел до конца этот игровой нигилизм, придумав после Ницше деконструктивизм в философии и небрежно-рваный шик авангардной богемы".

Культура русского Серебряного века по достоинству оценила творческое наследие Барбе. О. Вайнштейн отмечает, что, в отличие от Кузмина, Николай Бердяев и Максимилиан Волошин весьма заинтересованно и сочувственно отнеслись к личности и трудам Барбе.

Ирония эстета Кузмина по отношению к "романтически протестующей и наивной, непримиримой и детски простой фигуре" обернулась против него самого — таковы были обстоятельства тогдашней российской действительности.

Из пожеланий рецензента к публикаторам следует указать лишь одно. При создании комментариев к тексту хотелось бы в будущем видеть больше ссылок на мемуары, исследования и трактаты российских современников Браммелла и Барбе. Например, примечание 87 к с. 117 касается красных каблуков Чарлза Фокса, прививавшего их на английской почве, как пишет Барбе, "очевидно, пущего блеска ради". В 1832 году была опубликована книга тогдашнего президента Академии художеств А. Н. Оленина "Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения словен", сегодня незаслуженно забытая, вероятно, потому, что альбом иллюстраций, комментарием к которому являются "письма" Оленина, посвящен русскому костюму до нашествия татар. На деле же текст не утратил своего значения не только как попытка создания первой истории русского костюма (специально для обучения художников), но и по широте привлечения сравнительного материала, обилию европейских источников и стремлению найти место русскому костюму в европейской бытовой традиции. В частности, Оленин указывает, что красные сандалии римских военачальников послужили прообразом моды на красные каблуки как признак знатности — сначала во Франции, а затем, в XVIII веке в России.

Нельзя не согласиться с заключительной частью предисловия О. Вайнштейн: "Благодаря литераторам середины века дендизм был сохранен в интеллектуальном обиходе XIX столетия, чтобы позднее вновь возродиться как стиль жизни и философия у Оскара Уайльда, сэра Макса Бирбома, Ж.-К. Гюисманса и Робера де Монтескью".

К этому перечню имен можно добавить и многих упомянутых научным редактором русских денди Серебряного века, которые ждут своих исследователей.

Раиса Кирсанова

О хрупкой лире

А. В. Карельский. *Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур.* Выпуск 2. М., РГГУ, 1999

Этот второй выпуск работ покойного А. В. Карельского, составленный его друзьями и учениками, посвящен австрийской литературе XX века. В книгу вошли работы Альберта Викто-

ровича о Роберте Музиле и Германе Брохе, Ингеборг Бахман и Кристофе Рансмайре, тексты лекций о Гофманстале и Кафке, рецензии на зарубежные труды об этих авторах. Особая прелесть книги в ее жанровом разнообразии: так и чувствуешь усилия филолога разными путями утвердить на русской почве крупнейших австрийских писателей. Нельзя забывать, что именно работы А. В. Карельского были тут во многих отношениях в числе первых, если не первыми. Ведь именно Альберту Викторовичу принадлежит первый перевод Музиля (1980). Именно он вместе с Н. Н. Федоровой бился над русским текстом "Смерти Вергилия" Броха, исправляя небрежности переводчика. И переводил сам — снова Музиля, а кроме того Броха, Рильке, Бахман. В книге помимо статей даны переводы стихотворений Рильке; перед нами — и сам поэт, о ком говорится в посвященной ему большой статье.

Карельский был посредником в самом высоком смысле этого слова. Читая сейчас текст его "Лекций о творчестве Кафки", поражаешься, с какой настойчивой постепенностью он вводил своих молодых слушателей, непривычных тогда к подобной литературе, в тайны творчества Кафки. Как учитывал "простого читателя", говоря, например, о "материализации метафор", чтобы подвести его к вечным вопросам, над которыми бился Кафка.

Хочу подробнее остановиться на статье о лирике Рильке, потому что до сих пор лучше о Рильке у нас, кажется, никто не писал.

Ранний Рильке, сказано у Карельского, Рильке до знаменитых его произведений — это прежде всего "Gemüt — глубоко лирическая душа, открытая миру". То, что потом с такой убеждающей силой проявилось в его "Дуинских элегиях" — прямое лирическое самовыражение, — уже и тогда составляло основу его поэзии. Карельский представляет читателю, таким образом, "случай" лирика, как будто бы не знавшего трудности, почти невозможности говорить "от себя", мучившей в этом полном потрясений веке многих великих поэтов (назвать хотя бы австрийца Г. фон Гофмансталя, немцев Г. Бенна и С. Гейма, поэзию которого называли "молчащей", а в англоязычной лирике Т. С. Элиота, Э. Паунда и многих других). В отличие от них Рильке, опиравшийся на традицию Гёльдерлина, сохранил неостановимость поэтической речи, эмоциональность неудержимого "говорения".

Но на лирическую стихию у Рильке (как и у Гёльдерлина) наложены оковы. "Ведь стихи это не чувства, как думают люди, — писал Рильке в "Записках Мальте Лауридса Бригге". — Это опыт". Как совершалась эта замена "чувств" "опытом", какие это рождало формы? Процитирую Карельского: "Само состояние поэтического трепета отлито здесь в форму четкую и весомую, как формула закона. Такая техника утверждалась у раннего Рильке постепенно, от сборника к сборнику, и отходила в прошлое импрессионистическая описательность, нанизывание изысканных, порой вычурных образов, уступая место принципу "закона", стержня, строгой организации".

В особой статье разбирается стихотворение Рильке "О фонтанах". Взлеты и падение воды, верх и низ предстают в этих стихах как аналогия "верху" и "низу" мироздания. Но более того: по наблюдению Карельского, так же, подобно струе фонтана, падая и взлетая, организуется и движение поэтической мысли. Сама мысль повторяет в стихотворении взлеты и падения воды. Не столько предмет вызывает лирические размышления, сколько, наоборот, лирическое размышление философского характера, являющееся в стихотворении первичным, требует предметной аналогии, предметного воплощения, может существовать только в нем. Трудность подобного соединения и есть главная художественная и нравственная проблема Рильке. Художественная потому, что только так — в следовании законам внешнего, зримого мира, по аналогии и в соответствии с ним — возможно "высказывание". Нравственная потому, что, как пишет Карельский, "тут и встает перед поэтом проблема... как

совместить самоуглубленность, отстранение от мира – с *любовью* к миру и людям, любовью, которая... воспринимается Рильке как непременное качество истинной поэзии".

От вышедшего в 1905 году "Часослова" – книги стихов, написанных под впечатлением поездок в Россию, и дальше , в "Новых стихотворениях" (две части – 1907, 1908) – вплоть до последнего взлета в "Дуинских элегиях" (1922) и "Сонетах к Орфею" (1923) в поэзии Рильке разными способами соединяются две разнонаправленные интенции его творчества. Возникает поэзия, главное качество которой Карельский определяет как "монументальный лиризм" (и здесь снова несомненная связь с Гёльдерлином). Имеется в виду не только всеохватность поэтической мысли, но и ее привязанность к предмету, не только к великим, но и к малым вещам, то, что обозначается зрелым Рильке словом "Bezug" – «не просто "отношение", или "связь", или "взаимосвязь, а, наверное, "сопричастность", "прикосновенность"», – комментирует Карельский слово поэта. Можно было бы добавить еще – взаимопроникновение.

В "Новых стихотворениях" возникает серия "стихотворений-предметов", своеобразные примеры которых можно найти еще у немецких поэтов первой трети и конца XIX века – Августа Платена и Конрада Фердинанда Майера. Но покой предметов у Рильке гораздо более драматичен: предмет как бы "распирается изнутри... Неколебимая форма функционирует здесь как поверхностное натяжение в капле воды...", – говорит Карельский.

Жизнь предмета спрятана глубоко – она почти не заметна и все-таки очевидна. В "Архаическом торсе Аполлона" перед читателем бездушный предмет, мраморный безголовый обрубок, не способный ни видеть, ни чувствовать. Но каждое слово в стихотворении возвращает его к жизни, наделяет свойствами активности. Карельский говорит об олицетворении, но затем оставляет это слово – как очевидно в данном случае неудовлетворительное. Гораздо более важна его мысль, что предмет – Ding – не повод для лирического самовыражения: он обладает суверенностью, самостоятельным бытием. Хотя, конечно же, взглядом поэта оживлен мраморный торс, но происходит еще и обмен взглядами. Субъект и объект – позволю себе продолжить мысль Карельского – заменяются отношениями двух субъектов, каждый из которых поставлен к тому же в отношения с жизнью как таковой, со всеобщностью бытия. Стихотворение кончается неожиданным признанием: "Ты должен изменить свою жизнь" – автор будто услышал голос второго лица.

Две последние книги стихов Рильке, пишет Карельский, не только дополняют друг друга, но и противостоят одна другой: бездны отчаяния "Дуинских элегий" и последнее усилие воспеть бытие в "Сонетах к Орфею". Противостояние это не полное, потому что и в "Элегиях", говорит Карельский, есть не только "полюс отчаяния". Так же противостоят и дополняют друг друга две последние книги Рильке и поэтологически, как разное художественное решение одной задачи.

Именно "Дуинские элегии" представляют в творчестве Рильке неудержимую лирическую стихию. Отброшен расчет на упорное, "на коленях" всматривание в предметы с целью не только овладеть ими, но и выколдовать ответный отклик. "Предметов" в "Элегиях" почти нет. Слышен один голос, одно говорение – неостановимое, скорбное, запинающееся... Как же в таком случае решается в этой вершинной книге Рильке старая проблема его творчества – искомого единства "мир – я", как преображается "лирическое высказывание"?

Карельский называет "Дуинские элегии" "энциклопедией экзистенциального трагизма человеческого бытия". Он настаивает на этом определении ("именно энциклопедия") и поясняет: "Отдельные темы здесь не столько вытекают естественным образом одна из другой... сколько именно сополагаются. Поэт словно все время вспоминает: а вот еще это... и

это... и это... Как его "девочка Жалоба" в одном из сонетов к Орфею... ночи напролет перебирает давние беды". Беды эти всеобщего характера, лирическое "я" отодвинулось, "голос" принадлежит Рильке, и в то же время это голос современного человека вообще, сходный с тем, что отстраненно звучал, к примеру, в поэме "Бесплодная земля" Элиота (1921). А где же Bezug? Что держит и подчиняет себе неудержимый поток "высказывания", в чем тут — помимо мыслей — соединение со всеобщностью, чем оно подкреплено? Думаю, что помимо обозначенного Карельским принципа "соположений", имевшего решающее значение прежде всего для композиционного построения цикла, тут реализовалась и иная, давно найденная поэтом, а теперь по-новому претворенная им возможность. Рильке не "монтирует", не сополагает ряды явлений по их трудноуловимому изначальному сходству, как это было, например, в поэзии Георга Тракля. В разреженном пространстве элегий, лишенных богатства предметности, поэт будто вновь занимается воссозданием мира — на этот раз почти с пустыми руками. Он слышит голоса в пространстве, прочерчивает слабые связи, соединяет внешнее и внутреннее, принимается за описание не целого и не множества, а одной какой-то детали: "лавр, немного темнее, чем вся остальная зелень, с маленькими волнами по краю каждого листа (как ветра улыбка)..." Когда-то в стихотворении "Осенний день", замечательно проанализированном Карельским, поэт не только просил Творца, но и творил сам. Теперь поэт творит в мире, где высшее начало представлено лишь пугающими ангелами. Он, слабый и сомневающийся, отказывающийся звать за собой кого-нибудь, называет текущее время все-таки нашим и именует вещи: "Мы тут, быть может, чтобы сказать: дом, мост, колодец, ворота, кувшин, плодовое дерево, окно, — самое большее: колонна, башня..." В предпоследней, девятой элегии Рильке предоставляет стихотворению говорить о законе своей поэтики: слово и бытие неразрывны, ибо слово творит бытие.

Я подробно остановилась всего на одной статье рецензируемой книги, потому что оценивать труд А. В. Карельского вне подробностей — занятие неблагодарное и неблагородное: он весь в тщательном анализе формы, из которого вырастает смысл целого. Стоит опереться на его не теряющий своего значения опыт.

Н. Павлова

Великобритания

Литературный праздник в "Северных Афинах"

Начиная с 1947 года, столица Шотландии — Эдинбург — ежегодно принимает у себя Международный фестиваль культуры, пользующийся огромной известностью и авторитетом. Город Вальтера Скотта, Роберта Льюиса Стивенсона и Дэвида Хьюма часто называют "Северными Афинами". (Впрочем, его жители лукаво предпочитают говорить о том, что все как раз наоборот: Афины — это "Средиземноморский Эдинбург".) За полвека он превратился в центр "культурно-артистического" туризма, который предлагает многочисленным поклонникам искусства богатую официальную и неофициальную программу фестивалей кино, джаза, классической музыки, театра и прочих видов искусства. Однако Эдинбург — это еще и литературная столица Шотландии, и в последние 20 лет особое внимание на фестивале уделяется печатному слову.

В конце августа 2000 года при поддержке Британского совета и Шотландского совета по культуре состоялся литературный фестиваль под названием "Книжный шкаф", представивший обширную панораму шотландской литературы и шотландских книг. В Шотландии (а это пять миллионов жителей) говорят и пишут на трех языках: английском, гэльском и шотландском.

В последнее время не только в политических, но и в литературных кругах очевиден всплеск национального самосознания — нечто подобное происходило в 20-е годы, когда особенно активными были поэты так называемого "шотландского Ренессанса": Макдиармид, Гиббон, Мюир.

Подъем национальной литературы стал основной темой и в 2000 году: программа литературного фестиваля включала в себя знакомство с новыми именами (прозаики Лора Херд, Гордон Ледж, Дес Диллон; поэты Джон Бернсайд, Эдвин Морган), общение с такими уже давно зарекомендовавшими себя фигурами, как Дороти Даннет, Лиз Локхед, Кандия Макуильям, Аласдер Грей. Всего более 50 литераторов, представителей всех жанров, приняли участие в "круглых столах", семинарах, публичных дискуссиях и прочих мероприятиях. Не были забыты и авторы детективных романов и триллеров: среди прочих были замечены Иэн Рэнкин, Кристофер Брукмайр и весьма популярная Вэл Макдермид. Обсуждалась шотландская история, политика, пресса; все это происходило под знаком поклонения великому романисту Стивенсону: ведь 2000 год — это год 150-летия со дня рождения писателя. Отрадно отметить, что этот праздник хорошей литературы состоялся в разгар "культурно-туристического" сезона и что в нем участвовало немало молодежи.

США

"Только смелым покоряются моря"

Как гласит известное изречение, "женщина на корабле — к беде". А если женщина не просто находится на борту судна, но и командует экипажем — да не просто экипажем, а шайкой морских пиратов? Оказывается, такие женщины действительно существовали. О них рассказывает в своей книге "Женщины-капитаны: Морские героини и чертовки" (издательство "Саймон энд Шустер") Джоан Друитт.

По словам автора, эти капитанши незаслуженно забыты. Их имена — Энн Бонни, Мэри Рид, Грейс Дарлинг, как и имена многих других — не фигурируют в книгах по истории пиратства. А между тем они наводили ужас на мореплавателей, и капитаны мирных торговых и пассажирских судов трепетали при мысли о встрече с этими дамами. Современники прекрасно знали об их существовании; рассказы об их подвигах и преступлениях, об их гордости, храбрости и красоте передавались из уст в уста в портовых тавернах. Своей книгой Джоан Друитт не только восстанавливает историческую справедливость, но и дарит читателям любопытные факты о необычных женщинах.

Из века минувшего — в век наступивший

Что бы вы взяли с собой в будущее из XX века? То есть, какие события, факты, произведения искусства, теории, открытия, исторические личности, художественные персонажи, уже получившие известность или, может быть, незаслуженно оставшиеся в тени, достойны того, чтобы о них знали и помнили в наступившем столетии? С этим глобальным вопросом журнал "Кензен литтерер" обратился к шестидесяти французским литераторам, предложив затем вниманию читателей наиболее любопытные ответы.

"Как, разве в этом веке происходили какие-нибудь События?" — пошутил поэт и прозаик Мишель Деги. Иначе, серьезно, — как и положено философу — подошел к задаче Жан-Люк Нанси. Дело в том, что во французском варианте вопроса звучит не глагол "взять", а глагол "спасти" или "сохранить". "Так спасти или сохранить?" — уточняет философ. Если речь идет о "спасении", то можно ли спасти нечто уже ушедшее, исчезнувшее? А если имеется в виду "сохранение", что́ захочется сохранять от века, исход которого ощущается как всеобщее смятение, разброд и даже крах? К тому же сохранять тоже можно по-разному: это сберечь либо в первозданном виде, либо от дальнейшего разрушения.

А вот молодой романист Эрик Шевийар понял вопрос однозначно: "Прежде всего надо спасать женщин и детей. А потом — если будет вторая шлюпка — обезоруживающий смех Беккета и Мишо: это мощное, подходящее для всех случаев жизни средство, которое должно спасти нас и в конце XXI века".

"Я бы спас кинематограф (пока он — едва родившись — не исчез)," — заявил писатель Жан-Филипп Туссен. "А я бы спасал прежде всего себя, — признался романист и публицист Серж Дубровский. — Просто потому, что в ноябре 1943 года меня должны были отправить в Освенцим. А остальные 57 лет — это уже мелочь. Их бы не было, если бы не французская семья, которая, рискуя жизнью, спасла нас от газовой камеры. Для меня это самый яркий пример многоликости XX века: с одной стороны — зверство, с другой — невероятное самопожертвование".

Однако писатель-переводчик Жорж-Артюр Голдшмидт считает XX век веком только концентрационных лагерей, Гитлера и Сталина: "И взять оттуда совершенно нечего! Во всяком случае, не нужно приписывать литературе и искусству важную роль: нет ее у них".

"А я бы взял почти всю литературу этого века, — бросается в другую крайность беллетрист Пьер Мишон. — Ведь в этом плане он оказался великим". Золотую середину в их заочном споре нащупал литератор Робер Бонно: "Нельзя говорить о том, чтобы взять с собой все или не взять ничего. Во все времена прогресс чередовался с реакцией. И правильнее всего было бы отобрать лучшее".

Действуя по этому принципу, писатель Франсуа Бон составил перечень (без объяснений и даже запятых!), где первым стоит автомобиль "ситроен" в две лошадиные силы. Тот же автомобиль упоминается и в конце списка, а между этими пунктами значится добрая сотня наименований: фотография надгробия Марселя Пруста; экземпляр "Пармской обители", который приобрел в Париже в 1911 году Франц Кафка, с надписью на форзаце "Франц Кафка, Париж, 1911"; безудержное веселье того же Франца Кафки, пившего гранатовый сок на веранде бара перед парижской "Опера комик" днем 11 сентября 1911 года (он давился от смеха, потому что никак не мог выговорить по-французски "гранатовый сок"). Ф. Бона впечатлили изобретение фанеры и консервные банки с берлинским воздухом, продававшиеся до падения Берлинской стены. Ему понравились словечки "катафот" и "паркинг" (вторым он так и назвал одну из своих книг), но наибольшего внимания удостоился все же Кафка.

Надо сказать, что его называют многие из опрошенных — например, Мартин Брода. Кроме того, эта поэтесса-переводчица взяла бы в будущее русский Серебряный век с его поэтами (особое предпочтение она отдает Осипу Мандельштаму). Кафка значится первым в списке, который составил писатель и художник Фред Дю. Любопытно, что из музыки он упомянул произведения Баха, Монтеверди, Скарлатти, Бетховена, Моцарта, Шуберта, потому что по-настоящему их оценили лишь в XX веке. Кроме того, он предложил свой вариант вопроса: "Что бы вы не взяли из XX века?". Лично он не взял бы тех, кто наживался на этой эпохе, при-

числяя к таковым Анри Мишо, Пикассо, Матисса и других.

Не менее неожиданный ответ дает писатель Доминик Ногез: "Я бы сохранил все то, что не оставило следа, прошло незамеченным, оказалось спрятанным или забытым, а также то, что еще не появилось". Он не согласен с теми, кто говорит, что уже не будет нового Равеля, Камю или Сартра. Будут — и уже есть! Уже подрастают где-то будущие Ренуар, Пруст и Бардо.

А что считают наиболее ценным лауреаты Нобелевской премии? Вот что говорит лауреат 1985 года Клод Симон: "Выбор сложен — настолько богатым оказался этот век и в области искусства, и в области науки... Но есть события иного порядка, забывать о которых тоже нельзя. Для меня это воздушный налет в 1940 году немецкой авиации на Англию, которую оставили практически в одиночестве. Это событие означало для Европы и всего мира, что нацизм тогда победил".

А самым большим оригиналом оказался, пожалуй, романист Мохаммед Диб. Единственный объект его внимания — овечка Долли. Жалея эту сироту, он хотел бы ее удочерить. И тогда поэты будущего, воспевая ушедший век и одно из его научных чудес, быть может, вспомнят и о скромном приемном отце...

По материалам газет "Паис" (Испания), "Стампа-Туттолибри" (Италия), журнала "Кензен литтерер" (Франция).

ИНСТИТУТ "ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО" (ФОНД СОРОСА)
Представительство в Российской Федерации

Мегапроект "Пушкинская библиотека"

Издательская программа
объявляет
всероссийский открытый конкурс
"Восточная Европа — опыт тоталитаризма.
Зарубежная художественная литература XX века"

Институт "Открытое общество" (Представительство в Российской Федерации), основанный известным филантропом и финансистом Джорджем Сorосом, объявляет конкурс переводов на русский язык произведений зарубежной художественной литературы, в которых воплощен и осмыслен опыт тоталитаризма, пережитый странами Восточной Европы: фашизм, коммунистические репрессии — идеологические и политические, националистический и религиозный экстремизм. На конкурс принимаются переводы высокохудожественных произведений, написанных на любом из языков "дальнего зарубежья", впервые опубликованных на языке оригинала с начала 30-х годов и до конца XX века.

Цель конкурса — знакомство российского читателя с лучшими произведениями зарубежной художественной литературы вышеназванной тематики, сохранение лучших традиций переводческого искусства, выявление новых переводческих имен и поддержка издательств, участвующих в данном проекте переводной художественной литературы.

В конкурсе могут принять участие частные лица — граждане РФ.

Издательский проект "Восточная Европа – опыт тоталитаризма. Зарубежная художественная литература XX века", осуществляемый ИОО, предусматривает **выдачу на конкурсной основе грантов российским литераторам, выполнившим лучшие переводы романов, повестей, рассказов, драм, эссе, мемуаров, никогда ранее на русский язык не переводившихся**, для последующей публикации в российских издательствах.

В рамках конкурса поддерживаются переводы произведений объемом не менее 8 а. л. Максимальный объем не лимитируется, но ИОО субсидирует перевод не более 15 а. л.

В рамках конкурса не рассматриваются уже опубликованные переводы.

Победители получают грант в размере от 800 до 1500 долларов США.

Издатели, участвующие в данном проекте, получают субсидию в размере 1000 долларов США:
500 долларов США — на редакционно-издательские расходы;
500 долларов США — на приобретение авторских прав.

Общие требования к оформлению заявки

Соискатели заполняют форму "Индивидуальная заявка на грант ИОО".
Для участия в конкурсе соискатели должны представить в ИОО:

- форму "Индивидуальная заявка";
- дополнительную аппликационную форму;
- пробный перевод объемом 30–35 страниц из двух разных частей произведения;
- книгу на языке оригинала или ее ксерокопию с указанием переведенных страниц;
- сопроводительное письмо, куда входит обоснование выбора произведения, краткое содержание, а также состав предполагаемой книги, если это не единое произведение;
- краткую автобиографию с указанием образования, профессии, основных опубликованных переводов (curriculum vitae).

Если представляемая на конкурс рукопись является результатом работы авторского коллектива из двух человек (не более), каждый автор заполняет отдельную заявку с указанием формы и объема его участия в создании рукописи. Распределение гранта между членами авторского коллектива определяется решением авторского коллектива и оформляется протоколом, прилагаемым к заявке на получение гранта.

Все материалы, кроме книги на языке оригинала или ее ксерокопии и пробного перевода, представляются в двух экземплярах. Книги на языке оригинала возвращаются (по почте или лично переводчику) после объявления победителей конкурса.

Каждый участник должен ознакомиться с "Условиями конкурса" и списком рекомендуемой литературы.

Участники могут подавать заявки на перевод произведений, не вошедших в список рекомендуемой литературы, если они соответствуют тематическим, художественным и хронологическим параметрам конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 мая 2001 года включительно. Заявки, посланные почтой (не позднее 20 мая 2001 по почтовому штемпелю), принимаются до 1 июня 2001 года включительно. Жалобы на плохую работу почты не принимаются.

Заявки, оформленные с нарушением требований ИОО, полученные по факсу, электронной почте, поступившие в единственном экземпляре или после указанного срока, рассматриваться не будут.

Все проекты, поданные на конкурс, рассматриваются Советом, состоящим из независимых экспертов. Решение экспертного совета не пересматривается. Соискатели информируются о результатах конкурса по почте, мотивы отклонения заявок не сообщаются. Материалы, поданные на конкурс (кроме книг на языке оригинала), не возвращаются.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2001 года; имена победителей и названия победивших работ будут опубликованы в периодической печати.

Для победителей конкурса ссылка на поддержку института "Открытое общество" (Фонд Сороса), Россия – ОБЯЗАТЕЛЬНА во всех материалах по проекту (презентации, аудио-, видео-, печатная продукция).

Получить "Условия конкурса", список рекомендуемой литературы, форму индивидуальной заявки, дополнительные консультации (в среду и пятницу с 12^{00} до 18^{00}), подать готовую заявку на участие в конкурсе можно в Российском представительстве Института "Открытое общество" – 113184, Москва, Озерковская набережная, д. 8, тел. (095) 787-88-11, издательская программа; e-mail: *tar@osi.ru*. Всю информацию о настоящем конкурсе можно получить на сайте ИОО-Россия: http://www.osi.ru, а также во всех отделениях Института "Открытое общество" в России и у программных координаторов ИОО в университетских центрах Интернета.

ОТДЕЛЕНИЯ ИОО В РОССИИ

Нижний Новгород
603005, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 24/22;
тел.: (8312) 784-037; факс: (8312) 784-031;
e-mail: office@osi.nnov.ru

Новосибирск
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6;
тел.: (3832) 119-781; факс: (3832) 119-782;
e-mail: osinsk@osi.nsc.ru

Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, 7;
тел.: (812) 325-9652; факс: (812) 325-9756,
e-mail: office@spb.osi.ru

Центры Интернета открыты в государственных университетах городов: Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калининград, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Нальчик, Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Тверь, Томск, Тула, Уфа, Чебоксары, Якутск, Ярославль.

Богумил Грабал
Bohumil Hrabal
[1914–1997]. Чешский писатель, лауреат нескольких литературных премий.

Автор многих сборников рассказов, в том числе *Жемчужинка на дне* [*Perlička na dně*, 1963], *Праздники подснежников* [*Slavnosti sněženek*, 1978], повестей *Поезда особого назначения* [*Ostře sledované vlaky*, 1965], *Слишком шумное одиночество* [*Příliš hlučná samota*, 1976], автобиографической трилогии *Свадьбы на дому* [*Svatby v domě*, 1986], *Новая жизнь* [*Vita nuova*, 1986], *Проглины* [*Proluky*, 1986] и др. В *ИЛ* был опубликован роман *Я обслуживал английского короля* [1992, № 1] и рассказ *Беатриче* [1989, № 12]. Публикуемые в этом номере рассказы и эссе взяты из сборников *Прекрасные мгновения печали* [*Krasosmutněne*, 1979], *Жизнь без смокинга* [*Život bez smokingu*, 1986], *Волшебная флейта* [*Kouzelná flétna*, 1990], вышедших в пражском издательстве Československý spisovatel. Эти рассказы и эссе войдут в сборник избранных произведений Б. Грабала, подготовленный издательством "Амфора".

Александр Дмитриевич Кравчук
[р. 1970].
Филолог-славист.

Статья о Б. Грабале – его первая публикация по чешской литературе.

Эдуардо Карранса
Eduardo Carranza
[1913–1985].
Колумбийский поэт.

Автор сборников *Песни, которыми начинают праздник* [*Canciones para iniciar una fiesta*, 1936], *Шесть элегий и один гимн* [*Seis elegías y un himno*, 1939], *Ты и есть лазурь* [*Azul de ti*, 1956], *Отзвучавшие шаги* [*Los pasos cantados*, 1970] и др. В 1990 г. колумбийское правительство учредило литературную премию имени Эдуардо Каррансы. На русском языке стихи Каррансы были напечатаны в книгах *Поэзия Латинской Америки* [1975], *Поэзия Колумбии* [1991].
Публикуемые стихи взяты из сборников *Забытый и Альгамбра* [*El olvidado y Alhambra*, Màlaga, 1957], *Слова и грезы* [*Hablar soñando*, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1974] и *Смертное послание и другие одиночества* [*Epístola mortal y otras soledades*, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1975].

Кэтрин Кресмен Тейлор
Kathrine Kressmann Taylor
Биографическими сведениями о К. К. Тейлор редакция не располагает.

Рассказ *Адресат выбыл* [*Address Unknown*], опубликованный осенью 1938 г. в журнале Стори – единственное литературное произведение автора.

Пер Улов Энквист
Per Olov Enquist
[р. 1934]. Шведский романист, драматург, литературный критик. Лауреат многих литературных

Автор романа *Библиотека капитана Немо* [*Kapten Nemos bibliotek*, 1991; рус. перев. 1994]; пьес *Ночь трибад* [*Tribadernas natt*, 1975; рус. перев. 1997], *Из жизни дождевых червей* [*Fran regnormarnas liv*, 1981] и др. Киноповесть *Гамсун* [*Hamsun*, 1996; рус. перев. 1997] легла в основу одноименного фильма Я. Труэля. В *ИЛ* [2000,

премий, в том числе премии Северного совета [1969] за роман *Легионеры* [*Legionärerna*], вышедший в 1968 г.

№ 11] был опубликован роман *Пятая зима магнетизера*. Роман *Низверженный ангел* [*Nedstorad angel*] вышел в стокгольмском издательстве NORSTEDTS FÖRLAG в 1985 г.

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ
MICHEL TOURNIER
[р. 1924]. Французский писатель, член Гонкуровской академии, лауреат ряда литературных премий.

Автор романов *Пятница, или Тихоокеанский лимб* [*Vendredi, ou Les Limbes du Pacifique*, 1967, "Гран-при" Французской академии, рус. перев. 1992], *Лесной царь* [*Le roi des Aulnes*, 1970, Гонкуровская премия, рус. перев. 1996], *Метеоры* [*Les météores*, 1975], ряда сборников рассказов, книг эссе и др. В *ИЛ* были напечатаны его повесть *Жиль и Жанна* [1993, № 10], рассказы из сборника *Глухарь* [1981, № 10], роман *Элеазар, или Источник и Куст* [1997, № 2].
Публикуемые рассказы взяты из книги *Полуночный ужин влюбленных* [*Le médianoche amoureux*. PARIS, GALLIMARD, 1989].

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА АДЕЛЬГЕЙМ
Литературовед, кандидат филологических наук.

Автор книги *Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка* [2000], статей по польской литературе XX века, соавтор книги *Мой язык. Как я говорю, думаю, читаю, пишу* [1995]. В ее переводе вышла книга Г. Херлинга-Грудзинского *Горячее дыхание пустыни* [2000]. В *ИЛ* напечатан ее перевод книги К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11, 12].

ФИЛИПП МЮРЭ
PHILIPPE MURAY
[р. 1946]
Французский писатель.

Автор романов *Множественная песнь* [*Chant pluriel*, 1973], *Грядущее поколение* [*Postérité*, 1988], *Закрываем* [*On ferme*, 1997], а также эссе и исследований *Селин* [*Céline*, 1981], *Слава Рубенса* [*La Gloire de Rubens*, 1991] и др.
Публикуемые фрагменты взяты из книги *После Истории* [*Après l'Histoire*. PARIS, LES BELLES LETTRES, 1999].

АРТУР КЁСТЛЕР
ARTHUR KOESTLER
[1905–1983]. Британский писатель, журналист, критик, радиокомментатор.

Автор романа *Гладиаторы* [*Gladiators*, 1939], *Слепящая тьма* [*Darkness At Noon*, 1940; рус. перев. 1988], *Прибытие и отъезд* [*Arrival and Departure*, 1942] и др.
Публикуемое эссе взято из альманаха *The Anchor Review* [1955, № 1], выпускавшегося издательством DOUBLEDAY & COMPANY [Garden City, NEW YORK].

ФИЛИПП ЛЕЖЁН
PHILIPPE LEJEUNE
[р. 1938]. Французский литературовед и культуролог, исследователь роли биографического письма (автобиографии, дневника, эпистолярия) в литературной и социальной жизни Франции XIX–XX вв.

Автор монографий о В. Гюго, А. Жиде, М. Лейрисе, Ж. Переке, книг *Автобиография во Франции* [*L'autobiographie en France*, 1971], *Я – совсем другое* [*Je est un autre*, 1980], *Я – тоже* [*Moi aussi*, 1986], составитель сборников личных дневников и записок *Дорогая тетрадь...* [*Cher cahier...* 1990], *Девичье "я"* [*Le Moi des demoiselles*, 1993] и др. В *ИЛ* [2000, № 4] были напечатаны его эссе из сборника *В защиту автобиографии*.

Переводчики

Сергей Сергеевич Скорвид
[р. 1958]. Филолог-славист, кандидат филологических наук, переводчик с чешского, словацкого и польского языков.

В его переводе издавались, в частности, роман Я. Йона *Фокусник Йозеф* [в соавторстве с И. Безруковой], фрагменты книги-интервью В. Гавела *Заочный допрос*, сочинения Я. А. Коменского в сборнике *Лабиринт света и Рай сердца* [2000].

Муравьева Надежда Владимировна
Поэт, переводчица с английского и испанского языков. Победительница поэтического конкурса им. Святителя Филарета [2000].

Ее стихи публиковались в Независимой газете [1992, 2000]. Автор статьи об Э. Каррансе в журнале Диапазон [1993]. Среди ее переводов *Слова о сладчайшем хлебе* Эктора Муньоса [1999], стихи Г. К. Честертона из романа *Наполеон Ноттинг-хилльский* [1992].

Раиса Ефимовна Облонская
Переводчица с английского.

В ее переводе напечатаны романы Г. Дж. Уэллса, Дж. Голсуорси, А. Силлитоу, Дж. Лондона, Дж. Хеллера, Дж. Остин, Д. Г. Лоуренса, У. С. Моэма и др. Переводы Р. Е. Облонской неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Александра Александровна Афиногенова
Переводчица со скандинавских языков.

В ее переводах публиковались новеллы и пьесы Августа Стриндберга *Игра снов*, *Пляска смерти*, *На пути в Дамаск*, романы *Местечко Сегельфосс* и *Дети века* Кнута Гамсуна, пьеса *Ночь трибад* и роман *Библиотека капитана Немо* Пера Улова Энквиста. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны книги Ингмара Бергмана *Laterna Magica* [1989, № 9—11] и *Благие намерения* [1994, № 5].

Надежда Валентиновна Бунтман
Кандидат филологических наук, переводчица с французского.

В ее переводе выходили произведения Р. Кайуа, Ж. Батая, М. Бютора, К. Мориака, А. Роб-Грийе. В *ИЛ* в ее переводе были напечатаны рассказы П. Дака, А. Алле [1993, № 10], повесть Э. Орсенна *Два лета* [в соавторстве с А. Дегтярь, 1999, № 12].

Нина Федоровна Кулиш
Переводчица с французского и итальянского языков.

В ее переводе публиковались романы *Изнанка мюзик-холла* и *Дуэт* Г. С. Колетт, *Из волшебного леса* Дж. Бонавири, повести *Антимоний* Л. Шаши, *Осеннее равноденствие* Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя *Глаз слушает* и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы фрагментов книги Ц. Тодорова *Человек, потерявший родину* [1998, № 6], эссе Д. Буццати *Осколки невозможного* [1999, № 6], книги Ж.-М. Леклезио *Диего и Фрида* [2000, № 9].

Михаил Александрович Наумов
[р. 1975]. Переводчик с английского.

В его переводе при поддержке Института *Открытое общество* [конкурс "Современная зарубежная художественная литература—1998"] была опубликована книга А. С. Байетт *Ангелы и насекомые* [1999].

Елена Дмитриевна Гальцова
Кандидат филологических наук, исследователь французской литературы и театра XX века, переводчица с французского.

В ее переводах выходили произведения А. Бретона, Л. Арагона, Р. Десноса, Ф. Супо, Ж. Женетта и др. Соавтор *Антологии французского сюрреализма 20-х гг.* [1994]. Автор комментариев, статьи и переводов пяти повестей Ж. Батая, опубликованных в I томе собрания сочинений Батая [1999]. В *ИЛ* [2000, № 4] в ее переводе напечатана глава из книги М. Сюриа *Жорж Батай, или Работа смерти*.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей
по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины бельгийского художника Леона Спиллиарта [1881–1946] *"Переправа"* [1913].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://novosti.online.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 14.03.2001.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4434.
Тираж 12 800
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить
по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

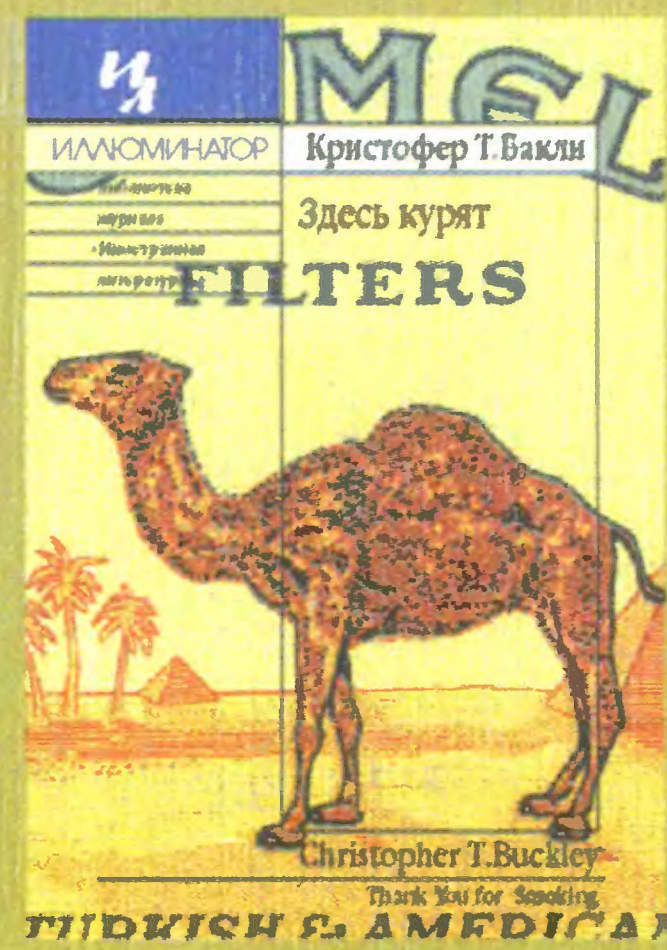
[4] 2001

РОМАН ИНГРИД НОЛЛ[illegible]ША" / СТИХИ И ЭССЕ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА / "ЦИРК НА ЧЕРДАКЕ": ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ РОБЕРТА ПЕННА УОРРЕНА / ЭССЕ ЛЮДВИКА ВАЦУЛИКА / РАССКАЗЫ АНДЖЕЯ СТАСЮКА / СОНЕТЫ МИЛАНА ЕСИХА / О ФЕНОМЕНЕ ГАРРИ ПОТТЕРА

ИНДЕКС 70394

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР



024. Алессандро Барикко “Море-океан” **025.** Бруно Шульц “Коричные лавки”. “Санатория под Клепсидрой” **026.** Кристофер Т. Бакли “Здесь курят” **027.** Берил Бейнбридж “Мастер Джорджи” **028.** Майкл Каннингем “Часы” **029.** Мишель Уэльбек “Элементарные частицы”

В нашей новой книжной серии “Иллюминатор” читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inostranka@rinet.ru

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2001, №4, 1-288